

5

ISSN 0206-8680

КИНОСЦЕНАРИИ

1989

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Сценарии

- 3 *Мо Янь, Чжу Вэй, Чэнь Цзяньюй*
КРАСНЫЙ ГАОЛЯН
- Евгению Габриловичу — 90 лет
30 *Е. Габрилович*
ОТЕЦ. ДОЧЬ. СЫН. ВНУК.
- 47 *В. Файнберг*
СЛЕЗЫ ПЕРВЫЕ ЛЮБВИ...
- 65 *Б. Метальников*
ТРОЕ НЕ ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫХ МУЖЧИН
- 87 *Е. Заричная*
ФУТБОЛ: КОГДА ШАНСЫ РАВНЫ
- 94 *П. Попогребский*
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
- 121 *Г. Остер*
ДО ПЕРВОЙ КРОВИ
- Из архива мастеров
- 136 *А. Чаянов, А. Брагин*
ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ
- 154 *Р. Янгиров*
К ИСТОРИИ ОДНОЙ КИНОУТОПИИ
- Точка зрения
- 164 *Н. Бердяев*
**Судьба русского консерватизма
Культура и политика**
- 176 *М. Ямпольский*
Власть как зрелище власти
- 187 *М. Волоцкий*
Найти в душе место...
- 192 **Наши авторы**

5

1989

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

**В 1990 году журнал «Киносценарии» будет
поступать в розницу
в ограниченном количестве.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ.
Стоимость 6 номеров в год 7 руб. 20 коп.
Наш индекс 70434.**

Главный редактор **Е. ГРИГОРЬЕВ**
Редакционная коллегия:
**О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, А. ЛОКТЕВ (зам. главного редактора),
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ, В. СЫТИН,
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ, С. ШУМАКОВ**
Ответственный секретарь **Н. РЮРИКОВА**

Технический редактор **Л. МАРКОВА**
Корректор **С. КАЛУЖСКАЯ**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

© «Киносценарии»

Сдано в набор 07.07.89. Подписано к печати 17.08.89. А07907
Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 22,796.
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типограф. «Сыктывкар»
Гарн. таймс. Тираж 54 800 экз. Заказ 1683. Цена 1 р. 20 к.

Всесоюзное творческое-производственное объединение «Киноцентр»
123376, Москва, Дружинниковская ул., 15. Тел. 205-30-01
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12.
Телефон 299-47-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
142300, г. Чехов Московской области

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ СЦЕНАРИИ:

Д. Воронков «Мemento мори»
Р. Литвинова «Принципиальный и жалостливый взгляд Али К.»
Р. Хуснутдинова «Не переводя дыхания»
И. Агеев, С. Белошников «Избери себе жизнь, чтобы жить»
Л. Никонова «Переулочек»
В. Ивченко «Почетный председатель»
В. Чиков «Неужели листопад?»



МО Янь, ЧЖУ Вэй, ЧЭНЬ Цзяньюй

КРАСНЫЙ ГАОЛЯН

紅高梁

Женская половина дома

Лицо Девятки.

Бледная, щеки горят, черные круги вокруг удлинённых глаз, опущенных бровями — облачками, затуманившими серп луны.

Голос за кадром:

— Это моя бабушка.

Когда Дань Тинсю, владелец винокурни, собирая навоз, забрел в их деревню, он

К сожалению, редакция не располагает фотографией Чэнь Цзяньюй, а также биографическими данными о нем и Чжу Вэе.

сразу положил глаз на бабушку. Давно семейство хорошо разжилось на виноделии, и многие жаждали с ним породниться, даром что поговаривали, будто наследник болен проказой. Прадедушка тоже был не прочь разбогатеть за счет дочери и стать хозяином, а потому и выдал бабушку за Дань Пяньлана, единственного сына Дань Тинсю.

Девяточка сидит у туалетного столика. Вокруг суетятся люди.

Рука с грушевым гребнем расплетает и тщательно расчесывает волосы.

— Благоприятный для свадьбы день выпал у бабушки на восьмой день шестой луны восемнадцатого года Республики, то есть 1929 года, и было старушке тогда восемнадцать лет, а в ней — метр шестьдесят пять росту и шестьдесят килограммов веса.

По нежному личику, щекоча складками, скользит шелковый плат. Тонкие изломанные линии подстриженных бровок. Туго затянутые у корней волосы уложены в пучок, — заключены в сеточку, заколоты четырьмя серебряными шпильками. Над бровями нависла ровная челочка.

Недвижима Девяточка, а вокруг нее суета.

Лицо ясное, незамутненное. Витой серебряный браслет на запястье. На ногах расшитые матерчатые туфельки, из-под узких брючек выглядывают белые шелковые чулочки. Брючки бирюзовые, а туфельки — пара птичек — красные.

И красный цветок в смоли волос.

Девяткина мать: *Не слушай, что болтают, доченька, Данев наследник в грамоте силен, все знает-понимает, а хорош-то... И откуда у него проказе взяться?.. Ты только войди к ним в дом — и тут тебе золото, там тебе серебро, всласть заживешь...*

Лицо Девяточки бесстрастно, как у богини Гуаньинь, — ни радости, ни скорби, ни звука, ни словечка.

— До сих пор с удивлением вспоминаю, как любил тогда прадедушка напевать «Вот беда, когда уродам достаются девки красные».

Во дворе Девяткин отец пьяно и азартно горланит арию из старинной оперы: *...У Далан хлебнул отравы, ему жить невозможно... Все внутри уже трепещет... Вот беда, когда уродам достаются девки красные... Ах, живот как прихватило, умираю, погибаю, где же мой могучий братец... Возвращись и отомсти.*

— *Ах, чтоб тебе под забором сдохнуть!* — с воплем выскакивает на двор Девяткина мать. — *У девочки сегодня такой счастливый день, а ты про похороны!..*

Далеко окрест возвещают о свадьбе зурна да труба.

Пришли! Пришли! В комнатах переполох. Мать снова выскакивает во двор и вопит: Паланкин прибыл, старая ты развалина! Беги скорей созывай народ, кто тут соберется, кто с ними пойдет...

Ближе, ближе зурна да труба...

Все заполошно носятся по комнате.

Девяточка слышит — и словно ничего не слышит, спокойна и невозмутима.

Две руки нависают над ее головой, держа красное покрывало.

Мать: *Деточка, ни за что не снимай в дороге покрывало, даже не приподнимай, чтоб лица твоего никто не увидел, а то без денег так и проживешь...*

Медленно опускается красное покрывало, скрывая бесстрастное лицо Девятки.

...С носильщиками не вступай в пререкания, на пароме да на постоялом дворе будь осторожна — не убьют, так покалечат. Там же полно бандитов, все, что хочешь, сотворишь... По старым-то обычаям, потрясут тебя в паланкине, так положено, держись!.. Терпи, деточка, чтоб не загошило, а то наблюдаешь, паланкин запачкаешь, жизнь свою испоганишь...

Девятка не реагирует.

...Моли Будду, доченька, чтобы в следующей жизни избавил тебя от напасти быть женщиной...

Недвижима бесстрастная Девятка под красным покрывалом.

Оглушительная веселая музыка — во двор вступает паланкин.

Гаоляновое поле

Зеленый гаолян.

Стебли замерли, как вырезанные из дерева, тесно приникли друг к другу, будто ростом меряются. Дремлют серо-зеленые початки, и нет им конца и края, так похожим друг на друга.

Пепельная дорога ввинчивается в бесконечный гаоляновый массив.

— Среди носильщиков, несших в тот день бабушку, был тот, кто стал моим дедом. Большую известность обрел он в ту пору.

Тогдашний обычай требовал от носильщиков подшутить в дороге над невестой, хотя бы с приятелями-винокурами сгорланить песню о добром вине, дело богоугодное, точно так же они помучили бы и суженую небесного батюшки. Дедовы сверстники были парни что надо, натуры четкие, что стебли гаоляна, не то что мы, слабаки-последыши.

Плывет красная шапка свадебного паланкина над крутыми зелеными волнами.

Гудят, звенят наперебой зурна да труба музыкантов.

В паланкине.

Как повелевали свадебные традиции, Девятка, несмотря на страшную жару, была в плотной ватной куртке и таких же штанах.

Грязный, потрепанный, унылый паланкин с масляными подтеками по желтому атласу на стенках. Жужжит муха...

Но покрывало надежно укрывает Девятку.

Голова под ним покачивается в такт движению, и на ней вспыхивают солнечные лучики.

Девятка медленно приподнимает угол покрывала, по руке скользит витой серебряный браслет...

Неведомые птицы выводят рулады среди гаоляновых стеблей, по затемненному паланкину бегут солнечные лучики, мерцают на покрывале...

Спаси меня, батюшка-Небо! — шепчет Девятка, не в силах терпеть, и сдерживает его с головы!

Она тяжело дышит, лицо залито потом.

Прямо перед ней на красных занавесках паланкина — вышитые дракон и феникс в брачных играх. Они выцвели за годы, слившись в одно большое пятно.

Июньское солнце в разгаре, в такт осторожному движению носильщиков легонько раскачивается паланкин, поскрипывает кожа на его коромыслах. Занавески колыхаются, пропускают в духоту паланкина прохладу и солнечные зайчики.

Девятка ногой чуть раздвигает занавески и смотрит на потные спины носильщиков, но еще лучше видны ей собственные расшитые цветами красные матерчатые туфельки, чуть тронутые проникшим снаружи солнечным лучом...

Девяточка слегка вытягивает ногу, несущую лучик, и в занавесках образуется довольно широкая щель, в которую можно даже высунуться.

Под широкими черными штанами носильщиков угадываются красивые длинные ноги — они вышагивают, обутые в огромные носатые чуни...

Ноги месят, с шорохом вздымают пыль...

Как ни сильны носильщики, но уже немалую им, вот отчего клонятся их тела вперед. Девятка видит, как солнце скользит по пурпурным коромыслам, выточенным из софоры, по широченным плечам носильщиков, и те сбрасывают рубахи и небрежно обвязывают их вокруг коромысел, и отблески солнца маслянисто скользят по огромным, как мельничные жернова, буграм мышц...

Не унять Девяточке волнения сердца. Обессилев, съезжает нога, занавески смыкаются, и носильщиков больше уже не видеть.

Плывет по дороге паланкин, зажатый стеблями гаоляна, и листья стучат по нему.

От запаха мужского пота слегка ошалела Девятка, ей невтерпеж вновь приоткрыть занавески.

Юй Чжаньао — совсем близко. Отсвечивает светлая кожа на затылке, черные штаны, мокрые от пота, облепили ноги, могучие плечи раскинулись над крепким торсом...

Не отрываясь, следит Девятка, как по мышцам спины прыгают пятнышки солнца, и все пытается припомнить его лицо и возраст.

И вдруг, словно затылком углядел, бог знает сколько молчавший Юй Чжаньао открывает рот: *Не подглядывай, девушка в паланкине, лучше поговори с нами! Путь неблизкий, скукота!*

Девятка поспешно набрасывает покрывало на голову, поджимает ноги, придерживающие занавески, и в паланкин вновь заходит мрак.

Словно пробудившись ото сна, трубач Лю позади паланкина яростно дунул в свою трубу. Ду-ду-ду — поддержали его музыканты.

Да-вай, да-вай... — в той же тональности откликнулся Юй Чжаньао, и неумное ржанье ответило этому хору.

И под этот хохот бесстыжие Юй Чжаньао и Ван Вэньли начали:

Невеста-то знаешь чья, ах, бедняжка!

Ну и скупердяи же папаша с мамашей, на денежки позарились!

А ты сперва дай-ка нам, девочка! Кто-нибудь да приглянулся? Поле рядом, мы все помыслись!

На что он годен, этот Дань Пяньлан, тут у него белый чирей, там желтый гнойник!

Не подвожай, девушка, этому Дань Пяньлану догрозиваться до тебя, а то сама сгниешь!

Наперебой дудят огромные трубы, звенят маленькие зурны, а лицо Девятки закутано красным покрывалом.

Стой-ка нам что-нибудь, мы же несем тебя!

Носильщики с силой встряхнули паланкин, лишив покоя Девяткин зад, и она обеими руками вцепилась в сиденье.

Молчишь? Ну-ка, тряханем! Не вытрясли словечка, так вытрясем мочу!

Юй Чжаньао — ну и ну! — как завопит: *Братцы, а ну позлей!*

Взвились, оглушая небеса, трубы.

Носильщики с шумом переменили шаг, и восемь ножищ замесили пыль, восемь ручищ заколотили по листьям — началась знаменитая тряска, которую тут называли «вопящий паланкин»...

Колелебющийся гаолян, болтающийся паланкин, скачущий по ухабам грубый рев — и над гаоляновым полем понеслось:

Добрый конь все цепи разорвет,
Добрый меч прикончит всех солдат,
Доброй чаркой снимешь оговор,
Добрый куш героя соблазнит,
Добрый смех чиновника уймет,
Добрым словом обретешь страну.

Красный корабль летит по зеленым волнам гаолянового поля под могучий вой глоток.

Ни жива ни мертва, вцепилась Девятка в сиденье, перекрутились-перемешались все внутренности, а над ухом зудит противная муха...

Болтается красное покрывало, сползая с головы. Побледневшая Девятка в слезах.

Так болтает, что из-за пазухи выскальзывают блестящие ножницы. Летят под занавеску, вот-вот выпадут из паланкина.

Красной туфелькой девушка придавливает их.

Закусила губы Девяточка, а в глотке словно драка идет и кулачища молотят. Судорожно вцепилась в сиденье и, изогнувшись, подхватывает свободной рукой ножницы.

И все — этого наклона она уже вытерпеть не в силах, изо рта стремительными пулями выскакивают куски пищи, прямо на занавеску.

Блюёт, блюёт! Качай! — галдят носильщики. — Качай! Раскачаем так, что и заговорит.

Братцы... пощадите... — икая, с трудом выдавливая слова, взмолилась Девятка, заболтанная до полусмерти. И разрыдалась.

Заволновалось гаоляновое поле от ее плача. Носильщики прекратили сумасшедшую болтанку. Да и заводила, мутивший воду и раздувавший бурю, заскучал. Лишь красиво и печально во всхлипывания Девятки вплелась скорбная зурна.

Носильщики примолкли, шаг их потяжелел. Подвывания жертвы в паланкине под аккомпанемент зурны всколыхнули сонную рыску души, разметали похоронные хоругви...

Передых,— бросил Юй Чжаньао.

Паланкин опустили на землю. Какое облегчение рукам и ногам носильщиков!

В глубоком забытии Девяточка не заметила, как носок туфельки выглянул из-под занавески.

Увидев эту прелестную несравненную ножку, заволновались носильщики, Юй Чжаньао приблизился, нагнулся, легонько-легонько, словно нежного птенчика, взял эту ножку в свою ладонь и водворил обратно в паланкин.

Внутри паланкина. Заплаканное лицо Девятки. Тронутая лаской и нежностью, она робко тянет руку с витым браслетом — чтобы откинуть занавески и взглянуть на этого молодого носильщика с ласковыми руками.

Берется за занавеску и — замирает...

— Девяносточетырехлетняя старушка Тао Гуань, наша, деревенская, рассказывала мне: какой-то рок витал над этой лягушачьей канавой. Не сеяли там, не жали — само все росло. Злой дух облюбовал это гаоляновое поле! Нельзя было нести паланкин с бабушкой через эту лягушачью канаву.

Вновь пускается в путь паланкин, взревели трубы, будто взвыли обезьяны, и враз примолкли.

Лягушачья канава

Уж не знаю почему, но носильщики больше не стали чесать языки, а споро потопали.

— В наших семейных преданиях лягушачья канава на гаоляновом поле занимает особое место. Так я до сих пор и не понимаю, отчего все невероятное, что с нами происходило, связано именно с ней. Да только думается мне, не будь ее, мои дедушка с бабушкой не встретились бы, и не было бы моего отца, да и меня, конечно. Как говорят, тысячеверстые узы брака на небе плетутся, и нечего тут кочевряться.

Из глубины таинственных зарослей вдруг, разбив тишину, взметнулся захлебывающийся плач.

В долгие завывания врезались слова: *...О синее небо — О голубое небо — О небо в узорах — О суженый мой, ты умер — И рухнули небеса возлюбленной твоей...*

И перед этим странным плачем выказали робость носильщики, замедлили шаг. Примолкли трубы и зурны.

Девятка внезапно почувствовала озноб, крохотные мурашки пробежали по коже. Она еще не осознала, в чем дело, как впереди кто-то заорал: *А ну, гони монету!*

Забилось Девяточкино сердце, сама не поймет, от страха или от радости. О Небо, на шиша, как тут называли разбойников, наткнулись!

Гони монету! — взревел шиш.

Носильщики остановились, тупо глядя на возникшего на дороге, крепко расставившего ноги грабителя.

Невысокого роста, с густо-черным лицом, в огромном балахоне, на голове шляпа из гаоляновой соломки. В прорехи видна наглухо застегнутая черная одежда, за тугой широкий пояс заткнуто оружие в красной тряпиче, в которое крепко вцепился человек.

Шумно дышат замершие носильщики, обливаясь потом.

Выкладывай деньги! — продолжал кричать грабитель. — *Не то всех уложу!* — и похлопал по своему свертку на поясе.

Ван Вэнь первый достал из-за пазухи связку монет с дырками посередине, полученных за эту ходку, и бросил к ногам шиша. Ничего не поделаешь, остальные поступили так же, нашарили свои монеты и побросали их.

Грабитель ногами сгреб их в кучу, а потом воззрился на паланкин.

Эй вы, а ну-ка, все живо за эту штуку, иначе пристрелю! — рывкнул он, похлопывая по поясу.

Медленно и покорно носильщики скрылись за паланкин. Юй Чжаньао последним, свирепо оглядываясь и сверля глазами шиша. Тот переменился в лице и пробасил: *Не оглядывайся, а то стрельну!*

Осторожными мелкими шажками, не выпуская оружия, он приблизился к паланкину и рванул занавеску.

Девятка в своей новенькой одежде восседала в паланкине — черноволосяя, напудренная, грациозная, милая, очаровательная, свободная и безмятежная, как богиня Гуаньинь.

Носильщики впервые увидели, кого несли и над кем измывались, и свежая прелесть Девяточки повергла их в смятение.

Не зная, что предпринять, Юй Чжаньао опустил глаза.

Разбойник наклонился и, не выпуская оружия, сдвинул Девяткину тупельку. Девятка лучезарно улыбнулась, и человек резко, как ошпаренный, отпрянул.

Вылезай, живо за мной! — скомандовал он. Девятка продолжала сидеть с застывшей на лице улыбкой. *Слезай!*

Она приподнялась, перепрыгнула через поручни паланкина и встала перед залитым светом гаоляновым массивом. И смотрит

на шиша, не упуская из виду носильщиков и музыкантов.

Давай в гаолян! — приказал разбойник.

Девятка продолжает расслабленно стоять, озаряя улыбкой носильщиков.

Чуть дрогнула нога Юй Чжаньао.

Кто там шевелится? Прикончу! — свирепо рывкнул грабитель, хватаясь за оружие на поясе.

Юй Чжаньао и его парни замерли, глядя прямо перед собой.

Иди! — снова приказал разбойник. Девятка повернулась и вошла в гаоляновый массив. Разбойник зыркал глазами направо-налево, не двигаясь и держась за оружие.

Густой, прятный аромат. Раскачиваются стебли, и переплетающиеся метелки гаоляна словно пытаются ухватить Девятку.

Остановившись, она с вызовом взглянула на Юй Чжаньао. Его тонкие губы напряглись, уголки рта разошлись в стороны — один взлетел вверх, другой повис.

И не успел разбойник сделать шаг в глубь поля, как Юй Чжаньао с диким рычанием бросился на него...

Завопили носильщики и дудельщики, сорвались с места, замелькали кулаки, ноги, пали на землю истоптанные стебли...

Внимая скудным звукам столкновения тел, Девятка глянула раз на Юй Чжаньао и отвернулась к горизонту, запрокинув голову, на недвижном лице застыла все та же лучезарная улыбка.

Потрясая трубами, музыканты обрушили их на голову разбойника, вгоняя раструсы прямо в череп и не без усилий вытаскивая обратно. В животе его что-то булькнуло, тело судорожно дернулось, осело вниз и опрокинулось на землю. Сорвался с пояса красный узелок, и на солнце сверкнула голубоватая кобура испанского маузера, который тут называли «гусиной головой».

Мертв? — спросил музыкант, поднимая покоруженную трубу.

Забил! Туда и дорога этой твари!

Обессиленные парни вдруг встревожились. Немой недоуменно поднял «гусиную голову». Раздался выстрел, и пуля унеслась в поле. Перепугавшись, немой выпустил пистоль из рук, замычал что-то невнятное. Ван Вэнь вздрогнул и шлепнулся задом на землю.

Юй Чжаньао посмотрел на мертвеца, поднял глаза на товарищей, но ничего не произнес. Сорвал гаоляновые листья, вытер Девяткину блевотину в паланкине. Потом пошел за «гусиной головой», опасливо взял ее, осмотрел, затянул тряпицу туже и, размахнувшись, забросил в гаолян. В полете тряпица размоталась и отстала от «гусиной головы». Стебли гаоляна задрожали, как в лихорадке, когда падала в них «гусиная голова», а тряпица раскрылась большим

алым листом и, планируя, опустилась точнехонько на бледный лоб Юй Чжаньао...

Неожиданно поднялся ветер, небо над гаоляном раскололи кровавые молнии, заматались стебли, заходили волнами. И откуда-то из глубины поля снова всплыл тот смутный, странный древний плач...

Сразу опомнились носильщики и смятенно бросились прочь. Юй Чжаньао сунул красную тряпицу за пазуху, подхватил Девятку и пустился к паланкину.

Паланкин бежал, точно с места претупления.

Ветер жуткий, носильщики ног под собой не чувт, а паланкин на удивление покоен. С небесного полога, уже свесившегося до самой земли, пролился, грохоча, сильный дождь.

Он злобно замолотил по дрогнувшему гаоляну, по дороге, взметнув и тут же придавив мелкую пыль, по хлопающей крыше паланкина, по узорчатым туфелькам Девятки...

Широченные черные штаны носильщиков, намокнув, облепили ноги, и они все сразу постройнели. Сверкала умытая голова Юй Чжаньао, точно диск Луны, взошедшей перед Девяткиными глазами. Он был так близко от паланкина, и дождинки, ударяясь о его голову, отлетали на Девяткино лицо...

— С того дня и пошла на этом гаоляновом поле вся катавасия. Из той красной тряпицы, что попалась моему деду, соорудили набрюшник отцу. А уже в 1967 году, во время «культурной революции», братишка сварганил из него красную наруканную повязку хунвэйбина.

Девятка сидела, открывшись ударам дождя, не опуская занавески и даже не думая об этом. Через озаренный проем она видела большой и встревоженный мир.

Усадьба семейства Дань

Двадцатикомнатный дом окружен стеной с двумя распахнутыми воротами. В центре, разделенные стеной, два двора — восточный побольше, западный поменьше. В восточном была винокурня, в западном жили хозяева.

В западный двор внесли и поставили паланкин.

Капли дождя бьют по всему двору, наяривают музыканты, но свидетелей этой шумихе нет.

Носильщики обалдело следят, как два чах-

лых мужичонка уводят нежную Девяточку в мрачные покои...

Появился высохший старец с корзиночкой, полной медных монет, и жеманно выкрикнул: *Вознаграждение! Вознаграждение!* И, хватая монеты горстями, принялся разбрасывать по двору.

Мокрыми курицами стояли под дождем носильщики и музыканты с суровыми лицами, ни один не кинулся к монетам, только взглядом следили, как с плеском они падают в лужу.

Старик покосился на толпу, нагнулся и принялся сам подбирать из грязи монеты, одну за другой...

Гаоляновое поле

Девятка, покачиваясь, влачится по дороге, боком сидя на тонком одеяльце, притороченном к спине осла.

— На третий день после того ливня прадед принимал бабушку в отчет доме. В нашей деревне был такой обычай — через три дня вышедшая замуж дочь навещает родителей. Прадед оторвался от рюмки, лишь когда солнце вошло в зенит, и они с дочерью отправились из усадьбы Дань Тинсю домой.

Погромыхивая монетами в поясном кошельке, пошатываясь, с затуманенным взором, бредет Девяткин отец. Сморщив лоб, медленно шагает осел, отпечатывая на мокрой дороге следы крошечных копыт. Ни жива ни мертва сидит на нем Девяточка. Веки воспалены, волосы растрепаны.

Отец: *Ну, побудешь с матерью, доча, и возвращайся в дом Даней...* Девятка: *Я не вернусь к нему, отец, лучше умру...* — *Не хочешь допустить моего зятка до себя, ну что ж, пляши по лезвию ножа...* — *Он же прокаженный, отец...* — *Ты, дочка, везучая, умрет Дань Пяньлан, все хозяйство тебе отойдет...* — *Но он же в самом деле прокаженный, отец...* — *Твой свекор красно бает, одно его слово — и у твоей семьи появится черный осел...*

Направляемый поводьями, осел незаметно достиг лягушачьей канавы.

Мотает головой, втягивает ноздри, взбрыкивает, не желая идти дальше. Отец Девятки подстегивает его гаоляновым стеблем по задку и ногам: *«Двигай, дохлятина! Давай, ну, ты!»* Осел не решается идти вперед и пятится.

У дороги лежит труп разбойника, отвратительно смердя.

Девятка спрыгивает с осла, зажимает платочком нос и тянет осла за веревку. Тот задирает голову, скалится, в глазах стоят слезы. *Ослик, стисни зубы, пошли, нет неодолимых гор, нет непроходимых рек.*

Словно трогают ослика Девяткины слова, и он, взревев и вздернув голову, устремляется вперед, так что ее ноги не касаются земли, полы куртки развеваются, будто летящие алые облачка.

Зеленой тучей налетают злые мухи.

Отец ковыляет сзади, дорога, похоже, узка для него, он то ныряет в гаолян слева, то в траву справа. Споткнувшись о труп, охает, и губы начинают дрожать: *Бедная душа... Ах ты бедная душа... Спишь вот тут...*

Ослик бежал, пока не изнемог и не обрел вид весьма томный. Далеко позади остался отец.

В одном месте дорога делала небольшой изгиб, к которому ослик и подвез Девятку. И тут вдруг тело Девятки взмыло вверх, распрощалось со спиной ослика и могучим усилием было увлечено в глубину придорожного гаоляна. Только и успела она что издать короткий вскрик. Ослик облегченно замедлил шаг и скосил глаз, интересуясь, как это Девятка исчезла этак в зарослях.

Мужик в дождевой накидке, зажав Девятку в могучей подмышке, уносил ее, прихрамывая, в гаоляновые глубины. Откачнувшись, густой гаолян вновь смыкался, наглухо закрывая проход.

Яркое солнце слепило ее, рушился мир. Застигнутая врасплох, Девятка бессильно билась в руках. Над ней небо, под ней земля, ах, будь что будет, и она покорилась.

Сквозь шелест гаоляновых листьев несясь с дороги сиплый зов отца: *Дочка, куда ты подевалась?*

Человек положил Девятку на землю, она перевела дух, размякнув, как лапша, и приоткрыла глаза, испуганные, как у ягненка.

Сорвав черную повязку, человек открыл лицо.

Он! — воззвала Девятка к небесам, и мгновенные слезы затопили глаза. Не мигая, смотрел Юй Чжаньао на женщину, жертву, которую совсем недавно нес в смрадный дом Даней, а сейчас вновь возникшую перед его глазами, и в них вспыхнуло испепеляющее пламя.

Он сбросил свою накидку и принялся топтать гаоляновые стебли, устилая ими ложе на темной земле, а поверх аккуратно расстелил накидку.

Приподнял Девятку и легко перенес на накидку.

Душа ее воспарила.

Юй Чжаньао вдруг осел и рухнул перед ней на колени. Из глаз Девятки брызнули слезы, она медленно приподняла руку. Изпод рукава выскользнул свободно одетый на запястье витой серебряный браслет и сверкнул на солнце. Гулко забилося сердце, и в один миг выплеснулась наружу вся страсть ее восемнадцати лет.

Юй Чжаньао грубо рванул кофту, и на груди, покрывшейся маленькими белыми пупырышками озноба, заиграл солнечный луч. Острой мукой и счастьем резануло это сильное движение по нервам Девятки. *О Небо...* — глухо вскрикнула она.

Из космических бездн налетел ветер, и кроваво-красная молния сверкнула над гаоляном, стебли закачались, принялись ходить волнами. И вновь в гаоляновых глубинах возник тот же древний, странный плач...

— В тот день среди гаолянов мои дедушка и бабушка познали любовь — вспаханное поле оросил благодатный дождь. Спустя некоторое время родился мой отец.

С голубого неба, посверкивая на солнце, ниспадают струи дождя, проливаясь между стеблями, соединяясь с людьми, с гаоляном, небо укрывает их необъятным покрывалом.

— Моего отца называли ублюдком из лягушачьей канавы, а старая госпожа Тао Гуаньтоу говорила мне: твой отец на все способен, в пятнадцать лет стал убийцей, да, из десяти ублюдков вырастает девять негодяев.

Почему отец убивал, я еще расскажу, потерпите.

Девятилетний паренек в красном набрюшнике играет около старой могилы. Привязанный белоснежный горный баран привольно пасется на кладбищенской травке. Мальчик забирается на могильный камень и сердито пускает оттуда струйку.

В гаоляновое поле вонзается трубный рев осла.

Дождь стих, прекратился ветер, и Девятка с небес безумия вернулась на грубую землю, села, еще не ощущая себя, и по щекам заструились слезы. И сказала: *Он в самом деле прокаженный.*

Приподнявшись, Юй Чжаньао достает из-за пазухи Девяточки те самые нож-

ницы. Ты не дала ему прикоснуться к себе? — Три ночи,— всхлипывает Девяточка,— глаз не сомкнула, он же в самом деле прокаженный...

Юй Чжаньао с хрустом подрезает ножницами пару стеблей и высасывает из сочной мякоти темно-зеленый сок. Через три дня,— говорит он ей,— ты должна вернуться!

Один за другим они выходят из гаоляновых зарослей. На ходу Девятка приглаживает взлохмаченные волосы, укрепляет серебряной заколкой. Юй Чжаньао прокладывает путь, и высокие стебли, раздвинувшись перед ними, вновь смыкаются позади. Уже у самой дороги он отступает в сторону, придерживая гаолян, чтобы Девятка смогла пройти.

Она останавливается, снимает витой серебряный браслет, взглянув на Юй Чжаньао с улыбкой, надевает ему на руку и, больше не повернув головы, выходит из гаоляновых зарослей.

Юй Чжаньао медленно убирает руки, и стебли возвращаются в прежнее положение, скрыв их друг от друга.

Дождь, похоже, не протрезвил Девяткина отца, он качнулся в ее сторону, бормоча: Ты что же это так долго писала? А тут ветер рванул, и я ослеп, продуй-ка отцу глаза.

Ничего не понимая, Девятка глядела на гаоляновое поле. Потом она вскарабкалась на осла, и ослик продолжил свой путь по дороге, зажатой стеблями гаоляна, мерно позвякивая колокольчиком.

Над полем полетел разухабистый голос, загорланавший:

Девочка, не бойся, иди-шагай,
у меня чугунный кулак
да стальная челюсть во рту,
мы с тобой на ложе вдвоем,
никаких не надо шелков,
помутилася моя голова,
проясним-ка ее жбанчиком винца.

Ай да запевала! А ну, выходи, ни звука у тебя, ни тона, куда-то вбок понесло! — заорал отец, зыркнув в сторону поля.

Идет, покачиваясь, осел, и покачивается на нем Девяточка, а на лице ее поиграют солнечные блики.

Женская половина дома

Девятка отрешенно сидит в комнате, не прикасаясь к еде.

Глаза у матери полны слез при виде этой бесстрастной богини Гуаньинь, и она

начинает суетиться: Ну, старик, три дня прошло, а дочка так ничего и не ест, что делать, скажи?

Отец с похмелья косит: Жжет! Нелегко ей, куда навострилась-то? Подходит к дочери, хрипит: Что делать собираешься, девочка? Вышла за петуха, иди к петуху, а за кобеля — так и к кобелю. Я, твой отец, не какой-нибудь богатый чиновник, да и ты не позолоченный листок. А твоему свекру стоит слово молвить, и у меня черный осел будет, вот сила-то у него какая...

Девятка сидит неподвижно, прикрыв глаза.

Отец продолжает, осерчав: Нечего щуриться, тоже мне, глухонемая! Не помрешь, а помрешь, все равно останешься духом из семейства Даней. В нашей могиле для тебя уже нет места! Ешь и живо у меня возвращайся!

Девятка усмехается. Отец размахивается и отвечает ей оплеуху.

Кровь отливает от щек Девятки, лицо бледнеет, но через какое-то время вновь розовеет... Сверкнув глазами и ощерившись, она холодно смеется, с волчьей злобой глядя на отца: Вот погоди, может, еще и помру, будет тогда тебе черный осел!

Она опускает голову, хватая палочки и яростно сбрасывает на пол еще не остывшую еду, а затем отшвыривает пиалу. Та, перевернувшись в воздухе, врзается в стену и рассыпается на мелкие осколки.

Отец испуганно застывает с открытым ртом. Девочка моя,— запричитала мать,— это же пища! Девятка вызвала. Идти надо, Девяточка,— говорит мать.

Иду-иду-иду! — неожиданно вскакивает та, бросив взгляд в зеркало, срывает сеточку с волос на затылке, и они рассыпаются до пояса...

— Бабушка тогда еще не знала, что за эти дни жизнь ее совершенно перевернулась. Живет человек, и неведомо, когда конец его наступит.

Девятка забирается на осла и сидит на нем совершенно по-мужицки — раздвинув ноги.

— Возвращалась бабушка к событиям, смущающим душу. Избежать их было невозможно.

Боком надо сидеть, дочка,— говорит ей мать. Девятка толкает осла пяткой в живот, и тот отправляется в путь.

Близ усадьбы Даней

К низкорослому деревцу на берегу при-

вязана черная лошадка, на потнике четко выделяется седло. В некотором отдалении от лошади накрыт квадратный стол: чайник, чашки. За столом восседает начальник уезда Цао, вокруг толпятся сельчане, с испугом теснясь друг к другу. Десятка два солдат окружают толпу.

— Начальник Цао Мэнцзю был одной из выдающихся личностей нашего уезда. Имел немало пороков, загибов, оплошностей, да и сплетен о нем достаточно ходило по деревне, до сих пор еще пересказывают. В качестве орудия правосудия любил он использовать башмаки, за что и прозвали его Башмак Цао.

К развитию событий он имел прямое отношение, поэтому попробуем хоть как-то рассказать о нем.

Лохань, управляющий Даней, стоит, весь намоченный, перед большим столом. На двух досках под ивой в мутно-желтой грязной воде лежат трупы отца и сына Даней.

Девятка верхом на осле, спокойная и скорбная. Суетливость отца контрастирует с ее молчанием, как и его старость — с ее молодостью. Мокрый Лохань тупо глядит на Девятку.

Начальник уезда командует: *Сойди с осла, женщина, и отвечай.*

Девятка не реагирует, и хромой староста по прозвищу Пятая Мартышка орет: *Слезай! Господин начальник уезда приказывает тебе!*

Мановением руки начальник останавливает Мартышку. Встает и мягко произносит: *Женщина, сойди с осла. Я, начальник уезда, хочу задать тебе вопросы.*

Отец стаскивает Девятку на землю. Та встала как столб и молчит, зажмурившись.

Ничтожную, — дрожа, отвечает за нее отец, — зовут Фэнлянь, а по фамилии Дай, родилась на шестую луну в девятый день, вот и прозвали Девяткой. — Цыц! — рывкает начальник. Кто позволил тебе говорить! — набрасывается на Девяткина отца староста Мартышка. Безобразие! — начальник с такой силой хлопает по столу, что Мартышка и Девяткин отец съезжаются. После чего начальник вновь надевает на лицо маску милосердия и, тыча пальцем в лежащих под деревом Даней, вопрошает: Знаешь ли ты этих двоих, женщина?

Поблуднев, Девятка отводит глаза и молча кивает. *Это твой муж и твой свекор, — утрашающе поднимает голос начальник уезда, — они убиты!*

Девятка покачнулась и упала. Ее бросились поднимать, а руки-ноги не слушаются, заколки повискочили, и черным водопадом

низверглись длинные волосы. Лицо пожелтело, из горла вырвался то ли стон, то ли смех, и алая кровь брызнула из закушенной нижней губы.

Слушайте все! — вновь хлопает по столу Башмак Цао. — Я, начальник уезда, рассудил: женщина по фамилии Дай, слабая, честная, порядочная, едва узнав о горькой судьбе родных, заскорбела сердцем, зарыдала кровавыми слезами, распустила власы, убиваясь по близким. Могла ли эта добрая женщина задумать что-либо против супруга, убить близких своих? Староста Дань-Мартышка, у тебя, я вижу, нехороший цвет лица, не иначе опий покуриваешь да играешь азартным предаешься и как староста увлекаться других преступать указания начальника уезда, не жди пощады, к тому же произносишь грязные речи, клеветешь на непорочных, что усугубляет твои преступления. Я, начальник уезда, все вижу, во всем разбираюсь, и никакое зло не уйдет от ока закона. В убийстве отца и сына Дань, несомненно, повинен ты. Во-первых, ты жаждал имущества Даней, во-вторых, вожделем красоты женщины по фамилии Дай, для чего и замыслил свой план, дабы провести власти. Но ты просчитался, ибо размахивал топором у ворот великого плотника Лу Баня, поигрывал мечом перед генералом Гуань Юем, декламировал священное «Троесловие» перед лицом мудреца Конфуция, зачитывал «Оду лекарственным травам» перед великим врачомателем Ли Шичжэнем, и я распознал тебя!

Солдаты заломили старосте руку за спину и связали. Оговор, оговор, о святое Небо... — выкрикивал тот.

Начальник уезда Цао снял башмак и бросил ближайшему солдату: *Сто ударов по заднице, чтобы распалась на дольки, как арбуз!* Солдат поднял начальников башмак на толстой подошве и ткнул Мартышке в лицо: *Говори, убил? — Оговор, оговор, оговор... — Не ты, так кто же? — Это... Ой! Не знаю, не знаю... — Только что ты выглядел достаточно разумным, а сейчас отказываешься отвечать, давай-ка его башмаком!*

И солдат принялся вытягивать Мартышку башмаком, рассек губу, брызнула кровь, и тогда он забормotal: *Я скажу... скажу... Кто убил? Это... это... бандиты, Рябая Шея! — Ты навел? — Нет! Да, да, да, отец родной, не бейте меня...*

Все слышали, — молвил Башмак Цао, — с тех пор как я, начальник уезда, был назначен на этот пост, я, не щадя себя, бился над тремя грандиозными задачами: запретить опиокурение, запретить азартные игры, искоренить бандитов. Первые две в основном выполнены, осталась лишь последняя. Там результатов пока не видно. И посему призываю добрый народ всемерно сотрудни-

чать с властями, доносить о случившемся, проверять и раскрывать, дабы в единстве добиваться всеобщего спокойствия! Эта Дай законно вошла в семейство Дань и потому ныне наследует их имущество, а буде кто помыслит оскорбить слабую женщину, надеясь, что за нее заступится некому, станет рассматриваться как бандит!

Он достал платок и отер потную шею. Снял парадную шляпу и принялся рассказывать ее на пальце. Затем с натугой произнес: *Сельчане... сельчане... я, начальник уезда, всегда настаивал... запретить опиокурение... запретить азартные игры... искоренить бандитов...*

Раздались три ружейных выстрела. Из гаолянового поля по ту сторону затоки вылетели три пули и пробили три темные дырки в его покачивающейся на пальце парадной шляпе кофейного цвета, так что она совершенно фантастическим образом слетела с пальца, оказалась на земле и завертелась волчком.

Едва послышались выстрелы, по толпе прошел шорох и кто-то завопил: *Рябая Шея! Он, он, Феникс слетел!* — отозвалась толпа.

Начальник уезда проворно юркнул под стол и оттуда величественно воззвал: *Спокойствие! Спокойствие!* Толпу охватили вопли и стоны — все бросились враспынную.

Солдат отвязал черного коня от ивы, подвел к начальнику и помог ему вскарабкаться в седло. Тот с силой прищпорил коня и черным дымком исчез. Солдаты, беспорядочно отстреливаясь, кинулись за ним, точно осиный рой.

На краю затоки воцарилась удивительная тишина.

Окаменело суровое лицо Девятки, она погладила ослика по голове и повернулась в ту сторону, откуда прилетели пули. Отец ее, зажав уши обеими руками, замер под ослиным брюхом. Лохань продолжал стоять, как стоял, лишь одежда, высыхая, исходила паром.

Вода в затоке — гладкая, как бумага, и белые лотосы с огромными, как слонови уши, листьями, спят на ее поверхности.

Избитый башмаком, с посиневшим носом и вспухшим лицом, староста Мартышка вопил не своим голосом: *Отпустите меня! Отпустите! Спаси, Рябая Шея!*

Будто по зову Мартышки, снова раздались три выстрела. Девятка собственными глазами видела, как три пули впились в затылок старосты. Трижды встрепенулись его волосы, и затем голова поникла, подбородок обвис, а затылок вздернулся к небу, и вытекла белая с черными вкраплениями жидкость.

Девятка не переменялась в лице, все тем же остановившимся взглядом упираясь в гаоляновое поле, откуда летели пули, будто ждала чего-то. Порыв ветра взрыбил затоку, закачались лотосы, искривилась полоса лежащего на воде солнечного света.

От поля отделился высокий человек. Шел, огибая затоку. На нем соломенная дождевая накидка, большая шляпа из листьев гаоляна, выкрашенная тунговым маслом в оранжевый цвет и украшенная по канту связкой стеклянных бусинок, шея повязана черным шелковым платком. Он приблизился, глянув мельком на труп Мартышки, подобрал парадную шляпу начальника уезда Цао и, крутанув дулом маузера, с силой отбросил. Завертевшись и очертив дугу, она упала прямо в заводь. Человек взглянул прямо в глаза Девятки, и та не отвела взгляда.

Дань Пяньлан спал с тобой? — спросил он. — *Спал. — Мать его!* — выругался человек, повернулся и пошел прочь...

Девятка продолжала стоять с каким-то подобием улыбки на лице.

Затока вновь успокаивается, а ветерок приносит клекот диких голубей.

Лохань медленно приближается к Девятке и чуть слышно зовет ее: *Хозяйка.* Девятка не реагирует. Лохань смотрит на ее лицо и спустя мгновение повторяет погромче: *Хозяйка...* Девятка неподвижна.

Отец вылезает из-под ослиного брюха. Неуверенно делает шаг вперед, голова, лицо — все в грязи. И произносит: *Ха, верно! Хозяйка! Девятка, беды сменились счастьем, начальник уезда все их хозяйство передал тебе. Детка, дочь моя родная.* Девятка не двигается, и он хватает ее за плечо: *Взгляни же на меня, детка, это твой родной папа.*

И вдруг Девятка как проснулась. Зло отбросила отцову руку. И выпалила: *Не нужен мне такой отец, ты выгнал меня! — Я твой отец! — Ты мне не отец! Запрещая тебе приходить ко мне. Прочь! Прочь!..*

Вся горечь последних дней выплеснулась в этом выкрике.

Отец испуганно отпрянул и бросился прочь, таща с собой осла и изрыгая проклятья: *Ублюдок! Ничтожный ублюдок! Ублюдок, не ведающий своих предков! Не признавать собственного отца — много ли ты тут выгадаешь! А как нам с матерью нелегко было растить тебя...*

Во дворе дома Даней

Вечер, флигель в восточном дворе. На большом кане, вытянутом с юга на север, лежат вповалку парни, на все лады толкуя о событиях дня, в паузах вторгаются

какое-то несурзное пиликанье на скрипочке хуцинь.

В головах кана сиротливо сидит, подперев щеку, Лохань. Перед ним — лампа под стеклянным колпаком. Из дырки в жести вьется керосиновый дымок. Свет настолько слаб, что видны лишь ноги Лоханя, а лицо остается в тени.

Всхлипывает женщина. Лохань прислушивается и бросает в глубину кана: *Перестань пиликать, немыгь!* Скрипочка взвизгивает и замолкает. Голоса стихают, и отчетливой доносится плач.

Все выходят из дома, смотрят через стену на западный двор — он пуст, лишь в центре чернеет какая-то фигура на цветастом одеяле.

Новая хозяйка? Молодая, а сколько пережить пришлось.— Там же прокаженный жил, вот она и не решается в дом войти...

Лохань поворачивается к Ван Вэнь: *Тащи-ка вино.*

В темноте на одеяле, снятом с хребтины осла, всхлипывает Девятка. Услышав шаги, поднимает голову, и в свете лампы слезинки на лице посверкивают, как стеклянные бусинки. В упор смотрит на Лоханя. Ну точно плачущая богиня Гуаньинь.

Лохань подходит, поднимает чашу, набирает в рот глоток вина и, мотая головой, брызгает на Девятку, пугая ее. Отпив глоток, продолжает брызгать и приговаривает: *Гаоляновое вино убивает заразу, но все-таки будь осторожна, хозяйка.*

Обрызганная ароматным вином, Девятка под тусклой лампой посверкивает жемчужинками слез и улыбается Лоханю.

Тот чуть не роняет чашу с вином.

На следующий день. С десяток парней сгрудились во дворе.

Ясноглазая, причесанная Девятка выглядит уже совсем иначе. Откидывает прядь волос со лба, оправляет одежду и непринужденно обращается к собравшимся: *Прошу вас, ребята, я молода, в хозяйстве не разбираюсь, только и надеюсь на вашу помощь. Брат Лохань, ты больше десяти лет у Даней, без тебя и вина не сделаем. Зачем нам людей обижать — односельчан наших, купцов пришлых, давайте лучше продолжим торговать своим вином. Завтра все вместе примемся за уборку, загасим огонь под котлом, разожжем костер, и пусть горит все, что может сгореть из старых вещей, а остальное закопаем. Дня за три закончим. Ну как, пойдет, брат Лохань?*

Слушайте, что велит хозяйка,— говорит тот. Девятка продолжает: Может, кто не хочет работать? Я не заставаю! Парни,

переглянувшись, соглашаются: *Повкальваем, хозяйка.*

Больше не зовите меня хозяйкой,— просит Девятка, — я ведь из бедняков. У нашего котла не будет ни больших, ни малых, зовите меня Девяткой!

Лохань подает ей чашу с вином, в котором лежит связка ключей: *Хозяйка, эти ключи трижды прокипели в вине.— Держи, брат, эти ключи при себе,— отвечает Девятка, — мое хозяйство — это наше общее хозяйство.*

Растерянный Лохань не знает, что и сказать.

Не отказывайся, брат, сходи-ка прикупи немного извести, почистим двор. И пусть ребята притащат вино, обрызгаем в комнатах, во дворе, по всем темным углам.— Так сколько же вина уйдет! — восклицает Лохань. Девятка отвечает: Сколько уйдет, столько уйдет.

— Бабушка с детства занималась вышиванием, большой была мастерицей, да и общалась все больше с женщинами, и откуда только взялся такой твердый характер — ума не приложу! Всякий раз я вспоминаю бабушку с чувством преклонения, она воистину творила, и игла в ее руках была золотой.

По сравнению с тобой, бабушка, внук твой — что тощая вошь, три года голодавшая.

Парни притащили вино и поливают направо и налево.

Одурманенная винным духом, Девятка весело смеется.

Спальня Девятки

Побелены заново стены, застлана свежая постель, занавески и вся комната благоухают вином.

Подложив ноги под себя, Девятка сидит на кане перед окном, заклеенным свежей белой бумагой. Берет ножницы, красную бумагу и принимается вырезать цветы для окна...

В затейливых поворотах ножниц возникают цветы...

Девятка режет бумагу, как вдруг слышит скрип отворяемой двери и чужой, но такой знакомый голос: *Работники нужны, хозяйка?*

Ножницы падают из рук на кан.

Буря чувств смутила покой, и, уронив ножницы, она обмякает на новом одеяле, расшитом фиолетовыми цветами.

Почуяв запах извести, обновившей комнату, и горячее дыхание женщины, Юй Чжа-

ньо решительно распахивает дверь: *Ну как, хозяйка, человек нужен?*

Девятка лежит на одеяле с затуманенным взором.

Отбросив свой тючок, Юй Чжаньао медленно приближается к кану и склоняется над Девяткой. И когда до ее лица остается уже совсем чуть-чуть, она вдруг размахивается и вlepяет ему пощечину. Вскривается, хватая ножицы и сердито выкрикивает: *Ты, ты кто такой? Нельзя же так! Не знаю тебя, врываешься в чужую комнату да еще этакий, себе на уме!*

Юй Чжаньао оторопел и отступил на шаг: *Ты... ты в самом деле не узнаешь меня? — Бессовестный, еще полмесяца не прошло, как я вышла замуж, откуда мне знать тебя!*

Юй Чжаньао смеется: *Ну, не знаешь, не надо, тебе, говорят, люди в винокурне нужны, а я как раз иду работу, есть-то надо! — Ладно, коли работы не боишься, так и сойдег. Звать-то тебя как? Как кличут? Сколько лет? — По фамилии я Юй, по имени Чжаньао, лет мне двадцать девять.— Хватай свой тючок и вали отсюда.*

Флигель восточного двора

В углу большого кана Юй Чжаньао, расплескивая вино, приподнимает большую, грубого обжига, чашу: он уже хмелен.

— Дедушка не понимал, отчего бабушка не хочет признать его, правда, она хоть и молода, да мудра не по годам, себе на уме, вовсе не так покладиста, как кажется, и такое с ним обхождение, возможно, лишь для посторонних глаз? Прошло, однако, полмесяца, а он ни разу не смог поговорить с ней накоротке, бабушкино лицо оставалось суровым, бросит ему пару слов — и все. А уж о чем другом он и думать не смел.

Большой кан в проходной комнате, усталанный гаоляновой соломой, озарен светом луны из двух окошек в восточной стене. Посреди кана стоит низенький столик, за которым четверо парней режутся в карты, а другие наблюдают. Хлопают карты, кто-то вскрикивает; колеблется, убегая к потолку, дымок над лампой. Трубоч Лю в кружке света штопает одежду.

На дверном порожке, прижимая подбородком дешевую скрипочку хуцинь, сидит немой и задумчиво смотрит на лунную дорожку во дворе, где посверкивают, будто какие драгоценности, большие чаны из цветной глазури.

Разнообразные звуки сливаются в один шум. *Немгырь*, — с криком вскакивает победитель, — *сыграй-ка нам что-нибудь для бодрости духа!* Немой поднимает смычок, и хуцинь приглушенно рыдает, и трепещут в ответ сердца.

Эта вьедливая мелодия унылой скрипочки раздражает трубача Лю, и он хрипло подпевает: *Бедный бродяга, рубаха порвалася, некому зашить...*

Пусть Девятка зашьет тебе! — Девятка? Не знаю, какому стервятнику достанется мясо этой лебедушки.— Да у нас тут все, стар и мал, мечтают отведать этого мясца, а там и смерть нипочем.— Э, слышал я, она еще в девицах переспала с Рябой Шеей! — Коли так, Даней-то кончил не кто иной, как Рябая Шея? — Поменьше болтай, поменьше, у дороги сболтнешь, а в траве кто-нибудь слышит!

Из темноты посмеивается Юй Чжаньао.

Чего оскаллился? — поворачивается к нему Ван Вэньи. Раззадоренный вином, Юй Чжаньао бухает: *Да я и кончил! — Допился! — Я допилсЯ? Сам ты пьян! Убил — я! Он приподнимается и достает из котомки, висящей на стене, кинжал в ножнах, в свете луны блеснувший, как серебристая рыбка. И, с трудом шевеля языком, продолжает: Говорю вам... я с хозяйкой... давно уже переспал... в гаоляновом поле... а ночью подпалил и... раз ножом... и еще раз...*

Народ примолк, Ван Вэньи дунул на лампу и загасил фитиль. В сумраке комнаты еще ярче засверкал кинжал в лунном луче.

Ну, на боковую! Спозаранку за вино примемся!

Юй Чжаньао вскакивает на кане, сжимая кинжал в правой руке, а левой вцепившись кому-то в воротник, и пьяно шурясь, орет прямо в лицо: *Не веришь? Ну, так я пойду к ней, гляди...* Парни попытались отнять у него кинжал, со смехом уговаривая: *Ладно, ладно, в постели эта штука не понадобится!*

Юй Чжаньао размахивает руками, серебряная рыбка сверкает в лунном луче, а он бормочет: *Ты... ты, мать твою... штаны подтянула и уже не узнаешь... покорного буйвола из меня сделать хочешь... не так-то это просто... вот я сегодня ночью... прирежу тебя...* Он сползает с кана, сжимая кинжал, и, спотыкаясь, бредет наружу, а из тьмы парни широко открытыми глазами следят, как холодно поблескивает сталь в его руке, и никто не решается издать ни звука.

Во дворе Юй Чжаньао смотрит на белеющую дорожку лунного света, на ряды посверкивающих, что твои драгоценности, глазурированных чанов. Южный ветер несет щемящее дыхание гаолянового поля, и ему становится зябко. Он карабкается на стену,

только тень мелькнула, и в мгновение ока оказывается на западном дворе, тяжело шлепнувшись к подножию стены.

Западный двор дома Даней

В парадной комнате горит свет. Слышится голос Девятки: *Зажги фонарь!* Бокковой флигель освещается, и жена Ван Вэнь выходит с фонарем из дома. Во дворе появляется Девятка, в длинной белой рубашке, зеленых штанах и красных туфельках. Яркий свет луны высвечивает в углу под стеной копошащуюся тень.

Она берет фонарь у жены Вана и узнает неприглядную физиономию Юй Чжаньао. *Ах, это ты!* — усмехается холодно.

Юй Чжаньао, не в силах подняться, ползет, извиваясь, по земле, продолжая сердито выкрикивать: *... Ты, мать твою... штаны подтянула и уже не узнаешь... гаоляновое поле... забыла, как стала со мной... мать твою... я и сегодня хочу...*

Девятка засмушалась Вановой жены. По-мрачнев лицом, пробормотала: *Пойди позови Лоханя.* Жена Вана уходит с фонарем.

У стены что-то блеснуло, Девятка нагнулась — ба, тот самый ее витой серебряный браслет! Повертела в руках и сунула к себе в широкий рукав.

Не успела матушка Ван отворить ворота, как ворвался Лохань с лампой: *Что случилось, хозяйка?* — *Да вот, парень напился.* — *Напился.* — *Дай-ка палку, матушка Ван,* — попросила Девятка.

Ванова жена подала ей тонкий, в палец толщиной, ствол иквы с ободранной корой. *Он у меня протрезвеет!* — заявляет Девятка. И, размахнувшись, врезает Юй Чжаньао по заднице.

Ещё, ещё и ещё...

В жгучей боли тот неожиданно ощутил какую-то наркотическую сладость, она сжала ему горло, раздвинула зубы и обернулась бессвязным бормотаньем: *Матушка, матушка, матушка... матушка... матушка.*

Устав, Девятка опускает палку, с трудом переводя дыхание. *Отдохни,* — предлагает ей Лохань, — *давай я поучу.* — *Гони его.* Лохань волочит Юй Чжаньао, тот и не сопротивляется, лишь бормочет: *Матушка... ещё палкой... ещё палкой... ещё...*

Отшвырнув палку, Девятка уходит в дом.

С помощью двух парней Лохань уносит Юй Чжаньао обратно на восточный двор.

Во флигеле восточного двора

Парни кладут Юй Чжаньао на большой кан в проходной комнате. Тот катается по кану, как дракон, бушующий в океане, встает на руки этакой стрекозой, сметает все

напрочь со столика и при этом орет и хохочет.

Лохань посылает немого за вином, наполняет металлический чайник и, пока парни придерживают руки-ноги Юй Чжаньао, сжав ему щеки и раздвинув зубы, вставляет носик чайника в рот. Вино с бульканьем вливается в рот Юй Чжаньао, стекая по уголкам губ. Тот отчаянно отбивается, но вскоре смиряется.

Ребята отпускают руки, и конечности Юй Чжаньао обвисают, голова крениится вбок — ни звука, ни дыхания. *Уж не помер ли?* — пугается народ.

Лохань подносит лампу.

Юй Чжаньао, гримасничая, с силой выдыхает воздух. Лампа гаснет.

— К тому времени мой отец в бабушкином животе уже подрос до размера кожаного мяча, и понимающий народ стал шушукаться на эту тему. Бабушка делала вид, будто ничего не происходит, по-прежнему игнорируя деда. Отчего она не признавала деда, в наших семейных преданиях ничего не сказано, да и не стоит копать, а то еще, может, престиж семьи подорву. Человек что травка по осени, проживает свой век, а после себя оставляет память, огромную, как небо.

С того времени Юй Чжаньао каждый день напивался вдрызг, валялся на земле, и трудно было поднять, видят ли что-нибудь его глаза и смеются ли губы...

У Девятки прибавление? — подхихикивает Ван Вэнь, когда его жена приносит братве поесть. Покосившись на мужа, та отвечает: *Как бы тебе язычок не подрезали, смотри!* — *Дань Пяньлан-то еще мог, оказывается!* — *Вовсе не обязательно старый хозяин.* — *Что гадать! При ее-то характере хозяйчиком ли Даням прилипнуть к ней? Не иначе как Рябая Шей.*

Юй Чжаньао выскакивает из кучи хвороста и, размахивая руками, орет: *Да я же это! Ха-ха, я!*

Все поворачиваются к нему и тоже хохочут. Юй Чжаньао прыгает как ненормальный, а потом заваливается на землю и засыпает...

Задний двор дома Даней

Яркая звездная река и ясная луна на небе. Набегают тучки, луна тускнеет, спит Данева усадьба под этой припогашенной луной.

— На девятнадцатый день седьмой луны восемнадцатого года Республики, то бишь

1929 года, Рябая Шея умыкнул мою бабушку. На следующее утро ночные похитители передали, что в винный котел надо положить выкуп в тысячу серебряных даянов, иначе подбросят ее мертвой к кумирне на восточный околище. Лохань обшарил все сундуки и отнес деньги, а через три дня встречал бабушку.

Ночную тишину внезапно разбили три четких выстрела, и по улице зацокали копыта. *Феникс, Рябая Шея...* — в страхе закричали вокруг.

После чего наступила долгая тишина.

В комнате Девятки

Стукнула дверь, пинком распахнутая Юй Чжаньао.

Девятка бочком сидит на кане, рядом Ванова жена утирает слезы, в стороне спокойно стоит Лохань. От Юй Чжаньао разит как от буйвола, и винный душок крутится вокруг его головы, но держится он крепко, испепеляя взглядом Девятку. Взлохмаченная, с черными кругами под глазами, та поднимает смеющееся лицо и глубоко вздыхает, глядя на Юй Чжаньао.

Непостижимо загадочная эта улыбка вызывает дрожь во всем его теле. Лишь спустя время смог он процедить сквозь зубы: *Рябая Шея был непочтителен с тобой?*

Девятка кивнула, и из глаз брызнули слезы. *Что? Он опозорил тебя? — Он... Лапал...* — опустила голову Девятка. *А ребенок? —* спрашивает Юй Чжаньао. Девятка отрицательно качает головой.

За окном шуршат листья гаоляна, комната заполняется духом гаолянового вина.

Юй Чжаньао было шагнул, но потом повернулся и вышел.

Гаолян, без конца и без края, широко раскачивается на ветру.

— Дед залег в лягушачью канаву и не показывался оттуда семь раз по семь — сорок девять дней, и никто не решался отправиться в это чертово гаоляновое поле на розыски, да ведь там и не отыщешь. Поговаривали, будто он упражнялся в стрельбе. Там он бросил тот пистоль, что отнял у разбойника, когда тащил бабушкин паланкин. Пистоль этот впоследствии оказался самым тесным образом связан с нами, вплоть до «большого скачка» 1958 года, когда вся страна варила сталь да чугун, — он был расплавлен в домне и прекратил существование.

Хижина с тремя комнатами в конце деревни, под стрехой полощутся на ветру два истрепанных трактирных флажка, на одном написано «вино», на другом «собачатина».

Юй Чжаньао с корзиной для навоза в руках направляется в лавку, где торгуют собачьим мясом.

В мясной лавке

— Мясную лавку держал Ху Эр, прозванный Корейской Дубинкой, он побратался с Рябой, Шеей и промышлял заготовкой собачатины. Как-то раз на постоялом дворе он за минуту порешил собаку, и с тех пор при виде его у собак шерсть дыбом встает, они оглушительно лают, но приблизиться к нему не решаются.

Мясная лавка представляла собой одну просторную комнату без перегородок, грубо сколоченный прилавок делил ее на две части, там, внутри, были широкий кан, печь с котлом, большой чан. Во внешней части — кривоногий, покарябанный квадратный стол, за которым и восьмерым хмельным бессмертным не было бы тесно, а вокруг в беспорядке наставлены узкие скамьи. В южную стену вбит ряд железных крюков, на которых развешены бесстыдно оголенные собачьи туши, еще влажные от крови. Грязный прилавок заставлен обливными глиняными кружками, над ними висят винные черпаки.

С обратной стороны к прилавку прислонена кухонная доска из грушевого дерева, в целый цунь толщиной. Парни из лавки как раз разделявают на ней сочащуюся кровью тушу, стуча так, будто хотят искромсать дерево. На кане валяется мужик — это и есть Ху Эр.

Вина, хозяин! — кричит Юй Чжаньао, плюхаясь на скамью, и ставит свою корзину к ногам. Ху Эр и пальцем не шевелит, лишь зыркает серыми глазищами.

Хозяин! — повышает голос Юй Чжаньао.

Отбросив собачью шкуру, Ху Эр сползает с кана. Поправляет черную шкуру, покрывает ее белой. На стене Юй Чжаньао видит развешенные собачьи шкуры — красная, желтая, рябая.

Ху Эр достает с полки бурого цвета миску и выплескивает туда черпак вина. *А чем закусьвать?* — спрашивает Юй Чжаньао. *Собачьей башкой!* — бурчит Ху Эр. *Я хочу мяса!* — *Есть только голова!* — *Голова так голова!* — соглашается Юй Чжаньао.

Ху Эр откидывает крышку, и Юй Чжаньао видит собаку, целиком сваренную в котле. *Я хочу мяса!* — кричит Юй Чжаньао.

Не обращая на него внимания, Ху Эр ищет нож. Со стуком рубанул по шее, так что супные брызги полетели во все стороны, отсек голову, вонзил в нее железный шампур.

Я хочу мяса! — грозно повторяет Юй Чжаньао. *Жри давай или проваливай!* — бросает Ху Эр, швыряя собачью голову на прилавок. *Нарываешься?! — Да угомонись ты, паценок!* — *Тоже туда же, к мясцу?* — *Рябой Шее оставлено.*

Глянул Юй Чжаньао на Ху Эра и, не произнося больше ни слова, принялся за голову. Проглотил зрачок, высосал мозг, сжевал собачий язык, щеки, запивая вином. Посмотрел на тонкие, заостренные кости, встал, рыгнул.

Один даян, — сказал Ху Эр. *У меня только семь медяков. — Один даян!* — *У меня только семь медяков. — Чего ж сюда приперся, паценок?* — *У меня только семь медяков.* — И Юй Чжаньао собрался идти, но Ху Эр, выскочив из-за прилавка, обхватил его. В проеме двери возникли силуэты, и ввалились мужики в дождевых накидках. Во главе — высокий человек, одетый в черную атласную куртку на тугих застежках, в широченных шароварах, подшитых внизу черной лентой, в матерчатых туфлях с прошитыми носами. На длинной грубой шее виднелось большое, с ладонь, пятно белой кожи. Это и был Рябая Шея.

Что происходит, Корейская Дубинка? — спросил он. *Да вот тут один решил пожрать на дармовщинку!* — ответил Ху Эр. *Отрежьте ему язык!* — мрачно велел Рябая Шея.

Брат, да это же тот малый, кто постреливал на гаоляновом поле, — заметил кто-то за его спиной. Тот оценивая его взглядом Юй Чжаньао и вдруг, выбросив вперед руку, приставил три пальца ко лбу. Юй Чжаньао недоуменно смотрел на него.

Одиночка? — разочарованно покачал головой Рябая Шея. *Я носильщик паланкинов. — Жердиной кормишься,* — презрительно бросил Рябая Шея. — *А со мной повольничать не желаешь?* — *Нет.* — *Так чего ж ты расстрелялся?* — холодно усмехается Рябая Шея. — *Из чего стреляешь?*

Юй Чжаньао придвинул свою корзину, достал из нее ту самую «гусиную голову» и показал Рябой Шее: *Плохо стреляю.*

Рябая Шея взял маузер, заглянул в ствол, потрогал курок и говорит: *Недурная штука, а научись, что станешь делать?* — *Убью Цао Мэнцзю. — Месть?* — *Было дело, отвесил мне триста подметок.*

Рябая Шея поднял руку и — бах-бах-бах! — выпустил три пули, потом перебрал пистоль в левую руку и еще три. Юй Чжаньао так и сел на пол, зажав голову, и завопил. Бандиты заржали.

Ну, малый, — удивился Рябая Шея, — *эткий зайчишка, а человека убить задумал. Иди да покрепче бабу свою держи, малый!* —

говорит Рябая Шея. — *Мне надо наловчиться стрелять, чтобы убить Цао Мэнцзю. — Жизнь этого большого человека, начальника уезда, в моих руках, когда надо, тогда и проучим,* — отвечает Рябая Шея. *Так что ж я, зря стараюсь?* — обиженно ворчит Юй Чжаньао.

Ну что ж, — смеется Рябая Шея, — *упражняйся! Отдаю тебе Цао Мэнцзю. Научишься — мне меньше работы останется.* — И Рябая Шея швыряет пистоль. Юй Чжаньао неловко пытается поймать его, а тот падает на пол, ствол забивается землей. Растерянно поднимает, обтирает полкой.

Бандиты гогочут, а Рябая Шея орет: *Вали отсюда, молодой еще, язык пригодится с бабой лизаться! Поменьше болтай, когда отсюда выйдешь.* Юй Чжаньао кладет пистоль в корзинку, поднимает ее и поспешно направляется к выходу.

Бандиты рассаживаются за стол, когда Юй Чжаньао у дверей выхватывает свою «гусиную голову» и семью пулями четко укладывает семерых, окружающих Рябую Шею. Брызжут мозги, смешиваясь с кровью.

Ничуть не испугавшись, Рябая Шея стоит посреди конвульсирующих тел и восхищенно восклицает: *Здорово бьешь!* За его спиной на разноцветных собачьих шкурах дрожат солнечные зайчики.

Окаменел Ху Эр со своими парнями.

Лапал мою бабу, Рябой? — *Твою бабу?* — удивился тот. *На седьмую луну, девятнадцатого дня, ты похитил мою бабу. — Ха, с винокурни-то?* — *Ты лапал мою бабу?* — *Не касался я бабы, с которой спал прокаженный. — Повернись. — Бей сюда,* — показывает Рябая Шея на сердце. — *Тяжело смотреть, как раскалываются головы!* — *Ладно,* — соглашается Юй Чжаньао.

Сбитые семью пулями, одна за другой валяются на пыльный пол семь красных и желтых шкур позади Рябой Шей.

— Это и была стрельба по «семи цветкам», в чем так хорошо натренировался дед, но мне до сих пор не ясно, каким образом он отыскал на гаоляновом поле этот пистоль, как сумел за такой короткий срок научиться стрелять. Перед смертью, в 1976 году, я расспрашивал его, но он не стал отвечать.

Рябая Шея продолжал стоять неподвижно. Юй Чжаньао бросил пистоль в корзину, повернулся и пошел к двери.

Рябая Шея медленно тянется к своему пистолету, но рука замирает.

Не повернув головы, Юй Чжаньао выходит.

В комнате Девятки

Девятка боком сидит на кане, неловко изогнувшись. С распущенными волосами, в смятении духа.

Входит Лохань, приближается к кану: *Сегодня получише, хозяйка? Та вяло усмехается. Все прибрано, во дворе, в закромах,— докладывает Лохань,— гаолян нынче уродился на славу, пора приступать, а ты, хозяйка, побереги себя.* Помолчав, добавляет: — *О том парне ничего не слышно, в общем-то, при котле он каждый день напиается как свинья.*

Девятка смотрит на него, никак не реагируя.

Сегодня разжигаем котел,— продолжает Лохань,— хозяйка не хочет взглянуть? Развеешься. Девятка выпрямляется: *Приду, уже несколько дней не подходила к котлу.*

Лохань помогает ей прилечь. Размягшее тело Девятки сгибается, будто валится ему на грудь, и тот смущенно убирает руки. *Не зови меня больше хозяйкой, брат,— просит Девятка.— Только ты один и не можешь никак привыкнуть.— Да хозяйка,— отвечает Лохань. И оба хохочут.*

Винокурня

Клубится горячий пар.

Одну сторону занимают две огромные, по метру с лишним, деревянные бадьи — ну, словно пагоды точеные. Под ними — котлы, дно бадей — мелкое бамбуковое решето. Разбившись на две группы, восемь парней в одних только набедренных повязках шуруют деревянными лопатами, зачерпывая из чана зеленую закваску, разбрасывая душистый гаоляновый сырец, вываливая все это в дымящиеся бадьи, и пар, отыскав щель, тут же стремится вырваться наружу.

Вот сегодня наконец,— говорит Девятка,— увижу, как гаолян превращается в вино.

Лохань пододвигает ей скамейку, предлагает сесть. Ребятам приятно, что пришла Девятка, даже Лохань преобразился, каждому хочется показать себя.

Гудят поленья в топке, кипит вода в котлах, из бадей с силой рвется пар. Четверо парней шуруют лопатами, зачерпывая зеленую закваску из чана, разбрасывают душистый гаоляновый сырец, вываливают все это в дымящиеся бадьи, и вода бурлит, гоня гаолян по бадье. Парни, шурующие лопатами, следят, как новая порция гаолянового сырца успокаивает пар.

Лохань тут совсем другой человек — сметливый вожак, парни только успевают поворачиваться. Те, кто следит за огнем, неустанно подбрасывают дрова в две топки, и пламя неистовствует, доставая до днища котла. В двух больших котлах бурлит вода, свистит пар, прихотливо устремляясь вверх, и свист слива-

ется с дыханием ребят. Они ставят к бадьям жбаны для вина, а пар в котлах тем временем иссякает, и лишь пламя в топках потрескивает, да бадьи на котлах переливаются беловато-оранжеватыми красками. Какой-то неопределенный, то ли уже винный, то ли еще нет, чуть сладковатый дух несется из бадей.

Холодной воды,— командует Лохань. Парни встают на лавку и вливают в чаны для вина по два ведра холодной воды, а один палкой, похожей на весло, помешивает в чане, и в нос Девятки шибает винный дух.

Принимай вино,— предупреждает Лохань. Двое ребят, воценой бумагой промаслив жбаны, ставят их на вытягивающиеся из чанов желоба, напоминаящие утиные клювы.

Девятка приподнимается, вливаясь взглядом в эти желоба. Паренек швыряет наскипидаренную щепу в топку, и пламя вспыхивает с оглушительным треском, из топки вырывается белый язык огня, озаряя потный живот парня.

Меняй воду,— командует Лохань. Двое парней бросаются на двор и тащат ледяную колодезную воду. Парень, помешивающий со скамьи, поворачивает кран в бадье, и кипяток с бульканьем устремляется наружу, а ему на смену льют холодную воду, продолжая с рвением размешивать.

Огромный котел тревожно затихает, и по знаку Лоханя ребята наваливаются каждый на свой участок. Не без волнения наблюдает Девятка за их работой.

Все крепче винный дух, тонкие струйки пара рвутся из щелей деревянной бадьи. Девятка видит, как что-то блеснуло на оловянном желобе, начинает расти и медленно сползает, собираясь в светлую каплю, похожую на зрачок, и скатывается в жбан.

Меняй воду, подбавь огня! — кричит Лохань. Парни таскают свежую воду, краны в бадье отвернуты до предела, снизу выливается горячая, сверху льют холодную, бадья сразу же подогревает ее, а пар густеет, охлаждаясь, и устремляется в отверстие для слива вина. *Принимай первая!* — орет Лохань. Парни дружно останавливают работу.

Лохань берет пять бордовых чаш из грубой глины, подставляет их под желоб, и первая чаша наполняется молодым вином. Стекающее по желобу гаоляновое вино прозрачно, горячо, исходит паром.

Помолимся Богу вина... — возглашает Лохань. Парни сдвигаются поближе, каждый берет по чаше, наполняет ее молодым вином. Большое панно на восточной стене словно пропитано тысячелетним винным духом — это изображение Ду Кана, покровителя вина.

Вслед за Лоханем ребята приближаются к божеству и останавливаются перед ним. Чинно ждут, пока первую чашу, наполненную первым, Лохань почтительно поставит к его

стопам. Передавая им четыре пустых, Лохань торжественно набирает воздуха и отчетливым голосом начинает «Песнь Богу вина»:

Первая чаша хорошо пошла,
щеки золотит — пей! Пей! Пей!
Чаша вторая хорошо пошла,
раздвоился мир — пей! Пей! Пей!
Третья чаша хорошо пошла,
где право, где лево — пей! Пей! Пей!
Выпьешь десяток, и уже святой —
пей! Пей! Пей!
Ну и гаоляновая —
хмель да смех,
вкривь да вкось,
реки вспять,
ах, красота,
а ну, еще вина, еще вина, еще вина —
пей! Пей! Пей!

Под хор голосов — пей! пей! пей! — Лохань одну за другой швырял пустые чаши к изображению божества, и они со звоном разбивались на кусочки, а когда допели до последнего «еще вина», все высоко подняли свои чаши, с силой сдвинули, а затем опорожнили, запрокинув головы...

По всему помещению распространился винный дух, Девятка обалдело следила за этим действием. Лохань взял еще одну чашу, налил молодого вина и подал ей: *Отведай-ка первача, хозяйка.*

Та сначала принялась, попробовала язычком, пригубила, ощущая необыкновенную радость в душе, сделала три больших глотка, после чего решительно запрокинула голову и опорожнила всю чашу. Сразу покраснела, глазки заблестели, похорошела — взгляда не оторвать.

Парни оторопело уставились на нее. *Ну сильна, Девяточка!* — воскликнул трубач Лю. *Никогда раньше не пила,* — застыдилась она. *Не пила, а так глотнула,* — восхитился Ван Вэнь, — *потренируешься — весь жбан выдурешь.*

И пошли с бульканьем наполнять жбан за жбаном, выстраивая их в ряд вдоль стены...

В этот миг из тьмы, никем не замеченный, возник Юй Чжаньао. Лохань и все остальные оторопело примолкли. Девятка повернулась к исчезнувшему и столь фантастично возникшему Юй Чжаньао и покачнулась, чуть не свалившись.

Заволакивая комнату, плыл белый пар. *Где пропал столько времени, братец?* — спросил, очнувшись, Ван Вэнь.

Надменный победитель Рябой Шеи не удостоил его ответом, покосился на Лоханя, распустил штаны и, надувшись, помочился в жбан с вином.

Все онемели. Парни тупо следили, как струя звонко летит в жбан и по винной поверхности расходятся узоры.

Помочившись, Юй Чжаньао ухмыльнулся в сторону Девятки и, качаясь, подошел к ней, неподвижной, изощедшей красными пятнами. Облапил, вплепил поцелуй. Девятка мгновенно побелела и, не удержавшись на ногах, плюхнулась на скамью.

В животе у тебя мой ребенок? — спросил, распаяясь. *Признаешь, значит, твой...* — ответила она, и на глазах выступили слезы.

Глаза Юй Чжаньао сверкнули, тело напряглось, как у пятидесятилетнего осла, он скинул с себя рубаху и говорит Девятке: *Гляди, чан опростало! Мне все равно,* — заплакала Девятка, — *не буду смотреть, хочешь помучиться — мучайся!*

В курильне это считалось самой тяжелой работой. Когда вино все стекало, чаны сдвигали, пробивали отдушину, открывая темно-коричневую, обжигающую барду. Юй Чжаньао взял лопату и, встав на табурет, принялся вышвыривать барду в корзину. Движения у него были короткие, будто двигались только руки. Торс раскраснелся от горячего пара, по спине стекали ручейки пота, крепко отдававшего вином.

Лохань устался на сидящую в слезах на скамье Девятку.

Над Юй Чжаньао вьется белый пар. Он словно большая красная рыбина среди белых волн.

Во дворе Девяткина дома

Ночь, нависло темное небо.

Лоханю не спится, в одиночестве бродит по двору. В привычном винном духе вдруг улавливает какой-то иной, более крепкий аромат. Идет на запах и натывается на тот самый жбан, в который помочился Юй Чжаньао. От жбана исходит головокружительный аромат.

Лохань осторожно переносит его в южную комнату, запирает двери, плотно притворяет окна, подкручивает фитиль на масляной лампе. Берет черпак, наполняет его вином, медленно переворачивает, и оно сливается зеленоватой струйкой.

— Злой умысел нередко оборачивается счастливой находкой. Так получилось и с гаоляновым вином, которое готовила наша семья. Свой особый вкус оно обрело после того, как дед помочился в жбан. Смешавшись с мочой, вино как-то необыкновенно преобразилось. По-научному я не в состоянии это объяснить.

Зачерпнув немного, Лохань пробует вино языком, решительно делает глоток, бежит за водой, чтобы ополоснуть рот, потом отпивает обычного вина и сравнивает. Вино с мочой оп-

ределенно превосходно. Лицо его невольно покрывается пятнами.

С воодушевлением схватив жбан, он высказывает наружу.

Какая радость, хозяйка! — подскочив к Девяткиной двери, барабанит в нее и возбужденно орет Лохань.

Зажигается свет, открывается дверь, растрепанная, полуодетая Девятка показывается на пороге, за ее спиной маячит полуголый Юй Чжаньбао, разгоряченный, словно генерал, сокрушивший противника...

Не ожидавший увидеть его в спальне хозяйки, Лохань в первое мгновение теряет дар речи. А та, как ни в чем не бывало, приглаживает волосы, оправляет одежду и говорит ему: *Да, брат, сегодня большая радость. И улыбається, обернувшись к Юй Чжаньбао. Даже при тусклом свете лампы видно, как красит их молодое возбуждение.*

Взяв себя в руки, Лохань объясняет: *Я об этом вине, хозяйка! Я, Лохань, уже больше десяти лет при этом котле, но такого замечательного вина у нас еще не было. Поздравляю, Девятка,* — ставит жбан, поворачивается и уходит.

— В тот же день вечером Лохань исчез. Поговаривали, будто у них с моей бабушкой что-то было, иначе к чему было исчезать, увидев моего деда в спальне бабушки. А я так считаю: даже если была у них любовь и забирался он к ней в постель, корить-то за что? Забирался — так что с этого? Я верю, что бабушке никто ничего не мог запретить.

А дедушка Лохань пропал на девять лет, и увидели его вновь лишь в тот день, когда пали люди.

Девятка остолбенела, в первый раз услышав от Лоханя «Девятка»...

Посреди двора стоит жбан превосходного вина, источая аромат. А Лоханя уже и след простыл...

Гаоляновое поле

Десятки лошадей волокут каменные катки, бревна, гравий, вальки, снуют по полю... Прокладывают дорогу. По обе стороны уже порушены стебли, лежат зеленым ковром. Ослов тянут люди, а кое-где люди тащат и катки, поскольку скотины не хватает. Резво мчится, подпрыгивая, землистого цвета грузовик...

— И вот явились японцы.

На двадцать седьмом году Республики, то есть в 1938 году, японцы согнали мирных жителей на сооружение дороги. Строили ее долго, а к тринадцатому дню седьмой луны добрались до лягушачьей канавы.

Отцу стукнуло девять, и все, что тогда случилось на гаоляновом поле, он видел своими глазами.

Под коваными крагами рушатся, рушатся нежные стебли, а затем по ним проходятся, утрамбовывая, катки да вальки...

Мелькают катки, вальки, бревна, колеса грузовика, копыта скотины, краги японцев да матерчатые туфли китайцев, все перемешивая в какую-то темно-зеленую массу, надвигающуюся зеленой тучей. Над землей стоит густой аромат растерзанных побегов.

Полдень. Там и тут группки согнанных на поле людей. Перекур, перекус. Парни с винокурни тут же. Солнце шпарит до изнеможения. По уже законченному участку дороги мчится землистого цвета грузовик, издавая резкие гудки. По обнаженному пространству разбросаны вальки да катки, к которым привязаны ослы и лошади. Валяются срезанные стебли. Скотина безучастно жует пожухлые листья.

Японские солдаты обедают вокруг привезенного грузовиком котла. С ними и китайцы, из сотрудничающих. Позади котла сидит длинномордая овчарка с подрезанными ушами и, свесив язык, наблюдает за подневольными. Рядом с Девяткой — мальчик в красном набрюшнике. Дергает ее за рукав: *Ма, я хочу риса. Смахивая грязь с лица, та отвечает: Японский рис невкусный, вот вернемся домой, Доугуань, мама даст тебе гаоляновой каши.* Лицо, измазанное грязью, кажется уродливо-старым.

Улучив момент, какой-то парень, лет двадцати, сигает в гаолян, но пуля настигает его. Он корчится на крошке поля и замирает.

Подвешенного к дереву дохлого осла суетливо свежуют Ху Эр со своими подручными из мясной лавки. Рядом разводят костер — шесть-семь японцев собираются полакомиться жареным.

Парни вокруг осла выпрямились, рванув ему копыта к небесам и залив всю морду кровью. Губы разодрались, открыв, словно в усмешке, белоснежные квадратные зубы, с двух боков обвисла кожа, надрезанная Ху Эром, и вывалились кишки, привлекая тучи зеленых мух... От страха ли, усталости, мастер Ху Эр тяжело дышал, обливался потом, и капли стекали вниз, пробивая ямки

в почерневших пятнах крови на поверхности земли.

Вдруг все заволновались, глядя в сторону. Четверо японцев тащили двух окровавленных людей. Доугуань увидел что-то совершенно бесформенное, головы бессильно болтаются, ноги волочатся по земле, вычерчивая извилистые узоры.

Японцы подвели их рядом с ослом, и ветка прогнулась под тяжестью окровавленных тел. Головы запрокинуты, лиц не видно, носы кровоточат. На шее у одного отчетливое белое пятно.

Рябая Шея! — ахнул кто-то, и все побежали, грудаясь вокруг висевших. Доугуань почувствовал, как мать вцепилась в его плечо. Юй Чжаньбао, показалось мальчику, задрожал.

Не глядя по сторонам, Ху Эр продолжал свежевать осла. Рука натолкнулась на кость и вздрогнула от хруста. Что-то прокричал японский офицер. Толмач с квадратной головой надвинулся на Ху Эра: *Ну что, закончил? — Сейчас, сейчас, господин офицер. — Ты держал мясную лавку? — Выколачивал кое-какую монету, так, чтобы с голоду не помереть. — Ослов свежевал? — спросил толмач, лоя муху. — Свежевал. — А коров? — Свежевал. — И собак? — Ну, маленько. — А человека сможешь?*

Ху Эр побледнел: *Господин офицер шутит? — Кто шутит? —* толмач напрягся лицом и ткнул пальцем в Рябую Шею, висевшего рядом с ослом: — *Свежий.*

Ху Эр со стуком уронил нож на землю. *Быстро! Чего стал? — Го...го...сподин о...о...фицер,* — задрожал Ху Эр.

Японец опять что-то бормотнул. Солдаты содрали с Рябого одежду, принесли ведро воды. *Сейчас вы увидите, как сдирают кожу с человека!* — крикнул в толпу толмач. — *Так кончит каждый, кто будет против императорской армии!* Потом он повернулся к Ху Эру и рявкнул: *Господин сказал, что ты должен хорошо все сделать, а не то овчарка разорвет тебя!*

Ху Эр согласно забормотал, подергав веками, взял нож в зубы, поднял ведро и окатил голову Рябого. Тот очнулся, дернул головой, и кровь заструилась по лицу, по шее вниз. Намочив тряпку, Ху Эр обтер его. Солнечные блики задрожали в пятне на шее. Вытирая, Ху Эр извивался: *Брат... Почти не разжимая губ, Рябой прошептал: Заколи меня, брат. За гробом, у Желтых источников, не забуду твоей милости.*

Японец что-то прорычал. *Начинай скорей!* — перевел толмач.

Ху Эр переменялся в лице, короткими толстыми пальцами сжал плечо Рябой, Шеи: *Нет другого выхода, брат... И всадил нож*

ему в грудь. Обмытое тело Рябого дернулось и обвисло!

Японец свистнул, и овчарка свирепо ринулась вперед. Ху Эра словно подменили, крошечные глазки округлились, как у собаки, и он, вспомнив свою профессию мясника, в лучшем виде продемонстрировал перед сельчанами свое мастерство. Сверкнула сталь, и в мгновение ока уши, лапы, хвост овчарки оказались в руке Ху Эра, а то, что у нее осталось, превратившись в какой-то баклажан, принялось с диким воем кататься по земле.

Потрясая всеми этими окровавленными конечностями, Ху Эр разошелся вовсю: *Вот так всех ваших предков удаляю, японские суки, псы дикие!* Прогревели выстрелы, и Ху Эр упал на землю, стукнувшись лысым черепом, и его тело сразу сжалось в маленькую фрикадельку.

На миг примолкли вороны, побурели и почернели лицами люди.

Японец что-то прокричал. Толмач двинулся к Хуэрову подручному: *Берись за дело. И ткнул пальцем во второго висящего: Свежий его.*

Малый плюхнулся на колени, и, закрыв ладонями лицо, зарыдал: *Пощадите... господин офицер!* Несколько сверкающих штыков метнулись к нему, слегка кольнули, и рыдания тут же прекратились. *А ну, давай, не то заколем.*левой рукой парень взялся за нож, правой за ведро и, сопровождаемый штыками, шатаясь, двинулся к висящему.

От ведра воды тот очнулся и дернул головой.

Лохань! Брат Лохань! — закричали в толпе, и тут же были остановлены штыками. Лохань приподнял голову — лицо у него распухло, глаза превратились в крохотные щелочки, из которых били два темно-зеленых луча.

Доугуань почувствовал, как холодные пальцы Девятки, впившись, чуть не проткнули ему плечо. Тяжело задышал и заклацал зубами стоявший рядом Юй Чжаньбао.

Свежий, живо! — закричал толмач. Парень крутился на одном месте, пытаясь что-то сказать, Доугуань видел маслянистый пот у него на лице и глаза, бегающие с быстротой курицы, клюющей рис.

Японский офицер вновь рявкнул. *Быстренько!* — перевел толмач, и штык придвинулся к шее парня. Тот овладел собой, взял нож и, будто пилой, резанул по голове Лоханя. Дождевыми каплями брызнула кровь. Душераздирающе закричал Лохань, изможденное тело задергалось в воздухе.

Парень отбросил нож, упал на землю и зарыдал. Но штыки тут же остановили плач. Он дополз до своего ножа и неуверенно двинулся в сторону Лоханя. Тот ругался, и от его брани люди поднимали головы.

Брат... брат... — прошептал парень, — *потерпи...*

Прямо в лицо ему выхаркнул Лохань сгусток крови. *Режь, мать твою, свежую.*

Люди пали на колени, и плач сотрясал землю...

Доугуань услышал, как Юй Чжаньао рядом с ним тихо запел «Песнь Богу вина».

Первая чаша хорошо пошла,
щеки золотит — пей! Пей! Пей!
Чаша вторая хорошо пошла,
раздвоился мир — пей! Пей! Пей!
Третья чаша хорошо пошла,
где право, где лево — пей! Пей! Пей!
Выпьешь десяток, и уже святой —
пей! Пей! Пей!

Парни из винокурни начали подпевать. *Замолчите! А то будем стрелять!* — раскричался толмач. Но «Песнь Богу вина» крепнет.

Ну и гаоляновая —
хмель да смех,
вкривь да вкось,
реки вспять,
ах, красота,
а ну, еще вина, еще вина, еще вина —
пей! Пей! Пей!

— Одни говорили, что дедушка Лохань был у бандитов, другие — у коммунистов, иначе не стал бы таким героем. В истории уезда записано: на двадцать седьмом году Республики японцы согнали четыреста тысяч человек на строительство дорог, уничтожили огромные площади полевов, в деревнях вдоль дорог не осталось ни одного осла. Крестьянин Лю Лохань был схвачен, когда под прикрытием ночи железной лопатой подрубал ноги ослам и лошадям. Назавтра японцы у лягушачьей канавы в назидание всем содрали с него кожу живьем. На лице его не было страха, он ругался не переставая, пока не умер.

Парень-мясник свихнулся. Руки-ноги заходили, на губах появилась пена, он залопотал, закричал: *Братбратбрат... господин офицер велел, и я не осмелился... После смерти ты в парадном халате, с золоченой плетью вознесся на Небо на белом коне с резным седлом...*

Во дворе дома Даней

Поднимается серпик луны, низко-низко висит на ветках засохшего дерева. Двор затих.

Тут все парни с винокурни, мрачные, собрались во дворе, мерцают фитильки, отбрасывая длинные тени на лица и фигуры. Посередине пустое пространство — там квадратный стол, на столе высокие свечи и жбан с вином.

Перед столом стоят Юй Чжаньао и Девятка. У него потемневшее лицо, неровное дыхание. На ней серебристо-белая батистовая кофта, лицо спокойно, в глазах слезы. *Девять лет назад,* — говорит она, — *когда брат Лохань ушел от нас, он оставил этот жбан. Он сказал, что стоило десять с лишним лет заниматься винокурением, чтобы получить такое вино...*

Девятка опускается на колени, отбивает тройной поклон перед жбаном. Встает и, зачерпнув пригоршню вина, выпивает, к лицу сразу приливает кровь, распространяясь по щекам.

На колени! — приказывает она Доугуаню. — *Отгесь поклон своему дяде Лоханю.* Тот падает на колени и кланяется. *Выпей глоток.* Доугуань делает глоток. Узкие глаза Девятки излучают такой свет, что мальчик не решаетесь посмотреть в них, он вновь вытягивает руки и зачерпывает вино, оно стекает между пальцев, капая на землю.

Юй Чжаньао достает несколько чаш, ставит в ряд на стол. Торжественно берет жбан и щедро разливает по чашам. *Это вино, которое готовил сам брат Лохань,* — говорит Девятка, — *пусть мужчины выпьют, а на рассвете уничтожат грузовик с японскими дьяволами.* Она поднимает чашу и выпивает вино. Юй Чжаньао поднимает свою и опрокидывает в себя. По очереди подходят трубач Лю, немой, Ван Вэньи, остальные и выпивают по чаше. По двору распространяется дух гаолянового вина, фитильки начинают потрескивать.

Юй Чжаньао поднимает корзинку для навоза, забитую слежавшейся, уже побуревшей пылью. И, поднимая пыль, вытряхивает все на стол.

Три раза перевернувшись, вываливаются «гусинья голова» и кучка почерневших патронов. Юй Чжаньао рукавом сметает грязь с маузера. *Хочешь быть человеком, оставься им до конца,* — говорит он, — *провожаешь Будду, проводи до самого западного неба. Ну, послужи еще раз!*

Окружившие стол парни видят, как он сгребает пули, очищает от черноты, и они начинают золотисто посверкивать. *Не тот ли это пистоль из лягушачьей канавы, брат?* — восклицает Ван Вэньи. — *Как это он снова попал к тебе в руки?* Наклонившись над столом, все разглядывают «гусиную голову». Юй Чжаньао улыбается: *Долгая история, вот закончим с японским грузовиком, расскажу.*

Трубач Лю хватает «гусиную голову», отпрыгивает в центр двора, засовывает пистоль

за пояс, вздернув голову, кладет на него руку и кричит, подражая разбойнику: *Гони выкуп!* Раздается дружный смех. Ван Вэнь и остальные строят рожи, вспоминают, что было в тот день, склоняя головы, сгибаясь, пятясь, а трубач Лю с еще большим напором кричит им: *Эй вы, все у меня за паланкин, не то пристрелю!* И похлопывает по оружию за поясом.

В улыбающихся глазах Девятки посверкивают лучики. Немой тоже издает какие-то звуки, хватая ребят за руки, тянет во флигель восточного двора, куда складывали всякое старье, роется там, вытаскивает что-то громоздкое. Тот самый паланкин — за девять лет он потемнел, продырявился, ребра искривились, как высохшие кишки, но на коромыслах, пропитанных потом, по-прежнему отблескивает закатное солнце...

Все умолкают.

Подаются вперед, ощупывают коромысла паланкина, приподнимают занавески, каждый непроизвольно встает на то место, где находился в тот день. Немой приходит в восторг. Обмениваются взглядами, потом смотрят на Девятку и смеются.

Юй Чжаньао вскакивает и громко кричит: *Музыканты, начинайте!* Трубач Лю откликается на высокой ноте, откуда-то сзади вытаскивая ту самую трубу, с которой никогда не расставался. Под потрескивания язычков пламени труба посылает в ночь горделивый зов.

Носильщики тех лет приходят в волнение, поднимают на плечи этот старый, посеревший паланкин и кружат вокруг Девятки, остановившейся в центре двора. Покачиваются локти, вверх, вниз, и из грубых глоток вырывается возбужденная песня:

Добрый конь все цепи разорвет,
Добрый меч прикончит всех солдат,
Доброй чаркой снимешь оговор,
Добрый куш героя соблазнит,
Добрый смех чиновника уймёт,
Добрым словом обретешь страну.

Прижимая к себе Доугуаня, Девятка следует за паланкином, делает вид, будто ее тошнит, как тогда, хохочет не переставая. И кричит: *Пощадите, братцы...* Все больше возбуждаясь, они принимаются невпопад бормотать слова, фразы, сочные ругательства, памятные с тех времен. Юй Чжаньао сгибается в три погибели...

Трах! — лопается коромысло паланкина, и, тяжело дыша, его со смехом опускают на землю. Не торопясь, Девятка выходит вперед, садится в паланкин. Протягивает руку, нежно поглаживает пожелтевшую обивку и долго молчит, глядя на выцветших дракона и феникса.

Смех замирает, все смотрят на нее, не произнося ни слова. Девятка опускает за-

навески, с них сыплется пыль. Темно-красные занавески прячут Девятку, лишь носки туфель выглядывают.

Носильщики беззвучно глядят на них, на Юй Чжаньао, будто ждут чего-то. Юй Чжаньао подходит к паланкину, нагибается и, чуть прикасаясь, задвигает эти маленькие, точно неоперившиеся птенчики, ножки внутрь паланкина.

Полумрак паланкина скрывает лицо Девятки, но два кристаллика слез медленно выкатываются из глаз...

Гаоляновое поле

Клубится густой туман, сдвигая границы между небом и землей, скрадывая предметы. Дорога через лягушачью канаву уже проложена, вдоль нее струится полупрозрачная дымка, да с обочин шуршат из тумана листья гаоляновых стеблей.

По дороге, растянувшись ленивой змейкой, шагают парни с винокурни, человек десять. Кое у кого оружие, примитивная пушечка, дробовики, мотыги, жерди от паланкинов да секачи. Пушку-самоделку, способную метать гири, несут братья Фан, немой тянет двадцатишестизубую борону, которой можно заровнять широкую полосу земли, за поясами — длинные ножи с темно-зелеными налетами на лезвиях, в руках у Ван Вэньи дробовик с бордовым ложем, на поясе кожаный патронташ. Юй Чжаньао заткнул за пояс свою «гусиную голову», в руках держит корзинку для навоза, рядом с ним Доугуань несет в левой руке четырехзубые грабли, а правой крепко вцепился в отцову одежду...

Последние клочья тумана быстро улечиваются, открывая неровную, причудливой конфигурации колонну. Они идут убивать — убивать японцев как собак.

И вдруг что-то меняется в воздухе, ухо Доугуаня улавливает резкий свист, а затем как будто что-то с треском рвется. *Кто стреляет, ребята,* — кричит Юй Чжаньао, — *кто выстрелил?* На мгновение люди задерживают дыхание, слушая свист дробинки, осыпающихся в неизвестность. И затем — ужасный вопль Ван Вэньи: *Брат Чжаньао, безголовый я, брат Чжаньао, ах я, безголовый...*

Обомлев, Юй Чжаньао пинает его: *Паскуда, безголовый трепач!* Доугуань подается вперед и видит бесформенную физиономию Ван Вэньи, на щеке что-то красное. *Дядя, у тебя кровь.* — *Доугуань, ах, Доугуань, глянь-ка, голова-то у дяди пока на месте? — На месте, дядя, все как надо, только от уха кровь течет.* Ван Вэньи потрогал окровавленное ухо и запричитал: *Изувечили, брат Чжаньао! Изувечили меня!* Юй Чжаньао резко останавливается, хватая Ван Вэньи за

горло и сдавливает: *Не ори, не то придут!* Ван Вэнь примолкает. *Куда ранен?* — спрашивает Юй Чжаньао. *В ухо...* — всхлипывает Ван Вэнь. Юй Чжаньао вытягивает из-за пояса белую тряпицу, с треском разрывает ее на две полоски и протягивает Ван Вэнь: *Не помрешь, прикрой-ка.*

На ровном слое гравия, устилающего дорогу, никаких следов — ни буйволиных, ни лошадиных, ни человеческих. Зловеще примолк гаолян на обочинах.

Вот тут и закопаем, — говорит Юй Чжаньао. — *Немтырь, давай борону.* Немой снимает с плеч проволоку, скручивает четыре бороны. Мычит, подзывая людей в помощь. Они закапывают борону зубьями вверх, открывая только их острые кончики, и затем присыпают их пылью.

Юй Чжаньао делает какие-то знаки немому, тот кивает и уводит половину людей в гаолян. Ван Вэнь хочет пойти с ними, но немой толкает его обратно. *Ты не нужен немтырю,* — говорит ему Юй Чжаньао, — *не ходи, пойдешь со мной, не страшно?* — *Не страшно...* — мотает головой тот. — *Не страшно...*

Оставшихся Юй Чжаньао уводит в противоположную сторону. Командует мастером установить пушку среди стеблей, напротив дороги. И говорит трубачу Лю: *Слушай, трубач, как откроем огонь, ты, что бы ни произошло, труби во всю мочь, чтобы япошки испугались, понял?* — *А что надо играть в бою?* — спрашивает трубач. — *Я умею только «Одна кобыла, одно ружье».* — *Что хочешь, тут важно шумнуть. Запомни, во всю мочь.* Трубач обеими руками сжимает свою трубу, как винтовку.

Кто хочет посволочиться, — обращается ко всем Юй Чжаньао, — *давай сейчас, а коли в деле струсите — зашибу.*

Все ложатся среди стеблей, глядя на дорогу. Фан Лю достает табак, затягивается. Юй Чжаньао, потянув носом, предупреждает: *Убери, япошки учуют, стрелять начнут.* Тот жадно делает пару затяжек и прячет табак. Все явно нервничают и лежат, держа руку на оружии, будто враг уже близко.

Фан Ци подходит к пушке, прилаживается, щурит левый глаз, целясь. Фан Лю достает из кармана длинную трубку, срывает крышку с высушенной тыквочки, набитой порохом, и начинает заталкивать порох в трубку. Вставляет трубку в ствол, по которому она скользит, поскрипывая. Насыпает туда же горсть дробинок, вынув их из узелка. Фан Ци длинным шомполом заталкивает выпирающие из ствола порох и дробинок. *Шумишь?* — замечает Юй Чжаньао. *Заряжаю. Тише не могу.*

Доугуань лежит рядом с Юй Чжаньао, и тот спрашивает: *Боишься?* — *Нет!* — *Правильно,* — говорит ему Юй Чжаньао, — *как и твой отец! Будешь моим связным, от*

меня не отходи, что скажу тебе, тут же неси тем, через дорогу. Доугуань кивает. С завистью смотрит на «гусиную голову» за поясом Юй Чжаньао. И выдыхает одно только слово: *Пистоль!* — *Хочешь?* — *Хочу,* — кивком подтверждает мальчик. *Держи,* — Юй Чжаньао вытаскивает его из-за пояса и отдает сыну, — *и орудуй им, как я.* Доугуань обеими руками принимает маузер и сжимает его.

Восходит солнце, окончательно рассеивая туман.

С «гусиной головой» в руках Доугуань ныряет в гаолян и перебегает на другую сторону дороги.

Поджав ноги, сидит немой, блестящим зеленоватым камнем затачивая длинный нож. Остальные лежат где попало. *Велят приготовиться,* — передает немому Доугуань. Тот кидает на мальчика и продолжает затачивать нож. Потом подсекает несколько стеблей, затем убирает точило и, пробуя нож, срывает траву. *Велят приготовиться,* — повторяет Доугуань.

Немой вкладывает нож в ножны, кладет рядом с собой. Замечает у Доугуаня «гусиную голову» и машет ему: *подойди.* Тот осторожно приближается, и тогда немой, резко выпрямившись, хватается мальчика, пытается вырвать у него маузер, но Доугуань вцепился мертвой хваткой. В пылу борьбы кусает него, и тот рычит от боли.

Парни вокруг хохочут. *Ну, точный Юй Чжаньао.* — *Семя, брошенное Юй Чжаньао.* — *Я хочу твою мать, Доугуань.* — *И мне бы куснуть два ее торчащих финика.*

В смущении и гневе Доугуань направляет на них маузер и нажимает на курок, раздается щелчок, но выстрела нет. Посерев, парень бросается на Доугуаня, чтобы отнять маузер. В дикой злобе мальчик бьет его ногами, кусается. Немой отбрасывает Доугуаня, и тот, отлетая, ломает стебли, ползет, изрыгая проклятья, вскакивает около него. Но тот издает предостерегающий звук. Доугуань смотрит на позленевшее от гнева его лицо и замирает. Немой делает какие-то жесты, сопровождая их бормотаньем.

Ты что это там бузил? — спрашивает Юй Чжаньао. *Они...* — оскорбленно тянет Доугуань, — *хотят спать с моей мамой.* — *Что ты сказал?* — у Юй Чжаньао каменеет лицо. *Я стрельнул в них!* — трет глаза Доугуань. *Стрельнул?* — *Да не было выстрела.* Он протягивает отцу «гусиную голову». Юй Чжаньао берет револьвер, открывает магазин, и на ладонь выпадает пуля — с отверстием в доннышке, проделанным бойком. Он размахивается, и пуля по дуге отлетает прочь. *Ладно! Пистоль направим сначала в японцев, побьем их, а уж потом, если кто*

осмелится заявить, что хочет спать с твоей матерью, ты выстрелишь ему в низ живота. Не в голову и не в грудь, запомни, бей прямо в низ живота.

Рядом с Юй Чжаньао — заплаканный Ван Вэньи с перевязанным кровоточащим ухом. Юй Чжаньао неуклюже замотал ему полголовы. От боли тот клацает зубами: *Ой, не жить мне... ой, не жить...*

Великая у тебя судьба! — утешает его Юй Чжаньао. *Вся кровь вытечет, сражаться не смогу!* — *Вонючка, да это ж комариный укус. Про своих трех сыновей забыл, что ли?* Ван Вэньи опускает голову, бормочет: *Не забыл, не забыл.*

За спиной у него длинноствольный дробовик с красным ложем, на задку подвешена коробка с порохом.

— Отец рассказывал, что жена Ван Вэньи родила ему трех сыновей, на гаоляновой кашнице они хорошо росли. Но однажды, когда Ван Вэньи со старухой мотыжили гаолян, а ребята играли во дворе, их убила бомба с японского самолета.

В истории антияпонской борьбы нашей деревни эта битва у лягушачьей канавы занимает свое место, и помнись ее будут всегда. За день до смерти в семьдесят шестом году дедушка повел меня на гаоляновое поле и долго стоял там, даже не опираясь на мою руку.

Солнце поднялось уже на три стебля, а все еще было тихо, широкая дорога безжизненно лежала посреди гаоляна.

Эта тишина стала тревожить Юй Чжаньао. Все выше, уменьшаясь в размерах, поднималась пальцею солнце, и Юй Чжаньао, матерясь, завопил: *Эй, поднимайтесь, япошки сегодня явно не появятся.* Все давно притомились и ждали этого зова. Не успел он отзвучать, как все задвигались. Кто сел, закуривая, кто пошел отлить.

С ножом в руках немой подошел к Юй Чжаньао, какой-то подавленный, с остановившимся взором, он потыкал пальцем в солнце, которое уже приближалось к зениту, опустил руки и показал на дорогу, совершенно пустую. Затем ткнул себя в живот, бормоча и протягивая руки в сторону деревни. Юй Чжаньао поразмыслил мгновение и закричал: *Все сюда!* Перемахнув через дорогу, люди собрались вместе.

Односельчане, — обращается к ним Юй Чжаньао, — *еще и полдня нет, подождем чуток, ну, до полудня, а не будет машины, пойдём, вернемся на другой день. Отдыхайте в гаоляне, я пошлю Доугуаня за обедом. Доугуань!* Тот поднимает лицо на отца. *Беги домой, скажи матери, пусть блинов рас-*

катает и в полдень приносит, сама пусть несет.

Доугуань бежит по гаолянному полю...

Спят братья Фаны, звучно похрапывая, вяло полеживают остальные, постанывает Ван Вэньи, все с тем же замотанным наполовину лицом.

Увидев Доугуаня, Юй Чжаньао спрашивает: *Сказал?* — *Мать говорит, сделает из хорошей муки с луком и яйцами. Принесет вместе с тетушкой Ван.* — *Лекарство в дом — болезни вон,* — поворачивается Юй Чжаньао к Ван Вэньи, — *дождешься своей женушки, сразу голова болеть перестанет.* Ван Вэньи хмыкнул: *Даже она не вернет мне уха.*

Зачерпнув грязь из канавы, Юй Чжаньао кидает ее в лицо Фан Лю. Тот недоуменно привстал, смачно зевая, смахивает слезинки с глаз. *Япошки?* — *Мать твою!* — орет Юй Чжаньао. — *Не смей спать! Не успеешь выстрелить — пощадь не жди!* Фан Лю тормозит брата, заряжает порох, насыпает дробь... И восклицает: *У, сколько пороха, ну долбанет, полетят япошки в небеса!* *Поди-ка взгляни, что там дядя немой делает,* — велит Юй Чжаньао сыну.

Девятка с блинчиками, жена Ван Вэньи с ведрами бобового супа поспевают вперед — две стремительные птицы в пустоте замершего воздуха. Девятка переоделась в темно-красное платье, блестят, смазанные маслом, черные волосы. С весьма важным видом шествует тетушка Ван.

Тщательно заточив нож, немой смотрит на Доугуаня и смеется, обнажая зубы. Остальные, развалившись, не замечают мальчика. А ему плевать, не торопясь, выходит на дорогу. Она уже раскалена до белого каления. Зубья бороны, перегородившей дорогу, нацелились в небо и, конечно, думает Доугуань, полны нетерпения.

Мальчик присаживается на обочине, переводит взгляд с неба на землю, на восток, на запад...

И никто не видит, никто не слышит, как беззвучно приближается тот самый землесто-желтый грузовик, по форме напоминающий жука...

Будто по знаку неких тайных сил Доугуань замечает одновременно и грузовик, и Девятку.

Грузовик, — бормочет он, но никто его не понимает, он поворачивает голову: алой бабочкой летит Девятка.

Ма... — вскрикивает мальчик.

На его крик, точно по приказу, японцы с грузовика выпускают густую очередь. На крыше грузовика стоит пулемет с кривым ложем, звук выстрела у него гулкий, как лай собак в крошечной тьме дождливой ночи. И Доугуань вдруг видит, как на груди у матери две дырочки разрывают платье. Она как-то радостно вскрикивает, потом голова ее падает набок, и она оседает, придавленная к земле. Покатились корзины с блинчиками — одна на юг, другая на север. Рассыпались по траве белые блины, зеленый лук, ломтики яиц. Позади матери из лба тетушки Ван брызнула на стебли гаоляна красно-желтая жидкость. Доугуань видит, как эта высокая женщина, пронзенная пулей, отступает на шаг, сжимается, выгибается на дамбе и падает в воду. Опрокинулись ведра с супом, одно, другое, и он полился по траве, точно кровью героя.

Застигнутые врасплох, люди смотрели широко раскрытыми глазами и не двигались. *Ма!*..— душераздирающе закричал Доугуань и бросился к дамбе. Крошечная фигурка мчалась сквозь солнечные блики по узкой дамбе.

В ограниченном этом молчании Ван Вэнь, сжимая в руках длинноствольный дробовик, шатаясь, вышел на дорогу, с невыразимой мукой в широко раскрытых глазах, и вскричал: *Мать детей моих!* — Но не успел сделать и шага, как, пробитый в живот десятком пуль, рухнул в посверкивающую выбоину, похожую на диск луны.

Все это заняло мгновение. Когда прозвучали выстрелы, Юй Чжаньао заорал, ринулся вперед, и остальные, спотыкаясь и наталкиваясь друг на друга, суматошно бросились за ним.

И падали, подсекаемые лающим пулеметом, и откатывались в гаолян конвульсирующие тела...

Братья Фаны суетливо подпалывают взрыватель пушки, грохочет взрыв, и дым скрывает братьев. От взрыва покатались волны, и красное зарево осветило гаолянное поле...

Трубач Лю, обнажив торс, припадает на одно колено, воздевает руки вверх, и в тот же миг в густое стрекотанье пулемета врывается протяжный, высокий и скорбный голос трубы...

Пулеметные очереди густым веером молотят по гаоляну, срезая стебли, и куски их дождем опадают вниз.

Прижав к телу Девятки, Доугуань зовет мать. На спине у нее три пулевых отверстия, из которых вытекает кровь. Доугуань берет мать за плечи, переворачивает. На строгом ее лице нет страданий. Волосы аккуратно прибраны, глаза полуприкрыты, алеют губы.

Доугуань вновь зовет мать, и та приоткрывает глаза.

Новым шквалом налетают пули, перерезая, разрывая высокие стебли над их головами, и зеленые клочки планируют на Девятку и Доугуаня.

Мальчик...— шепчет она...— *А твой отец...* В небе над гаоляном рыдает труба. *Он бьет япошек, мой отец,*— отвечает Доугуань. Девятка пытается приподняться, но при первом же усилии из трех отверстий хлещет кровь. *Я схожу за ним, мама.*

Девятка слабо машет рукой и вдруг резко садится: *Доугуань... сынок... помоги маме... пошли домой, домой...* И расплывается на земле, точно жаждет обнять ее. Доугуань пытается помочь ей приподняться, но голова бессильно откидывается, из груди вырывается долгий выдох, и в застывшей grimase улыбки возникает некая неизбывная загадочность, обжигающая, как пылающий утюг.

Доугуань видит, как в небесной пустоте вдруг зарождается ветер и кровавая молния раскалывает небо над гаолянами, и они мечутся, раскатываются волнами...

— Отец много позже рассказывал мне, что с того дня довольно долгое время все гредметы, и люди тоже, казались ему красными. Старый врач Чжан Синь, кому-то лечил у нас в деревне все болезни, сказал, что лекарства тут не помогут, он сам бессилен, и только время своим великим естеством сможет излечить его. Потом я работал далеко от дома, крутился целыми днями, не вспоминая о семье, и забыл даже поинтересоваться, как там у отца с глазами.

Доугуань видит, как становится красным, точно кровь, гаолян, и в порывах ветра раскачиваются кроваво-красные стебли...

А из ран матери вся кровь вытекла, они стали чистыми, обсохли, и мальчик возбужденно кричит: *Ма, все хорошо! Ты не умрешь, кровь уже не течет! Я сбегаю за отцом, ма, не умирай!*

— О смерти отца мне сообщили телеграммой, я тогда был в Пекине на совещании.

Лежит Девятка, омываемая нежным теплом гаолянного поля, и лицо ее ласкает удивительный свет, ниспадающий с неба...

Все закончилось быстро.

Только и осталось красного на зеленом поле, что солнце, и рассеялась гарь сгоревшего грузовика. Когда раздался грохот, Доугу-

ань вздрогнул и поднял голову: черными жуками падали колеса взорванного грузовика. *Отец!* — громко закричал Доугуань.

Юй Чжаньао стоял посреди гаолянового поля, а у ног его лежала его женщина. Голова ее была спокойно откинута назад, на бледном прекрасном лице застыла та самая загадочная улыбка. Белыми хризантемами разбросаны вокруг блины. Лицо его безжизненно, начисто выпитое прошедшим днем, прад почерневшей кожей выпирают кости. В мрачном закате Доугуань видит, как поднимающиеся дыбом волосы Юй Чжаньао постепенно белеют, и страдание раздирает сердце мальчика, он робко подается вперед, легонько дотрагивается до Юй Чжаньао: *Отец! Что с тобой? Отец!*

По лицу Юй Чжаньао текут слезы, горло сжимают рыдания. *Отец, скажи что-нибудь, отец, съешь блин, это мама сделала.*

Шея Юй Чжаньао надламывается, и голова падает на грудь, словно его тело не может вынести тяжести головы и постепенно, постепенно сжимается. Юй Чжаньао опускается на землю, обхватив голову руками, и всхлипывает: *Все погибли... Доугуань... только мы с тобой и остались...* Он вдруг вздергивает голову и громко кричит: *Доугуань! Сын мой! Неужели для тебя с отцом все так и кончится?*

Доугуань растерянно смотрит на него, и глаза, как бриллианты, излучают свет. *Не убивайся, отец, я научусь стрелять, как ты тогда на гаоляновом поле, семь выстрелов — семь цветков, и тогда я сквитаюсь с этими сучьими детьми — япошками!*

Юй Чжаньао вдруг подскакивает, издает три свирепых рыка — то ли рыдания, то ли безумный хохот. Из рта вырывается стук лиловой крови. *Ну, сказанул! Хорошо сказал, сынок!*

Он собирает с черной земли блины, приготовленные Девяткой, и глотает их большими кусками, и на желтых зубах блинные крошки смешиваются с кровавой пеной. Доугуань поднимает «гусиную голову», лежашую у ног Юй Чжаньао, и засовывает за пояс: *Пошли домой, отец, пошли домой... — Домой? Домой? Домой! Домой... —* говорит Юй Чжаньао.

Как вдруг из горла его вырвалась хрипкая песня:

Девочка, не бойся, иди-шагай,
У меня чугунный кулак
И стальная челюсть во рту...
Девочка, не бойся,
иди-шагай...

Юй Чжаньао с Доугуанем на плечах медленно бредет по дороге среди густого черного дыма от догорающего грузовика,

сквозь который с трудом пробиваются последние лучи солнца...

Из сумеречной мглы волнами надвигаются на него какие-то звуки. Там, на дамбе, впереди, извивается огненный дракон. Всмотревшись, он видит огромную толпу, бегущую навстречу, с факелами в руках. Пляска огня озаряет гаолян по обе стороны реки. И люди освещают друг друга. Юй Чжаньао опускает Доугуаня на землю и кричит, размахивая руками: *Доугуань! Доугуань! Очнись! Очнись! Деревня встречает нас, односельчане бегут...*

Доугуань слышит хриплый голос отца, видит явные слезы, заливающие отцовы глаза.

Люди из деревни, человек сто, мужчины и женщины, стар и мал, окружают их. В руках факелы из ваты, пропитанной бобовым маслом и обвязанной гаоляновыми стеблями.

Юй, старина, с победой! — В деревне закололи свинью, дождемся ребят и попируем.

Юй Чжаньао стоит напротив этих святых и суровых факелов, освещающих речную излучину и трепещущий гаолян, опускается на колени и со слезами на глазах обращается к односельчанам: *Братья, я, Юй Чжаньао, преступник на веки вечные, злодей я... ребята наши... братья... все убиты!*

Факелы сдвигаются тесней, валит дым, скачут язычки пламени, с каким-то странным звуком капает на землю масло, вычерчивая в воздухе ровные красные полосы и продолжая догорать на земле, так что дамба под ногами у крестьян расщепляется пылающими цветками. Перехватило горло, никто не может вымолвить ни слова.

Белобородый старец с темным, будто отлакированным лицом передает факел соседу и, согнувшись, приподнимает Юй Чжаньао под локти: *Встань, брат, встань, встань. — Вставай, старина, вставай, вставай, —* летит из толяпы.

Юй Чжаньао приподнимается, от горячих рук старика входит в него огромная теплота.

Разве это не великая победа? — громко вопрошает темнотикий бородач. — *Китайцев четверста миллионов, и если мы выйдем один на один, разве найдется на крошечном японском пятачке столько людей, чтобы противостоять нам? Пожертвуем сотней миллионов, так разве это не великая победа? Победа, старина Юй! — Ты успокаиваешь меня, отец, —* отмахивается Юй Чжаньао. *Ошибаешься, брат Юй, победа окончательная, давай командуй, как скажешь, так и будет. Кроме людей, ничего другого Китай не имеет.*

Юй Чжаньао выпрямляется. *Соберите теля братьев наших.*

Юй Чжаньао с Доугуанем идут впереди, позади — толпа с факелами. С каждым шагом свет пламени, пронзая мгlistый берег реки и гаоляновую пустошь, приближается к месту сражения.

В девятую ночь восьмой луны на небо взошел окровавленный, скорбный лунный серп, оберегаемый зеленоватыми тучками. На дороге под факелами металась дьявольская тень разбитого грузовика, над полем битвы, заваленным трупами, стоял запах крови, смешиваясь с гарью, ароматом бескрайнего гаоляна и дыханием реки, уплывающей вдаль.

Поднялся женский плач. Жгучие капли гаоляновых факелов падали на руки, ноги людей. В их свете лица мужчин казались выкованными из раскаленного железа.

Юй Чжаньао вел людей в глубь гаолянового поля к западу от дороги. С ним — Доугуань. Их ноги топчут изломанные стебли, шагают по желтоватым гильзам, иногда они склоняются и всматриваются в лица парней с винокурни, искаженные гримасой боли. Крестьяне переворачивают тела, надеясь найти живого, но все мертвы. Дальше всех к западу Доугуань видит двоих: у одного во рту — дуло винтовки, а из затылка вырван огромный кусок, как из развороченного осинового гнезда; другой косо свалился на землю, со штыком в груди. Юй Чжаньао переворачивает их, и Доугуань видит перебитые ноги и развороченные животы. Юй Чжаньао вздыхает, вытаскивает дуло изо рта, штык из груди.

Тут же и трубач Лю, навеки сжавший обеими руками свою трубу, словно перед боевым сигналом. *Трубач!* — в волнении зовет его Юй Чжаньао. Но тот не отвечает. *Дядя!* — дотрагивается до него Доугуань. Труба вываливается из рук Лю, и мальчик видит, что лицо трубача давно окаменело.

Все разбредаются, стаскивая мертвых из гаоляна на дамбу к западу от моста, складывая в длинный ряд головами к югу, ногами к северу. Крестьяне видят Ван Вэньи, его жену, братьев Фан... трубача Лю, знакомые и незнакомые лица. Конвульсии искажают исчерченное морщинами лицо Юй Чжаньао, глаза полны слез, при свете факелов, кажущихся двумя потоками расплавленного железа.

А где немой? — спрашивает Юй Чжаньао. — *Доугуань, ты видишь его?* — *На грузовике.* Факелы окружают грузовик, и трое мужчин, взобравшись туда, спускают тело немого вниз. Подбегает Юй Чжаньао, принимает тело, тут же еще двое поддерживают голову и ноги и, спотыкаясь, несут к дамбе. Кладут его самым крайним с востока. Согнутой рукой тот вцепился в окровавленный нож у пояса. Глаза широко распахнуты, рот открыт, словно в крике.

Юй Чжаньао опускается на колени, с силой надавливает на ноги и грудь немого, Доугуань слышит хруст позвоночника, и тело выпрямляется. Юй Чжаньао берется за нож, но его не выдернуть и приходится нажать на руку, чтобы поглубже вогнать нож в тело. Кто-то из женщин встает на колени, накладывает ладони на его распахнутые глаза и гладит, приговаривая: *Закрой глаза, брат, закрой, друзья отомстили за тебя...*

Отец, мама еще там... — с плачем напоминает Доугуань. *Иди...* — отвечает Юй Чжаньао, махнув рукой, — *Веди односельчан, пусть несут...*

Брат, — обращается старик к Юй Чжаньао, — *а что будем делать с трупами япошек? — Закопать тут? Испоганим наше поле! Швырнуть в огонь? Оскверним наше небо! Бросим их в реку, пусть возвращаются к себе в Японию.*

Крестьяне цепляют крюками трупы японцев и волокут к мосту, а затем попарно хватают этих, быть может, добрых, быть может, красивых, но больше молодых и крепких японских солдат, раскачивают и с криком: *Возвращайся к себе, японская собака...* разжимают руки, и трупы один за одним прячут в воздухе и опускаются под мост, скрываются под водой и чередой уплывают на восток.

Когда показывается утреннее солнце, все уже обесилели. Пламя пожара гаснет, и там, куда уже не добирается его свет, среди небесной черноты появляется голубой цвет.

Вдруг раздается тревожно-растерянный крик Доугуаня, и все обеспокоенно поворачивают головы и видят, что Доугуань и еще несколько человек, спотыкаясь, выбирают из гаоляна. *Отец! Отец!* — потерянно кричит Доугуань. — *Мамы нет! Не нашел мамы!*

Неожиданно в пустоте возникает ветер, кровавая молния раскалывает небо над гаоляном, в свирепых порывах раскачиваются, ходят волнами стебли...

Безбрежный гаолян становится красным, как кровь, и алые стебли совершают свою бешеную пляску под ветром...

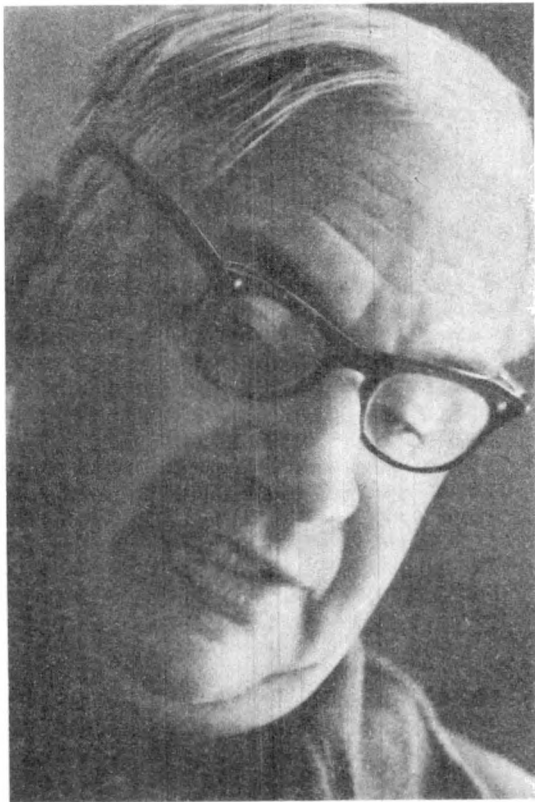
На колени, сельчане! — кричит старец.

Все старики преклоняют колени перед этим окровавленным гаоляном, зашедшимся в бешеной пляске, а тот раскачивается и грозно гудит.

Ма... Ма... — иступленно кричит Доугуань в этот красный гаолян, — *святые ждут тебя, путь к ним широк, экипаж готов!* Ма, ма, святые ждут тебя, оседлан скакун, тугая мощна, святые ждут тебя, откупись от бед, отдохни, наконец...

(Журнал «Сибу дяньин», Сиань, КНР, 1987, № 7).

Перевод Сергея Торопцева



«Последняя ночь», «Машенька», «Мечта», «Два бойца», «Человек № 217», «Наше сердце», «Во имя жизни», «Возвращение Василия Бортникова», «Над Неманом рассвет», «Урок жизни», «Овод», «Два капитана», «Убийство на улице Данте», «Рассказы о Ленине», «Коммунист», «В трудный час», «О том, что прошло», «Воскресение», «Ленин в Польше», «Твой современник», «В огне брода нет», «Софья Перовская», «Начало», «На пути к Ленину», «Монолог», «Товарищ генерал», «Четыре четверти», «Повторная свадьба», «Странная женщина», «Поздние свидания», «Ленин в Париже», «Долгая дорога к себе»...

...Я лежал на скамье в донецкой хате. Все стены были оклеены старыми газетами, и, пока я лежал, дожидаясь автобуса, я читал по стене о войне, о мире, уборке хлебов, лесосплавах, неполадках в снабжении и вулкане Этна, которые опять задымили, неся ужас и смерть, об актрисе Любви Орловой, весенней пугине, перегибах в колхозах, челюскинцах, Целине и Великих авиаперелетах, о московском канале, гримасах капитализма, Гитлере, Риббентропе, гигантских заводах, успехах и неувязках и пересадке сердец; о полете Юрия Гагарина, о победах в Антарктиде, Чемберлене, пьесах Погодина и Тренева, а также о том, что писателю Н. не надо писать так, как он пишет...

Я читал это и перечитывал, и, прочитав одну стену, перешел ко второй и зачитался так, что пропустил автобус...

Бог ты мой! Да когда же все это было? А ведь это как раз в ту кроху времени, когда я жил, когда радовался, страдал, влюблялся, обедал и завтракал, растил детей, взлетал в мечтах и снова срывался с катушек; когда любил, ревновал, воевал, дружил, враждовал; когда смерть была от меня далеко как луна, а вот теперь я сам этот лунный человек...

Ведь видел же я все это! Временами вплотную, накоротке — и челюскинцев, и войну, и колхозы, и Погодина, и пугину. И даже того писателя Н., которому надо писать по-другому. Сколько же я повидал! Да так ничего нетленного и не написал. Поверьте, это не воздыхания. Это биографическая справка...

ОТЕЦ. ДОЧЬ. СЫН. ВНУК.

(Размышления о сценарии)

Вот такую заявку для киноногосерийки я бы хотел предложить. Составить ее в четырех сюжетах: отец, дочь, сын, внук. Люди сороковых, шестидесятых, ну, пожалуй, и восьмидесятых годов. О каждом из них, фильм за фильмом, подробно, не торопясь, вглубь, вглубь — туда, куда, рассказывая о прошлом, еще не проник никто. О том, что недоступно ни Марксу, ни Энгельсу.

Впрочем, это всего лишь наброски. Итак...

Отец — Никифор Данилович

Родился в двадцатые в деревеньке на Волге. Семнадцати лет Chesанул в Москву, работал чернорабочим на электрозаводе, жил в бараке, вступил в комсомол. Выучился на токаря.

Война. Был сразу мобилизован, попал на Западный фронт. Стал разведчиком, взял двух «языков», прославился, писали в газетах. Под Дорогобужем был ранен, направлен в госпиталь в город Вязьму. Именно там-то он и сошелся с медсестренкой Асей. Была большая любовь. Но недолгая, раскидала война. Вернулся на фронт, снова в разведчики, опять «языки». Месяц за месяцем, год за годом — дым, болота, землянки, взрывы, тушенка. Писал Асе в другой край войны треугольные письма с цитатой из Симонова «Жди меня».

И вот уже и Берлин. Расписался на стенах рейхстага, демобилизовался, года два искал Асю, нашел ее где-то в Старом Осколе, рванул туда, гремя орденами, женился, привез в Москву. Работал по-старому на электрозаводе, в родном цехе, но уже в повышенном качестве, как орденоседец и фронтовик. Выдвинули в начцеха. Вступил в партию, был послан на юг, на Кубань, корчевать саботажников. Истребил, опять вернулся на электрозавод, и опять повыше. Родился сын, потом дочь, стало возни по макушку. Ася, хотя и была фронтовичкой, но оказалась не очень-то ловкой в жизни, не слишком ухватистой для столицы. Растерянной, не огнеупорной — а с таким грузом, вы это знаете не хуже меня,

гладко не проживешь. Приходилось Никифору все устраивать самому.

Он и устраивал. Да и взлетал все выше и выше. Добивался всего, что положено рабочему классу. К тому же отлично трудился. Получил комнату в уплотненной квартире какого-то интеллигента, усланного в неведомые края. От интеллигента осталась кровать, цветок резеды да фотокарточки дамы в неизмеримой шляпе. Карточку выбросил, кровать застелил.

В общем, как все: жил, работал. И поднимался вверх, ступень за ступенью. Сперва быстро, потом очень быстро. И этак спустя четверть века вышел и вовсе в тузы. Ну если не в тузы, то в первого подтуза: замминистра с особой больницей и спецстоловой. Да не простой замминистра — он стал виртуозом в бессмертном искусстве подлаживаний, подстраиваний и маневрирования, этот прежний крестьянский парень и бывший токарь. Он усвоил все тонкости в движении бумаг, резолюций, согласований, разноцветных карандашей, звонков по «вертушке», всю гамму намеков, экивоков, голосовых модуляций, чередования милостей и разносов, манипулирования правдой и очковтирательством. Он врос в ритуальную систему СЛУЖЕНИЯ МАССАМ, трепета подчинения и страха за самого себя. Он стал СВОИМ в финских банях и в санаториях с массажами против тучности и бегом трусцой по утрам. А когда представилось МЕСТО (в те годы это случалось нечасто), он стал министром.

Вот вам и хлопец с Волги!

Вы спросите — как же все-таки удался ему этот подскок? Да потому, что он — не вы, не колпак, а человек, который, хотя и притопап когда-то в столицу чурбаном, но в умные годы вполне разобрался в том, кто есть кто, и как, и куда, и отчего-почему, и ухватил, где дело всерьез, а где так, для газеты. Правда, работал сверхпревосходно, не жалея себя. Не жалел и других — не мириться же с мусором, не оставлять сорняк на дороге! Рубить так рубить! Любил охоту, рыбалку, имел пристрастие к воспоминаниям: а помнишь, как бедовали? А бедо-

вал он действительно в прежние годы сильно. И ведь, правда, протопал сквозь все — и фронт, и токарный станок. А вот теперь имел кабинет, и приемную, и казенную дачу с полным обслуживанием. Министр! Член ЦК. И снова министр, но уже наиважнейшего министерства. И снова ЦК...

Все было бы ладно, но со временем стал Никифор Данилыч толстеть в животе и грузнеть в решениях и поступках. Стал нервной относиться к служебным прератностям и к успехам других. Тревожной к тому, что Н. обмолвился с ним парой ласковых фраз, а М. почему-то отвел глаза. Что стряслось? Случайность или обвал?

Все больше боялся он ПРОМАЗАТЬ. Прохлопать того, кто на взлете, и подпеть тому, кто идет на нет. Он стал ошибаться в этом, чего с ним не бывало с подростков. Но все же тянул и почти дотянул. Решал труднейшие дела, был восхваляем друзьями и проклят врагами. Визировав милости и казни. Вот-вот... и зенит!

Но грянула Перестройка. Мой герой вылетел из седла и шмякнулся на обочину. В тот же день, едва ли не в тот же час он лишился всех спецслужб, пайков и казенной дачи. Слово в злой сказке, он в одночасье превратился в ничто, стал партнером по забиванию «козла» в палисаднике перед подъездом. Но и тут, на обочине, в полном нуле, он не утратил божьего дара ориентироваться: хвалил целительный вихрь обновления, и всеобщий подъем, и арендный подряд, и новое мышление, и кооперативы, и диспуты по телику с заграницей, и даже те книги, что до недавних времен читались только «под одеялами». Он одобрял реформы по укорачиванию анкет и по обузданию милиционеров, живо поощрял даже хождение по улицам с транспарантами. Все это он безоговорочно признавал, утверждая, что об этом всегда мечтали лучшие люди России.

Но утверждал он это только на людях. В своей же среде, с друзьями наедине, с такими же ОТОДВИНУТЫМИ, он говорил другое. Они костили и артельный подряд, и гласность, и всех вкупе и поименно, кто пришел наверх, и газеты, которые осатанели. И особенно, забывая «козла», они потешались над демократией, говоря, что никогда ее у нас не было и не будет, что народ этому не научен, и что это не для России и вопреки всему русскому. Песочили Перестройку, и новое мышление, и тех, кто ее придумал и уж, конечно, самого Главного выдумщика. Страна распадается, говорили они, все развинтилось, путь Ленина извращен, Сталин оплеван. А Сталин, хотя и был крут, но любил Россию — раздольную, беспредель-

ную, безоглядную, неповторимую. Ту, которой преданы и они.

Ничто не мирило их с переменами. Но самое нестерпимое все-таки было в том, что о России заботятся теперь не они, а другие. И, наругавшись, они затягивали в пику всему старые комсомольские песни.

Целыми днями в отставке Никифору решительно нечего было делать. Он стал даже робко писать мемуары, правда, отрывочно — годы не те, дремал. Порой по утрам он шагал на привычную улицу, где почти на целый квартал раскинулось его бывшее министерство. И издали, притаившись, глядел, как люди входят туда и выходят. И вздыхал о своей судьбе и участии Государства.

Иной раз он ликующе вскрикивал по ночам во сне: ему снилось, что лопнула Перестройка.

Отдыхал он за мемуарами. Он писал их теперь быстрее и уже не дремал. Страницы о том, как душевно, разумно, обдуманно проходили годы, которые сейчас облыжно называют застойными: все было по справедливости, без криков и с пониманием. Каждый знал свое место и свой маневр в беспредельном могуществе Партии. Не было бестолковщины, и неразберихи, и путаницы в ранжирах. Люди делали Дело, все было четко, без истерики и надрыва. Без криков и поношений.

Писал он, естественно, и о вождах тех лет, с которыми встречался по многу раз. Об их уме, доступности, женах и детях, шутках, привязанностях и простительных недостатках, о неспешных, но твердых их указаниях. О том незабвенном времени, когда все утряслось, наладилось, успокоилось, расцветала страна и блистало искусство. Все шло на лад, народ был доволен, цифры росли, достижения ширились. А если и случались промашки и даже (о чем так сейчас любят шуметь) проступки, то где и когда их не бывает: люди есть люди и остаются людьми — посмотрим, как вы обойдетесь без уголовщины! Но в главный путь был расчищен и ясен. Надо было только идти и идти. И вдруг...

Впрочем, по всем этим пунктам Никифор Данилович имел несогласия с сыном Павлом, о котором теперь и поговорим...

Сын — Павел

Сын Павел был с молодости веселым и добрым. Зимой — коньки, летом — легкая атлетика. Не чурался и дальних лодочных плаваний. Доплывал с приятелями на весельных лодках аж до Рязани. Учился — ни шатко ни валко — в школе не то чтобы чертовски привилегированной, но все же...

Окончил школу без особых забот, но и без оценок. Сильных склонностей ни к чему не проявлял. Скорее, пожалуй, технарь. Ну а раз так, то подался в строительный, хотя по рангу отца мог бы учиться и в более престижном.

Стал инженером, опять же без непомерных усилий,— не слишком знающим, однако вполне. Но если бы попал в другой институт, мог бы стать медиком, или судьей, или даже философом.

Был направлен в конструкторское бюро прославленного НИИ. Чертил вместе с другими, такими, как он. Не лентяй, не воляня, но и без особого рвения. Год, два, три. Продвигался.

И вдруг женился. На таком же инженере, как он. Сидела наискосок за таким же кульманом. Ее звали Кира.

Ася, мать Павла, бывшая медсестренка, ликовала, что сын осолоднел и занял семью, ахала, обнимала невестку. Отец Никифор был как всегда озабочен и равнодушен: государственные дела, ответственность за Россию. Да и что тут особенного: все женится, вот женился и сын — ахай не ахай. «Тебе жить — тебе маяться», — сказал он в напутствие Павлу.

Но маяться не пришлось. Павлик любил Киру, и Кира любила Павла. Оба любили друг друга. Жили они у ее родителей. Кира остереглась перебраться к мужу: Никифор Данилович внушал ей испуг, был слишком значителен в должностях, Кира, как это ни странно, не любила министров и замминистров, да, кстати, все крапивное семя с его портфелями, униженностью и чванством, с речами по праздникам о службе народу и с полным презрением к нему во все прочие дни. Она оказалась вполне апатичной к чинам, однако зоркой. Отец Никифор Данилович, большевик тридцатых годов, хоть и любил сына и был готов всемерно помочь ему указаниями и советами, однако был скуповат и давал ему деньги только по табельным дням — Октябрьским и Майским: надо, брат, пробиваться к солнцу своими локтями, без подставок и поддавок.

Приходилось Павлу и Кире крутиться без всякой подмоги. Начали с мелочей, шажок за шажком. Было трудно — только теперь Павел, сын человека с казенной дачей и личным шофером, понял вплотную, что жизнь — это не только плаванье до Рязани.

И Павел стал пробиваться. Тут же, рядом с ним, пробивалась и его жена Кира. Вдвоем они ходко двигались по теснинам и взгорьям, с годами все точнее разбираясь в запутанностях путей. Все преданней делалась их супружеская любовь, родились детки: сын, дочь. Говорят, что нет

счастливых семейств. Ложь! Есть — вот пример!

По вечерам семья Павла стягивалась, было уютно, пел и играл телевизор. На отпуск всем скопом отправлялись в Крым. Не было ни семейных измен, ни прочих привычных трагедий. Никто из супругов не влюблялся на стороне, не темнил, не лукавил, не врал. Дети росли, и хотя приключались с ними, как со всеми детьми, беспомощства, но в меру, без воплей — домашние неуправки. Без этого не проживешь, хотя есть люди, думающие, что прокукуют без драм. Смешно! Хотелось бы посмотреть!

Все шло как шло, хотя, может, и не все, как вполне желалось, но главное — равнопланово, тютелька в тютельку так, как того требовало движение к социализму, но вдруг опять же грянуло то, чего не предвидел никто и уж, конечно, Павлик и даже его неизмеримо более остроглазая Кира: пришла Перестройка. Сперва супруги отнеслись к этой внезапности с усмешкой: знаем, мол, и наперед понимаем, чем после всех ликований и труб она обернется и кончится. Но все же однажды в супружеской спальне после законных объятий, поостыв, призадумались: а что, если?..

А что, если рискнуть? Если поверить? Кооператив! Если даже не верить, то притворяться, что веришь? Ведь оба они — инженеры, хотя и несколько подзабыли об этом за годы работы в конструкторском бюро. «Кооператив по ремонту квартир» — эту мысль первой высказала Кира, и Павлик не сразу оценил ее. Даже засомневался тогда, в кровати. Но к утру вполне созрел. Кооператив! Опасно? Очень. Но это только с одного бока. Но с другого — почему бы и нет?

Пошел посоветоваться к отцу. Правда, отец, рухнув с таких высот, обветшал, усох, но все-таки был некогда не дурак и, как помнится, разобрался во всех тонкостях государственной круговерти. Да и работал в самых верхах. Действительно, в самых из самых, без балаболки.

Никифор Данилович, выслушав сына, остолбенел. Как? Павел хочет стать частником? Нэпманом? Сын большевика Великих Военных лет? Командира Послевоенного Возрождения?! Никифор топал и кричал так, как кричал и топал в былые лучшие времена, возможно, даже и громче, ведь все же дело касалось сына. Сын Павлик сначала оторопел, дрогнул, обмяк, но вскоре заново обрел твердость. В своей обычной спокойной-шутливой манере он разъяснил отцу, что годы культа, концлагерей и волевого командования миновали, что возникла в корне иная пора, другое хозяйствование, не только приветствующее, но и благо-

словляющее частный порыв, что сейчас в почете не тот, кто всю жизнь протирал штаны в канцеляриях, какие бы звания он ни выломал у судьбы, а люди энергии, воодушевления, инициативы и подлинного, непритворного дела. «Дело! — сказал сын Павлик. — Будь ты частник — сапожник или первый министр! Обзывайся нэпманом, торгашом, но делай дело, нужное государству. В этом социализм. Государство задыхается от бездельников, хотя все они на государственной службе и киснут в конторах». «Ты в кого метишь? — кричал отец. — В меня?» «И в тебя!» — кричал сын.

И снова отец кричал, что просадили социализм, и снова сын отвечал, что социализм — это вовсе не то, о чем пусто-барabanит отец и брехало все его поколение, натрепалось, напутало, наприсочиняло. И что лучше бы отец и его товарищ-министры сидели бы себе в тенечке, а не сооружали нечто такое, чего не распутаешь сейчас ничем...

В общем, вышел великий спор, задействовала артиллерия: они перебрали Грецию, Рим, язычество, христианство, Людовиков, Карлов, Дантона и Робеспьера — всех, кто зыбко застрял у них в памяти, молотили друг друга цитатами, восходя к самым стойким и утвержденным, вспомнили даже Коммунистической манифест. Но не строились с места.

А когда сын ушел, не забыв, впрочем, поцеловать отца на прощание, Никифор Данилович, бывший суперминистр, еще долго метался по кабинету, хватался за грудь, стонал и выкрикивал неопровержимое, пока жена Ася не позвала его к обеду. Но и за супом, гневно хлебая, он все еще охал и вспоминал цитаты, не залетевшие сразу в мозг.

После обеда сел за письменный стол... Сказал ли я вам, что, кроме мемуаров, он заносил в клеенчатую тетрадь еще немало нелестного о нынешнем руководстве? Однако в особой секретной манере, потому что не очень-то доверял гласности и горячим призывам к ней.

А сын Павел, оставаясь на государственной службе, стал по вечерам заниматься ремонтом частных квартир. Дело пошло на лад. Вскоре к нему присоединилась Кира, его жена-инженер. Потом товарищ по институту, конструктор. После еще один из НИИ. И еще один. Клиенты валялись валом. И вот уже Павел, его жена Кира с друзьями по кульманам и скудной зарплате отпали от государственных дел. Стали артелью «Сияние», кооперативом ремонта и прочих жилищных услуг. Обрели печать, помещение, бланки.

Впрочем, к Павлу я еще возвращусь. А пока о сестре его Симе.

Напомню — это всего лишь заявка.

Дочь — Сима

Сима, дочь Никифора и медсестры Аси, с младенческих лет обожала куклы. Она возила их в колясочках, причесывала, кормила из игрушечных мисок, баюкала в крохотных кроватках. Уже с малолетства она строила дружную, кукольную семью. У кукол был дом, стулья, стол, плита, вилки, ножи и тарелки, даже занавески на окнах — пусть игрушечные, но все же домашнее гнездо. Едва ли не с двух лет она готовила своим куклам обед, воспитывала их, наказывала и поощряла. Еще не умея говорить, она внушала им семейственность и добро.

Такова была девочка Сима.

Да и повзрослев, восьмиклассницей, она все еще продолжала играть в куклы. Но уже смущалась и прятала все игрушечное в шкаф. Скрывала, но нежно любила. «Ты у меня домашняя», — говорила мать Ася. И это было именно так: она была комнатная, послушная и не отходила от мамы.

Но годы берут свое, и лет пятнадцати от роду Сима стала увлекаться искусством. Она влюбилась в тенора Кустикова, его обожали девочки восьмого класса. Они встречали его после спектаклей у подъезда Большого театра и провожали домой — он жил где-то рядом, рукой подать. Девочки девятого класса, наоборот, обожали другого тенора — Лютикова. И называли его Лютиком или просто Лютичлой, хотя он был дороден, с проседью и, кажется, даже плотно женат. Тоже встречали его у подъезда Большого театра и провожали домой — он жил чуть поодаль, но, в общем, опять же под боком. Все жили в те годы почему-то неподалеку.

Между девичьими кланами обоих певцов случались серьезные стычки, порой даже драки: плевались, царапались, разбивали носы. На смех мальчишкам, которые презирали актеров и бились только из-за футболистов, но зато уж всерьез, даже сбивали на мостовую и топтали ногами.

И вот подумайте — приключилось так, что среди множества других обожательниц тенора Кустиков приметил именно Симу. И позвал ее в гости — это было невиданной честью. Сима не сразу решилась, три дня не отваживалась, даже советовалась со своими куклами. Но потом все же пошла. Они посидели, потанцевали, попили винца, а потом тенор повалил ее на кровать. И Сима познала радость стать женщиной.

Вскоре тенор куда-то свильнул — у артистов всегда столько забот и с ролями, и с горлом, — Сима погоревала, поплакалась куклам, но никому ничего не сказала — ни лучшим подругам, ни маме Асе: человек, если он достоин быть человеком, должен быть сдержан в беде. Она погрузила сама с собой, завалила контрольную по алгебре, но уже тем же летом опять влюбилась — в студента, на даче. Все было с ним, как и с тенором, и все же чем-то гораздо приятней, может быть, потому, что студент был гораздо моложе певца, а может, и потому, что было это уже не в первый раз. Опять она ничего никому не сказала, теперь даже куклам, да и вообще с той поры забросила их. Так и лежат они в шкафу до сих пор, хотя прошло уже четверть века. Ох уж эти радости молодости. Только подумать!

Однако тогда уже случилось событие, мимо которого не прошмыгнешь, — студент оказался плодоносней тенора: Симочка забеременела. Испуг ее был столь велик, что она побежала к маме. Вот тут-то мать Ася, всегда безответная и робевшая перед всем столичным, теперь, когда дело коснулось дочери, разом выпала из дремоты и оказалась именно той, кем была до приезда в Москву: боевой, пробивной, не без нахрапа и матерка — ведь прошла она от нуля до победы самую страшную и могучую фронтовую школу. В неделю сыскала она нужную бабу, та сделала нужное дело, дочь Сима, провалявшись два дня, снова пошла в девятый класс с бюллетенем респираторной хвори. И никто ничего не узнал, даже папа Никифор. Ничто не переломилось ни дома, ни во вселенной. Только мама Ася снова впала в дремоту.

Сима окончила школу, держала экзамены на киноактрису, срезалась — внешность была подходящей, но не подошла по басне. Поступила на юридический, вакансий туда было навалом, юристов по тем застойным годам ждал незавидный удел.

А впрочем, Сима и не думала стать юристом. Она на первой же сессии сообразила, что с римским правом не совладать, надо подумать о жизни всерьез, прощупать свой путь, найти свое место. Надо было выходить замуж.

Тем более (мы это запомнили), она еще с малых лет, еще с куклами, мечтала создать семью. У нее было две прочных привязанности: коренная — семья — и побочная — искусство. Студенткой-юристкой она не пропускала выставок, кинодиспутов и театральные новинки. И ведь получилось, что как раз на диспуте о достоинствах наших кинокомедий в сравнении с голливудскими Сима познакомилась со своим первым мужем. Звали его, как и многих в

те времена, СТАСИК. Стасиками называли себя тогда не только Вани и Васи, но и Емели.

Стасик перебрался к жене. Сима отчаянно любила его, и он отчаянно любил Симу. Она тут же слиняла с юрфака, чтобы строить семью. Стасик тоже горел желанием в двадцать семь лет пустить корни. Оба они целыми днями мечтали о том, какой у них будет дом.

Что можно сказать о Стасике? Есть сотни слов, которыми можно определить человека. Но для Стасика, мужа Симы, достаточно, пожалуй, всего только трех: ОН БЫЛ ЛЕГКИМ. Порой невесомым. Чем занимался? Ничем. Или всем. Где-то когда-то учился. Бросил. В прошлом году работал. Сейчас строил с Симой семью. Порой чем-то не слишком отчетливым подрабатывал. Иногда же по целым дням лежал на кушетке. Играл с тещей Асей в стукалку. Всем он был по душе. Все любили его — соседи, дворники, участковые. Любили в троллейбусах, в булочных, на базаре, в очередях. Очень любили таксисты и пенсионеры. У Симы родился сын Виктор.

И только Никифор, отец Симы, не терпел Стасика. Острым классовым нюхом министра он сразу определил в нем бездельника и с высоты своего огромного служебного уровня не смущался ему это говорить. Сперва Стасик спокойно внимал его замечаниям, покоясь в кресле и только с укором помахивая ногой, но понемногу и он стал сердать. Все чаще вспыхивали между ними ссоры. Однажды в скандале Стасик хлопнул об стену вазу. Затем стул. За сим стакан с чаем. Потом как-то раз рванулся к Никифору с кулаками. А после и вовсе исчез. Как это? Вот так, исчез — и нету его. Ведь он был легким. И уже не появлялся. Несмотря на горячую мысль построить семью. Нету!

От всей планировавшейся им и Симой тишины, уюта, света вечерних домашних ламп, от чтения вслух и возни с детьми осталась всего только старая кепка Стасика да мутная пепельница с фирменным знаком, которую он приволок из какой-то пивной.

Сима рыдала, и мама Ася рыдала. А Никифор Данилович? Не плакать же! Морщился и плевался. И растирал плевком.

Сима осталась одна. В юриспруденцию она не вернулась, устроилась на работу. Секретарем. Таких в Москве тьма. Надо было приступать к жизни заново. Искать мужа и снова строить семью. Таких тоже тьма.

И вот в ближайшие десять лет она ее строила. С разнокалиберными и многообразными. Сын ее Витя, который тем временем вырос, называл их: дядя Вася, дядя Костя, дядя Митя. Того, кто был после

Стастика, как раз звали Васей. Он был футбольным тренером, коренным москвичом и владельцем комнаты в довольно просторной квартире. Тут не могло быть больших колебаний, и Сима с Витей в светлом предвидении будущего (это было то поколение, которому наперебой обещали счастье) перебрались к нему. Вася не был похож на Стаса, он не играл ни в шашки, ни в стукалку. Весь день он ругался со своими футболистами, а по ночам чертил на бумаге схемы и графики грядущих побед. И ридил на себе сорочку. И рычал так, что просыпалась Сима. И (как ни странно) опять же в гневе ломал стаканы, которые приобретала Сима, сооружая семью.

А сооружать становилось все трудней и трудней, потому что тренер был полунци и ей приходилось действовать на свой счет. Не раз рехала она расплеваться с ним, однако сын Витя боготворил дядю Васю, ниспосланного ему с футбольных небес. И у нее не хватало решимости причинить боль сыну, росшему без отца. Вот она и жила с дядей Васей, с тем, кто рычал по ночам. С ним — так с ним!

А потом Вася вторился и ушел к чемпионке по прыжкам в высоту, оставив Симе комнату в просторной квартире и недостроенную семью.

Мелькнуло еще три года. Витя рос. А Сима сошлась с другим дядей. И опять пошло и пошло. Дяди Яши, дяди Саввы и дяди Сени. Одни умные, другие побестолковей, одни бойкие, другие прихлопнутые. Они возникали внезапно, как бы сами собой, из вращений земли, из туманностей непредсказуемого и, помелькав, растворялись.

Сперва мужчины клеились к ней — на улицах, в кино, у знакомых. С годами она сама стала искать их. Да все настойчивей, ненасытней. И вдруг с ужасом поняла, что они ей необходимы. И не только лишь для того, чтобы строить семью.

А Витя все рос и рос.

Последним был дядя Боря, настройщик роялей. Ему было за сорок, когда он вернулся из мест огороженных, вчистую реабилитированный. Вернулся в Москву, потому что прежде жил здесь, и ему некуда было возвращаться. Вот тут-то, на улице, Сима и подобрала его. Этот дядя был скромнен и незлобив и всю свою жизнь настраивал фортепяно. Лет десять назад его обвинили в знакомстве с прославленным военачальником. Военачальник был уличен в измене отчизне, а дядя Боря ходил к нему налаживать кабинетный рояль, ну и, случалось, беседовал с ним о России. Долго мотали дядю по следователям, выбили два ребра и много признаний, пошвыряли по зонам и карцерам и, наконец,

извинившись, выпустили, потому что тот военачальник, из-за которого он попал в беду, был объявлен безвинным и снова стал маршалом и героем, хотя давно не существовал на свете. А Боря опять стал настройщиком — чего только не приключается в нашей стране с тихонями, любящими поговорить на пути к социализму!

Вот такого дядю и привела к себе Сима, и он жил у нее до самой своей кончины. И — подумать только! — именно этот подкидыш судьбы и слепил, наконец, с ней семью. А ведь он не умел ни строгать, ни пилить, только настраивать струны. Но был артистом своего дела, невелик сложением, но велик в мастерстве. Звали его нарасхват, он стал зашибать деньгу и все заработанное приносил Симе. И Дом, столько лет пребывавший в мечтах, в долгострое, оформился в факт, со всем, что положено дому: с уютом, ковром и посудой. Семья зажила в покое, в уверенности, а потом и совсем хорошо. Сформировалась та стройность в обедах, делах и заботах, в составе кастрюль, занавесок, привычек и поцелуев, которые и составляют ГНЕЗДО. Уют, мягкотуфельность и затишье — ПРИСТАНЬ.

И стержнем и двигателем всего этого был странный настройщик, такой услужливый и покорный, вместивший в себе все ужасы века и до сих пор бледневший при каждом внезапном дверном звонке. Память о том, как допрашивают и терзают, застряла в нем. Ее немыслимо было выскрести из себя, хотя вокруг уже давно все было, по-видимому, выскреблено и сверкало.

Время от времени с ним приключался припадок: он начинал дрожать. И не мог унять дрожь. Его трясло. Озноб охватывал его изподволь, клочок за клочком, начинался с пальцев рук, перебрасывался на губы, плечи и грудь. И вот он уже дрожал с головы до ног. Порой ночи напролет.

Потом, к утру, озноб вдруг стихал, и он снова бежал настраивать пианино.

Однажды, потрясшись, он умер. И никто, даже в поликлинике, не мог понять почему.

Целый год Сима была безутешна, но потом Дом снова взял верх. Опять она стала искать супруга. Однако годы вконец миновали, никто не клеился к ней ни на улице, ни в кино, ни в гостях. Белели волосы, пришла та пора, когда ты еще вся — порыв, надежда, тайна и вождение, но уже никто не принимает этого всерьез. «Что с тобой? — говорил ей сын Витя, который тем временем вырос. — Чего ты мечаешься? Ты же старуха!»

А вот по службе Сима сильно рванула вверх. Уже давно, еще при первом суп-

ружестве, отец Никифор, морщась (он не любил протекций), устроил ее в архивный отдел Руководящего Учреждения. Тогда это были всего лишь три комнаты, заставленные доверчивыми шкафами. С годами шкафы расплодились, стали секретными, запрещенными, под шифрованными запорами, переплеснули на целый этаж. Теперь им назначили ЗАВЕДУЮЩЕГО. И этим заведующим стала Сима. Ей был доверен шифр и замки.

В ее ведении состояли тысячи засекреченных папок. Тут были собраны в образцовом порядке под кодами и особыми номерами судьбы всех подлежащих учету людей. Все доносы на них, наушничанье и клеузы. Судьбы их были уложены в папки, ушиты, классифицированы, распределены по рангам и сохранялись до поры, пока в них не будет нужды. Покоились, притаившись, чтобы, вдруг разогнувшись, ужалить неожиданно-негаданно из своих разноцветных папок, увязанных разнопестрыми ленточками, безгрешными, как девичьи сновидения.

Бывало, от нечего делать Сима переступала через строгий запрет и развязывала какую-нибудь папку наугад, листала и, читая, удивлялась тому, сколь простыми и по-человечески понятными становятся события и отдельные лица, разукрашенные в преданиях — помеси дрызг и воодушевления.

И, пораженная этим смещением эмоционального взлета и мерзавства, она пугливо заталкивала запретные папки обратно в шкаф и запирала на тайный, доверенный ей государством ключ, тем более, что за такое «листанье» она могла загреметь весьма далеко, расставшись навечно с мечтой о Доме.

А было ей уже достаточно много лет, той самой Симе, которая царапалась из-за тенора, влюблялась во многих других, сходилась, и расходилась, и снова влюблялась, но не из-за баловства, а чтобы построить семью, и уже почти выстроила ее с тем настройщиком, но вот он умер, и нету его, и Дом недостроен. И красная, не помня себя от смущения, она как-то раз решилась: пошла в сектор Знакомств при клубе деревообделочников. Ей дали анкету, и она, укравшись где-то под лестницей в закутке, где были свалены битые стулья и доски, написала свою фамилию и имя-отчество, и сколько ей от роду, и каковы идеалы мужчины, с кем ей хотелось бы познакомиться и, возможно, связать свою жизнь. Каковы ее требования к его внешности и характеру и пониманию Перестройки.

Потом анкету ее занесли в картотеку, и не прошло и месца, как в почтовую щель ее двери упала бумажка, где извеща-

лось, что существует вдовец, соответствующий ее требованиям. И что вдовец этот выразил интерес познакомиться с ней. Снова она краснела, томясь стыдом и сомнениями, но снова пошла к деревообделочникам.

Вдовцу, откликнувшемуся на ее призыв, было под шестьдесят. Плюс, пожалуй, еще пяток. Он был совсем не такой, каким его желала бы иметь Сима. Непригляден, правда, ростом высок, однако, сутул, вроде приветлив, впрочем, не очень. И все-таки это был мужчина, с которым можно было завершить ДОЛГОСТРОЙ. И она решилась.

Звали вдовца Георгий Иванович. Служил представителем города Вязички при Госнабе. Он был никакой. Не хороший и не плохой — никакой. Он спал, ел, умывался, чистил гуталином ботинки. Уходил, служил, приходил, смотрел телевизор. Чистил зубы, ложился спать. Ни о чем не высказывался. Ничего не желал, никому не завидовал. Денег не приносил. Никого не любил, но и не ненавидел. Не одобрял, но и не порицал. Не соглашался, но и не спорил.

— Где ты раскопала такого? — нередко спрашивал Симу сын Витя. Она и сама не знала, как это произошло, что он оказался в ее квартире.

— Он честный, — отвечала она.

Но и это было не так. Он не был честным. Но и нечестным он тоже не был. Ни Каином, ни святым Петром. Ни вздорным, ни смиренным. Он был таким, каким его отшлифовала Система, учившая говорить, но не говорить, думать, однако не думая. Понимать — не понимая...

Так он и промолчал всю свою жизнь — да ведь не только он! — промолчал, прообедал, прочистил ботинки и зубы, не вымолвив ни единого собственного слова. Все, что он думал, чувствовал, произносил, — было не его. Даже заявки на отпуск кровельного железа.

— Какой он на самом деле? — часто спрашивал себя с остервенением сын Симы Виктор. — Дубина или мудрец?

Нет уж, мудрецом-то он все-таки не был, это уж точно. А впрочем, кто его разберет!

К тому времени Виктор и вовсе расцвел. Студент-математик четвертого курса, внушавший серьезнейшие надежды. Прорезались и девицы. Откуда они берутся, когда сын входит в зрелость? Из воздуха, из пустоты? Глядишь, а они уже вьются, щебечут, чирикают о чем-то ликующем и нежном, черт их побери!. «Гнать их!» — не раз сердито думала Сима. Как бы не так! Гиблое дело. Они зарождаются из пустоты. Из нуля. Как весенние мухи.

С уходом на пенсию стал часто заходить к дочери Никифор Данилович. Интересовал его Виктор, внук. С ним он вел долгие споры. Дочь Сима его не интересовала. И уж, конечно, ее мужа.

Дед и внук

Дед являлся обычно по утрам, когда Сима уходила на службу в архив. Виктор сидел за столом и чертил диаграммы. Старик садился поодаль. Молчал. Закуривал. Он дымил всю жизнь, но после отставки стал покуривать хлеще.

— Дело дрянь! — говорил он наконец.

Затяжка. Клуб хромого, стариковского дыма.

— Что такое? — спрашивал внук.

— Паршиво! — говорил дед. И начинал перечислять.

Теперь, после пяти лет отставки, он уже открыто бубнил, что страна идет под откос, все расклеилось, хозяйственники сбиты с катушек, людей шатает с плиты в духовку. Каждый тянет на себя одеяло.

— Ничего, разберутся, — отзывался внук Виктор. — Не печалься о людях. Наши люди приучены привыкать. Даже любят это. Привыкли к тому, что было, привыкнут к тому, что есть.

— Ну что ты молотишь?! — взрывался старик. — Что сказал Маркс?

— Послушай, дед, — внук спокойно откладывал исчерченный лист. — Запомни раз и навсегда: Маркс всего лишь одна из мигалок в бескрайней галактике человеческой мысли. При этом не самая светлая. Мутноватая.

Молчание. Клуб дыма.

— Ты это о ком?

— О Марксе.

— Значит, по-твоему, Маркс не прав?

— Не прав.

Смех. Клуб дыма.

— Выходит, и Ленин не прав?

— Выходит.

Дед резко вставал: существует предел шуткам! А этак шутить он не разрешит никому. Даже внуку. Ведь был он, дед, как никак, до последнего съезда членом ЦК, да еще каким! Имя его не сходило с уст. Ленин не прав?! Доболтались!

И дед уходил. Не из комнаты, а вообще из этого дома. Но через неделю опять приходил. И опять сидел с внуком. И снова шел у них спор. И снова дед повторял, что если бы не было Сталина, если бы не существовало репрессий и корчевания корней, то не было бы у нас ни Магнитки, ни тракторов, ни науки, ни великой литературы. Ни силы, ни непобедимости. И снова внук утверждал, что все

это было бы, потому что диктовалось закономерностями истории. Было бы! Только без голода и вшивых вагонов. И никакого героизма в строительстве на морозе, в бараках нет, а есть бестолковщина и преступность тех, кто довел нас до этого.

— Ты об ком это? — спрашивал дед. — Об нас?

— Об вас, — откликнулся внук, продолжая чертить.

И утверждал, что сложился полный сил и напора класс. Управленцы. Это они-то и правят социализмом. При чем тут народ? Управленцы говорят его голосом, формулируют его мысли, живут с его лучшими бабами. Социализм стал фальшивым и плутоватым.

— Вы слишком долго стояли у власти, — говорил внук деду Никифору. — И сохранились при перестройке. Вы непомерно тяжелый груз!

— Значит, и я — груз? — не без иронии спрашивал дед.

— А что?

— Ну вот что, болван, — обрывал его дед. — Трепись, пришло твое время. Но не смей трогать народ. Вы нас не поссорите. Народ на нас не в обиде.

— Ты в этом уверен?

— Да.

— Веры Я — не верю.

— Эх, вы! — Никифор Данилович вставал со стула. — Растили вас, воспитывали, мучились, бедовали. Собрать бы вас всех и...

— В расход?

— А что? Можно и этак.

И чертыхаясь, он уходил. Но пробегала неделя, опять приходил, решительно некуда было деваться. Он даже, припомнив молодость, стал втихомолку писать стихи. Однако не получалось. Писал мемуары...

Сын — Павел

Итак, Павел, расставшись с конструкторами, составил кооператив. По ремонту квартир. Из материалов заказчика. Вначале артель включала всего-навсего трех человек — товарищей Павлика, инженеров. После работы они чинили сантехнику, врезали замки, проводили звонки, налаживали окна и двери. Работали быстро, весело, вежливо, аккуратно. Пришла известность, они шли нарасхват. Число инженеров, распростившихся с госзарплатой и примкнувших к ним, нарастало. Кооператив стал смелее, веселее.

Но шибко дело пошло тогда, когда к их артели подключилась жена Павла Кира, она ведь тоже была инженером, тоже окончила институт, правда, чертовски неприхотливый. Окончить окончила, но очень дол-

го не решалась расстаться с работой на ватной фабрике, куда ее занесла судьба. Однако все же рассталась.

Вот именно Кира и стала мотором дела. Всю оргструктуру, которую мужики-инженеры по свойству извечной неряшливости своего пола разболтали, она привела в порядок и довела до ума. Сняла помещение где-то на чердаке, отдраила его, раздобыла портреты, лозунги и гардины. Все, что валялось в беспаятельстве и неразберихе, обратилось в налаженность. Чердак, отмытый, отдраенный, отпылесосенный, так и светился. При входе лежала тряпка для вытирания подошв.

Нет, все-таки это прекрасно, когда женщина одновременно и жена, и мотор.

Но главное заключалось все же не в этом. Главное состояло в том, что Кира обнаружила диковинные способности к тому мастерству, о котором даже и не помышлял никто в Костроме, откуда она была родом, — ни мама ее, ни отец, ни дядья, ни соседи — к искусству ДИЗАЙНА. Да, именно так, оказывается, называлась сноровка в убранстве квартир, в размещении кресел, столиков и цветов, гармония обоев и ламп, структура удобств и уюта. Дизайн! Этого слова она тоже не знала, хотя и окончила институт, правда, заштатный.

Но случилось так, что однажды легко и изящно и на вполне добровольных началах она обустроила и вдохнула жизнь в квартиру, которую отремонтировал ее кооператив. И привела хозяев квартиры в восторг. Хозяева, правда, были не ах какие, однако достаточно уважаемые, они поделились восторгом с другими хозяевами, вполне уважаемыми. Кира украсила и их жилище. Те в свой черед рекомендовали ее окончательно уважаемым. Знакомства пошли, а с ними и деньги.

Кооператив покинул нищий чердак и переехал в достойное помещение. Павел быстро поймал суть успеха и на дверях начертал: «КООПЕРАТИВ ПО РЕМОНТУ КВАРТИР И ДИЗАЙНУ».

И что же? Мало-помалу — путь всех дельных людей — Павел с женой и соратниками сделались вхожими в доселе недосягаемые, а нередко и охраняемые в подъездах квартиры. Они стали своими там, куда не так-то легко залететь. Дело взметнулось, советская власть не препятствовала: кооператив! Даже скорей поощряла — ребята работали честно, достойно, тактично, на совесть, все клиенты были покорены. Павлик с друзьями заполняли заметную брешь, образовавшуюся из-за наплеательства госуслуг. Деятельность их раздвигалась, они понемногу стали на дружескую ногу с многими женами и мужьями, чьи имена внушали почтительность. Их приглашали рабо-

тать на дачи. И как-то однажды Павла и его жену Киру даже внезапно (по совету высокого клиента) командировали на месяц в Париж изучать современный дизайн. В газетах замелькали заметки об успехах кооператива ПО ИНТЕРЬЕРАМ.

И они действительно работали на славу, эти бывшие инженеры. Однако Павел не забывал об отце, потерпевшем крушение. Время от времени он посылал к нему жену Киру попотчевать французским вином и баночным заграничным мясом. Порой Кира встречала у деда Симу. Они не любили друг друга, эти две женщины из одной семьи — одна никакая, другая удачно справившаяся с судьбой. Кира рассказывала деду Никифору о Франции (он тоже два раза был там в ТЕ годы, но не обратил на нее внимания), о парижской жизни, где столько прелестного, но есть и противоречия. Сима глухо молчала. А дед, этот огрызок ушедших десятилетий, сердито крякал. Он не поддавался ни модным заигрываниям с заграницей, ни поношениям наших привычных порядков, он хвалил времена, когда друг был другом, а враг — гадом, начальник — начальником, приказ — приказом. И Россия была Россией. И не было восторгов перед французскими трусиками и американской телятиной. «У нас армия посильней, — говорил он, — да и штаны попрочней».

Он оставлял у себя подаренное сыном вино, но возвращал ему банки с запаянным мясом. Из принципа. И из гордости. Его невозможно было убедить, что наши банки хуже. Он не поддавался. Ни доводам, ни Перестройке.

Но, как ни верти, а судьбы непредсказуемы. Вообразите — где-то в высоких гостях наш Павел завел Знакомство с какими-то французскими фирмачами, реставрировавшими знаменитый московский отель. Вошел (по своей веселой контактности) с ними в дружбу и стал по-приятельски помогать им в головоломках действительных и бумажных московских загвоздок — эти петли было под силу распутывать только аборигенам. Помогал легко, весело, спокойно и понимающе. И через год получил предложение стать представителем этих французских в нашей столице. Много было у Павла с Кирой по этому случаю сомнений, понятных тоже только аборигенам, но, поколебавшись и подسوобразив, что времена нынче не те, что все течет и меняется, они согласились. Оба (два инженера) вступили на службу в международный реставрационный Альянс с валютными отчетливыми советскому государству. И оказались блестящими доверенными Альянса в Москве. В нелегких, путаных плаваниях по многочисленным кабинетам и заседаниям они безошибочно пробивали курс. После ремонта первой го-

стиницы последовала реставрация другой, затем капремонт дома каких-то бояр, кажутся, Годуновых. Прошло несколько лет, и наши друзья в полной мере окрепли. Купили дачку в Сухуми, подружился с одним из послов.

Теперь четверть года они проводили в Париже. Поначалу в Латинском Левобережье, в полумеблирашках, потом, по мере того, как разрастался Альянс, в отличном отеле на Пляс Вандом, где их уже превосходить знала обслуга и приветствовала, как своих. Шаг за шагом они сблизались со многими парижанами-коммерсантами, артистами, экстрасенсами, вершителями вкусов и мод. Сдружились с семьей графа Кобрина, петербуржца, бывшего сенатора-монархиста, а ныне эмигранта, ходившего по комнатам в шлепанцах и в сюртуке. Павел оправдывал это знакомство тем, что пришла Перестройка, отныне Россия едина и близость такого рода не возбраняется. Привозили на родину подарки: деду портфель из кожи нильского крокодила, бабушке шерсть для вязания, Симе духи и помаду, а Витьке, этому сопляку-математику, прибор для массажа спины.

И вскоре уже никто не мог отличить — наши они, советские, или дипломатический интернационал.

А дед Никифор Данилович, прогуливаясь, по-прежнему заходил к внуку Виктору, несмотря на всегдашние споры. Садился, закуривал. Внук корпел над учебными книгами. За эти два года он удивительно преуспел: с блеском прошел в аспирантуру. Дочь Сима по обыкновению отсутствовала — торчала в своих архивах, да старик и не искал встречи с ней.

И снова спорил дед с внуком. О том же. — Вот вы галдите, что Сталин тиран, — начинал дед, выдыхая табачный дым. — Куда ни кинь — он во всем виноват. Деспот! Палац! Ты меня слушаешь?

— Давай, давай!..

— А если начистоту, без фиглей, достигли бы мы без Сталина того, что достигли? Сидели бы на печи, да скребли бы задницу.

— А чего мы достигли?

— Как? Могушественнейшая страна!

— Туфта! — небрежно откликнулся внук, не отрываясь от книги. — Где она? Могушество в одних криках. Жизнь как жизнь, даже хуже. Развал, разброд.

Он поднял голову от стола.

— Мы жили придуманной жизнью, дед. И она так вцепилась нам в душу, что мы научились говорить только то, что придумано. Непридуманное именовалось поклепом. Целые поколения играли в эту игру.

— Ладно! — сердился Никифор. — Допустим, мы жили не так! А вы-то?! Вы-то

что наплели? Хочешь правду?

— Давай!

— Никакого застоя не было. Было время настоящей работы. Удивительное. Неповторимое. Столько сделано. Предугадано. Страна расцветала. Слышишь?

— Слышу. А теперь и я тебе кое-что скажу.

— Болтай.

— Человек живет, радуется, страдает, — сказал внук. — Ему кажется, что живет он в удивительную эпоху, какой еще не бывало. В единственную. Он умирает, и если бы через двести лет он мог прочитать заметки о своем времени, то нашел бы всего четверть странички в великой книге судеб человеческих. И о Сталине строчек пять.

— Вот так?!

— А что?! — сказал Виктор. — Сталин всего лишь один из ординарнейших палацех, которые десятками кишат в Истории. Не больше. Не надо преувеличивать.

— Слышь, при мне не смей так его обзывать, — прервал угрожающе дед.

— Почему?

— Дам в морду!

— Ну что ж, — откликнулся внук. — Я прощу. Родная кровь.

И опять дед хлопал дверью и уходил. И побродив часа с два, возвращался. Внук по-прежнему сидел, читал и что-то записывал.

— Хочешь, я скажу тебе, откуда у вас эта Перестройка? — говорил дед с порога.

— Скажи.

— Пришло новое поколение, — объяснил дед и закурил. — Ему надо чем-нибудь отличаться от прежнего? Вот вы и позорите все, что было до вас. Продираетесь вверх. Зубами, локтями. Набрехали, наобещали. А его-то все нету и нет.

— Чего это? — спросил внук.

— Социализма, дружок. Социализма.

— А он возможен? — спросил внук. — Социализм?

Дед умолк, как шмель, с лету хлопнувшийся о березу.

— Не понял, — проговорил он.

— А чего тут понимать? — сказал Виктор-внук. — Дело, дед, немудреное. Человечек — это нечто совсем другое. Социализм слишком высок — люди пониже.

Дед недоуменно смотрел.

И внук продолжал:

— Подумай, сколько всего хочет социализм от человека. Чтобы он был отзывчивым, но безжалостным. Материалистом, однако идеалистом. Подчинялся бы свести и милиции. Не лебезил, не подлаживался, но во всем сообразовывался с начальством.

— Не валяй дурака!

— Обожди. Чтобы не пил водку, но сохранял убеждения. Шумел, где надо, и не шумел, где не надо. Не брал взяток, верил Гегелю, боролся за кооперативы, любил не только просторы родных степей, но и Совет Министров. Не слишком ли много для человека? Не выйдет!

— Тьфу! — дед резко поднимался со стула. — С тобой говоришь, как с родным, а ты...

— Спокойно! — поднимал ладонь внук. — Утихни и сядь. Я ведь шучу, неужели не понимаешь?

Но дед уходил и возвращался уже только через неделю — к внуку Виктору, единственному, с кем ему было интересно поговорить в эти ПОЗДНИЕ ГОДЫ ДВАДЦАТОГО ВЕКА.

И снова шел у них разговор.

Внук, как всегда, что-то писал. Дед, как всегда, садился, нацеплял очки, разворачивал газету.

— Ну и ну! — говорил он, почитав. — Подумать! Оказывается, у нас есть теперь воры таких размеров, каких не знали даже в царской России.

— А ты об этом не ведал?

— При нас этого не было.

— Было! — говорил внук. — И ты это знал. Не мог не знать: сидел на такой верхотуре. Знал! Но скрывал.

— Что скрывал?

— То, что знал.

Помолчав, Никифор Данилович признался. Да, он о многом догадывался и достаточно много знал, но это партийная тайна. И он, коммунист, не намерен ее разглашать. При этом он ссылался на Молотова, который видел и знал куда больше, но до конца жизни так и не сказал никому ничего. Молчал, сколько его ни обхаживали. А ведь мог бы действительно черт-те что рассказать. И про Сталина, и про Гитлера, и про Риббентропа. И про разные разности, которым цены сейчас нет. Но молчал. Так и унес в могилу. Тайна партии!.. И дед Никифор тоже останется верен партии до гробового гвоздя. Не станет трепать языком, как другие.

— Ну и не трепись, — равнодушно откликнулся внук.

Однако дед, поскольку его дернули за живое, не мог молчать.

— А что сейчас? — говорил он. — Болтаете невзсть что... Все запуталось, опозорено. Никогда не ввали так, как теперь. Да пойми же ты, столб, либо советская власть, либо все эти ваши вольности. Куда мы идем? Ты думал об этом?

— Думал.

— Куда?

— К жизни, дед. К жизни.

— В пропасть вы катитесь! В бездну!

И схватив трость, дед Никифор, разбрызгивая гнев, сильно бил дверью и выбежал из квартиры.

В другой раз он чертыхался подняв после слов внука, что если бы социализм ввели в Сахаре, то в пустыне исчез бы песок. Но это была уже схватка по экономике, по арендам, подрядам, кооперативам и частникам, и хотя спорили часа три, но вышли из спора ни с чем, только головы гудели.

Впрочем судьбе, видать, было не в охотку, чтобы их встречи растянулись надолго: внук Витя, представьте, влюбился, и ему сделалось не до деда. Не до дискуссий о том, где истина. Пришло его время любить, и он стал отчуждаться от проблем, что веками томили людей, — как жить и что делать? Остался только маленький лоскуток, где существовала любимая, так мало напоминавший все, над чем бились премудрецы.

Ее звали Муся, ей было семнадцать лет. И ничего в ней не было удивительного — одна из тех Мусь, которыми битком набит трамвай. Ни бесновости глаз, ни жара ног, ни полета ума. Обычная из обычных. Нескладна. Неловка. Белеса. Неговорлива. С едва пробивающимся быстрым пугливым смешком, когда уж очень смешно. Жила в коммуналке двумя этажами выше. И познакомились они с Витей случаем, в лифте. Мать Муси скончалась, когда ей было пять лет. Отец тоже умер, но это недавно. Муся пошла в машинистки. Работала в министерстве, в домище во весь переулок.

Так вот, как раз Мусю-то Витя и полюбил. Да так, что ему стал не мил дед Никифор и никчемны споры с ним; все не нужно, помимо Муси.

Дед Никифор, погуляв поутру, теперь шел не к внуку, а возвращался домой. И читал Ленина в поисках аргументов против Перестройки, хотя во всех своих высказываниях (на народе) был целиком за нее. И к радости своей — находил. По вечерам садился за мемуары. Но ни бельмеса не получалось, хотя помнил он очень многое, другим недоступное, и, случалось, сидел с карандашом до утра.

За что же Витя полюбил Мусю? Можно ли полюбить за робость? За испуганность? За несмешливость? За близорукость? Она была близорука, но скрывала это. Витя догадывался по тем, доступным только влюбленному, дорогим особенностям, с какими она всматривалась в предмет, в дерево, в сидевшую на заборе кошку.

В своем машбюро она сидела за последним столом. Незаметная из незамечаемых. И доверяли ей перепечатывать все самое не-приметное, что не попадет на зрачок начальства. И больше всего, больше смерти,

она боялась, что ее сократят с работы. Потому что у нее не было других способов существовать, кроме этого. Она была сиротой, ни души родных на земле.

Полюбив, Виктор встречал ее каждый день у дверей Министерства в час окончания канцелярского дня. И я не смогу (да и не возьмусь) выразить потрясение ее товарок по пишмашинкам, когда они просекли, что у Муси есть ПАРЕНЬ. Мужик. «У кого?!» — «У Муси». — «Какой Муси?» — «Вон той. Там, у окошка. За той машинкой». — «Не может быть!»

Теперь Витя проводил с Мусей все ее вне-служебное время. Они бродили по Москве, он показывал ей ее целиком, такой, как есть, от застав до Кремля. Ни разу в жизни не видела она ни царь-колокола, ни царь-пушки, хотя родилась и всю жизнь прокружилась в Москве.

Он бродил с ней по улицам, и они судачили обо всем, залетая в такие тонкости, что доступны только чертовски влюбленным, да и то до поры, пока они влюблены. Он возил ее в кинотеатр Повторного фильма, и она с восторгом смотрела теленты, которым он поклонялся в отрочестве, смотрела их в первый раз в жизни, но ухватывала в них именно то, что видел и чем восторгался он. Он слышал это ОДНО сквозь ее пальцецо, наивно яркий беретик, глаза, растерянность и смущение — нечто такое, одно, откуда уже невозможно дать стрекача, вскочив на подножку троллейбуса. Шабаш! Это уже стало Витей. К счастью? К ужасу! Кто и когда может это заранее различить?!

Он решил повести ее в лучший в нашей стране театр — тот, конечно, который ему больше всех нравился, а нравились ему очень редкие. Но у него не тянуло денег на два билета, и он подумал подзанять их у бабушки Аси. Бабушка Ася, бывшая военная медсестра, жила с дедом Никифором в бывлой просторной министерской квартире. В молодости они вроде любил друг друга, с годами подразлюбили. Бабушка стряпала, убирала квартиру, стирала белье, всегда была рядом с дедом, но как-то ОСОБО. У нее была своя комната, увешанная памятками прошедшей Великой Войны, прозрачная, свежая, вся в ветре от неизменно открытой фромуги, в военных доспехах и фотоснимках. То был как бы последний отгиск войны: два пистолета, прибитые к стене, сумка с красным крестом, плащ-палатка, распятая над кроватью. И множество фото: чего только не было тут — и Ася в пилотке с лихими медалями, и Ася, пляшущая с танкистами, и Ася с чаркой среди пехтуры, и Ася, ползущая по военному полю, и дремлющая среди разрывов, и волокущая раненого бойца. И тучи,

и дождь, и декабрьские снега. И ясное летнее небо.

Все это казалось теперь бесхитростным и даже счастливым, и всем нынешним было забавно глядеть на все это, тем более, что всюду была бабушка Ася, еще совсем молодая и вся в медалях. Но тем усачам, кто помнил те годы и знал их собственной шкурой, было совсем невесело. Даже при виде пляшущих лейтенантов.

Витя питал великую нежность к бабушке Асе. Бабка вырастила его: мама Сима всю жизнь увлеклась заботами любовного устроительства и хотя обожала сына и часто плакала от любви к нему, но плакала еще и потому, что мужа отнимали у нее слишком много чувств — не хватало на сына. И Виктор рос на руках у бабки.

Бабка Ася была непростым существом. Негромким, но строгим. Себе на уме. Она безошибочно все понимала — кто коммунист, кто ловкач, кто герой, а кто стерва и бабник, но верная правилам своей эры и выдрессированная ею, помалкивала. И это было самое тяжкое для нее — помалкивать, когда понимаешь.

Помалкивала, к примеру, о том, что недолюбливает начальников и тыловиков. Она сознавала, конечно, что без начальства и тыла не было бы победы, но не терпела их. Словом, была, как я уже говорил, вздорноватой.

Истинным, страшным, но чистым временем для нее осталась война, когда, по ее словам, все было настоящее — братство, дружба, смерть, плащ-палатки. И даже вера в социализм. Родными, кровными были ей только те, кто отсырел в окопах. Их — удивительно! — она считала мудрей, человечней и справедливей всего живущего и командующего, даже тех, кто владел столами для заседаний и чернильницами с изображением шлемов и богатырей. И особенно почему-то — вот уж остаточное явление окопных годов! — она не переносила министров. И, в частности, мужа своего Никифора, когда он был министром. И ни разу не побывала на его министерской даче. И опять снизошла к Никифору только сейчас, когда по воле событий он пробкой вылетел со всех своих должностей и стал таким, как он есть, беспомощным, недовольным, ревматичным, сбившимся с толку, запутавшимся в мироустройстве, в том, что нужно и что не нужно, что хорошо и что не совсем. Ведь как раз таких людей и любила, и пестовала, и уважала фронтовая бабушка Ася, побывавшая под снарядами и раненная в живот. Тех, кто покачивается на ветру. Как жизнь, как природа. Великая Ася, остаток Великой войны!

Внук Витя без обиняков объяснил ей, что влюбился и что ему необходима двадцатка, чтобы повести любимую в театр. Ася не стала себя затруднять вопросами.

— Хоть красивая? — только спросила она.

— Нет.

— Отец с матерью есть?

— Нет.

— Умная?

— Да! — сказал он уверенно, хотя не был уверен в этом.

— Будешь жениться? — спросила она.

— Да.

— Женись и приведи посмотреть.

Именно так она и сказала: не «приведи посмотреть, а потом женись», а именно так. Потому что хотя и была всего лишь фронтовой медсестрой, а потом занималась домашним хозяйством, но и этого ей было достаточно, чтобы понять, что никак нельзя угадать, какой совет в жизни верен, а какой буза. Особенно, когда дело касается свадьбы.

Она накормила его, подштопала, дала четвертной и отпустила жениться.

Ох, эти бабушки-фронтовички, где их сыскать теперь?!

После театра Витя стал заходить к Мусе в ее коммуналку. На первых порах осторожно, потом зачастил. Сперва тушевался, старался не влипнуть в соседей, ходил на цыпочках и даже в носках. Затем перестал разуваться. И вскоре соседи обжились с ним, как обживались со всеми неожиданно внедрявшимися и сразу вдруг испарявшимися возлюбленными других постоянных жильцов, имевшими узаконенную государственную прописку. И даже полюбили его, особенно потому, что он умел чинить электричество, успокоить санузел и наладить немало того, без чего нельзя жить.

Любовь разгоралась. Долгое время они физически не сближались, в страхе отшатывались, когда дело грозило зайти далеко. И все же однажды сблизились в тот короткий полуденный час, когда все жильцы коммуналки распозлились по делам. Как говорится — свершилось! И Муся заливалась слезами, укоряя себя за слабость. И Витя, как это бывает всегда, не знал, чем ее утешить. Она плакала даже тогда, когда жильцы возвратились домой, растасовались по комнатам, а потом и что-то вкусно поджарили на кухне. Когда сильно, спросонья, работал туалет. А Муся все корила себя. Потом плач перешел во всхлипывание, потом они помирились, поужинали, и повторили то, из-за чего плакала Муся. А попоздней легли спать в Мусину коечку, такую прибранную, белую, и повторяли, повторяли уже до рассвета.

На другой день кибернетик Витя перебрался к Мусе, оставив маму Симу одну в двухкомнатной квартире.

А между тем от мамы Симы ушел и ее предпоследний муж — тот, НИКАКОЙ. Ушел опять непонятно, тоже НИКАК, без ссоры и даже без удовольствия, просто однажды утром вышел за дверь и не возвратился. Не захватил с собой даже своей движимости — правда, были у него лишь кальсончики, три пары носочков, да резервный костюмишко тех времен, когда еще носили широкие брюки. Бросил все это в шкафу и растаял в неведомом, и Симка нигде не могла его сыскать: ни в морге, ни за решеткой. Он растворился, казалось, навечно. Но через полгода Сима вдруг получила от него открытку с неясным штемпелем и без даты, где он поздравлял ее (называя по имени-отчеству) с праздником Великого Октября. Под поздравлением было карандашом начарапано: «Не ищи. Не могу с тобой жить. Благодарю за внимание».

И вот опять и опять Сима осталась в невестах. А было ей уже порядочно, правда, не очень, но все же...

Тут только заметила она, что сын Витя стал пропадать по ночам. И догадалась, что у него завелась сударушка. «Ну что ж,— сказала она себе,— ведь я так приучилась все всем прощать! Дети растут, мы стареем...» И все же, когда сын попался ей на глаза, сердито спросила его, куда он проваливается.

— Я женюсь,— сказал он.

Ну что ж, и этому не следовало особенно удивляться: когда сын взрослеет, он женится. Но будучи матерью, она не могла не сказать, что Вите следовало бы все-таки посоветоваться с ней. И хотя понимала, почему сын так далек от нее, все же горько вздохнула:

— Ты не любишь меня! Думаешь, я не вижу?

— Я люблю тебя, мама,— сказал Витя.— Я очень люблю тебя. Но зачем мне с тобой советоваться, когда ты сама себе не смогла наладить семью?

Ну, на этот вопрос, как каждая женщина, Сима знала ответ наизусть:

— Потому что мне попадались мерзавцы.

— Не поэтому,— сказал сын.— Ты зануда. Ты однозвучна, как стон. А жена должна быть не только заботливой, она должна быть легкой. Невесомой. Нетрудной.

И он еще долго распространялся о том, какой должна быть жена. И немало еще всего наперечислял. И получилось из его слов, что мама Сима на своем веку слишком цеплялась за мужиков, слишком думала о своем, бабьем, и мало, глухо, вскользь задумывалась о сыне. И вот теперь к его взрослым годам они так отошли друг от друга, что у него не явилось охоты по-

делиться с ней, матерью, своим величайшим счастьем, а именно тем, что в неразберихе, сумятице, пестроте он встретил лучшую девушку из всех, какие существуют под небесами. И эта девушка станет его женой, пусть даже ад, рай и чистилище воспротивятся этому.

И Сима рыдала, прикидывая сквозь слезы, действительно ли она однозвучна, как стон, впрямь ли цепляясь за мужиков и думала только о своем, бабьем. И выходило сквозь слезы, что это поклеп, что никогда она не думала о себе, напротив, разбрасывала себя, покорялась всему, уступала всем, и что всю жизнь билась за то, чтобы ее мужьям было хорошо и особенно хорошо было бы сыну Вите. И была именно легкой, нетрудной и невесомой.

Потом они помирились. И Сима осталась одна со своими архивами, которые столько знали и таили, но не могли ни утешить, ни усмирить. И повременив, она все же пошла к деревообделочникам, в клуб знакомств. Там встретили ее суховато, они не любили повторных, но все же, поканителив, выдали ей карточки знакомств, из залежалых. Перебрав сотню, Сима отделила нескольких женихов. После домашнего анализа остался один: Посунков, рост такой-то, экономист, блондин, любит искусство, спорт и политику, домосед, моложе ее летами. Ищет подругу жизни.

Так она познакомилась со своим последним.

Он переехал к ней, и по первопутку они стали жить волшебю: спать, завтракать, ужинать, снова спать. Картотека не подвела — Посунков оказался действительно среднего роста, блондин, любил искусство, спорт и политику и был домоседом. Ему, как и Симе, было за пятьдесят. Все сходилось и складывалось отлично, то в Посункове, этом блондине, нежданно для Симы, которая так придирчиво отбирала его среди столько анкетных мужчин, вдруг обнаружился перестроечник. Да еще какой! Неистовый, воспаленный.

К нему, на квартиру Симы, такую прибранную, ласковую, взлелеянную усилиями столь различных супружеских лет, начали приходиться какие-то неведомые ей люди, курили, сорили, наследивали и спорили до сипоты. Загибали опасную дребедень, например, что не может быть демократии при единопартийной системе, что нужна худо-бедно еще одна партия, что социализм в нашем русском, кровном обличии истрепал себя; что нужно поставить предел всепроникновению государства, упразднить министерства, шугануть управленцев всех эшелонов, обуздать аппетиты военных, что слишком много мерзавцев и дураков: что властвует не народ, а те, кому пофартило взобрать-

ся под потолок и поставить в дверях охрану; и что зачем эта лютая злоба ко всему заграничному: ведь во Франции живется вовсе неплохо, а в Америке совсем хорошо?!

И еще много подобной же околесицы, вздора и бреда.

Ко всему этому Сима, всосавшая с детства совершенно другие истины, отнеслась бы с доброй усмешкой, если бы эти НЕВЕДОМЫЕ, курия и наследивая, не притащили однажды к ней, в ее ДОМ, некий станок и ее начали тискать листовки с изложением всего вышесказанного. И не стали бы все это, оттиснутое, раздавать прохожим там, где когда-то стоял Страстной монастырь.

Тут-то она и дрогнула, испугавшись за участь Дома, постройка которого после стольких десятилетий, как видно, шла к завершению. И как-то раз за семейным борщом (который был сварен на диво) скомандовала, чтобы Посунков перестал печатать листовки и удалил из ее дома ксерокс-станок. Посунков возразил, что такой шаг был бы полностью не согласен с велением времени, что перестройка наталкивается на торможение, что существуют ответственные силы, противостоящие ей, что силы эти следует сокрушить, и что он, Посунков, не делает ничего, идущее впереззакону, а напротив — святое партийное дело, способствуя гласности, ускорению и борьбе с застоём. На это Сима сказала, что это прекрасно, она сочувствует этой борьбе, но просит вести ее за пределами дома. На что Посунков возразил, что теперь ему ясно: она далека его взглядам на жизнь, идеи и общественное служение. Тогда она вскрикнула, что приветствует эти идеи, однако поодаль от дома. На это он грянул, что не желает жить с женщиной, для которой герань на окне дороже судьбы России.

— Не хочешь, так убирайся! — сказала Сима.

И он ушел. Который по счету муж и в который раз! И забрал свой ксерокс, свой сор и своих приятелей.

Сима снова сделалась бессемейной.

Тем временем сын ее Виктор жил у жены своей Мусы. Был он парень добрый, шутливый, и вскоре жильцы коммуналки — и мрачные, и веселые, и хворые, и цветущие — полюбили его и согласились числить не посторонним.

Но самое примечательное — именно это-то и удивляло всех, кто судачил на кухне — состояло в том, что Муся, причалив к берегу и обретя упор, стала резко меняться. Она преобразилась день за днем — обликом, нравом, осанкой, привычками, мыслями, речью. Она словно бы распрямлялась от долгой дремоты. Все, что было в ней

сжато, пугливо, вжато, обретало простор. Все разгибалось, становилось уверенным и даже опасным на взрыв. Немыслимо было понять, откуда вдруг это пришло. Почему?

Наверное, лишь потому, что рядом с ней возник человек, которому она оказалась нужной. И Муся, не умевшая зажарить яичницу, вдруг научилась отлично стряпать, неряшливая — мыться до блеска, забитая, безответная — мотаться по развозможным инстанциям, выдирая то, что было положено Вите по праву, но неизменно ускользало к другим.

Отщипывая гроши от Витиной аспирантской стипендии (свою зарплату Муся тратила на еду), она наводила уют в своей горемычной комнате, ставшей внезапно пристанищем семьи. Купила Виктору летнюю куртку, себе халат, и штопала, и стирала, и приколачивала, и суматошила, и возилась — Муся, которая прежде целыми вечерами недвижно сидела на коечке, глядя в окошко, за которым шумело, бежало, пестрело НИЧТО. И понемногу комнатка засветилась, заулыбалась и даже как-то застенчивая Мусиной тихой, опасливой, нацеленной на счастье улыбой. Вот что такое Муся, когда она кому-то нужна!

Она хлопотала, маялась, восходя, порой, по очень высоким лестницам, и маленькая, тоненькая машинистка выцарапала у судьбы, что Витя после защиты (впрочем, ярчайшей) был принят в самый труднодоступный НИИ, куда принимали с великим отбором или заоблачными связями.

И Витя научно рос, заводилось белишко и одешонка. И Муся-дурнушка стала хорошееть, да так, что в троллейбусах заглядывались на нее. И даже однажды один джинсач в магазине предложил ей зайти к нему послушать пластинки.

А спустя годик-другой Муся решила пойти к мужниной маме Симе, с которой так и не повстречались ни разу за это время.

Сима жила одиноко. Можно было бы, конечно, еще раз отправиться в клуб деревообделочников, в клуб знакомств, но было стыдно, да, в общем-то, и как-то не нужно. Сима служила в архиве, подумывала о пенсии. Семья, которую она с таким отчаянием и трудом воздвигала всю свою жизнь, так и осталась невыстроенной, всюду виделись прорехи и щели, проломы и недоделанности, валялся строительный мусор. А среди всего этого одиноко и сиротливо ходила, сидела, спала, стряпала и много думала Сима. И самым главным в этом течении дум были мысли о том, почему ее жизнь пошла кривь и вкось, сумбурно и глупо, совсем не туда, куда ей назначено было идти. Почему у других все обдуманней и прицельней. И плакала, и кляла себя. Ей было невдомек, что точно о том же думают тысячи бодрых

и ладных, тех, кто ежесекундно мелькает рядом и поперек. Да если и было б вдомек, то перестала бы она плакать?

Сын Виктор забежал иногда поцеловать и справиться о здоровье. Это был очень удачный сын, человек беспокойной, горячей, неподдельной науки. Но забегал, убежал — и нету.

И вдруг неожиданно в воскресный день пришла к Симе жена Вити — Муся. Они, как я уже говорил, ни разу не повстречались после женитьбы Вити, и в памяти Симы застрял от Муси глухой след чего-то тусклого, вялого, недолепленного. Но Муся оказалась совсем не такой. Едва войдя, она восторженно, с открытой душой, заключила Симу в объятия, и сразу стала звать ее мамой, и искренне, сердечно, без тени притворства удивлялась тому, как долго они не видались, объясняя это не только своими бесцетными хлопотами по Витиному устройству, но и тем, что побаивалась Симу, ей думалось, что Сима почему-то невзлюбила ее, а почему — неизвестно, ведь Муся и не помышляет отнять у нее сына, совсем напротив — она делает все, чтобы Витя любил мать, уважал и всегда помнил о ней. И, главное, чтобы он был счастливым.

Вместо угрюмой, вялой, но цепкой мегеры, какой Сима воображала себе ее, Муся предстала любящей, радостной, незащищенной, предельно наивной и поразительно молодой. И не прошло и часа, как женщины стали подругами и Муся рассказала Витиной матери все — и о нелегком характере Вити, и о том, что он (в этом уверены все) будет крупнейшим ученым, но совершенный чудака в практических, кадровых, служебных делах, и ей пришлось звалить на себя все житейское. А ведь она ничего не умела, решительно ничего. Даже почистить картошку. И — смотрите, мама, — да, так именно «мама» сказала она, — жизнь их налажена, Витя на верном ходу, они скоро получат хорошую комнату, а через месяц вдвоем (Вдвоем! Это даже сейчас разрешено далеко не всем) поедут в Лондон на Всемирный конгресс кибернетиков. Конечно, тут прежде всего успех Вити, сказала она, но если уж совсем честно, есть кое-что от ее уменности быть дружелюбной с людьми. «Очень важно в жизни быть дружелюбной, — сказала Муся. — И главный идиотизм — быть придавленной, неулыбчатой, загнанной — такой, какой раньше была она, пока не встретила с Витей. Чего бояться, когда в жизни все ясно, надо только чуток подумать и разобраться».

Так говорила она, а тем временем убирала Симино жилье, все набросанное, пыльное, раскиданное, сваленное в одиноч-

ку и в кучу. И мыла пол, сдвигая диван и стулья, распространяя запах мыла и влаги, всосавшейся в паркет. Потом помыла посуду, ножи, вазочки, вилки. Потом поставила чайник, заварила принесенный чай и раскрыла пакетик с принесенными пирожными.

Они сели пить чай. И пили чай, и заедали пирожными, и говорили обо всем. И Симе так полюбилась эта открытая легкая девочка, что она поведала, как ей трудно, как всю жизнь искала она человека, чтобы построить семью, но ошибалась, путалась, и, в общем, так и не дошла до ума. Бесконечные мужики с их кальсонами, куревом и носками, претензиями и ослиными спорами о мироустройстве. О боже мой, боже мой, ведь все и без них устроено и в мироздании, и в стране.

И говоря так, Сима всплакнула. Всплакнула и Муся. И протирая стаканы, сказала, что главное — это не пугаться. Потеряешься, дрогнешь, стухнешь — и жизнь пропала.

— Вот и я, Муся,— сказала Муся,— была тусклятиной, всего боялась, а встретила человека, встретила Витю и полюбила, и все изменилось. И уже потом в вечерней газете прочла, что в жизни нужна ясность цели, настойчивость и упрямство. Все в руках человека. Надо только захотеть. Только захотеть. Отчаянно. Зверски. Очень.

— В вечерней газете? — спросила Сима.

— В ней,— Муся протерла последний стакан.— Ну вот, все в порядке,— сказала она.— Все убрано, чисто. Я победила.

Они расцеловались. Муся ушла.

«А ведь она права, эта Муся,— думала Сима, ложась на диван после ее ухода.— Что со мной? Откуда эта пассивность? Слабость? Покорность? Эта немощь, духовный СПИД? Ведь я не развалина, жизнь впереди. Надо бороться и побеждать. Девчонка права: ясность цели, настойчивость и упрямство!» — говорила она себе, поднявшись с дивана и шагая по комнате.

Она купила кремы и лосьоны и стала натираться на ночь и по утрам, сшила себе (она отлично умела шить) два современных платья.

«Не отставать! — говорила она себе.— Не сдаваться! Поднял лапки — пиши пропала. Жить! Отчаянно! Бесшабашно! Наперекор всему. И жизнь устроится. Почему она устраивается у всех?»

Но вот как-то раз, когда она натерлась лосьонами, надела лучшее платье, привела себя в независимость и готовилась идти в гости к подруге, она вдруг почувствовала, что у нее нет сил. Устала. Нет сил одеваться. Бороться и побеждать. Осточертели лосьоны, комната, друзья, умывальник, улицы, сослуживцы. Надоели опрыскивания, протирания, бесшабашность,

отчаянность, и это ежесекундное: «Чем я хуже других?». Надоело жить.

Прежде она никак не могла представить себе, как может НАДОЕСТЬ ЖИТЬ. А вот теперь опостытело все! Мудрецы и болваны, правда и враки, и те, кто правит, и те, кем правят. И красивое, и уродливое. И те, кого разоблачили, и те, кого еще остерегаются разоблачать. Все!

И вот такой, когда ей все опротивело, я и оставлю ее на время.

День двадцатилетия Муси справляли лихо. Назвали новых друзей, напекли пирогов, настругали салатов, отхватили кое-что в жанре водочки.

Было гремуче и радужно. Много тостов и смеха. Родилась молодая семья, и все, кто собрался, чтобы подзакусить, желали ей счастья. Ну и еще, конечно, здоровья и деток.

В полночь, когда танцы пошли на спад и кое-кто уже дремал по углам, натапцевавшись, прозвучал телефонный звонок. Подошел Виктор. Звонила соседка мамы Симы. Сказала, что маме как-то не по себе. И что надо приехать.

Но было бы довольно смешно уезжать со дня рождения Муси лишь потому, что Симе не по себе. Ей ведь всю жизнь не по себе!

— А что с ней? — спросил Виктор.

— Наподобие живота.

— Съела чего-нибудь,— сказал сын.— Пусть поспит, обойдется.

— Да она уже спит. Но как-то... — Соседка умолкла, подыскивая слова.— Не по-нашенскому,— сказала она, наконец отыскав их.

— Пусть спит. Позвоню утром,— сказал Виктор и положил трубку.

А маме Симе было нехорошо, потому что она отравилась. Глотнула штук сорок снотворного, чтобы прикончить жизнь. Дня за два до этого все приготовила — и таблетки, и воду. Но не решилась. Как всегда, ходила на службу в архив, стирала, варила. А на третий вечер, уже лежа в постели, вдруг сказала себе: «А, была — не была!» И глотнула все сорок таблеток. И, глотнув, снова легла. Все было как всегда, ничто не менялось. Как всегда что-то ходило и говорило за стеной. Как извечно, долгие годы, гремел, гудел, повизгивал город за форточкой. Ей стало страшно, и она закричала о помощи. Но звука не было. Она кричала, надсаживалась, но беззвучно, с развернутым ртом, в тишине. Не было даже стопа, всего только хрип. Потом все стронулось, поплыло, обрываясь, смыкаясь, она заметалась и замерла. Пришло успокоение. Сон? Наверное. А может быть, покрупнее, чем сон. То, о чем она так хлопотала. Бесстрастие и ничто.

А к этому часу гости у сына уже разошлись, и Муся с Виктором, убрав и помыв посуду, разделись и, голые, рухнули на кровать и началось невообразимое — то, чего невозможно было никак ожидать от робкой, неговорливой Муси и Виктора, увязшего в алгоритмах. Они проникли друг в друга, слились и забурлили так, что свалились с кровати на дореволюционный паркет. Но и на этом щербатом древнем паркете они продолжали сливаться и проникать. И только однажды, в миг отдышливой паузы, Виктор вдруг вспомнил о матери, с которой что-то неладно. Но ведь, действительно, не бежать же туда сейчас. Все обойдется, как все обходится со стариками. Да и Муся ни за что не позволит ему уйти.

Это было близко ко времени, когда испустила последний вздох мама Сима. Симу похоронили. А Виктор по-прежнему продвигался в науке, хотя и не так успешно. И Муся все более хорошела, смелела, все безоглядней любила своего Витю, пока какой-то новый джинсач не увел ее от него. Куда? Не знаю. В пространства, которые предугадать не берусь.

...Кого же мне выбрать главным героем сценария? Деда Никифора, былого суперминистра, побывавшего на самой маковке Государства, ворочавшего делами невиданной важности, участника Самой Высокой Ступени, соавтора Величайших Решений, ставшего на исходе лет пенсионером — таков удел человека, сколь бы он ни казался немеркнущим? Того когда-то всевластного Деда, что семенит теперь, порой, по субботам к внучке, где гремят молодые голоса и где можно в тепле и шуме вздремнуть под абажуром?

Или выбрать героем его сына Павла, бойкого и общительного, вымахавшего из ремонтников санузлов в одного из виднейших дельцов социалистического интерпредпринимательства, в гражданина Единой Земли, полунашего, полузаграничного, равноправно живущего со своей женой Кирой в Москве и в Париже, советского в доску, но с твердой валютой?

Или, возможно, внука Виктора, будущего ученого, а теперь аспиранта, ирониста и скептика, женившегося по любви на девушке Мусе, простодушной и робкой, самой простенькой из простых, но оказавшейся совсем не простой, а даже напротив?

Или же, наконец, выбрать мать Виктора Симу, весь свой век промечтавшую сложить дом, семью и всю жизнь протрубившую архивариусом в комнатах, где в папках лежали на вечном покое в обрывках и документах объедки чужих семейств, невзгод, побед, намерений, планов, крушений, кутузков и кляуз. Симу, многих любившую, со многими спавшую, да так и пришедшую в бесприютность к заключительному порогу?

О ком же из них рассказать? Я выбираю Симу. О ней напишу для кино — о Симе и Времени. О всем, что она прошагала. О всем — Флагоносном, Пылавшем и Восхвалявшем и Трепетавшем, да так и застывшем в архивных папках. В картонках отчаянных, страшных, но с каждым годом все реже востребуемых.

Хорошо бы, конечно, поведать о всей семье, начиная с Деда. Хорошо бы, да не смогу. Не достанет сил. Не успею.

1988 г.





**Владимир
ФАЙНБЕРГ**

СЛЕЗЫ ПЕРВЫЕ ЛЮБИ...

Вид на Кремль.

В первые послевоенные годы киножурнал «Новости дня» открывался этой заставкой. В полной тишине идет черно-белая хроника.

Перед нами первомайский парад 1948 года. На трибуне Мавзолея Сталин, Молотов, Берия...

Демонстранты несут их портреты.

Демонстрация в Ленинграде.

Демонстрация в Киеве, Минске, других столицах союзных республик. Те же портреты и лозунги.

Кадры хроники идут в замедленном темпе, словно кто-то хочет взглядеться в них, понять...

Постепенно тишина этой стерильной, дистиллированной хроники начинает нарушаться звуками — стрекотом кузнечиков, скрипом колес, цоканьем лошадиных копыт.

...Хроника продолжается.

Музей Революции. Чинно следуя за экскурсоводом, люди разглядывают присланные со всего мира подарки товарищу Сталину.

Разрушенный, разбомбленный Сталинград. Из ворот восстановленного цеха Сталинградского тракторного завода выезжают трактора ДТ-54.

Колонны грузовиков со знаменами везут зерно нового урожая.

Вручение Сталинских премий деятелям литературы и искусства.

Люди, читающие в «Правде» статью «Реакционная генетика на службе империализма».

И тут становится слышен сипловатый, прокуренный голос:

— А чего к нам-то подался? У нас в Высокой, считай, народу после войны осталось, что волос на лысине, поля не сеются. Одни бахчи возле речки да свекла за речкой.

...Хроника кончилась.

Стрекохут кузнечики, скрипят колеса. Цокают копыта лошади.

Телега катит по пыльной грунтовой дороге мимо пустых, поросших сорняками полей.

В телеге на сене вольно раскинулся густоволосый парень.

Оторвавшись от своих мыслей, он подтягивается к передку, садится рядом с одноруким седым возницей.

— Да я в Степановскую ехал, в ваш район-центр. Вчера ночью еле добрался. Автобус почему-то пятьдесят километров не доходит. Повезло — полторка подобрала. Пока ехали, шофер рассказывал, будто у вас в Высокой есть церковь и там старинные рукописи хранятся. Вы не слышали?

— А как же! Кто ж не слышал, — отвечает возница. — В гражданскую, когда усадьба горела, комиссар велел этот сундук от греха в храме схоронить. Мало ли, может, чего полезное для народа.

— Но вы видели, что там, в сундуке?

— Писания древние, не прочтешь. До сей поры помню — буквы заглавные краской да золотом выведены. Много там было. Все в трубки скатано. Мы перед войной и в Москву писали, Буденному. Никто не приезжал, не интересовался. Говорю — цельный сундук.

— Почему Буденному?

— Кому ж еще? Наш же, казак.

— А случайно не помните, такое название не попадалось — «Слово о полку Игореве»?

— Другая там грамота, древняя.

— Долго еще ехать?

— Мы когда, вроде, в пять от бабки Шуры тронулись? Еще танк не проехали, а уж после танка — близко. Часы-то есть?

Юноша вскинул руку, показал.

— Полдесятого.

— То-то печет уже. Трофейные?

— Отец с фронта привез.

— А сам откуда? Сталинградский?

— Из Москвы.

— Вон как! — возница оглядел парня, его ковбойку, из кармашка которой торчат блокнот и авторучка. — Москва — авторитетный город!

Замолк возница, о чем-то думает, дымит самокруткой. Задумался и парень.

...И опять вокруг все та же пустая степь да чаша неба над ней, где как желток — солнце.

Жарко. Парень расстегивает пуговицу ковбойки.

— Эхе-хе, — говорит возница и запекает:

О чем, дева, плачешь,
О чем, дева, плачешь,
О чем, дева, плачешь?
О чем слезы льешь?..

Вдали показался сокрушенный танк с черным крестом. Он косо стоит на краю дороги, уже поросший кое-где кустиками бурой растительности. Телега проезжает совсем близко — можно рукой дотронуться до башни. Тень от нее на мгновение падает на лицо юноши.

— Я первый раз на земле, где были фашисты, — говорит он вознице. — А вы, наверное, воевали?

— Милок, мне ведь семьдесят шестой... Здесь я был, под немцем.

— А рука?

— Еще в гражданскую обезручел. Население нашего местожительства во всех войнах кругом израненное.

— Да-а, дела...

— Дела мои — темная ночь, — неожиданно подхватывает возница. — Слышь, обложили налогом на сад. Я зачем в Степановскую, в район ездил? Ездил к советской власти за правдой. В сорок втором какие морозы были! Все померзло. Ни одной яблони живой не осталось. Мертвые стоят. Теперь записали — сад. Плати налог. Говорю — мертвые стоят.

Тогда, говорят, спили. Говорю — я старик, инвалид, одной рукой несподручно. Старуха моя подштанники промеж стволов сушить вешает. Пили — и все. Или плати налог.

— Спилите. Хоть дрова будут.

— Да я тебе не об том говорю — о справедливости. Придумали, слышь, налог и на сад! Будь у меня сад живой — и его пришлось бы под корень. Они там в Москве об чем-нибудь думают? Есть справедливость?

— Есть, — убежденно отвечает парень. — Я только не знал, что бывает налог и на сад.

Он откидывается назад спиной на сено, заводит руки за голову. И опять над ним голубеет небо России... Распластав крылья, вольно парит коршун.

Но вот в это небо wpłyвает сбитая на сторону верхушка колокольни, ободранные купола православной церкви.

— Приехали?! — он рывком поднимается.

— Приехали. Да все, видишь, закрыто. Довезу тебя до огородов. Отец Варсонофий небось там.

— Как его зовут?

— Варсонофий.

— А отчество?

— Кто его знает? Ведь батюшка — без отчества принято.

Они огибают ржавую церковную ограду. Храм тоже порос кустиками, хилыми деревцами.

Безлюдными проулками мимо покосившихся домишек телега спускается к речке. Издали видны скудные огороды, бахчи вдоль обоих ее берегов. А еще дальше, за речкой, снова степь, марево.

— Вон он, бедолага, мается, — возница указывает кнутом куда-то вдаль.

— Почему бедолага?

— Сын у него танкист, Герой Советского Союза, — непонятно отвечает возница. — Ты доехал, а мне еще семь верст. Прощевай, парень.

— Спасибо! — он соскакивает с телеги. — Сколько я вам должен?

— У тебя столько нет, — улыбается старик, — вот если б табачку городского...

Возница уже дернул вожжой, развернул лошадь, как юноша кинулся следом.

— Пойдите! Я ведь так и не узнал, как вас зовут! Я же вас больше никогда в жизни не увижу. Меня зовут Артур.

Возница не удивился, серьезно глянул на парня.

— Кузьмичом кличут. Прощевай!

Телега, пыля, покатила в дорогу.

Спустившись к речке мимо пожелтелых от зноя помидорных гряд, Артур вышел к покосившимся деревянным мосткам.

На той стороне реки снует одинокая черная фигурка с ведром, поливает жухлые гряды.

После минутного замешательства Артур позвал:

— Товарищ Варсонофий!

Фигурка распрямилась.

— Товарищ Варсонофий! Я к вам!

— Откуда? — с недоумением спрашивает священник.

— Из Москвы!

Осенив себя крестным знамением, священник с ведром спускается к лодке, торопливо гребет. Гребет он сидя спиной к Артуру, часто оглядывается. Сутулая спина, жидкая косичка из-под соломенной шляпы — все это ветхое, жалкое, как жалка и ветха его черная сатиновая ряса.

Причалив лодку, священник вышел на мостки, настороженно глядя на Артура. Будто не замечая протянутой руки, не слыша «здравствуйте».

— Извините, я к вам по делу, — смешался Артур. — Приехал в командировку в Степановскую... Кстати, вот удостоверение.

Священник берет бумажку, беспомощно вертит в руках.

— Очки в хате оставил. А какое дело?

— Важное. Извините, как вас можно называть?

— Отец Варсонофий.

— Отец Варсонофий, говорят, у вас в церкви хранится сундук, в нем старинные книги... Я — студент московского института. В общем, филолог. И очень важно было бы взглянуть на эти старые книги. Если они есть.

— Сундук есть. А что там — никогда не открывал. Невесть чье имущество, — отвечает священник. — Идемте. Возьму ключи в хате. А там сами разбирайтесь.

Они шагают наверх в гору теми же пустынными проулками. Артур спешит. Священник еле поспевает за ним.

Жарко. В тени под плетнем лежит разморенный пес. У колодца на сырой земле распласталась курица.

Голопузый мальчишка в казачьей фуражке, сидя на завалинке, выводит щемящую мелодию на дудочке из бузины.

— А где все люди? — спрашивает Артур.

— В поле за рекой, — священник открыл калитку. — На свекле, коленкованием заняты.

— Чем?

— На коленях ползают, свеклу пропалывают.

Артур входит за ним в маленький дворик, где стоит мотоцикл с коляской, и видит — за столом под сухим деревом сидит здоровенный мужик с обожженным лицом, перед ним початая бутылка водки, граненый стакан, помидоры.

— Васенька! Что ж это ты?! С утра... — священник подбегает, протягивает руку, чтоб забрать бутылку.

Мужик не отдает. Они молча борются за нее. Наконец, бутылка летит на землю. Шархнула испуганная курица. Из бутылки, булькая, выливаются остатки водки.

Мужик вдруг сваливается со скамейки, на мгновение исчезает из виду, скрытый столом. Через секунду возникает на дорожке. Подтягивая на руках безногое тело, подползает к бутылке, убеждается, что из нее все вылилось.

Со слезами на глазах кидает свое тело навстречу Артуру, невольно попятившемуся.

Гремя связкой ключей, священник в очках выбегает из дома, ухватывает сына за плечи, останавливает. Крестит его голову, что-то шепчет — молится. Потом говорит Артуру:

— Идите к храму. Я догоню.

Артур выходит из калитки. И опять его встречает щемящая мелодия мальчишечьей дудочки.

Мальчик с дудочкой идет посреди улицы. Теперь Артуру слышится в этой мелодии что-то древнерусское, исконное... Он убыстряет шаги, обгоняет мальчика, и вот уже опять вырастает перед ним храм.

Тяжело дыша, подходит священник, отпирает заржавленную калитку ограда. Затем они идут церковным двориком, поднимаются на паперть. Священник, перекрестившись, снимает с дверей замок.

Голубь, едва не задев Артура, с шумом вылетает на свет. А он робко входит в полумрак и тишину храма.

Кое-где у немногочисленных икон тлеют огоньки лампад. Священник проходит вперед, зажигает свечи перед входом в алтарь. Потом становится на колени, замирает в молитве.

Привыкнув к сумраку, Артур нетерпеливо подходит поближе, осматривается — сундука нигде не видно. Сквозь пробитый купол косо льются солнечные лучи.

— Отче наш, — с отчаянием возглашает священник, — иже еси на небесах! Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть царство и сила и слава во веки!

Христос, Богородица смотрят с полуразрушенного иконостаса. Трещат свечи.

Вдруг священник с яростью ударяет кулаком о каменный пол, поднимается, невидяще глядя на Артура.

— Что вам от меня надобно?

— Отец Варсонофий, мы ведь говорили о книгах...

Священник направляется к боковому приделу, где слева от большого распятия громоздится нечто, накрытое ветхими тканями.

Под замороженным взглядом Артура он снимает один покров, другой, третий... Наконец блеснула обитая железными полосами крышка сундука.

Отец Варсонофий долго ищет в связке ключей, находит нужный.

Замок не поддается. Священник нервно дергает его.

— Может быть, я попробую?

Артур становится на колени перед сундуком. Отец Варсонофий берет с подоконника у зарешеченного окна бутылочку с лампадным маслом, смазывает ключ, протягивает Артуру.

И замок открывается. Вместе они откидывают тяжелую крышку.

Сундук почти пуст.

Отец Варсонофий вынимает оттуда драный валенок, затем брошюру «О разведении рапса», другую брошюру — «Кролики на приусадебном участке колхозника», книжку «О проведении осенних прививок в области войска Донского»... Он читает вслух эти названия, укоризненно поглядывая поверх очков на Артура.

Достает еще одну растрепанную книжку.

— «Посох странника». Интересует?

Артур отрицательно качает головой.

Священник откладывает книжку на подоконник и вынимает последнее, что есть в сундуке — сверток в обрывке бумаги. Разворачивает. В его руках металлический крест, который он тоже ставит на подоконник.

Артур поднимает с пола упавший обрывок... Изукрашенная буква, рукописные древнеславянские строки...

— А где же все остальное? — голос Артура дрожит от обиды, от неудачи.

— Здесь немцы были, — кратко отвечает священник. — И до немцев тоже...

Артур подносит обрывок к льющемуся из окна свету, пытается прочесть:

— «Аще языки человеческие глаголю и агглскими...» Отец Варсонофий, не понимаю, что здесь написано.

Священник берет у него обрывок, медленно читает вслух, переводя:

— «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто...» — Он возвращает Артуру бумажку, с жалостью смотрит на него: — Это из послания апостола Павла.

— Кому?

— Всем нам.

Артур идет к выходу, оглядывается на темное помещение со столбом падающего из-под

купола солнечного света. Шагнув из знобящего сумрака храма на раскаленную паперть, скатывает обрывок рукописи, прячет сначала в карман своих черных брюк, затем вынимает, осторожно кладет в нагрудный карман ковбойки, рядом с авторучкой. Спускается по ступеням, смотрит на священника, который, перекрестившись, запирает двери. И вдруг спрашивает:

— А все-таки есть бог или нет?

Священник, спускаясь с паперти, слепо смотрит вдаль, ничего не отвечает.

— Но если есть, как же он допускает войну, несправедливость?

Все так же глядя вдаль, отец Варсонофий произносит:

— Бог сотворил человека со свободной волей. Он за наши безобразия не в ответе. Это мы ответ держать будем... По духовному надо было идти, а не по вещественному, — он выходит за ограду, запирает калитку и, обернувшись к Артуру, яростно шепчет: — У меня сын в танке горел, теперь пропадает.

Чувство вины и сострадания заставило Артура остановиться.

— Идемте яишню кушать, — так же яростно приглашает священник.

— Отец Варсонофий, когда началась Отечественная война, мне было одиннадцать лет...

— Идемте яишню кушать!

— Спасибо. Поеду.

— Куда?

— Обратно. В Степановскую.

— Ни телеги, ни машины не достанете.

Жара — пятьдесят градусов. По грехам своим сына от заповей отмолить не могу. Нужно скорей в Степановскую к доктору. Сын отойдет, проспится, глядишь, поутру завтра-послезавтра на мотоцикле и двинемся.

— Что вы! У меня командировка всего на три дня. И так день потерял... Может, попутная нагонит. Как здесь на дорогу выйти?

— Вольному воля... Налево и сорок верст все прямо.

— До свидания.

И опять священник не подает руки.

Артур сворачивает налево за церковь и оглядывается. Отец Варсонофий смотрит вслед, издали крестит его.

Артур идет к околице.

На толстом слое пыли видны следы от колес той самой телеги, на которой он ехал сюда, в Высокую. Других следов нет.

Кроме чернеющего далеко на краю горизонта подбитого танка — вокруг одна голая степь.

Артур снова оглядывается. Церковь уже чуть видна. Накренившейся колокольней словно кланяется вслед...

Он решительно зашагал по дороге. Солнце только восходит к зениту. Короткая тень движется у ног. Артур взглянул на запылившиеся до колен брюки, отряхнул их, на ходу посмотрел на часы, пошел быстрее.

Он движется дорогой к подбитому танку. По лицу катятся струйки пота. Ковбойка на спине взмокла.

Вот и танк. Артур прислоняется к накренной громадине и тут же отскакивает от раскаленной брони. Даже рукой дотронуться горячо.

Он обходит танк, видит рваные дыры от снарядов, заглядывает в открытый башенный люк. Там темно... Башня с выгоревшим черным крестом бросает клочок тени. Артур вдавил себя в эту тень, прислонился. Достает из кармана чистый платок, видимо, еще в Москве выстиранный и выглаженный матерью, вытирает лицо.

...Пионерлагерь в сосновом подмосковном лесу. Раннее утро. Пустая площадка. Столб с опущенным флагом. На клумбе цветами выложена дата — июль 1945.

В бараке, который ближе всех к лесу, спят пионеры. На спинках кроватей висят сатиновые красные галстуки. На крайней, у раскрытого окна, — лежит Артур, читает «Как закалялась сталь».

На узком подоконнике лежат те самые трофейные часы.

Внезапно тень падает на страницу книги. Артур переводит взгляд на окно. Вскрывает.

В проеме окна — высокий, худой эсэсовец в грязной форме со спортивными знаками отличия.

Эсэсовец берет с подоконника часы, опускает в нагрудный карман мундира, усмехается, показывает пальцами на подоконник:

— Пионер, завтра утро, в этот час, тут, булка, яйцо, масло, сахар... — он говорит тихо, вдруг проводит ребром ладони по горлу. — Никому не сказать. Иначе будет так.

— Отдайте часы, — сдавленно говорит Артур — происходящее кажется ему сном.

— Морген. Завтра, — напоминает эсэсовец и, со значением приложив палец к губам, уходит.

Немного выждав, Артур выглядывает в окно. Лес. Никого не видно.

Он открывает тумбочку, достает перочинный ножик. Все еще сладко спят.

Артур выходит из барака, видит — вдоль опушки леса под охраной автоматчика бредут истощенные пленные, рвут крапиву, щавель.

Артур нагоняет идущего по дороге пожилого седошного конвоира, что-то говорит ему.

Автоматчик оглядывается на барак, откуда появился Артур, затем перепрыгивает через кювет, хватая за плечо высокого, худого

немца в мундире. Быстро обшаривает его карманы, кидает Артуру часы.

Тот не поймал, часы падают в пыль. Пока он нагибался за ними, конвоир прикладом автомата бьет эсэсовца прямо в лицо.

Артур с часами в руке смотрит, как по щеке немца течет кровь. Настоящая кровь. А конвоир бьет снова и снова. Из глубины леса подтягиваются другие конвоиры.

— Не надо! — кричит Артур. — Не надо!

Слышен призывный звук пионерского горна — побудка.

Звук еще тает в воспоминании, а вокруг уже настоящее — степь, зной, марево.

На ходу Артур вытаскивает свой платок, утирает шею, лицо, выжимает его.

Подбитый танк остался далеко за спиной, а впереди справа и слева от дороги виднеются какие-то короткие столбики. Это как очередная вежа, до которой идти и идти...

Он расстегивает ковбойку до конца.

Столбики все ближе. Видно, что сверху на них укреплены короткие дощечки.

Он идет, уже не отрывая брюк, не обращая внимания на пыль. Наконец подходит к столбикам. На дощечках красной краской выведено: «Мины».

Артур растерянно оглядывает до сих пор не разминированную после войны землю, приглядевшись, различает остатки разбитой техники, окопы... Потом опускается прямо в придорожную пыль у самого столбика. Прикрывает руками голову.

...Густо валит снег. Московский зимний вечер. Горят фонари. Артур в пальто и зимней шапке-ушанке стоит у будки телефона-автомата возле кинотеатра «Метрополь», где идет «Молодая гвардия».

С огромного рекламного щита смотрят молодоговардейцы.

Автомат занят рослой женщиной в черной меховой шубке.

Из дверей кассы выходит Сережка с двумя билетами в руках.

Сережка одет совсем бедно: в худых валенках, облезлой шапке, ватнике. Отдав сдачу Артуру, тянет его в тепло кинотеатра.

Но Артур смотрит на свои часы:

— Сережка, мать будет волноваться. Надо обязательно позвонить.

А женщина все не выходит из автомата. Зато рядом из ресторана «Метрополь» вываливается шумная компания. Останавливают такси, рассаживаются, уезжают.

На тротуаре остается один, вальяжный, в бобровой шапке, богатой шубе с воротником шалью. Он медленно проходит мимо Артура и Сережки, мимо телефонной будки. Идет обратно.

Женщина в будке поворачивается к нему лицом. Полы ее шубки расходятся, и Артур видит, что, кроме лифчика, трусов и чулок с подвязками, на ней ничего нет...

Человек кивает. Женщина запахивает шубку, выходит к нему. Он поднимает руку, останавливает такси.

Олег Кошевой, Сережа Тюленин, Ульяна Громова смотрят им вслед с киноплаката. Артур нагибается к сугробу, загребает полную пригоршню снега и трет, трет им глаза.

Дорога. Одинокая фигурка бредет под полуденным солнцем. Справа и слева пунктиром продолжают столбики, где на табличках надпись «Мины».

Внезапно Артур останавливается. Прямо перед ним посреди дороги греется на солнце свернутая в кольца змея. Это гадюка. Она поднимает треугольную голову. Раздвоенный язычок трепещет в пасти.

Артур сделал шаг назад. Опасливо свернул на обочину, где как раз стоит столбик. Обошел змею и пошел дальше. На ходу сняв с себя ковбойку, накиннул ее на голову. Он стал похож на бедуина, этот путник, бредущий по дороге.

...Московская весна. Тает снег. С крыши слетает пронизанная солнцем капель. Первое утро, когда можно выйти без шапки. Из подъезда выбегает Артур с портфелем. У арки двора его караулит Сережа. Они вместе выходят на улицу.

— Очень спешишь? — спрашивает Сережа.

— Еще бы! Сегодня вместо первой пары экскурсия в Ленинку, в отдел редких рукописей! А ты чего не спешишь в свой университет? Хочешь яблоко?

Сережка берет яблоко.

— Я тебя провожу, — говорит он, странно озираясь по сторонам.

Он тащится за Артуром, пока они не подходят к памятнику Тимирязеву.

— Давай хоть минуту посидим, — просит Сережка.

Артур, посмотрев на него с недоумением, присаживается на сырую скамейку. Сережка садится рядом. Молчит. Ковыряет талый снег худым валенком. Потом говорит:

— Завтра на собрании меня будут выгонять из университета и комсомола.

— За что?! Почему?!

— Кто-то дознался, что у меня отец в ссылке, репрессированный. А я не написал в анкете...

— Сережка, разве у тебя отец жив? Я думал, погиб на фронте.

— Он в ссылке под Семипалатинском. Мы с мамой скрывали.

— За что его?

— Отказался еще до войны делать из тополиного пуха сукно. Сказал, глупость. Он был директором текстильной фабрики.

— Из тополиного пуха? — протянул Артур. — А теперь? Как он там? Что делает? — Овец пасет...

— Сын за отца не отвечает. Слышал?

Сережка понуро молчит.

— Ладно! Завтра приду и выступлю, — решительно говорит Артур. — Во сколько собрание?

— Тебя не пустят. Ты из другого института.

— Пустят. Ты — комсомолец, я — комсомолец. Имею право! Знаю тебя уже столько лет, вместе школу кончали, живем в одном дворе...

— У тебя будут неприятности.

— Во сколько собрание?

— В шесть. Не надо. У тебя будут неприятности, — вторяет Сережка, а в глазах уже светится надежда.

— Значит, в шесть? Где?

— В Коммунистической аудитории.

Нестерпимо палит солнце. Дорога.

— «Темная ночь, только пули свистят по степи, — хрипло поет Артур, — только ветер гудит в проводах...» — Он смолкает, подносит руку к запекшимся от зноя, покрытым коростой губам. Отнимает от них ладонь — на ней кровь.

Он продолжает идти, снова с трудом запевая:

— «Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в бою...»

Вдруг, увидев нечто впереди, из последних сил пошел быстрее.

Маленький полуразбитый мостик через русло степной речки. Артур спускается под него — сухо. Давным-давно пересохшее русло. Пытается расковырять землю — безнадежно, воды нет.

Бессильно сидит под мостиком в клочке тени, стягивает с головы ковбойку и только теперь спохватывается, начинает лихорадочно искать в кармашке ковбойки, в карманах брюк. Целы документы, записная книжка, авторучка, носовый платок. Исчез обрывок древней рукописи. Он заставляет себя вылезти из спасительной тени. Мгновение колеблется — идти вперед или назад. И все-таки поворачивает в обратный путь.

Бредет, оглядывая пыльную дорогу, бредет навстречу своим следам.

...Стакан с водой. Графин, полный воды. Покрытый кумачом стол президиума в Коммунистической аудитории МГУ. За столом комсорги всех курсов, председатель собрания в гимнастерке с колодкой орден.

Аудитория забита студентами.

Между столом президиума и трибуной на стуле сидит Сережка, поджав ноги все в тех же худых валенках.

На трибуне кончает свое выступление оратор — красивый парень с волевым, резко очерченным лицом.

— Конечно, Сергею Лещинскому не место в наших рядах. Не о нем речь. Здесь критиковали комсомольскую организацию первого курса, ректорат. А надо критиковать всех нас за то, что мы потеряли политическое чутье, терпели рядом с собой этого двурушника.

Звучат аплодисменты. Председатель стучит авторучкой по графину с водой.

— Кто еще хочет выступить?

В этот момент к столу президиума подходит Артур. Председатель в недоумении смотрит на него, берет записку.

Тем временем на трибуне возникает толстая девица в очках.

— Лещинский учился со мной в группе, товарищи! Теперь, оглядываясь назад, можно видеть их методы, наших врагов. Он был у меня в гостях, втирался в доверие к родителям, дошел до такой наглости, что однажды поделился с моим отцом, членом партии, таким соображением. Говорит: «Мчится гоголевская тройка, а в тройке-то Чичиков!» Что он хотел этим сказать? На что намекал? А я проявила политическую близорукость, угощала его чаем!

Зал благодушно смеется.

— Ничего смешного! — она поправляет очки. — Политическая близорукость — страшная вещь, о чем нас все время предупреждает партия, товарищ Сталин!

Снова аплодисменты. Председатель отпивает воду из стакана, встает, держа в руках записку.

— Товарищи, по-моему, все ясно. Пора подводить черту. Правда, тут поступила записка. Бывший одноклассник Лещинского пишет, что знает его с детства... Дадим слово?

— Дадим! — нестройно отвечает аудитория.

И Артур занимает место на трибуне. — За что вы хотите сломать ему жизнь? Я действительно знаю Сережу чуть ли не с детства, с шестого класса. Человек кончил школу с золотой медалью. Заслуженной. Живут они с матерью в бедности, в моем доме, в подвале. Сережа добрый, порядочный человек. Ну, не написал он в анкете о своем отце. Ну, влепите ему выговор. Царское правительство приняло Ленина в университет, хотя у того брат был повешен, а мы, Советская власть, будем мстить Сережке — сыну человека, который еще неизвестно, за дело ли...

Перебивая Артура, вскакивает со своего стула Сережка, тащит его с трибуны, кричит на всю аудиторию:

— Замолчи! Товарищи, я его не просил! Я с вами со всеми согласен!

И наступает тишина. Мертвая тишина. Артур словно ослеп. Он сходит с трибуны, опрокинув по дороге стул, направляется мимо президиума к выходу...

Вдруг стало слышно, как заплакала стоящая у дверей девушка с тугой русой косой.

Дорога. Артур все бредет навстречу своим следам, пока не замечает на обочине свернутый в трубку кусочек пергамента. Поднял, развернул. Сверкнула на солнце золотая буква.

Он поворачивает обратно. Мостик через сухую балку виднеется далеко впереди.

...Москва. Пруд у Новодевичьего монастыря. В воде отражается мокрая после дождя зелень кустов и деревьев.

Артур и девушка с тугой косой идут вдоль пруда.

— Оставили его и в университете и в комсомоле, — говорит девушка, — отделался строгим выговором.

— А на меня после этого собрания, оказывается, пришла «телега» в институт... Руководитель семинара по древнерусской литературе позвал недавно домой, посоветовал сразу после сессии уехать из Москвы. Оформил практику в «Сталинградскую правду»... Выходит, должен бежать. Не понимаю, что творится. Пытался поговорить с матерью, с отцом — уходят от вопросов. Теперь по ночам читаю в нашей коммунальной кухне собрание сочинений Ленина.

— Все подряд?

— Подряд.

— Так вот сидишь на кухне и читаешь?

— Дождусь, пока соседи кончат готовить, улягутся спать, открою окно, проветрю и конспектирую до рассвета.

— Еще и конспектируешь? Все-таки ты смешной, — говорит девушка. — Сидеть по ночам, читать Ленина, да еще все подряд... А я влюблена в Блока. Только послушай, какая музыка:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви.
Тебя жалеть я не умею,
Но крест свой бережно несю.
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,

И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты.
Ну, что ж? Одной заботой боле...

В зеркальной глади пруда головокругительно отражаются стены монастыря, его башни, облака. Все, что любит Артур: и Москва, и Древняя Русь, и эта девушка — все сошлось здесь. И поэтому так трудно вымолвить:

— В воскресенье уезжаю в Сталинград. Надолго.

Нарастающий гул. Это рокот мотора. Идущий по дороге Артур оборачивается, еще не веря своей удаче.

Вздывая за собой шлейф пыли, мчит грузовик-полуторка.

Артур стоит на обочине, вскинув руку. Его спешился, кровоточащие губы не дают пробиться улыбке. Рот искривился от боли.

Грузовик, не сбавляя скорости, пронесется мимо. В нем, покрытые серым слоем пыли, сидят солдаты с автоматами, охраняющие таких же запыленных, угрюмых людей с наголо обритыми головами.

Артур бежит за грузовиком, отчаянно кричит:

— Стой! Остановитесь!

Опомнившись, замирает в оседающей пыли. Смотрит вслед. Затем, зло вскидывая пыль носками ботинок, пытается хоть как-то разнообразить путь, пока не спотыкается о камень и падает.

...Со стены, с портрета, отечески улыбаясь, смотрит Сталин. Посреди тесной комнаты отдела писем редакции областной газеты на сдвинутых стульях спит Артур. В изголовье у него вместо подушки три толстые папки.

Звенит будильник.

Артур резко вскакивает. Стулья под ним разьежжаются, и он с грохотом падает на пол.

...Утро. Берег Волги. Артур с полотенцем через плечо макает в воду зубную щетку, чистит зубы. Затем входит в реку.

Громадная масса волжской воды. Пароходы, баржи, моторки, весельные лодки, идущие в разных направлениях. Чайки, пикирующие на всплеск рыбы. Среди всего этого плывет Артур, пересекая живой поток. Устал. Ложится на спину. Его медленно сносит течение...

...Кабинет главного редактора газеты.

Редактор стучит пальцем по трем тяжелым, как кирпичи, папкам, лежащим перед ним на столе, сердито говорит Артуру:

— Я доверил тебе лично пересланное из горкома сочинение, просил отрецензировать.

А ты? Продержал полдня и приносишь обратно?!

— А вы знаете, что это «Краткий курс истории партии», переложенный на вирши? Каждая дата, каждая фамилия, фракции большевиков и меньшевиков, все это зарифмовано, как считает автор, «для лучшего усвоения массами»!

— Автор, между прочим, инструктор горкома!

— Хотя бы и обкома! Читать эту графоманию невозможно. Сама затея чудовищна!

— Потихе,— редактор бросает взгляд на полуоткрытую дверь,— в общем, с этим заданием ты не справился... Посему поедешь в глубинный район, в станицу Степановскую. Чтoб через три дня привез материал на тему — «Уберем урожай быстро и без потерь». Ясно?

— С удовольствием! — легкомысленно отвечает Артур.— Я еще никогда в жизни не был в командировке.

Дорога. Артур еле движется по ней, все так же сопровождаемый столбиками с надписью «Минь». Идет понурившись, даже не обращая внимания на остатки разбитого самолета в стороне.

Вдруг тишину нарушает отдаленный крик:

— Серый! Серый!

Артур поднимает голову.

Далеко впереди, освещенные закатным солнцем, возникли две фигурки — коня и мальчика.

Конь убегает в поле. Мальчик бежит за ним, отчаянно зовет:

— Серый! Серый!

И тут грянул взрыв.

Артур остановился.

Когда осели поднятые взрывом земля и пыль, когда отзвучал по степи гул, впереди замаячила фигурка мальчика, убегающего за линию горизонта...

— «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов,— захрипел Артур.— Кипит наш разум возмущенный...»

Он идет, поддерживаемый только песней. Кровоточащие губы чуть слышно повторяют: «Это есть наш последний и решительный бой».

Столбики исчезли. Вокруг засеянные поля. Из-за горизонта показались верхушки деревьев, крыши станицы Степановской.

Уже спустились сумерки, когда он добрел до хаты бабки, Шуры.

Едва не падая, делает он последний шаг к колодцу возле покосившегося плетня.

Ведро с грохотом летит вниз. Всплеск. Ведро наполнилось.

Артур вращает ручку ворота, но силы его совсем иссякли. Ведро с водой плюхается в колодец.

Он делает еще одну попытку. Еще...

Слезы текут по его обожженному, покрытому пылью лицу.

Очередная попытка. В несколько этапов, делая передышки на каждом повороте ручки, Артур, наконец, вытягивает полное ведро, ставит его на край сруба.

Он принакает к холодному ведру, опускает голову в воду и жадно, со всхлипами, пьет.

Потом сползает к подножью сруба. С трудом заставляя себя подняться, Шаг за шагом движется к калитке, к крыльцу.

Под его тяжестью распаивается дверь, и Артур падает в сених.

Бабушка Шура, с испугом выглянув из комнаты, бросается к нему.

...Артур навзничь лежит на лежанке, Бабушка Шура торопливо развязывает шурки, снимает ботинки с его распухших ступней.

...Москва. Ночь. Кухня в коммунальной квартире. Шесть покрытых разноцветной клеенкой столиков. Газовая плита на шесть конфорок. Висит на стене кухонная утварь. Громоздятся на гвоздях баки для кипячения белья, корыта.

Артур встает с табуретки из-за приткнувшегося к окну столика. На нем несколько томов Ленина, раскрытая общая тетрадь с выписками. Он ставит чайник, подходит к окну. В темном стекле видит отражение своего лица. Противостояние лиц длится долго, пока Артур резким движением не распахивает окно.

Светает. Скучно шаркает метлой дворник. С включенными фарами медленно проезжает черная автомашинка...

Откуда-то доносится радиоперезвон Кремлевских курантов, голос диктора:

— Говорит Москва. Сегодня второе апреля тысяча девятьсот сорок восьмого года, воскресенье.

Артур гасит свет, наливает чай, снова садится за свой столик.

— Да он что, пьяный, что ли?! Эй, товарищ, вставайте! Слышь, поднимайся! — Артура, распростертого на лежанке, немилосердно трясет за плечо невысокий пожилой человек. — Помер, что ли?

За незнакомцем стоит бабка Шура с лампой-трехлинейкой в руке.

Какое-то мгновение Артур ошеломленно моргает глазами. Только теперь слышит он странный, нестройный гул за стенами хаты.

— Вставайте скорее!

— Извините, в чем дело? — спрашивает Артур.

— Вы корреспондент? Из Москвы?

— Да.

— Вставайте. В станице заваруха.

— Какая еще заваруха?

— Увидите. Вас ждут.

— Почему меня? — с трудом приподнимается он, спуская ноги с лежанки.

— Потому что из Москвы, корреспондент. Бабка Шура сказала, из самой Москвы!

Артур покорно надевает брюки, ковбойку.

— Давайте живее! — торопит незнакомец.

Артур, с трудом надев ботинки, встает. Но тут же со стоном валится на пол.

Незнакомец и бабушка Шура подхватывают его под руки, ведут.

— Извините, — говорит Артур, — ноги распухли. А в чем дело? Кто вы? Как вас зовут?

— Яков Александрович. Яков. Тоже всю жизнь корреспондент. Рабоче-крестьянский.

— А в чем дело? — снова спрашивает Артур и замечает в сених рукомойник. Рванувшись из рук Якова и бабки Шуры, падает к нему. Жадно пьет и яростно моет лицо, сбивая остатки сна.

— Муки в пекарне неделю не было, — говорит Яков. — Народ сутками у ларька дежурил. В ночь привезли, испекли буханки, стали торговать, а они с червями.

— С червями? — Артур выпрямился, растерянно утирая лицо полотенцем, поданным бабушкой Шурой. — А разве своей муки нет?

— Прошлый год засуха простояла. Все, что выросло, отдали государству. Народ ожидает.

Поп посулил — корреспондент разберется... Какой поп? Что я могу сделать?

И тут в разговор вмешалась бабка Шура.

— Милый, ведь они сгоряча за червей этих вздумали в расход пустить Ивана Тимофеевича и Лидку! Яшу-то вон не слушают. Может, ты вразумишь? Беда будет! На тебя одна надежда! Иди, милый, ножками легко ступай, не труди...

Но Артур уже не слушал ее. Толкнул дверь, вышел на крыльцо навстречу непонятному гулу.

Сначала не увидел ничего. Прямо в глаза бьют лучи рассветного солнца. Гул смолк.

Он слепо стоит на крыльце — восемнадцатилетний юноша, почти подросток.

К нему издали, из радиорупора в центре станицы, доносится бой Кремлевских курантов — шесть часов утра. И с каждым ударом этих часов Государства, со звуками гимна все яснее видит Артур лица людей, сотен людей, обращенных на него.

Исхудалый старик с лицом, утонувшим в седой бороде.

Женщина в косынке с маленькой девочкой на руках.

Парень в галифе и добела выгоревшей гимнастерке.

Группа мужиков с сигарками в зубах. Наголо стриженные, жмущиеся к взрослым пацаны.

Еще один старик в казачьей фуражке.

Землистого вида человек в очках с разбитым стеклом...

Это только первый ряд, а за ним — море народа.

У некоторых в руках оружие: у кого — обрез, у кого — шашка, а у кого и автомат.

— Станичники! — раздается у плеча голос Якова.— Вот он, товарищ из самой Москвы! Из центра! Корреспондент. Он разберется, уяснит по всей правде. А вы покамест идите спокойно по домам!

Но толпа так же недвижно и молча стоит. Лишь где-то заплакал ребенок на руках у матери.

— Выступай,— шепнул Яков, больно пихнув Артура в спину,— не молчи.

— Я только вчера, то есть, позавчера ночью приехал,— говорит Артур.— Еще ничего не знаю. Не в курсе дела. Но даю честное слово...

— Не знаешь — не митингуй! — зло перебивает парень в галифе и выгоревшей гимнастерке.— На хрен нам твое слово?! Людям жрать нечего!

И тут толпа взорвалась:

— Хлеба!

— Хорошую муку небось себе забрали! А наших детей червями кормят, ироды!

— Вредители! Нарочно народ травят!

— Да какой он корреспондент, молоко не обсохло, сопляк! Кончай разговор!

Артур судорожно пытается вытащить из кармана документы, но Яков, боясь, что жест этот будет неправильно истолкован, резко останавливает его, выходит вперед.

— Семен, опускай обрез! Озверели? Стрельнуть легче всего, а подумай, что с тобой после будет. И с матерью твоей немощной?

— Теперь все едино!

— Не затем с Гитлером бились, чтобы глядеть, как детишек наших червями кормят!

Теперь уже не один — много детей плачут в толпе.

Истерически закричал землистый человек в разбитых очках:

— Только время теряем! Яков воду мутит! Кончай разговоры разговаривать! Порешить их к такой-то матери, кровососов! Пускай сами червей кормят!

За спиной жарко зашептал Яков:

— Плохо... Убьют ведь...

Толпа уже было дрогнула.

И тут Артур крикнул:

— А дети?! Станичники! Товарищи! Подумайте о своих детях! У вас оружие. Да, вы можете убить пекаря и продавщицу...

— И тебя в расход пустим!

— Можете и меня,— дрожа губами, подтвердил Артур.— Но разве от этого появится хлеб? Пойдете по тюрьмам. А дети останутся сиротами. Этого вы хотите?

Смокла толпа. Сильнее стал слышен плач детей.

— Где пекарь и продавщица? — морщась от боли в ногах, Артур спустился с крыльца.

Яков забежал перед ним, стараясь растолкать, раздвинуть передних. Но те стоят стеной.

— Да кто ты есть из себя? — спрашивает Степан, парень в выгоревшей гимнастерке.

— Корреспондент, сказал же, корреспондент,— суется Яков.

Артур вынимает сложенную вчетверо бумажку, сует парню.

Тот вешает обрез на плечо, разворачивает удостоверение, с трудом, чуть ли не по складам, читает вслух:

— «Сталинградская правда». Орган областного комитета века-пебе... Является корреспондентом...

— Видал?! Корреспондент правды! — вмешивается Яков, который тоже заглядывает в бумажку.— Правды! — объявляет он уже всем окружающим.

Люди раздвигаются. Артур идет меж двух живых стен. За ним Яков и парень с обрезом.

— Куда дальше? Куда идти? — нервно спрашивает Артур.

— Вон она, пекарня-то, левее,— показывает женщина с сумкой почтальона через плечо.

— Спасибо,— говорит Артур, поворачивает налево и вдруг падает.

Яков, оттолкнув парня с обрезом, бросается к нему.

— Что с тобой, братишка?

— Шнурок развязался. Наступил,— Артур, сидя на корточках, торопливо завязывает шнурок на ботинке.

— Фу ты, черт, а я подумал, кто пырнул...— переводит дыхание Яков, оглядывая настоженные лица вокруг.

...Они идут дальше, толпа молча поворачивается за ними.

Откуда-то из репродуктора доносятся звуки утренней зарядки под бодрую дробь пианино: — А теперь, товарищи, круговые движения рук. Дыхание ровное, спокойное. Начали!

Справа люди, слева люди. Артур шагает бледный, сосредоточенный. Теперь Степан со своим обрезом идет позади Якова и Артура, словно конвоир.

Так они подходят к длинному, выбеленному временем деревянному амбару с крыльцом. Дверь амбара закрыта на железную штангу с навешенным замком. На крыльце с немецким «шмайсером» возвышается угрюмый, небритый мужик в казачьей фуражке с красным околышем. К его ногам жметя совсем маленький пацаненок, лет трех.

И тут же у ступенек крыльца к удивлению Артура — отец Варсонофий. Рядом —

запыленный мотоцикл, где в коляске хмуро сидит безногий сын священника со Звездой Героя на гимнастерке.

Священник молится:

— Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут... Прогоняя бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа...

— Прекрати! — взрывается Яков. — Явился со своим Христом! Может, народ накормишь хлебами?!

— Не могу по грехам моим, — смиренно отвечает священник. И тут же начинает новую молитву.

В это время его сын, сидя в коляске, разворачивает чистую тряпицу, достает лепешку домашнего хлеба, разламывает на части, зовет:

— Пацаны!

Дети сначала робко, затем, толкая друг друга, обступают мотоцикл, жадно рвут из рук героя кусочки хлеба. Тот плачет. Плачет от своего бессилия, от беды.

— Отпирай! — приказывает Яков. — Слышь, Михаил, отпирай представителю власти!

— Какой еще власти? — Михаил с крыльца презрительно смотрит на Артура, сплевывает.

— Советской, — Яков, обойдя Артура, на всякий случай заслоняет его собой.

— Ежели дома у Тимофеича и Лидки найдем муку — никакая власть им не поможет, — твердо говорит Михаил.

— Советская власть хлеб отобрала, а червями кормит! — Оказывается, землистый человек в разбитых очках все время шел сзади. Коли представитель — пускай тоже несет ответ...

Где-то запоздало прокричал петух.

— А ты-то, Спиридон Лукич, чего здесь вьешься? — неожиданно произнес сын священника. — Всю войну, покамест мы на фронте сражались, невеста где был со своей грыжей. А теперь шумишь, гнилая кровь...

— Ладно, открывай, Михаил. Парень — корреспондент «Правды» из Сталинграда, — вмешивается Степан. — У него документ, сам видел.

— Живей отворяй, — подхватывает Яков, уже всходя на крыльцо, и только теперь видно, что вместо одной ноги у него самодельный деревянный протез. — Давай ключ.

Но Михаил сам вынимает ключ, отпирает замок, отбрасывает штангу.

Дверь открывается. Перед тем, как шагнуть за Яковом в темноту пекарни, Артур оглянулся на залитый солнцем мир, на молящегося священника, на толпу, напряженно глядящую вслед, на Степана и Михаила, остающихся караулить у крыльца.

Скрежешет затворяемая дверь.

В сумраке длинного помещения светится лишь несколько крошечных квадратных окон, прорубленных в бревенчатых стенах.

— Не виновен я, — сразу встречает их у дверей чей-то плач. — Бог видит — не виновен. Привезли восемь мешков...

Приглядевшись, Артур различает невысокого толстого человека. По его пухлым, небритым щекам тянутся полоски слез.

— Поздно ты бога вспомнил, — шепчет Яков, — не видел, что ли, что в печь суешь?

— Где мука? — спрашивает Артур. — Как вас зовут?

— Иван Тимофеевич, — икая, отвечает пекарь. Он торопливо отходит в угол, тянет по полу тяжелый мешок.

— Не надо, — Артур запускает в развязанное чрево мешка обе руки, вытаскивает две полные пригоршни.

Мука шевелится! Черви, короткие, толстые мучные черви, кишат в ней.

Артур с отвращением отбрасывает муку на пол.

— Где остальные?

— Кто?

— Мешки, — Артур говорит коротко, боясь выдать свою растерянность.

— Там в подсобке.

И пока вслед за пекарем все переходят в подсобку, Артур, на ходу вынув авторучку и записную книжку, спрашивает Якова:

— Давно началось?

— С рассвета.

— Чего они ждут? Милицию?

— Тебя. Народ до края дошел.

— У вас же райцентр. Где власти?

— Сховались по хатам, — отмахивается Яков. — Говорю, народ до края дошел. Прошлый год уполномоченные все зерно вывезли. И семфонд тоже.

— Чего?

— Семенной фонд. Весной каждый по последней горстке выскребал, хоть как-то поля засеять. Раньше хоть хлеб постоянно продавали.

— Из нормальной муки?

— Нормальной.

...В подсобке у квадратного оконца, как статуя безнадёжности, стоит худая женщина.

— Здравствуйте, — говорит Артур.

Она не отвечает, даже не обернулась.

На полу высаятся мешки с мукой.

— Развязывайте, — приказывает Артур пекарю.

И пока тот трясущимися руками развязывает мешки, Артур быстро записывает то, что узнал от Якова. Потом по очереди запускает руки в каждый мешок. Всюду кишмя кишат черви.

— Здесь пять мешков, там — шестой. Где остальные? Ведь вам привезли восемь?

— Остальные на хлеб ушли. Себе ни горсти

не взяли,— отвечает пекарь и снова начинает икать и плакать.

Артур нервно отбрасывает рукой упавшую на глаза прядь волос, не замечая, что выбелил ее мукой.

— Покажите хлеб!

Яков подносит початую серую буханку. Артур разламывает ее. На изломе торчат черви. Дохлые. Неподвижные.

Слезы противно капают с округлых щек пекаря.

— Иван Тимофеевич, что ж муку-то не просеял? — спрашивает Яков.— Не видел, что ли, чего в печь суешь? За это ведь по закону десять лет дать могут. На худой конец просеял бы, чем население травить. Тем паче детишек голодных...

И тут вмешивается продавщица. Безучастно, медленно, как бы во сне, говорит:

— Вчера только к вечеру привезли муку эту. Когда ее просеивать, муку-то? Всю ночь пекли, чтоб к утру продать. Народ-то который день ждет. В четыре часа открыла. Едва ларек не свернули. А сейчас сколько? — внезапно обращается она к Артуру.

— Седьмой.

— Дети проснулись! Некормленные! — она стиснула виски.— Ну, убейте меня, убейте...

— Дайте тряпку какую-нибудь. Или газеты.

Яков, пекарь, продавщица смотрят на него с недоумением.

Тогда Артур вытаскивает свой измятый, пропитанный потом носовой платок, снова зачерпывает из ближайшего мешка полную горсть муки с червями, высыпает в платок, задирает четыре конца, тщательно завязывает узлом, запикивает в карман.

— А решето у вас есть?

— Вот они две штуки,— указывает Яков куда-то на темную стену.

— Начинайте просеивать муку и печь новый хлеб. Только так спасетесь. Если у вас райцентр — должен быть райком партии.

— Рядом,— кивает Яков и почему-то безнадежно машет рукой.

Но Артур уже решительно идет к выходу. Яков, стуча по полу своей деревяшкой, поспешает за ним.

Артур толкает дверь. Она не поддается. Грохочет кулаком изо всех сил.

Слышно, как снимают железную штангу. Дверь отворяется.

...Освещенная солнцем усталая толпа все так же стоит перед пекарней. Дымя самокрутками, Степан и Михаил расступаются по сторонам крыльца. Ребенок Михаила уснул у него на руках.

— Вы меня знаете,— продолжает увещивать священник,— я и до войны претерпел... И в войну партизан прятал. Не подкидывайте поленья в огонь, в печь адскую.

Одно зло порождает другое, еще большее...

— Они не виновны! И пекарь и продавщица! — вмешивается Артур.— Муку просеивают. Через несколько часов у вас будет хлеб! Совсем недавно я читал Ленина. Ленин говорит, что социализм немислим без строжайшего соблюдения единой нормы в распределении продуктов. Но существуют злоупотребления разной сволочи, которая совершает надругательства над крестьянством. Виновны те, кто прислал муку с червями! Кто создал такое положение, что у вас нет своей муки, не было семенного фонда. И они будут наказаны. Обещаю вам это! До партийных органов дойду, до Москвы, если надо! А пока расходитесь, товарищи станичники, пожалейте детей — вон как сморились,— он спускается по ступенькам крыльца, в то время как Степан снова закрывает дверь пекарни на железную штангу, навешивает замок.

Артур оборачивается к нему, говорит громко, чтобы было слышно всем:

— Прав священник! Нельзя творить самосуд! У этой продавщицы тоже дети маленькие, они проснулись, а матери нет... Люди вы или же не люди?!

Толпа начала редеть, первыми стали расходиться матери с детьми. За ними потянулись старики и старухи.

Артур перевел дыхание. И тут кто-то тронул его за локоть. Это была бабка Шура.

— Козу подоила. Иди хоть молочка попей. Малый, ведь ты невесть когда ел...

— Некогда, бабушка, после. Яков, идемте в райком!

Вдруг странное состояние нашло на него. То ли от голода, о котором напомнила бабка Шура, то ли от того, что из репродуктора лились сейчас звуки «Лунной сонаты», Артуру казалось, что он не идет по пыльным станичным улицам, а медленно плывет, как бывает во сне.

Плывет рядом Яков.

Плывет увязавшийся за ними тощий бродячий пес.

Выплывает из-за поворота находящийся в центре маленькой площади постамент с бюстом Сталина.

Вот и столб с репродуктором.

Под звуки «Лунной» они пересекли площадь, подошли к единственному здесь каменному двухэтажному зданию дореволюционной постройки — зданию райкома.

Дверь оказалась заперта. Стучит в нее Яков. Она приоткрывается. Через цепочку чьи-то глаза внимательно изучают...

— Кто такой?

— Корреспондент из центра,— отвечает Яков.— К товарищу Зенкову.

— Еще нет девяти. И вообще его не будет. А райком закрыт.

— Как это? — Артур просовывает в щель свое удостоверение.— Срочно, дело государственной важности.

Цепочка откидывается. Они входят в маленький вестибюль, где у столика с телефонным стои́т дежурный. Отогнав ногой пса и тщательно заперев за ними дверь на все замки и цепочки, он снова и снова изучает удостоверение.

— Нету товарища Зенкова, я же сказал.

— Дома небось,— говорит Яков.— Звони ему, слышал — государственная важность, слышал, что в станице стряслось?

— А ты, Яков, молчи громче! Привел! Без тебя не разберемся. Всюду лезешь, смотри, как бы не сорвался...

— Как вы смеете так разговаривать?! — взорвался Артур.— Да он старше нас с вами, инвалид!

Дежурный поправляет кобуру у пояса.

— Еще неизвестно, отчего инвалид...

— Какой номер? — Артур шагнул к телефону.— Вернусь в Сталинград — статью напишу об этих ваших порядках. В станице люди без хлеба, а райком закрыт!

— Не трожьте аппарат! — дежурный отнимает у Артура трубку, накручивает номер. Ждет.

— Не сомневайся во мне, братишка,— говорит между тем Яков,— я член партии с восемнадцатого года. Вот уже тридцать лет бьюсь за Советскую власть.

— Виктор Петрович! — говорит в трубку дежурный.— Тут объявился корреспондент «Сталинградской правды»... Чего? Говорит, дело важности государственной. Есть. Есть, Виктор Петрович.

Он кладет трубку, обращается к Артуру:

— Велел сейчас идти к нему в дом.

— Далеко?

— Я проведу,— говорит Яков.

Возвращая удостоверение, дежурный шепнул Артуру:

— Связались с предателем...

Они выходят. Тощий бродячий пес поднимается из пыли, виляет хвостом.

Сопровождаемые псом, Артур и Яков оглабают площадь. Ни души.

— Почему это он назвал вас предателем? — спрашивает Артур.

Яков не отвечает.

Они проходят мимо почты, мимо деревьев с поникшей от зноя листвой, мимо постамента с крашеным бронзовой краской бюстом Сталина.

— Не доходят до него письма,— с горечью говорит Яков.— Видно, не допускают, перехватывают... Будешь в Москве — попробуй из Москвы напиши, может, прорвется.

— О чем?

— Запомни, Трушин моя фамилия, Яков Александрович. Я на фронте двух сынов потерял. Сам здесь партизанил, выдал меня кто-то, схватила немецкая комендатура — и под расстрел. Запомни, парень, Яков Александрович Трушин, коммунист с восемнадцатого года. Я из матросов, с Волжской флотилии! Куда только ни бросала партия!.. У меня книжка трудовая, чего только там нет. И везде заметки писал, правду печатал в защиту трудового народа. Когда немцы расстреляли, очнулся я ночью, уполз. От них уполз, выжил, как видишь, да с тех пор навесили на меня подозрение — как это так из-под расстрела живой? Такие дела, братишка...

— Яков Александрович, обязательно напишу. Вы адрес свой дайте!

— После, после. Как бы чего не вышло из-за этой муки. Вон видишь тын? За этим тыном Зенков и живет. Оправдай народ, защити. Он человек пришлый, недавно назначен.

Они подходят к высокому, в два человеческих роста, глухому забору с калиткой, у которой виднеется кнопка звонка.

— А вы разве не пойдете? — спрашивает Артур, нажимая кнопку.

— Ты весь в муке. Страхнись,— Яков бессильно садится в пыль, приваливается спиной к забору.— Я обожду.

Бродячий пес подходит к нему, виляет хвостом. Яков гладит его морду.

Артур отряхивает брюки, рубашку. Остался лишь белый след на пряди волос.

И опять щелкают засовы, гремят цепочки. Калитка приоткрывается. Толстая, квадратная женщина в низко повязанном платке, зыркнув глазами, впускает его в узкое пространство перед другим забором.

Здесь, гремя цепью по проволоке, бегают сытая, матерая овчарка. Она бешено лает на Артура, встает на дыбы.

Женщина придерживает ее за ошейник, пока Артур проходит ко второй калитке, входит во двор, где стоит рубленый бревенчатый дом, напоминающий форт из романов. Фенимора Купера.

Из брошенного у грядок резинового шланга хлещет вода, где-то мирно постукивает насос.

Артур идет по дорожке и не видит, что за ним из окна наблюдает секретарь райкома...

— Ноги вытирайте,— указывает на тряпку женщина.

Он покорно вытирает ноги. В сенях на стене подвешен велосипед.

Парень в майке, лет пятнадцати, недовольно выглянул из комнаты и скрылся.

Женщина провожает Артура по коридору, стучит в дверь.

— Виктор Петрович, к вам.

Это — кабинет. За рабочим столом завтракает секретарь райкома. Початый графинчик с водкой. Яичница. Помидоры. Колбаса. В стакане с подстаканником — чай.

— Здравствуйте,— Артур сглотнул слюну.
— Документы! Садитесь.

Артур стоя вынимает удостоверение, паспорт, из которого торчит свернутая бумажка. Спихватившись, хочет забрать ее. Но документы уже в руках секретаря.

— Садитесь.

Артур присаживается на стул.

Секретарь, добирая хлебом глазунью, одновременно изучает удостоверение, паспорт. Разворачивает свернутую в трубку бумажку. Мелькает золотая буква.

— А это что?

— Обрывок славянской рукописи.

— Интересно...— Он поднимает взгляд, смотрит в упор.— А если это явочный пароль?

— Какой пароль? — поразился Артур.— Вчера я в Высоком был, в церкви.

— Значит, и в Высокую добрался? Какие у вас там дела? Ведь командировка сюда, в Степановскую. Постоянно прописаны в Москве, работаете в Сталинграде...— он берет стоящее на краю стола пресс-папье, кладет под него документы.— Кем работаете в Москве?

— Студент.

— Студент...— с облегчением протянул секретарь.— Ну, а в Высокой что делал?

— Был у отца Варсонофия в церкви.

— В церкви? А как оттуда в Степановскую попал?

— Пешком.

— Пешком?! Со всем этим надо еще разобраться.

Секретарь намазывает маслом ломоть белого хлеба, покрывает его куском колбасы, берется за подстаканник.

И тут Артур выдергивает из кармана брюк свой узелок.

— Вот с чем надо разобраться, товарищ Зенков!

Грязный узелок лежит на столе, нарушая его благолепие.

Секретарь отодвигается вместе со стулом.

— Это что такое?

— Мука с червями. Развяжите — увидите.

В этот момент дверь отворяется, входит подросток в майке.

— Папа, можно взять аккордеон?

— Бери.

Подросток снимает с крюка сверкающий кнопками трофейный аккордеон. Он висит у настенного ковра с изображением готического замка на берегу озера с лебедями. Рядом, на полках,— собрание сочинений Ленина, знакомые Артуру красные томики...

— Плохо начали, корреспондент,— говорит секретарь, когда за сыном закрывается дверь.— Немедленно заберите это! Меры уже приняты. А вы поддались на провокацию, знаем, кто вас водит... Давно знакомы с Трушиным Яковом?

— Значит, приняты? Людей обеспечат хлебом?

— В станице мятеж. Казачье настроено контрреволюционно, вооружено. Я вызвал войска — автоматчиков на мотоциклах.

— Да разве население виновато, что подчистую отобрали зерно, возят червивую муку?! Почему вы прячетесь от людей, не хотите разобраться?

Секретарь взглянул на часы.

— Через тридцать минут — через час во всем разберемся. И с вами тоже!

— Ну и хорошо! — Артур встает, забирает со стола узелок, а заодно и свои документы.— Население пока что ничего плохого не сделало. Если кого-нибудь тронут, до Москвы дойду, до товарища Сталина.

Он идет к двери. И слышит в спину:

— Далеко не уйдешь...

Снова гремят засовы и цепочки. Остервенело лает овчарка. Квадратная женщина выпроваживает Артура за калитку.

Опираясь о забор, Яков с трудом приподнимается из пыли. Лицо его враз постарело — резче обозначились морщины, глаза потухли.

— Что, братишка?

Артур помогает ему встать, отряхивает.

— Ну как? — снова спрашивает Яков.

— Говорит, в станице мятеж. Контрреволюционный. Говорит, вызвал автоматчиков на мотоциклах. Про вас спрашивал.

— Вот оно что...— медленно цедит Яков.— Ну, тогда ясное дело,— он слепо смотрит на солнце.— Будут разоружать, арестовывать. Тебя за это самое место тоже возьмут. Драпай, братишка, тебе еще жить...

— Нет. Как это я вас всех брошу?!

— Сколько времени? — перебивает Яков.

— Полвосьмого.

— Видишь взгорок? — Яков показывает в пустынный конец проулка, за которым полого поднимается белый холм.— Бежи. За ним плешина. Туда к восьми из Сталинграда прилетает самолет, почту привозит. Моли чем хочешь летчика, чтоб увез. Все отдай, чтоб только увез, понял?

Вдруг бродячий пес, крутившийся рядом, напрягся, уши его встали торчком. Они прислушались. То ли это трещат кузнечики, то ли мотоциклы уже подходят к станице...

— А как же вы? — спрашивает Артур.

— Мне уже все едино. Тикай, братишка,— Яков больно толкает его в плечо,— бежи.

— Яков Александрович, попаду в Сталин-

град, добьюсь правды! Скажите всем: виновных накажут, муку пришлют.

— Бежи! — заорал Яков. — Дурья башка!

И опять дорога. Снова белая пухлая пыль. Солнце уже жарит вовсю. Струйки пота стекают по лбу Артура. Он идет быстро. Степановская остается за спиной. Тяжело дыша, взбирается на холм. С вершины холма видны степь, зеленый оазис станицы. Справа, далеко-далеко на дороге, приближающаяся полоса поднятой пыли.

Не чувствуя разбитых ног, он сбегает к площадке с шестом, на котором обвис полосатый матерчатый конус.

Под шестом на плотном бумажном мешке сидит почтальонша. Тут же стриженный наголо мальчонка. Мать и сын луцат свежие стручки гороха.

— Испекли хлеб? — спрашивает Артур.

— Пекут, — отвечает почтальонша. — Хочешь стручков?

Только Артур собрался присесть рядом, как услышал гул. Заметил в небе черную точку. Она увеличивается, делает круг.

И вот уже маленький, зеленый, выгоревший «У-2» снижается, подрагивая, катит по неровному грунту.

Молодой летчик в шлеме сначала выбрасывает свой мешок, затем вылезает сам.

— Здорово, Маня! Здорово, Петька! Опять вместе встречаете — это хорошо! — Он вытаскивает из нагрудного кармана комбинезона карандаш. — Давай ведомость!

— Товарищ, вы ведь обратно в Сталинград? — подходит к нему Артур. — Пожалуйста, возьмите меня с собой.

Распившись в ведомости, летчик поднимает мешок со станичной почтой, несет его к самолету.

— Товарищ пилот, срочно нужно. Я корреспондент «Сталинградской правды».

Уложив мешок, летчик оборачивается.

— Инструкцией пассажиров возить не положено.

— У вас же два места, одно не занято, — убеждает Артур, вытаскивая свои жалкие скомканые деньги. — Я заплачу.

— Инструкцией не положено.

Летчик уже полез в кабину, когда почтальонша придержала его за локоть.

— Илюха, этот малый сейчас двух людей от смерти уберег. Сама видела.

Пилот оборачивается. Секунду стоит молча, глядя на Артура. Затем берет у него деньги, говорит со странной ухмылочкой:

— Ладно. Напросился. Если что, я не откажу.

Он усаживает Артура на заднее сиденье, затягивает ремнем. На переднее садится сам, надвигает прозрачный плексигласовый кол-

пак, заслоняющий его от встречного ветра.

— Летал? — кричит почтальонша.

— Первый раз! — отвечает Артур.

А самолет уже бежит по земле. Грохочет мотор. Со свистом рассекают воздух лопасти пропеллера.

Шест с конусом, почтальонша, холм — все это откатывается, уменьшается.

Сделав круг, «У-2» набирает высоту. На лице Артура по-детски счастливая улыбка от ощущения полета, от того, что уговорил, вырвался... И тут же она исчезает.

Сверху видно — мотоциклы охватывают кольцом Степановскую.

А самолет летит уже по прямой. Как ни оглядывайся, станица скрылась, будто и не было ее, ничего не было...

И вдруг здесь, в голубом океане чистого, пронизанного солнцем воздуха Артур начинает кашлять, задыхаться.

Он не понимает, что происходит. Кажется, легкие наполнены каким-то дурманом. Еще секунда — и можно потерять сознание.

Летчик оборачивается. Видя, что пассажиру дурно, что-то кричит. Сквозь прерывистый рокот мотора Артур разбирает только одно слово: отклонись!

Сколько позволяет ремень, Артур последним усилием отклоняется вправо. Ветер грозит оторвать голову, но зато становится легче.

Внизу проплывает земля. Она кажется совсем пустынной. Видны лишь прямоугольники полей, пересохшие русла рек. А вот и церковь с разрушенными куполами...

Круто склонившись вправо, Артур жадно вдыхает свежий воздух, промывающий легкие.

Пилот временами оборачивается, что-то кричит, спрашивает. Что — расслышать невозможно. Бледный, измученный Артур на всякий случай поднимает руку, показывает большой палец. Мол, все в порядке.

Далеко впереди по курсу самолета взблескивает под солнцем извилистое живое ожерелье. Вдоль него вырастают трубы заводов, крыши. Да это Волга, Сталинград!

Самолет снижается на пустыре возле трамвайного круга. Бежит по земле, замирает. Летчик, выпрыгнув из кабины, отвязывает Артура, доводит его до столба у трамвайной остановки, прислоняет.

— Не зря брать не хотел. Вчера сусликов травил. Распылитель с дустом как раз сзади стоял... Деньги-то есть?

Артур отрицательно качает головой.

Летчик возвращает скомканые деньги, сует в нагрудный карман ковбойки.

— До дома-то доберешься?

Артур кивает.

Немногочисленные пассажиры, ожидающие трамвай, с изумлением глядят на Арту-

ра, на разбегающийся и взмывающий в небо «У-2».

Подходит трамвай, Артур вместе со всеми поднимается в вагон, садится у открытого окна и, как в самолете, высовывает голову наружу — дурнота еще не совсем прошла.

Трамвай, подрагивая на стыках рельс, втягивается в городские кварталы.

Открыты булочные, на улицах среди развалин торгуют арбузами, проходят девушки в ярких платьях, едят мороженое.

На одной из остановок он вышел. Взглянув на часы, зашагал к зданию обкома.

С трудом открыв тяжелую дверь, протянул дежурному милиционеру уже изрядно потрепанное удостоверение.

— А кто вам нужен?

— Секретарь обкома.

— Какой?

— Первый.

— Вам назначено? — он сверяется со списками. — Пропуск не заказан.

— Мне нужно к первому секретарю. Срочно, — твердо говорит Артур. — Судьба многих людей, целой станицы решается, можете вы это понять?

— Значит, сельское хозяйство?

— Дело не в сельском хозяйстве...

И тут человек в полувоенном френче, в сопровождении группы людей направляющийся к выходу, спросил:

— Что происходит?

— Вот гражданин, корреспондент газеты, приехал из станицы. Рвется к первому секретарю.

— Что ж, надо выслушать, Юрий Петрович, прошу вас.

Группа выходит. Остается один человек — лысоватый, с седыми височками. С досадой говорит:

— Вообще-то у нас обеденный перерыв... Я инструктор сельхозотдела. В чем ваш вопрос?

— Я только что из станицы Степановской. Там сейчас, в это самое время... Товарищ, мне срочно нужно к первому секретарю!

— Хорошо. Давайте зайдем в кабинет. Я вас выслушаю, составлю для него докладную. Доложу, — уныло говорит инструктор, понимая, что от парня не отделаться.

Они идут из вестибюля по коридору. Справа, слева хлопают двери. Торопятся на обед работники обкома.

— Сергей Иванович, — обращается инструктор к одному из них. — Можно к тебе, чтоб наверх не топтать?

— Пожалуйста.

Инструктор заводит Артура в опустевший кабинет, садится за стол, вынимает из кармана блокнот, ручку.

— Слушаю.

Артур опускается на стул напротив, с нату-

гой вытаскивает из кармана брюк свой узелок, кладет перед инструктором.

Тот с испугом следит за ним.

— Смотрите, чем людей кормят. Из чего хлеб пекут.

— Из муки, — инструктор усмехнулся, заглянув в узелок.

— Вы тут обедать ходите, а там, в Степановской, хлеба нет. Привезли первый раз за неделю муку с червями! Как это могло произойти?

— Не в курсе дела. Я курирую другие районы. Но продолжайте, я записываю.

— Семенной фонд отобрали, муку присылают с червями... Там старики, дети... Товарищ инструктор, что эти люди будут думать о Советской власти? О нас с вами?

— А вы что, олицетворяете себя с Советской властью?

— А вы себя с чем?

— Повторяю, не в курсе дела. Я доложу кому следует. Вы успокойтесь, оставьте здесь вашу муку, обязательно разберемся.

— Правда?

— Обязательно!

— Когда?

— Сегодня. В крайнем случае, завтра. Нужно связаться с инструктором, курирующим Степановский район.

— А как все-таки попасть к первому секретарю?

— У него дела поважнее. Лично отвечает за восстановление Сталинграда, — инструктор встает. — Всего доброго.

Артур выходит из кабинета, еле волоча ноги. Идет мимо дверей с табличками... Дошел до вестибюля, где на постаменте, декорированном красным кумачом, стоит бронзовый бюст Сталина. Мгновение смотрит на него. Затем поворачивает обратно в коридор, находит нужную дверь, отворяет.

Кабинет уже пуст. В мусорной корзине лежит его платок с мукой. Артур собирает рассыпавшуюся муку с червями, завязывает в узелок, засовывает в карман.

Он выходит из обкома подавленный. Идет в потоке прохожих по тротуару. Жарко. В тени под деревьями у входа во двор лежит пирамида арбузов.

— Почему? — спрашивает он продавщицу.

— Гривенник.

Она выбирает арбуз, взвешивает.

— Девяносто копеек.

Артур протягивает деньги, получает на руки здоровенный арбуз и чувствует, что у него нет сил нести. На той стороне улицы развалины, на этой — забор. Он проходит мимо него, сворачивает во двор, видит под акацией деревянный стол со скамьей у детской песочницы.

...Он сидит перед арбузом. Ножа нет. Попытался расколотить его ребром ладони, только отбил руку. То ли от боли, то ли от отчаяния на глазах показались слезы.

Огромный, прохладный, в ярких полосах арбуз — вот он, рядом, и не доступен. Артур бьет по нему снова и снова. Арбуз не раскалывается. Вконец отбив руку, Артур поднимает арбуз, шарахает им об угол скамейки.

Арбуз разваливается на части, падающие в песок и пыль.

Ночь. Комната отдела писем. Горит лампа. Вымытый, в чистой рубашке, он сидит за столом, дописывает статью, иногда поглядывая в раскрытую записную книжку. Сбоку стакан с чаем, электрический чайник, кусковой сахар в бумажке, остатки хлеба, колбаса.

Закончив статью, Артур перечитывает ее, допивает чай. Переносит с тумбочки на свой столик допотопный «Ундервуд», неумело вставляет чистый лист. Одним пальцем бьет по клавишам машинки.

С близкой Волги доносятся гудки паровозов.

Артур встает, подходит к окну и опять видит свое отражение в темном стекле. Пытается сбить рукой что-то белое, появившееся на пряди волос. Потом распахивает раму окна.

В темноте видны проплывающие огни мачт, светящиеся иллюминаторы большого судна.

Медленно, как капля, которая камень точит, стучит в ночи пищащая машинка.

Секретарша главного редактора газеты с бумагами выходит из кабинета в приемную, говорит ожидающему Артуру:

— Заходи.

Он входит. Редактор идет навстречу.

— Прочитали? — спрашивает Артур.

— Садись, — редактор усаживает его в кресло.

Затем запирает изнутри дверь кабинета, отключает от розеток все телефоны. Выдвигает ящик стола, достает статью.

— Ты что, с луны свалился?

Артур молчит.

— У тебя была тема: «Уберем урожай быстро и без потерь». А ты что привез?

Артур не отвечает.

— У меня есть все основания отправить тебя назад с плохой характеристикой. От этого ты отказался, мне повесил на шею, — он постучал по трем папкам с историей партии, которые все еще высились на углу стола. — Статью привез не на тему... Кстати, читал это еще кто-нибудь?

— Нет.

— Копии есть?

— Нет.

— Где черновик?

— Порвал.

Редактор вынимает спички и начинает сжигать лист за листом, держа их над корзиной для мусора.

Горит в пламени статья. Звучат слова редактора:

— Характеристику я тебе подписал хорошую. Возьмешь у секретарши. Немедленно бери билет, мотай обратно в Москву. Из Степановской уже звонили, интересовались... Чтоб сегодня же духу не было здесь!

— Почему?! Товарищ редактор, что я такого сделал? Из Москвы гонят спасаться сюда, отсюда — в Москву. Из Степановской тоже беги... Неужели не верите? Все, что я написал, — правда. А вы сжигаете.

— Верю. Потому и жгу.

Статья догорела. В кабинете летает пепел.

Редактор открывает окно, садится рядом с Артуром, сильно трет ладонями лицо.

— Мне пятьдесят шесть. Наверное, не доживу. А тебе надо.

— Что надо?

— Выжить. Дожить.

— До чего дожить? Что происходит?

— Пойми, сейчас сделать ничего нельзя. Трагедия эта не только твоя. Главное — не сломаться. Ничего, не помрешь. Я ведь из рабочих, до войны сварщиком был. Если стальной стержень лопнет и его сварить — он становится крепче всего на месте прежнего излома.

— Я не понимаю...

— Поймешь. И запомни — на фронте было легче.

Они молча сидят среди оседающего пепла.

— А что же я людям скажу? Я ведь обещал защитить, — говорит Артур. — Давал честное слово...

— Защищай. Но по-умному. Сгореть ни за что ни про что — проще всего. Теперь только одна надежда — на таких, как ты.

Утро. Общий вагон почтового поезда. За окном сильный дождь.

Место Артура сидячее, боковое. Он просыпается от того, что где-то в вагоне заиграла гармонь.

Увидев, что он проснулся, сидящая напротив женщина прикрыла шалью грудь, которой она кормит ребенка.

Артур переводит взгляд. Всюду лица усталые, напряженные. Каждый думает свою думу под стук колес.

Артур встает, потянувшись затекшим телом, направляется к тамбуру.

Сверху свисают ноги, торчат чемоданы, узлы.

Собрав доверчивых слушателей, витийствуют мужчина в потертом пиджачке и галстук-бабочке:

— Гипноз — это запросто. Надо вращать ладонью у лица гипнотизируемого и смотреть в его правый глаз.

На нижней полке лежит старушка с двумя спящими подростками — мальчиком и девочкой.

Сидя спит солдатик с выгоревшей пилоткой, засунутой под погон.

Старик ест хлеб, подбирая в ладонь крошки.

Навстречу Артуру катит на тележке с подшипниками безногий гармонист, играющий «На сопках Манчжурии». Его сопровождает чумазый мальчуган с кепкой в руках. В кепку падают монеты.

Артур выходит в тамбур с настезь открытой дверью. Шумит дождь. Стучат колеса поезда.

Взявшись руками за мокрые поручни, он подставляет лицо дождю.

Мелькнула будка стрелочника. Пронесется поля, раскисшие дороги, деревни. Пасутся лошади.

И вспомнился ему голос девушки с косой, читающей Блока:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви...

Москва. Вечер. Артур выходит из Министерства сельского хозяйства, зло запикивает в карман свой выдавший виды узелок.

...Артур просыпается за своим столиком в коммунальной кухне. Голова его лежит на скрещенных руках. Рядом раскрытый том Ленина, заложный обрывком пергамента с золоченой буквицей.

Он рывком встает с табуретки, открывает кран, подставляет лицо под холодную струю.

Подходит к окну, распакивает его.

Пасмурно, хмуро. Снова дворник шаркает метлой. На этот раз он метет первую палую листву. Откуда-то по радио доносится перезвон — бьют куранты Кремля. Один удар, второй, третий... Каждый удар прибавляет Артуру решимости. Он нервно приглаживает волосы, берет свой узелок.

Раннее утро. Дом на углу Моховой, где находится приемная Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Здесь еще закрыто. Люди жмутся к стене здания, к двери. Видно, что большинство из них — приезжие. Здесь и мужчины, и женщины, некоторые с детьми. Все они продрогли, устали. У каждого свое горе.

Тут и Артур.

Мимо, по направлению к центру, к Кремлю, все гуще едут служебные легковые машины с окнами, затянутыми занавесками.

Наконец дверь открывается. Часть очереди попадает в приемную, часть не вместились, остается на улице.

Из приемной с блокнотом и авторучкой выходит мужчина в строгом черном костюме, спрашивает:

— У вас какое дело? А у вас?

Люди, волнуясь, окружают его.

— Я из Ярославля. Учитель, — торопливо говорит человек в поношенной армейской форме с орденскими колодками. — Мы семья, нас одиннадцать, старики, женщины, дети — все в одной комнате, в подвале.

— Запиши, я из Вахшской долины, — просит пожилой таджик. — Народ послал, деньги собрали. Хлопок удобряют — отравили колодцы, дохнет скотина, детишки болеют неизвестными болезнями, умирают.

— Где мой мальчик?! Отдайте мне моего мальчика, — с плачем обращается седая, еще не старая женщина. — Он ни в чем не виноват. Забрали с первого курса...

— По одному! — пытается навести порядок человек в черном костюме.

— Не отдадите мужа и дочку — повешусь, — говорит другая женщина. — Чем он виноват, что он калмык?! Целый народ сослали, да что ж это делается?

Артур потрясен, слушая все это.

— У вас что?

Безнадежно махнув рукой, Артур уходит все дальше, куда глаза глядят. Идет мимо библиотеки Ленина.

Маяковский, Толстой, Пушкин, Руставели смотрят с круглых барельефов...

А потом перед ним возник Каменный мост. Под суровым, пасмурным небом Артур всходит по мосту — одинокий прохожий. Только машины пронесются мимо.

Остановился на самом горбу. Подходит к парапету. Смотрит вниз. Помедлив, достает свой узелок, бросает.

Даже не слышно всплеска. Некоторое время еще видно, как его несет и крутит река. Но вот он намок, ушел под воду.

И хлынула хроника. Хроника наших, сегодняшних дней. Целый поток узнаваемых, конкретных лиц. Таких, как Терентий Мальцев, учитель Шетинин, академик Сахаров — выстоявших...

Артур все стоит на мосту.

Позади Кремль, башни со звездами, дворцы, храмы.



**Будимир
МЕТАЛЬНИКОВ**

ТРОЕ НЕ ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫХ МУЖЧИН

Сорокадвухлетнему подполковнику Федорову снился сон про любовь. Кто была эта женщина и где происходило дело — неизвестно.

— Но ведь ты же любишь меня! — умолял он.

— Да! — говорила она. — Очень!

— Но тогда почему? Почему мы не можем быть вместе?

— Это невозможно!..

Потом она плакала у него на плече, а он гладил ее волосы, ласкал, целовал, так остро и томительно переживая происходящее, как это бывает только во сне.

Вот и все, что было. А потом он проснулся и увидел рядом, на подушке, лицо жены. И... ему снова захотелось увидеть лицо той, приснившейся, поэтому он закрыл глаза.

...А потом Петр Николаевич завтракал на кухне с женой и тещей. Обе женщины были в халатах, только у тещи, пожалуй, халат был шикарней.

— Петр, сегодня ты в гараж не пойдешь, — сказала жена.

— Валя, мы же договорились: суббота — мой день, — хмуро ответил Петр Николаевич.

— Можно подумать, что по субботам у тебя свидание с любовницей, — подхватила теща.

— Вера Гавриловна, а других человеческих отношений вы не понимаете? — проворчал подполковник.

— Я не понимаю, что тебя связывает с твоими друзьями. Были бы хоть люди интересные... — пожала плечами теща.

— Ага. Для вас интересные люди — это генералы и академики... А меня устраивают и просто порядочные люди, — сердито сказал подполковник и вышел из-за стола.

Субботнее или воскресное утро в Москве легко отличить по двум признакам — машин на улицах меньше, а мужчин в магазинах больше.

В молочной, отойдя от прилавка, Петр Николаевич поставил на столик портфель и старался так уложить в него молоко, творог и сметану, чтобы тот мог закрыться.

Выйдя из магазина, Петр Николаевич стал пересекать небольшой скверик, и тут ему прямо под ноги подкатилась женская шляпка, сорванная порывом ветра. Он наклонился и поднял ее. Следом за шляпкой подбежала женщина лет тридцати, она была очень хороша собой. Не то чтобы красива, но миловидна, женственна и как-то не защищена, что ли, — словом, такие женщины сразу же вызывают желание чем-то помочь, оберечь.

— Спасибо вам большое! — Она протянула руку за шляпкой, но подполковник не спешил отдавать ее — он смотрел на женщину во все глаза.

— Неужели это вы? — растерянно спросил он.

— Нет, — женщина сразу же стала строже. — Это не я. Мы с вами не знакомы.

— А почему же тогда вы мне приснились?

На секунду глаза женщины изумленно распахнулись, но... тут же она рассердилась:

— О, господи! Что за примитивный способ знакомиться! А с виду — солидный, положительный человек. Офицер!

— Да. Я солидный и положительный... Поэтому мы сейчас с вами разойдемся навсегда. И все-таки спасибо, что вы мне приснились! Всего доброго!

Но через несколько шагов он оглянулся и увидел, что женщина тоже оглянулась. Он улыбнулся радостно и помахал рукой. Женщина сердито отвернулась.

Вот и опять — всё, что было, как поется в известной песне. Только почему-то подполковник всю дорогу до самого дома улыбался, а раз и вовсе остановился в раздумье, за что был обруган какой-то теткой — из тех, кому все посторонние мешают жить на свете.

Возле подъезда, в котором жил Петр Николаевич, стояли красные «Жигули» и «Москвич». «Москвич» был весь в бурых пятнах грунтовок, без стекол и колес, и стоял на козельке. Возле него суетился заметно хромящий мужчина.

— Привет Николаичу!

— Здравствуй, Митя. Процесс идет?

— А ты как думал? Да я из нее опять картинку сделаю! Смотри, как моторчик направил, пока ты в командировке был.

Митя юркнул в кабину, завел мотор, и тот закашлял, зачихал, потом взревел диким образом, извергая клубы дыма.

— Жужжит, а? Как пчелка! Не хуже твоего «Жигуля»!

— Скорее, как молотилка, — улыбнулся Петр Николаевич.

— Так ведь без глушителя! — обиделся Митя. — И карбюратор воздух сосет. Отлажу!

Подполковнику дверь открыла теща.

— Ботинки! — ткнула она пальцем и уплыла в глубь квартиры.

Он покорно пошаркал ногами по коврику, потом стащил ботинки, сунул ноги в шлепанцы и прошел на кухню, где жена уже месила тесто в кастрюле.

Он открыл холодильник и хотел выгрузить содержимое портфеля, но жена поспешно остановила его:

— Оставь! Я сама, а то ты все не туда поставишь... Сейчас будешь крем сбивать.

Когда Петр Николаевич, переодетый в тренировочный костюм, вышел из спальни, он услышал голос тещи, разговаривающей по телефону:

— Отлично помню! Он приезжал к нам с инспекцией, когда мы служили в Средней Азии... А кто он сейчас? Генерал-лейтенант?

Да, он всегда обещал многое... Нет, у нас все глухо и ничего не светит... Военпред, подполковник...

Услышанное очень рассердило Петра Николаевича, и может быть, поэтому, войдя в кухню, он неприязненно спросил жену:

— У нас что, теперь каждый день праздник?

Жена так и вскинулась.

— Ну как ты можешь? А если Сережа с Мариной придут? Нет, ты не отец ему!

— Я ему дядя, — буркнул подполковник. — Ты — мать, она — он показал на комнату, где была теща, — отец, а я — дядя. И то неродной...

...Едва Петр Николаевич кончил сбивать крем и вышел из кухни, как теща сунула ему в руки полотер:

— Пройдись, Петр!

— А Сережка что делать будет? — возмущенно спросил подполковник.

— А его нет, он на даче у Марины.

— Тогда для кого эклеры пекут? Ведь не для меня же?

— Они с Мариной могут вернуться вечером...

— Ну-ну, — буркнул Петр Николаевич и начал орудовать полотером...

А теща снова ушла к телефону.

Терпение у подполковника, похоже, лопнуло. Не выключая полотера, он сунул ноги в ботинки, пробрался в комнату, там переодел брюки и, с кителем в руках, выскользнул за дверь, оставив в прихожей работающий полотер.

В Москве по окраинам и задворкам больших кварталов, чаще всего примыкающих к железным дорогам, есть немало кооперативных гаражей из числа самых дешевых, потому что они сбиты из всякого старья и обшиты окрашенным железом.

Весна — самая страдная пора для автолюбителей, время подготовки машин к летнему сезону. Чем-то это похоже на то, как огородники выезжают весной на свои участки.

Красные «Жигули» миновали входные ворота, перегороженные цепью. Петр Николаевич взмахом руки приветствовал вахтера и проехал на территорию гаража.

Потом он поставил машину и прошел дальше, где перед открытыми воротами стояла старая, «двадцать первая», «Волга» с поднятым капотом.

— Здорово, ребята! — гаркнул он командирским голосом.

Двое мужчин, сидевших в гараже с кружками чая в руках, вскочили:

— Здравия желаем, товарищ подполковник! С приездом!

Это была их привычная игра. Обменявшись рукопожатиями, подполковник как свой

человек прошел в гараж, взял деревянный чурбак, застелил его «Огоньком», выдернув его с одной из полок, и подсел к верстачку, где стоял чайник.

— И мне!

Слава, хозяин гаража, мужчина лет тридцати шести, ополоснул кружку, сыпанул туда половину столовой ложки чая и залил кипятком.

— Долго ты ездил. Какие новости? — спросил третий мужчина, самый старший из них.

— Да особых нет... Сerezка, кажется, в зятя собираются...

— На жилплощадь жены намыливается? — уточнил Слава.

— Там не только жилплощадь, там тесть — директор института, будущий академик и те де и те пе. Словом, карьера будет зависеть не столько от головы, сколько от мужской потенции.

— А что? — хмыкнул Слава. — Сочетание полезного с приятным.

— Ох уж эти молодые прагматики! — покачал головой Дмитрий Дмитриевич. — Ну а если они через год — два, как это нынче часто бывает, разбегутся? Прощай, карьера?

— Вот и я про то, — вздохнул Петр Николаевич. — Мужу на своих ногах стоять надо...

Снаружи донесся шум подъехавшей машины, потом в проеме ворот появилась хорошенькая, модно одетая женщина с изрядным количеством золота в ушах и на пальцах.

— Вся команда в сборе и гоняет чай! Здравствуйте!

— Присоединяйтесь, Ларочка! — сказал подполковник.

— Это из ваших-то кружек? Вы их хоть раз в год моете?

— Мы их бензинчиком протираем, — сказал Слава.

— Славик, выйди, я тебе клиента привезла.

Слава неторопливо допил свой чай, потом вышел. Рядом с его машиной стояла новенькая «Волга».

— Знакомьтесь, мальчики.

— Вадим, — протянул руку бородач лет тридцати.

— Вячеслав... Давно из магазина?

— Позавчера, вчера номера получал... Надо бы проверить крепежку, двигатель, ну, все, что надо, и сразу бы антикоррозийку сделать...

— Угу, — Слава открыл дверцы, покачал, похлопал ими, потом пошевелил приборную доску, заглянул под нее. — Практически проверить и крепить надо все, что не приварено.

— Вадим у нас в клубе ведет кружок фотографии, ну и всякое фотооформление, — пояснила Лариса. — Славик, ты, уж пожа-

луйста, постарайся. Я тебе такую рекламу выдала...

Слава иронически глянул на жену:

— В рекламе не нуждаюсь. От жены — тем более.

— Уверяю вас, Ларочка больше всего хотела, чтобы машина попала в хорошие руки, — поспешил Вадим.

— Какая Ларочка? — холодно взглянул на него Слава.

— Ваша жена, — недоуменно ответил Вадим.

— Мою жену зовут Лариса Семеновна.

— Простите, я не думал, что вам будет неприятно...

— Мне приятней, когда мою жену зовут по имени-отчеству. Работа будет стоить пятьсот рублей.

Увидев замешательство в глазах Вадима, Слава снисходительно спросил:

— Считаете, дорого?

— Н-да, мне называли цену меньше.

— Дело хозяйское, — пожал плечами Слава. — Я вообще не люблю работы такого рода — грязно и скучно. Мое дело — техника. Читайте, что процентов тридцать я беру за то, что работаю как для себя, без халтуры. Устраивает — оставляйте машину. Нет — извините.

Судя по тому, что в доме, к которому подъехал Слава, половина окон уже не светила, было довольно поздно.

Когда он вошел в квартиру, отперев ее своим ключом, сын — здоровенный акселерат, на целую голову выше отца — только что вышел из ванной.

— Физкульт-привет! Как игра?

— Умыли! — весело ответил сын. — Котлеты в духовке, теплые. Я пойду спать, ладно, па?

— Ну слипай, слипай, Кириллище, спокойной ночи.

Он тоже пошел под душ.

...Лариса не спала, но когда услышала его шаги, поспешно погасила ночник и отвернулась.

Слава лег рядом, прислушиваясь к ее дыханию.

— Не спишь ведь, притворщица, — шепнул он.

— Засыпаю, — буркнула Лариса.

Слава подвинулся к ней и обнял ее. Лариса отбросила его руку.

— Почему? — Слава снова обнял жену и подвинулся к ней поближе. Лариса опять сняла его руку.

— Ты думаешь, удовольствие — лежать рядом с бочкой из-под бензина?

Слава понюхал свои руки.

— Я же мылся! Совсем и не пахнет.

— У тебя бензин, наверное, уже в костях. А меня — воротит.

— Очень интересно! — Слава рывком поднялся и сел на кровати. — Зачем же ты мне этого бородастого приволокла?

— Да уж не затем, чтобы ты его обдирали! Ты же много больше взял, чем обычно.

— А мне его морда не понравилась! Думал, отлипнет. А он пижоном оказался, таких только и учить! — засмеялся Слава.

— А я от стыда чуть не сгорела...

— Чего-чего? — удивился Слава и обозлился. — Смотри, какая стыдливая стала. А когда я тебе золотишко на уши вешал — не стыдно было? Бензинчиком не пахло?

Лариса вскочила с кровати:

— Думаешь, чем больше золота, тем женщина счастливее? Ошибаешься!

— Это что-то новенькое! — Слава тоже вскочил, лихорадочно пошарил в тумбочке, схватил пачку сигарет. — Раньше у тебя от этих цапек глазки о-очень блестели!

— Сначала даришь, а потом попрекаешь? Да подавись ты своими побрякушками, если так! — Лариса схватила с тумбочки украшения, протянула ему: — Забери! И чтоб я больше от тебя попреков не слышала!..

Слава молчал, не решаясь ни взять, ни вымолвить слова, и оттого она завелась еще больше:

— А хочешь, я их в форточку выкину?! — И бросилась к окну.

Слава схватил ее за руку и развернул лицом к себе.

— Что это ты раскидалась? Это не побрякушки! Это моя вторая смена после завода! И все субботы и воскресенья! Что это — зря?!

— Значит, зря!

И столько злости было в голосе и взгляде жены, что Слава, сам не понимая, как это у него получилось, дал ей пощечину. Сначала испугались оба, но Лариса опомнилась быстрее и с нескрываемым злорадством пропела:

— Ну, спасибо, Славик! Даром это тебе не пройдет!

Слава выскочил на кухню, трясущимися руками чиркнул спичкой и закурил.

Из двери спальни полетели в коридор одеяло и подушка.

Утром Кирилл пил чай, уткнувшись в учебник истории для девятого класса. Лариса мыла посуду.

— Вчера твой отец ударил меня... — сказала она не оборачиваясь.

— За что? — заинтересованно спросил сын.

— Ты хоть понимаешь, о чем спрашиваешь?

— Ну... не станет же он вдруг ни с того ни с

сего... — смутился Кирилл.

— Значит, ты считаешь, есть причины, когда можно это оправдать? Спасибо, сынок!

Кирилл сразу же почувствовал себя виноватым:

— Ну ладно, мам, это просто какое-то недоразумение... Ну бывает же, люди ссорятся, потом мирятся... Ты только не заводись.

Он хотел обнять мать, но Лариса отпрянула.

— Что значит — не заводись? Он оскорбил меня, а я — не заводись? Почему ты сразу же на его стороне?

— Потому что фазер у нас мужик правильный, а ты любишь заводиться.

— Ничего не понял, остолоп! — вздохнула Лариса. — Сгинь с глаз!

— Сгинул! — Не без облегчения Кирилл выбежал из кухни.

Когда Дмитрий Дмитриевич вошел в свой кабинет (на двери была табличка «Зам. управляющего банком»), его встретил телефонный звонок.

— Слушаю... А-а, это ты...

— Можешь ты хоть раз в жизни сделать то, о чем тебя давно просят? — услышал он голос жены.

— Смотря о чем, — поскущел Дмитрий Дмитриевич.

— Я совершенно точно знаю, что сегодня в обувном, ну что возле вас, будут австрийские сапоги.

— Люся, я тебе уже объяснял, и не раз: такие просьбы не проходят даром — раз попросишь, два, а потом и тебя попросят сделать нечто такое, что является нарушением... —

— Да оглянись ты вокруг себя, христосик! — закричала жена. — Это же самая обыкновенная человеческая просьба! Так все... —

— Извини, ко мне пришли! — И Дмитрий Дмитриевич повесил трубку.

Маша, его дочь, с ироническим видом слушала этот разговор.

— Мамонт хочет спать спокойно! — продекларировала Маша. — Ну что ж, если гора не идет к Магомету... Давай деньги! Я сама явлюсь к заведующему: «Простите, папа вам не звонил? У мамы день рождения... Ах, какая досада, но он же обещал!.. А вы не можете нас выручить?»

Людмила Алексеевна засомневалась:

— Представляешь, как отец разозлится, если узнает?

— А мы не разозлились? Мы страшно разозлились! Я — так просто вне себя.

Лариса и Вадим ехали по Садовому кольцу. Потом машина свернула в переулок, потом — в другой и вскоре въехала во двор, окруженный старыми московскими домами.

— Долг вежливости не позволяет мне оставить вас в машине, — сказал Вадим. — Но предупреждаю: в доме беспорядок. Зато могу предложить чашку хорошего чая... А потом отвезу вас.

— От хорошего чая я не в силах отказаться.

Вадим достал из багажника две картонные коробки — видимо, из-за них он и заехал домой — и они вошли в подъезд.

Вадим был мастером — это было ясно по многочисленным фотографиям, развешанным по всем стенам. Из мебели только и было что тахта, кресло, стол, тоже заваленный фотографиями, вдоль стен стояли штативы с лампами.

— О-о, — протянула Лариса. — Сразу виден холостяк.

— Самое лучшее состояние для мужчины.

— Но это же эгоизм!

Вадим развел руками.

— А что делать? Мы живем в эпоху эгоизма...

— Вы серьезно?

— А отчего столько разводов? Среди моих друзей нет ни одного, кто бы не развелся. А некоторые уже по два раза... Смотрите пока, а я чайник поставлю.

Смотреть было на что — преобладали северные и беднерусские пейзажи. Чукчи, ненцы, деревенские старики и старухи, странные монтажи экологического порядка — груды консервных банок возле кострища, вереница рваных сапог, как бы шагающих друг за другом по прелестной луговой тропинке. Но больше всего внимание Ларисы привлекли две фотографии с одной и той же обнаженной женщиной. На первой — она, среди кувшинок, входила в озеро и испуганно оглядывалась, словно не ожидала, что ее кто-нибудь может окликнуть. На второй — та же женщина расчесывала волосы, но сидела на... огромном белом медведе.

— Нравится? — спросил Вадим, оставив Ларису за спиной.

— Да. Кто это?

— Бывшая жена, — не сразу ответил Вадим.

— И не жаль было расставаться с такой красавицей? Впрочем, простите, это нескромный вопрос...

— Все его задают, как только увидят, — усмехнулся Вадим. — Беда в том, что красота ее оказалась насковзь лживой. Это было какое-то чудовищное нарушение закона природы — красота и лживость. Уж если бог награждает тебя таким даром — не роняй, не марай

его!.. Наверное, пора заваривать. — И он снова вышел.

Лариса проводила его задумчивым взглядом, потом снова стала рассматривать фотографии.

Вадим вернулся с подносом, на котором стояли чашки, чайник и сахарница. Поставил на стол, сдвинув фотографии, и весело спросил:

— Целоваться будем до чая или после?

— А это обязательно? — прищурилась Лариса.

— Видите ли, обычно, если женщина входит в дом к мужчине, то по крайней мере на поцелуй она вправе рассчитывать. Иначе с моей стороны это было бы просто невежливо!

Лариса устала на него таким долгим взглядом, что Вадиму стало неловко и он поднял руки вверх.

— Все! Все! Понял! Я сморозил глупость! Ну, простите великодушно. Считайте, что это просто комплекс холостяка. Молодая обязательная женщина в доме — должен же я как-то реагировать?

— Реагируйте! Но зачем же так примитивно?

— Еще раз извиняюсь!.. Пейте чай.

Лариса отхлебнула из чашки.

— О-о! Заграничный!

— Друзья подбрасывают время от времени.

— Сами не бывали?

— Пока нет... Но есть смешной вариант.

— И в чем смех?

— В том, что для этого надо жениться.

— А за границу — куда?

— Венесуэла, Аргентина, может быть, Колумбия...

— Южноамериканский вариант? — улыбнулась Лариса и слегка погрузстнела. — Господи, что за проблема! Сколько дурочек готовы за кого угодно выскочить, лишь бы в загранку попасть!

— Зачем же мне дурочка? Да еще за границей?!

— Вот и думай, голова, картуз куплю! Так говорил мой дедушка.

Лариса допила чай, встала и подошла к фотографии с женщиной на медведе.

— Ничего не могу с собой поделат. Хочу такую же!

— Вы такая отчаянная? — испытующе спросил Вадим.

Как всегда в субботу утром, Петр Николаевич, отстояв очередь в молочной, аккуратно укладывал покупки в портфель.

А когда он стал пересекать сквер, то увидел знакомую незнакомку. Он пошел за ней. Она, видимо, шла с рынка и несла две сумки. В одной из них была картошка. Женщина вскоре

остановилась, чтобы перевести дух, и опустила сумки на землю.

Петр Николаевич, нарочно до сих пор медливший, подошел:

— Здравствуйте! Разрешите, я вам помогу?

Женщина испытующе посмотрела на него.

— Если не будете спрашивать телефона, то — пожалуйста.

— Согласен! — сияя, как мальчишка, Петр Николаевич подхватил сумки и с таким энтузиазмом устремился вперед, что женщина тут же взмолилась:

— Ой, я не поспеваю за вами!

— Виноват! — и он опять обдал ее такой сияющей улыбкой, что женщина, невольно огляделась по сторонам.

— Послушайте... — и почему-то замялась.

— Меня зовут Петр Николаевич, — понял ее подполковник. — Я страшно рад, что увидел вас, и готов нести эти сумки хоть до Сокольников!

И опять так бесхитростно, так откровенно уставился на нее, что женщина смутилась.

Но идти оказалось совсем недалеко.

— Ну вот, Петр Николаевич, мы и пришли. Спасибо.

Они остановились у арки, ведущей во двор.

— Вы здесь живете?

— Нет, — сказала женщина, — здесь живет мой свекор. Он уже не может сам ходить в магазин... А теперь, Петр Николаевич, еще раз спасибо за помощь и прощайте.

— До свидания.

— Прощайте, — со значением повторила женщина, взяла у него сумку с картошкой и вошла в арку.

Петр Николаевич пошел обратно, но вдруг остановился и чуть не бегом бросился в арку.

— Вы же обещали! — возмутилась она.

— Да. И я прошу извинить меня, но мне надо знать хотя бы ваше имя.

— Что в имени тебе моем? — вздохнула женщина. — И совсем оно вам не обязательно.

— Но должен я вас как-то называть! Хотя бы про себя... Или, мало ли, вдруг увижу в метро или где...

— Лучше всего, если вы не станете окликать меня.

— Нет! — твердо сказал Петр Николаевич. — Я должен знать ваше имя. И не уйду, пока вы не скажете.

— Ну хорошо... Елена Петровна. Надеюсь, вы не станете ловить меня здесь или где-нибудь еще? Я вас очень прошу!

— Нет, милая Елена Петровна. Этого я вам не обещаю! — Петр Николаевич улыбнулся, козырнул и пошел обратно.

Исполнилось желание Ларисы. Комната превратилась в фотостудию — горели лампы, светились отражатели подсветки. Обнажен-

ная Лариса сидела на табуретке, фоном служила простыня.

Вадим поправил лампу, смерил экспонометром свет у лица и на плечах, дал Ларисе в руки расческу.

— Действуй! И не думай о том, что тебя снимают.

Лариса начала расчесывать волосы, но невольно косилась на аппарат. Вадим сердился: — Не жди! Забудь обо мне!

Он сделал несколько снимков с разных ракурсов.

— Все?

— Я скажу, когда все!

— Кажется, на меня рычат?

— Я всегда рычу, когда работаю! И не обижайся. Ты для меня сейчас просто объект съемки. — Он щелкнул еще несколько раз.

Лариса соскочила с табуретки и юркнула под одеяло на тахте.

— Объект устал! — объявила она.

Вадим стал выключать лампы... Потом собрал штативы и вынес их из комнаты. Когда он вернулся, Лариса сидела на тахте уже в его рубашке, низко опустив голову.

— Что-нибудь случилось?

— Объект думает.

— О чем?

— Куда он денет фотографию.

— А давай повесим у вас в клубе! — засмеялся Вадим.

— Вот именно, — вздохнула Лариса. — Ну не дура ли?

— Нормальная женщина. У вас желания часто опережают мысль. И вообще у женщин разум и чувства иногда живут как бы отдельно друг от друга.

— Похоже на то... Мне многие бабы завидуют. Муж — дай бог любой. В доме все есть, сын — тыфу-тыфу, чтоб не сглазить, — увлечен спортом и знает, что хочет. А я думаю — и это все?

— Хочется начать все с начала? — улыбнулся Вадим, садясь с ней рядом.

— Хочется какой-то другой жизни... Но какой — вот в чем вопрос!..

Когда Петр Николаевич вернулся домой, дверь ему открыла невысокая, очень стройная и привлекательная девушка лет двадцати.

— О, у нас гости? Здравствуйте, Марина.

— Здравствуйте, Петр Николаевич, мы только на минуточку, Сережке переодеться приспичило.

— Сбежали с лекций?

— Ой, ну какие лекции, когда такая погода! А вы не смогли бы подбросить нас на дачу? Кстати, вы у нас ни разу и не были!

Петр Николаевич замялся.

— Сегодня суббота — святой день! — сказал Сергей, выходя из своей комнаты и

застегивая рубашку.— В гараже папу ждут друзья...

— Святая мужская дружба? — с легким пренебрежением протянула Марина.— И что вы там делаете?

— Пьют чай и разговаривают о смысле жизни,— хмыкнул Сергей.

— Ну и как? — поинтересовалась Марина.— Может быть, просветите молодежь?

— Сами постигайте. Все равно вы старшим не верите на слово.

Петр Николаевич пошел на кухню выкладывать покупки. С кухни он услышал:

— Сереж, а представляешь, что сейчас в электричке делается! Жуть! Давай на такси?.. У меня есть... сейчас... шесть рублей, надо еще четыре.

— Па! — сказал Сергей, входя на кухню.— Ты мне четыре карбованца не подбросишь?

— Еще чего! Студентам на такси ездить не положено!

— Ну что, мне у мамы теперь просить? — обиделся Сергей.

— Проси! Если ты еще не вышел из того возраста, когда, получив отказ у папы, бегут к маме.

— Ой, товарищи, только не ссорьтесь! — солнечно улыбнулась Марина, появляясь в дверях кухни.— Петр Николаевич, я знаю, у меня ужасный характер! Но что делать? Сейчас влезу в электричку и сразу почувствую себя такой несчастной!.. Не хочется портить хорошее настроение. А денег — я сейчас... Тут моя подруга в двух шагах.

Сергей поплелся запирать за ней дверь. Потом вернулся и после неловкой паузы буркнул:

— Обязательно нужно было ставить меня в такое положение?

— А ты хоть сознаешь свое истинное положение? Ты сможешь содержать такую жену? Не по себе дерево рубишь, сынок!

— А я его не рублю, папа. Оно само на меня валится.— хихикнул Сергей.

— Спину не сломает?

— А, поглядим! — И сын вышел из кухни.

Петр Николаевич с удрученным видом поставил молочные пакеты в холодильник и зашел в комнату к сыну, подсел рядом на стул.

— Сережа, всегда было так: или жена при муже, или они на равных, но если муж при жене — это никуда не годится. А у вас, скорее всего, так и будет.

— Пап, а зачем усложнять? — лениво протянул Сергей.— Не понравится — разойдемся, с детьми спешить не будем.

Петр Николаевич глядел на сына с изумлением и состраданием.

— Да ты хоть любишь ее? — спросил он наконец.

— Ну а как же!

— Не верится! Ну ничегошеньки не видно!

— А что бы ты хотел видеть?

— Да ты летать должен! Глаза должны гореть! А ты того и гляди заснешь в ожидании своей невесты!

Сергей обиделся.

— А ты летал, что ли?

— Еще как!

— И куда же ты прилетел?

— Бабушку поменьше слушай! — холодно ответил Петр Николаевич, не дав себе воли рассердиться.— Это она считает: если человек не стал генералом, значит, ничего не достиг.

— Па, только не обижайся: а почему все-таки у тебя не задалась служба?

— Вякал много,— улыбнулся Петр Николаевич.— А в армии, как известно, приказы не обсуждаются... Но для того, чтобы иметь чувство собственного достоинства, совсем не обязательно иметь большой чин. И быть при жене, при влиятельном тесте — ох, сынок!

— А сам женился на генеральской дочке!

— Во-первых, я действительно тогда летал! В прямом и переносном смысле. И, во-вторых, карьеры-то я на этом не делал. Хотя и мог!.. Но честь дороже, вот так-то!.. — И он вышел из комнаты.

Слава с помощью Дмитрия Дмитриевича копался в моторе очередной машины. Петр Николаевич принес из проходной чайник с кипятком. В гараже он разлил чай по кружкам.

— Мужики! — позвал он.— Остынет!

Слава и Дмитрий Дмитриевич вошли в гараж, обтирая руки тряпками.

Сделав несколько глотков, Слава сказал:

— Что скажете? Предлагают мне снова цех возглавить.

— Кто?

— Мой бывший начальник цеха, сейчас — зам. директора по производству. Долго, говорит, будешь в своем гараже отсиживать-ся? Выдвигай кандидатуру — и на выборы.

— А в самом деле? — спросил Дмитрий Дмитриевич.— Ты не боишься свой инженерный потенциал растерять?

— Сколько ты уже в мастерах киснешь? Лет шесть? — подхватил Петр Николаевич.

— Кисну? — яростно вскинулся Слава.— Вы бы посидели на наших совещаниях. Большое начальство врет, начальство поменьше — поддакивает. А остальные сидят и помалкивают. Сколько же можно в дерьме сидеть? Так ведь и характер растеряешь.

— Думаешь, отошел в сторонку, так и характер сохранил? А может, наоборот? — улыбнулся Петр Николаевич.

— Мне их дурацкие игры надоели! — запальчиво возразил Слава.— Твердят как попугаи: перестройка, перестройка! А какая

перестройка, если врать еще не разучились?

— Всем нам приходилось играть в дурацкие игры,— пожал плечами Дмитрий Дмитриевич.— И сейчас иногда еще случается. А все-таки правды становится больше. Может, и научимся наконец жить без вранья. Хотя...— Он вдруг засмеялся: — Знаете, мужики, чем я сейчас в банке занимаюсь? Помогаю директорам завод и себя обманывать.

— Ну ты даешь, Димыч! — воскрился Слава.— На кой хрен тебе это надо?

— Это не мне, это им надо. Повязаны у них руки-ноги миллионом инструкций. Шаг вправо, шаг влево — и тюрьма! При желании можно любого хорошего хозяйственника посадить — вот ведь до чего дошло!

— Вроде сейчас им широкие права дают,— заметил Петр Николаевич.

— Дают-то дают, да только никто старые инструкции отменять не спешит. Вот и крутись.

— Это точно! — сказал Слава.— Недаром же пишут, что первый враг перестройки — это бюрократия.

— Не знаю, кто первый, кто второй,— возразил Петр Николаевич,— но, на мой взгляд, самая опасная проблема — это привычка работать вполсилы, шалая-валяя.

— Ну, тут можно долго спорить, что страшней,— сказал Дмитрий Дмитриевич.— Но вообще жить стало интересней.

И тут в дверях появился сосед подполковника, Митя.

— Привет обществу трезвости! У вас стакашка лишнего не найдется?

Слава выплеснул остатки чая, подал ему свой стакан.

— А то, может, присоединиться? — подмигнул Митя.— У меня там кореш два огне-тушителя приволок!

— Гуляй, Митя,— отмахнулся Слава.— У нас разговор интересный...

Как обычно, Слава вернулся из гаража поздно. Однако на этот раз Лариса ждала его на кухне, перелистывая «Огонек».

— Не спишь? — удивился Слава.

— Как видишь... Кирилл звонил, он уже в Донецке. Говорит: нога в порядке, ставят на игру... Остыло немного, подогреть?

Слава потрогал кастрюльку, стоящую на плите.

— Годится, давай.

Лариса положила ему картошки с мясом и вышла из кухни.

Слава набросился на еду.

Вскоре Лариса вернулась и положила перед ним какой-то листочек.

— Что это?

— Путевка. Очень хорошая, в пансионат под Сочи.

— Мы же собирались поехать вместе, когда Кирилл будет в спортивном лагере!

— А тебе не кажется, что самое полезное для нас — это отдохнуть немного друг от друга?

— Отдыхают, когда надоедают друг другу. Не знаю, как я, а ты мне не надоела... Если бы ты только поменьше фордыбачила!

— Хочешь, чтобы я получала по морде и еще не фордыбачила?

— Сколько мне еще прощения просить? Да дай ты мне по морде хоть десять раз, и кончим с этим! Ну на, на! — Слава сунулся к ней лицом вперед, как бы подставляя его для удара. Лариса отодвинулась.

— Просто как у тебя: ты мне по морде, я тебе — и помирились? Не получается!

— Ну и что же теперь будет? Горшок о горшок, и кто дальше прыгнет? — с горечью спросил Слава.— Чего ты хочешь?

— Я не хочу жить так, как мы живем!

— А когда это началось? Месяц назад все было нормально!

— Разве это нормально? Ты когда-нибудь задумался над тем, сколько времени мы проводим вместе?... Я считала: что-то около сорока пяти минут — полчаса утром и минут пятнадцать вечером, когда ты вернешься из своего проклятого гаража... Разве это нормально?

— Если бы не гараж, мы бы до сих пор жили с родителями! За что же ты его проклинаешь?

— За то, что квартиру он нам дал, но и отнял что-то такое, без чего жизнь превратилась... В общем, есть над чем подумать! — И Лариса ушла в спальню.

Слава вернулся к картошке, съел еще ложку и отодвинул тарелку.

С видом манекенщицы Маша, дочь Дмитрия Дмитриевича, прохаживалась по комнате, демонстрируя новые туфли. Зрительницей была мать.

— Прекрасно! Изумительно! — восклицала она.— Сколько?

— Семьдесят.

— Ой!

— Мама! Таких туфель ты никогда в жизни на прилавке не увидишь! Разве только в бывшей «Березке»!

— Да, но семьдесят... Что отец скажет?

— Что он скажет — известно. Поэтому лучше не говорить.

— Платить-то придется...

— А кто знает? — пропела Маша, поворачиваясь.— Он меня в ресторан пригласил.

Людмила Алексеевна вытаращила глаза:

— И ты пойдешь?

— А почему бы нет? Сто лет в ресторане не была...

— Но ведь это значит... — мать не договорила.

— Мама! Как ты считаешь, какой любовник лучше — богатый или бедный? — сердито спросила Маша.

— Лучше муж, — вздохнула Людмила Алексеевна.

— Да? Чтобы ежедневно выслушивать, как у него работает желудок? Чтобы вечно видеть его уши на фоне телевизора? Нет уж, поиграли в семейное счастье!

В это время в прихожей раздался звонок.

— Прячь! — Людмила Алексеевна пошла открывать дверь, а Маша быстро скинула туфли и унесла их в свою комнату.

...Дмитрий Дмитриевич вяло ковырял на кухне макароны с сосисками.

— Ты что? Не голоден? — спросила вошедшая жена.

— Мать, сменила бы репертуар — что ты все время то сосиски, то колбасу? Сил нет жевать эту резину!

— Если бы захотел, тебе бы парное мясо на дом доставляли.

— Но картошка-то в магазинах есть. И то лучше.

— А еще лучше бифштексы из вырезки.

— Ой, оставь эту тему!.. Не буду я с торгашами якшаться! — Дмитрий Дмитриевич с трудом доел сосиску.

— Ты говорила, у вас в Управлении организовали несколько семейных пансионатов.

— Кого это ты собираешься облагодетельствовать?

— Надо срочно отправить в отпуск инженера по строительству. Не то у шефа могут быть неприятности.

— Вот и прекрасно! Может быть, старый хрыч освободит тебе место?

— Люся! Как у тебя язык поворачивается! Николай Николаевич — мой учитель. Он столько добра для меня сделал, а ты...

— Ты его добро давно отработал. Я только и слышу: сегодня я задержусь, у Николая Николаевича обострение язвы... Потом у Николая Николаевича жена заболела. А ты нитроглицерин сосешь на работе! Ему на пенсию давно пора, а он место занимает.

— Куда ему на пенсию, у него четверо на шее...

— А мы кресты, да? Каждую пятерку считаем!

На кухню явилась Маша.

— О чем шумим?

— Да вот твой отец намерен до самой пенсии сидеть в заместителях у своего ненаглядного шефа.

— Ты это серьезно, пап? — спросила Маша.

Дмитрий Дмитриевич всплеснул руками:

— Женщины! Вы шутите или в самом деле думаете, что перестройка — это лови момент и занимай кресло своего начальника?

— Многие, во всяком случае, этим моментом пользуются, — пожалла плечами Маша. — Даже у нас в издательстве.

— Только не я!

— Вот поэтому ты и есть мамонт! — засмеялась Маша.

— Иисусик! — добавила жена.

— Хватит! — Дмитрий Дмитриевич не на шутку рассердился и поднялся из-за стола.

Он прошел в большую комнату, включил телевизор.

Маша через некоторое время под села к отцу на диван.

— Папчик, хочешь, я тебя сейчас насмешу? Помнишь, мы просили тебя позвонить в обувную насчет сапог?

— Ну? — вполуха прислушивался к дочери Дмитрий Дмитриевич.

Шла передача на тему улучшения различных услуг населению. Ответственные руководители разных ведомств объясняли, как много они уже сделали и как скоро будет еще лучше.

— Ты, как всегда, отказался. Ну, я рассердилась, пошла и сама познакомилась. Правда, туфли уже кончились. Но когда зав узнал, что я в издательстве работаю, так предложил: давайте, мол, дружить. Вот так — я ему мемуары Марины Влади, а он мне — туфли. И все довольны!

— Зачем ты мне все это рассказываешь?

— Ну мало ли, вдруг он привет мне передаст — так не удивляйся.

— Постояй-постояй, — до Дмитрия Дмитриевича наконец дошло, с кем именно познакомилась Маша. — Ты про Козленко говоришь? С какой стати он станет передавать тебе приветы?

— А может, я ему понравилась? — поккетничала Маша.

Дмитрий Дмитриевич долго смотрел на дочь, качая головой.

— Маша, а ты знаешь, что такое кот?

— Мне-то что? — недовольно надула губы дочь. — Кот он или козел — пусть об этом у его жены голова болит.

— Его ведь и посадить могут. Вечно у него ревизии негладко проходят...

— И это его проблемы! — Маша вышла из комнаты.

Дмитрий Дмитриевич проводил ее озабоченным взглядом, посмотрел на экран телевизора. Ведущий, заманчивая беседа, бодрым, почти ликующим голосом говорил о том, что если мы все будем честными, строже спрашивать и с себя, и с других, то, конечно, и работа сферы обслуживания станет лучше.

И вдруг Дмитрию Дмитриевичу стало тошно. И он выбежал из дома, не ответив на недоуменный возглас жены: «Ты куда?»

А куда он мог деться в этот вечерний час? Конечно, в гараж. Вечером, да еще в будни, гараж был пустынен, только возле Славиного бокса стоял «ситроен» двольно старой модели, а под ним лежал Слава. Увидев «Победу», Слава удивился:

— Привет! Подломался? — И вылез из-под машины.

— Да ну! Бабы заели...

— Ха! Аналогичный случай! Ларка-то мот что отколола — в пансионат укатила! От меня отдохнуть ей надо! Пришлось взять вот эту коломбину, надо же чем-то заниматься.

— А я чайку хорошего случайно купил. Еду мимо булочной — гляжу, народ не-сет...

Дмитрий Дмитриевич достал из так называемого бардачка две пачки индийского чая «со слонном».

...Потом они пили чай в гараже.

— Мужики в цехе охалпели — в начале месяца вольнку тянут, понимаешь, а когда в конце до сверхурочных дело доходит — работу только подавай. А в результате — постоянный перерасход фонда зарплаты. Может, посоветуешь что?

— Я вашего производства не знаю, трудно предложить что-то... А ты, значит, решил брать цех?

Слава не без застенчивости кивнул:

— Попробую еще раз влезть в эти оглобли...

— Давай, Славик! Дерзай, пока поезд твой не ушел!

Раздался звук подъезжающей машины. Слава выглянул.

— Ба! Нашего полку прибыло!

И в самом деле, это был Петр Николаевич.

— Здорово, орлы, — без обычного энтузиазма приветствовал он друзей, выходя из машины.

— Здравия желаем, товарищ подполковник.

— А мы как раз чайку хорошего заварили, — добавил Дмитрий Дмитриевич.

— Отставит чай, — хмуро сказал подполковник, нырнул в машину и показал бутылку водки.

— Ах ты, черт! А я бутерброды свои слопал — не ждал вас! — воскликнул Слава.

Петр Николаевич молча поднял ладонь: все, мол, в порядке.

И вот они уже сидят вокруг табуретки, накрытой газетой, и бутылка частично опорожнена, и бутерброды с колбасой съедены наполовину, дабы было чем еще закусить.

— Пилят и пилят в четыре руки и два горла: отдай сыну машину! — жаловался Петр Николаевич друзьям. — Самолюбие их заедает — как же, сын в богатую семью идет, и без всякого приданого. Им не понять,

что для меня значит машина, этот гараж, вы!..

— А может, это не самолюбие, а ревность? — высказал догадку Дмитрий Дмитриевич.

— Само собой. Кое-как субботу я все же отбил для гаража. А теперь вот — новый подкоп... — Он потянулся к бутылке и разлил еще понемногу.

— За что? — спросил Слава, поднимая стакан.

— Я бы, ребята, за вас выпил, — сказал Петр Николаевич.

— Взаимно! — согласился Слава. — За всех нас!

Чокнулись. Выпили. Пожевали бутерброды.

— Мужики! А что это с нашими бабами происходит, а? — спросил Слава.

Никто ему не ответил.

Розовело закатное небо над гаражами, прошумел мимо электровоз на железной дороге, а трое не очень счастливых мужчин молчали и думали: что же, действительно, происходит в их семейной жизни?

И вдруг они услышали какой-то шум, грохот, потом крики: «Открой, паразит! Открывай, кому говорю!»

Все трое выскочили из гаража и увидели неподалеку здоровенную тетку, колотящую в двери кулаками.

— Здравствуйте, Дарья Васильевна! — вежливо поклонился Слава, подходя первым.

— Тебе чего? — глянула женщина осатанелыми глазами.

— Может, помощь требуется?

— От вас дождетесь! Все вы, идола, тут заодно!

И снова забарабанила в дверь.

— Митька, открывай, сволочь, не то я твою шлюховозку так раскурочу...

Она схватила кирпич.

— Считаю до трех: раз... два...

— Дарья Васильевна! — умоляюще протянул Слава.

— Три! — и зазвенело заднее стекло.

— Ну и чего вы добились? — спросил Слава, страдая за покалеченную машину.

Дарья Васильевна не успела ответить, как открылись двери гаража, — на пороге стоял Митя со скрещенными руками.

— Вот, граждане, будьте свидетелями, с какой стервой я двадцать два года веду немирное сосуществование. Ищи, ищейка! — Он картинно отступил, освобождая путь, и жена его устремилась в гараж.

Первым делом она откинула занавески на задней стенке, где на четырех полках было навалено немало гаражного барахла. Потом окинула взглядом все остальное.

— Может, в подпол слазить? — издевательски предложил Митя.

Глаза его супруги устремились на крышку в полу.

— Фонарь!

Митя подал ей фонарь, и супруга полезла вниз. Митя тотчас же закрыл крышку и встал на нее ногами.

— Ой, Митя! — предостерегающе подал голос Петр Николаевич.

— Ничего! Пусть остынет чуток.

— Открой, охломон! — глухо донеслось из подпола.

— Посиди, посиди, обдумай свое несусветное поведение.

— Издеваешься, гад? Тебе же хуже будет!

— Это кто над кем издевается? Кто машины кирпичами бьет? — горестно вопрошал Митя.

Меж тем крышка подпола раз вздрогнула, медленно, но верно стала подниматься на могучих плечах супруги. Митя уже не мог удержаться и соскочил, и Дарья Васильевна, как разъяренная медведица, двинулась на него.

— Ну, шибздик! Довел ты меня!

Митя, отступая, схватил гаечный ключ с верстака.

— Граждане, призываю вас в свидетели! Если я покалечу ее, то исключительно в целях самообороны.

Пятясь, он все отступал и спрятался за спинами троих наших друзей. Тут Слава решил, что пора вмешаться, и заступил дорогу.

— Дарья Васильевна, а из чего война? Вы же никого не нашли!

— Только машину зря раскондехала! — плаксиво добавил Митя.

И тут женщина как будто опомнилась, но потом снова вспыхнула:

— А чего запершись сидел? От кого ховался, недомерок?

— Запершись, запершись! — передразнил Митя, чувствуя, что самое опасное уже позади. — По-твоему, раз запершись, так непременно с бабой? У мужиков могут быть и другие дела.

— Это какие такие дела? Уж не деньги ли фальшивые ты печатать тут наладил? — захохотала Дарья Васильевна.

Митя с таинственным видом огляделся, потом отчаянно махнул рукой.

— Ладно, так и быть. Мужики, только, чур, вы меня не закладывайте. Самогонный аппарат у изобретаю.

— Ты, хорек! — всплеснула руками Дарья Васильевна. — Давно уж все изобретено! А ну покажь!

Митя пошарил за занавеской и извлек оттуда нечто, напоминающее автомобильный глушитель или пылесос.

— Ты что дуру гонишь? Я же в селе выросла, всяких аппаратов насмотрелась! Где тут змейка?

Митя выхватил у нее из рук свое изобретение.

— Сама ты змейка, не хуже гадюки. Вот инженера, не дадут соврать, — обратился он к Петру Николаевичу. — Гляди — это кожух из нержавеющей стали, змеевик внутри. Вот тут подсоединяется к водопроводу для непрерывного охлаждения, тут слив. Сечешь?

— Митя, ты — гений! — засмеялся Петр Николаевич.

— Давай мы твое изобретение на Выставку достижений народного хозяйства пошлем, а? — предложил Слава.

Дарья Васильевна подозрительно глянула на него, взяла изобретение из рук мужа и решительно направилась к машине.

— Поехали домой!

— Да она же еще не готова! — забеспокоился Митя.

— А я говорю — поехали! Нечего в гараже шмонаться!

— Ну, поехали так поехали... — уныло сказал Митя.

Дарья Васильевна уселась в машину, Митя медлил.

— Ну? Чего ты?

— Дай-ка я в тряпку заверну. Не тащить же мимо всех баб у подъезда.

Супруга нашла эти соображения резонными, подала ему изобретение. Митя зашел за машину, поднял крышку багажника, и это был единственный миг, когда он выпал из поля зрения своей грозной жены. Митя им великолепно воспользовался: он быстро отцепил от связки гаражный ключ, положил его на землю и крикнул:

— Бывайте здоровы, мужики!

А сам, скорчив зверскую физиономию, показал на ключ, потом на двери гаража. Пока машина не скрылась за поворотом, никто не тронулся с места. Потом Слава пошел и принес ключ.

— И что это значит? — не понял Дмитрий Дмитриевич.

— Как — что? Сидит она в гараже! — захохотал Слава. — Интересно, что за метелку Митек закадрил?

Отперли замок и вошли в гараж. Огляделись. Пусто и тихо.

— Эй, мадам! Улетел Змей Горыныч, вылезайте!

И только тут откуда-то из-за задней стены раздался голосок:

— Я не могу! Он меня завалил чем-то...

Оказалось, что хитроумный Митя оборудовал вторую, картонную стенку, где у него был тайник. Слава снял с полки радиатор, два обода от колес и еще несколько железяк, после чего стенка приподнялась и из тайника вылезла девица лет двадцати. Ей бы смутиться, но не тут-то было.

— Вот хмырь! — сердито сказала она. —

А обещал домой отвезти. У меня ни копейки нет.

— Тяжелый случай,— ухмыльнулся Слава.— Придется помочь ради дружбы с Митей.

Он пошарил в кармане, достал мелочь и протянул девичье десять копеек:

— Держи! Пятак на метро и пятак на троллейбус...

Поколебавшись, она взяла монету с пренебрежительным видом.

— Да, щедрые у Мити друзья. А у всех машины — могли бы и отвезти девушку домой. Я бы уж как-нибудь расплатилась,— с вызывающей усмешкой она оглядела их поочередно, и все отвели глаза.

— До чего же ленивые мужички пошли! — презрительно скривилась девица.— Им предложение делают, а они...

— Давай-ка отваливай со своими предложениями! — рассердился Слава.— А то сниму ремень и выпорю.

— Ха! — скривилась девица.— Ты, наверное, только для того ремень и снимаешь?

— А ну, брысь!

Девица не спеша выплыла из гаража, но в дверях задержалась и пропела:

— Слабаки вы, слабаки!

— Ах ты метелка! — Слава топнул ногой, делая вид, что сейчас кинется к ней.

Девица швырнула ему гривенник:

— Подавись, слабак! — И припустила бегом.

...Молча вернулись в Славин гараж, разобрали кружки.

— А что, мужики, может, мы и вправду слабаки? — спросил Слава.

— Не знаю,— покачал головой Петр Николаевич.— Я как-то и смолоду был разборчив.

— Я тоже не любитель таких приключений,— сказал Дмитрий Дмитриевич.— Во мне старомодная закваска — недаром меня дома мамонтом зовут.

— Да я не про то... Может, дело-то не в наших бабах, а в нас?

Субботний рынок играл всеми красками — зеленью овощей, красными брызгами черешни и первой клубники, пестротой летних женских платьев. Петр Николаевич бродил по рядам, не обращая внимания на разложенные на прилавках дары садов и огородов. Обойдя рынок, он вышел на улицу и сел в свои красные «Жигули». Завел машину, подумал, взглянул на часы и заглушил мотор.

И вскоре был вознагражден за свое ожидание — увидел Елену Петровну! Как он смотрел на нее! Казалось бы, ничего в ней особенного, идет женщина среди других,

может быть, даже более красивых и лучше одетых, но что ему были другие...

Он пошел за ней и смотрел издали, как она покупала салат, лук, укроп — будни ведь, рутина, мелочи жизни! — но для него все ее действия казались чем-то таинственным, завораживающим и невыразимо прекрасным. Потом Елена Петровна остановилась у лотка с черешней, достала маленький кошелечек и подсчитала свои малые деньги — он видел, что у нее осталось три рубля.

— Почему ваша черешня?

— Восемь.

Елена Петровна только вздохнула легонько и двинулась дальше, а сердце Петра Николаевича переполнилось жалостью и нежностью к ней. Он пошарил в кармане, но кроме железного рубля с мелочью ничего не нашел.

А Елена Петровна остановилась у картофельных рядов. И тут Петр Николаевич подошел к ней:

— Здравствуйте, Елена Петровна! Разрешите помочь?

Елена Петровна поколебалась, но все-таки отдала сумку.

— Прошу сюда! — показал Петр Николаевич на свою машину.

Он немного суетился, торопился, открывая дверцу и усаживая женщину в машину, как будто боялся, что она раздумает и не поедет с ним, и от этого был неловок и трогателен. Елена Петровна видела все это, но если бы другую такое поведение только порадовало — ведь женщины любят чувствовать свою власть над мужчиной, — ее это повергло в какую-то легкую грусть.

— Позвольте, я помогу! — Он помог ей пристегнуть ремень.

— Подкараулили, посадили в машину и ремнем привязали — уж не хотите ли вы меня похитить? — улыбнулась Елена Петровна.

— Ох, Елена Петровна! Только знак дайте!

— Вы такой джигит?

— Я не джигит. Но ради вас... Подарите мне двадцать минут, я вас отвезу в одно симпатичное место. Честное слово — не пожалеете!

...Он привез Елену Петровну в сквер с клумбой, на которой цвели пионы, — действительно, зрелище было красивое.

— Вот! — торжественно сказал Петр Николаевич.

— Вы так любите цветы? — Елена Петровна с любопытством взглянула на него.

— Просто, когда я увидел, тут же подумал, что вам это должно понравиться.

— Что же, вы угадали.— Елена Петровна подошла к скамейке и опустилась

на нее.— И часто вы вспоминаете обо мне?

— Каждый день!

Она недоверчиво взглянула на него.

— Преувеличиваете, Петр Николаевич... Вы мне кажетесь порядочным человеком, себя я тоже отношу к этой категории. Поэтому не нужно вам думать обо мне.

— Поздно, Елена Петровна! Я уже ничего не могу с собой поделать. Я караулил вас у дома и у рынка две субботы!

В этот момент Сергей, проходивший по этому же скверу с Мариной, увидел отца, но Петр Николаевич, увлеченный разговором, не заметил их. Сергей быстро потащил Марину в сторону. Они сели на скамейку, скрытую кустами сирени. Оттуда Сергей наблюдал за отцом.

— С кем это он? — спросила Марина.

— Не знаю... Но такого лица я у него никогда не видел,— озадаченно покачал он головой.

— Значит, это его возлюбленная?

— Это его полеты по субботам,— усмехнулся Сергей.

Вскоре Петр Николаевич и Елена Петровна направились к машине.

...Он подвез ее к арке, ведущей в глубину двора.

— Когда и где я вас увижу в следующий раз?

Елена Петровна вздохнула и покачала головой:

— Сейчас вас устраивают короткие встречи. Потом вам захочется продлить их, а позже и этого будет мало...

— Елена Петровна, я ни на что не претендую, обещаю не быть навязчивым, но видеть вас мне просто необходимо! Без этого моя жизнь превратится в какую-то пустыню...

— Простите, сколько вам лет?

— Сорок два.

— Разговариваете вы как восемнадцатилетний...

— А если я себя чувствую так? Как прикажете разговаривать?

Елена Петровна не ответила. Видно было, что все это ей и приятно, и тревожно. Недаром сказано: женщины любят ушами.

«ЯК-40» приземлился на заводском аэродроме. Первым с трапа сошел генерал и еще несколько военных. Встречающая их небольшая группа была в штатском.

Все направились к ожидающим их машинам, и тут вдруг генерал увидел Петра Николаевича в окружении трех летчиков, обсуждающих какой-то чертеж.

— Минутку! — сказал генерал и направился к Петру Николаевичу.— Вот ты где мне попался! А я тебя в Управление вызывал...

— Здравия желаю, товарищ генерал-майор! — Петр Николаевич откозырял по всей форме.

Генерал поманил его в сторону:

— Подводишь, Петр Николаевич! План комплектации на тебе завис, чуешь?

— Товарищ генерал-майор...

— Ладно, давай без чинов, по-человечески. Ты можешь помочь мне?

— Игнат Анисимович, вы же знаете, от изделий, которые я принимаю, жизнь летчиков... зависит очень...

— Знаю-знаю! Но стружку пока снимать будут с меня, а не с тебя. Ты мне выход подскажи! — сердито сказал генерал.

— Игнат Анисимович,— заволновался Петр Николаевич,— год назад я подал рапорт, что стабилизаторы у станков не справляются с перепадами напряжения в сети. Поэтому много брака...

— Ну помню, помню. А валюту дополнительную где брать? А время на установку новых станков? А машины должны вступать в строй по графику. А начальство спрашивает. А ты упрямышься. Вот и подскажи, что мне с тобой делать?

— Есть два выхода,— хмуро сказал Петр Николаевич.— Дайте мне письменный приказ принимать изделия с отклонением от допусков... Или замените меня более покладистым человеком.

— Ну да,— уныло сказал генерал.— А ты рапорт напишешь. Ведь напишешь же?

— Само собой! — улыбнулся Петр Николаевич.

— Писатель! — с отвращением сказал генерал.— Забыл, как ты в семьдесят восьмом рапорт написал? И чем это для тебя кончилось?

— Человек же погиб,— напомнил Петр Николаевич.

— А тебе этого мало — ты еще троих под суд отправил. И себе службу испортил... Неужели это тебя ничему не научило?

— Ну почему же,— усмехнулся Петр Николаевич.— Кое-чему научило...

— Интересно, чему же?

— А тому — чем больше бардака, тем крепче кому-то надо держаться за принципы! — почти ласково сказал Петр Николаевич.

— Ну-ну,— ошарашенно уставился на него генерал.— Интересно, далеко ли ты уедешь на своих принципах?

— Игнат Анисимович,— Петр Николаевич совсем перешел на интимный тон,— я думаю, это не мои принципы, а наши общие. И потом, это принципы, а не колеса. На них не ездят...

— Пошел ты к черту! — отпрянул от него генерал.— Я с тобой как с человеком,

а ты мне мораль... Тьфу! — И зашагал прочь...

Похоже, Петр Николаевич остался очень доволен тем, как он провел этот разговор.

С чем сравнить черноморский пляж в разгаре сезона? С лежбищем морских котиков? Но почему не наоборот? Десятки тысяч полуголых людей плещутся у кромки берега и столько же жарятся на берегу — картина почти апокалиптическая!

— Манана-а-а! — Грузная женщина с пронзительным голосом шла по берегу, переступая через лежащих людей, словно через камни, и кричала: — Манана-а-а! Доченька! Иди скорее черешню кушать!

Так она дошла до лежащих на расстеленной махровой простыне Вадима и Ларисы и снова завела:

— Манана-а-а!.. Манана-а-а!

Вадим сморщился и решительно сел.

— С ума сойти! Эта Манана преследует нас пятый день. Граждане,— обратился он к окружающим,— может, девочка плохо слышит? Давайте поможем женщине, ну — хором! — и заорал что есть силы: — Манана! Иди скорее черешню кушать!

Видно, женщина надоела многим, потому что шутку мгновенно подхватили, и через несколько секунд десятка два голосов стали звать Манану и предлагать ей черешню, конфетку, котлетку и даже арбуз. Женщина сначала растерялась, а потом гневно сказала Вадиму:

— Ты — плохой мужчина, потому что плохой отец. Хороший отец никогда бы не стал смеяться над матерью!

И ушла, так же перешагивая через лежащих, чувствуя себя на пляже, как в пустыне,— людей она не замечала.

— Съел? — засмеялась Лариса.

Грузная женщина нашла свою дочку, худенькую, стройненькую, лет двенадцати, обещавшую стать красавицей. Она шла рядом с матерью и выговаривала ей:

— Мама, ты меня компрометируешь! Я уже не маленькая...

— Доченька, я же беспокоюсь...

— Над тобой весь берег смеется, и мальчики нарочно выбирают место подальше.

Поздним вечером они гуляли по набережной. Отовсюду — с теплоходов, из ресторанов и транзисторов — летела музыка. Народу и здесь было невпроворот...

— Ох, что-то я наелся! — сказал вдруг Вадим.— Моря наелся, солнца наелся, а больше всего — народа. Нет, отдыхать надо в безлюдье.

— Сам выбирал.

— Это верно. А потому есть идея —

сорваться на недельку пораньше и заехать к моему двоюродному брату под Полтаву. Обещал рай: мед, вишни и тишину. Ты как?

— Как скажешь, я за тобой куда угодно.

— А в Южную Америку? — неожиданно серьезно спросил Вадим.

Лариса внутренне напряглась, но ответила с легким сожалением:

— Далековато, милый... Лучше всего влюбое место между Черным, Каспийским и Балтийским морями...

А через несколько дней море заштормило, хотя солнце светило всюю. И, казалось, народу на пляже прибавилось — в море почти никто не решался войти.

Вадим вдруг открыл глаза, сел и сладко потянулся.

— Ох, вчерашнего пивка бы сейчас — это была бы сказка!

— В хорошей сказке должна быть добрая фея.

— Фея есть, а вот пива — увы!

— Обижаешь, милый. Что это за фея без пива? Несовременная какая-то...

— Ларка! Неужели? — оживился Вадим.— В сумке?

Он торопливо сунул руку в сумку, лежащую под головой у Ларисы, но ничего там не обнаружил.

— Разыгрываешь?

— Феи никого и никогда не разыгрывают. Они исполняют желания, если их хорошо попросят...

Вадим привстал на колени и молитвенно сложил ладони.

— Фея! Миленькая, добренькая, красивенькая! Исполни мое желание — глоточек прохладного пива!

— Ладно, так и быть, покопайся под сумкой в песочке.

Вадим принялся раскапывать черный песок и вскоре извлек две бутылки чешского пива. Лариса протянула ему открывалку. Вадим открыл бутылку, с наслаждением припал к ней.

— Ммм! Прохладненькое! Ларка, да тебе цены нет! Как жаль, что фея замужем! Слушай, фея, а может быть, мы это дело переиграем?

— Это шутка или предложение между двумя глотками пива?

Вадим чуть не поперхнулся.

— Ну и юморок у тебя!

— А у тебя? — Лариса позволила себе стать строгой.

— Все понял! — Вадим поднял руки.— Вечером идем в ресторан, и я делаю тебе официальное предложение.

— Подлец! Подлец! Видеть тебя не могу! — прокричала куда-то за дверь Валентина Михайловна, с силой захлопнула дверь спальни и рухнула на кровать, сотрясаясь от рыданий.

Потом дверь открылась — и в спальню вошла Вера Гавриловна, с пузырьком и рюмкой. Твердой рукой, сохраняя спокойствие, она накапала валерьянку и под села к дочери.

— Выпей, Валюша. Успокойся...

— Я не могу! Как я успокоюсь после всего этого?

— Ладно, сначала все же выпей, потом я тебе объясню...

— Что тут еще объяснять? Зачем? И так все ясно!

— Выпей.

Валентина Михайловна наконец послушала матери и выпила валерьянку.

— Во-первых, ясно нам еще не все, — зажурчала Вера Гавриловна. — Ну, кого-то там встретил, подвез, мало ли...

— А лицо? Почему Сережа говорил про какое-то особенное лицо?

— Очевидно, Сережа раньше не видел, как его отец смотрит на женщин. Ну и что? Все они на хорошеньких бабенок смотрят одинаково!

— А эти постоянные отлучки по субботам? Откуда ты знаешь, где он в это время бывает — в гараже или у этой мерзавки? Нет, развод, и все!

— Не торопись, Валюша, — похлопала ее по руке Вера Гавриловна. — Сначала надо развести его с гаражом и машиной. Сейчас он чувствует свою вину, и этим можно воспользоваться. А потом — как хочешь. Я дала себе слово, что никогда не стану подталкивать тебя к такому решению. Но если ты созрела для этого...

...А в комнате сына тоже шел тяжелый разговор. Сергей, с пришибленным видом, горбился за столом над учебниками, а Петр Николаевич нервно расхаживал по комнате. Наконец он остановился перед столом:

— Ну хорошо, допустим, не ты сказал матери. Но Марине-то это зачем?

— Да сдуру, наверное, — с досадой ответил Сергей.

— Подлость не перестанет быть подлостью от того, сделана она сдуру или от большого ума. Ты-то хоть это понимаешь?

Сергей только тяжело вздохнул в ответ, Петр Николаевич снова зашагал по комнате.

— И что ты там наплел насчет моего лица? Мать просто зациклилась на этом!

— Ну нечаянно, вырвалось как-то.

— Что именно?

— Ну... сказал, что такого лица я у тебя никогда не видел.

— Что ты имел в виду? Объясни же!

— Ну... счастливое, что ли...

Петр Николаевич горько улыбнулся:

— Значит, такого лица давно ты у меня не видел... Что ж, пусть хоть это объяснит тебе что-нибудь...

Он вышел из комнаты сына и прошел в большую комнату, включил телевизор. Начиналась программа «Время». Но недолго ему довелось смотреть ее в одиночестве.

Вошла теща, величественная, с торжествующим блеском в глазах, который, впрочем, старалась скрыть. Первым делом она прошла к телевизору и убавила звук.

— Петр! Надо поговорить!

— Мало мы уже говорили? — устало спросил Петр Николаевич. — Дайте хоть новости послушать!

— Сейчас я тебе скажу новости!.. Валентина требует развода!

Вера Гавриловна ждала реакции, но Петр Николаевич даже не пошевелился, глаза его по-прежнему были прикованы к экрану. Наконец он так же устал и безнадежно высказал догадку:

— Ваша идея?

— Ошибаешься, голубчик! Она сама это решила, но, не скрою, — я ее понимаю!

— Ну еще бы! — с горечью сказал Петр Николаевич. — Я давно уже заметил: с тех пор как моя карьера свернула с намеченного вами русла, я стал в ваших глазах плохим мужем для Вали.

— Неправда! — растерянно сказала Вера Гавриловна, потому что это было правдой. — Ты стал плохим мужем тогда, когда начал пропадать в этом проклятом гараже!

— Вера Гавриловна, а вам никогда не приходило в голову, что мне в гараже лучше, чем дома? Там по крайней мере на мне не играют в четыре руки!

— Какие мы чувствительные! — с наслаждением, чуть ли не ласково выговорила Вера Гавриловна. — Уж если ты такой нежный, хоть бы вздрогнул, когда услышал о разводе!

— Навздрагивался! Больше не могу, — развел руками Петр Николаевич и прибавил громкость звука.

Но теща уверенной рукой снова убавила звук.

— Вера Гавриловна! Тут есть хотя бы одна комната, где я могу побыть сам с собой?

— Намекаешь, чтобы я отправилась на свою квартиру? Но я не могу оставить свою дочь в таком состоянии... И ты не ответил насчет развода.

— С вами, Вера Гавриловна, я разведусь с огромным удовольствием, — позволил себе съязвить Петр Николаевич.

— Не хами, — спокойно ответила теща. — У тебя еще есть возможность сохранить семью, если ты отдашь машину Сереже и прекратятся эти вольные субботы в гараже...

— Ах, во-от оно что! — протянул

Петр Николаевич.— Стало быть, вся арт-подготовка для этого и велась?

Но тут он оказался не прав. В комнату действительно с каким-то «зацикленным» лицом вошла жена.

— Нет, ты все-таки скажи: что это у тебя было за лицо? Почему я его никогда таким не видела?..

— Да видела, видела, и не один раз! — вырвалось у Петра Николаевича.— Только это было давно...

— Когда?

— Двадцать лет назад! Когда я за тобой ухаживал! — бросил Петр Николаевич и выскочил из комнаты.

...Он вышел из дома, сел в машину и направился — куда? Конечно же, в гараж!

Как всегда, Слава был на месте, хотя уже выводит машину из гаража. И так плохо было на душе у подполковника, так не хотелось ему оставаться в одиночестве, что при виде Славы хмурое его лицо осветилось надеждой.

— Привет! — сказал он, выходя из машины.— Ты что... уезжаешь?

— А что?

— Да хотел посидеть тут с тобой.

Слава взгляделся в лицо подполковника.

— Пожалуйста, сколько угодно! Может, сообразим чего-нибудь?

— Лучше чайку...

— Ну, это мигом...

И, схватив чайник, он пошел к проходной, а Петр Николаевич стал заводить машину в свой гараж.

...Потом они сидели, пили чай.

— Ничего уже не страшно — развод так развод,— устало признался подполковник.— Немного Вальку жалко — заруководит ее мамочка... Слав, у тебя, кажется, раскладушка тут была, дашь?

— А поедем-ка ко мне. Чего ты тут будешь на раскладушке?

— Спасибо. Не надоем я тебе со своими проблемами?

— А я не буду вникать! — преувеличенно весело сказал Слава.— Свои навязу — у меня скоро выборы. Надо какую-то речу толкать, поможешь придумать?

— С удовольствием.

...Они ехали по ночной уже Москве, Слава оживленно говорил:

— Жалко, Ларка через два дня приедет, а то бы я ей сюрприз — здравствуйте, вас приветствует начальник цеха Вячеслав Иванович Сорокин.

— Надеешься, выберут?

— Мне сказали, что многие за меня.

— А кто против? И почему?

— Как ни смешно, но есть такие, кто гаражом попрекает. Когда, говорят, плохо

было — он в гараж спрятался. Как будто сейчас в цехе все в порядке... Нам еще с этим хозрасчетом хлебать и хлебать!

Они свернули в глубину квартала новых домов — и вдруг Слава резко затормозил.

— Ларка! — каким-то не своим, сдавленным голосом проговорил Слава.— И с ней этот тип, Вадим.

— Ну и что? — удивился Петр Николаевич.— Подвез.

— Да? — Слава глянул на него бешеным глазом.— Мне телеграмму не дала, чтобы встретил, а этот, значит, знал? А может, они вообще вместе ездили?

— Брось, Слава! — твердо сказал Петр Николаевич.— Мало ли какие бывают совпадения, нельзя же так сразу...

— Если бы сразу...— скривился Слава.— Не сразу! Если уж откровенно, она со мной два месяца не спит!

— Обидел?

— Ну обидел, обидел, было дело! Так я уж сколько раз прощения просил! Потом приспичило ей на юг, да обязательно одной. А теперь ее этот тип встречает... Это как же понимать?

— Никак,— задумчиво ответил Петр Николаевич.

— Терпеть, что ли? — Слава чуть не скрипнул зубами.

— А других средств нет. Упреки, крики, выяснение отношений — все это только усугубляет ситуацию. Ладно, Слава, спасибо за приглашение, но визит мой, видно, отменяется.

Петр Николаевич хотел выйти. Слава вдруг страшно испугался.

— Нет, нет, Петя, наоборот! Я тебя очень прошу. Я... я сейчас просто боюсь! Потому что... потому что я не знаю, что могу сделать!

Его колотила внутренняя дрожь, он говорил прерывисто, словно задыхался. Петр Николаевич никогда его таким не видел.

— Хорошо. Я пойду. Но только ты соберись! Самое главное — сделать вид, что ничего не видел, не знаешь и очень рад, что жена приехала. Понимаешь?

— Привет! — сказал Слава, когда Лариса открыла им дверь квартиры. — С возвращением!

Лариса позволила ему чмокнуть себя в обе щеки.

— Здравствуйте, Ларочка! Как отдохнули? — спросил подполковник.

— Все бы ничего, да народу много! Оттого и сорвалась раньше времени — надоело толкаться.

— Ларок! Есть мясо и бутылочка сухого, так что отпразднуем твое возвращение по-

царски! — с преувеличенным оживлением за-
тараторил Слава. — Только куда же я ее
дел, мамочку? А, вспомнил! — И Слава устре-
мился в комнату.

— Что это с ним? — спросила Лариса,
прощая мужа взглядом.

— Радуетя вашему приезду.

— Да? — недоверчиво спросила Лариса.

...Они сидели за столом на кухне. Слава
в переднике хлопотал у плиты над жарящи-
ми сразу на двух сковородках бифштек-
сами, стараясь говорить как можно больше.

— Нет, что бы там ни говорили насчет
блатмейстерства, а пока есть необходимость
в автосервисе, я всегда буду с хорошим
мясом! И не по рыночной цене, а по магазин-
ной... А вы знаете, кто этот мясник? Бывший
артист кино! Вот так-то! Видно, в магазине
гонорары побольше, ха-ха-ха!

Лариса иронически поглядывала то на него,
то на подполковника.

Петр Николаевич всей кожей ощущал не-
ладное, но не знал, как прервать это слово-
извержение.

— Петя, тебе как — с кровью или прожа-
рить? Мы-то с Ларочкой любим с кровью, она
у меня женщина кровожадная, ха-ха-ха!

— Тогда и мне с кровью! — сказал подпол-
ковник.

— Открывай бутылку, сейчас будет готово.

Лариса подала Петру Николаевичу штопор,
тот стал открывать бутылку, потом наполнил
фужеры.

— Все! — провозгласил Слава. — Вот уж
к чему относится поговорка: «Горячо — сыро
не бывает» — так это к бифштексам! Ха-
ха-ха!

Он положил бифштексы на пригото-
вленные тарелки, быстро скинул фартук и присел
к столу.

— Ну! С возвращением, Ларочка! За те-
бя! — Он обнял жену за плечи и хотел чмок-
нуть в щеку, но Лариса отстранилась.

— Отложим нежности.

— Отложим, отложим! — охотно согла-
сился Слава. — Главное, было бы что от-
кладывать! Верно я говорю? — И он подмиг-
нул Петру Николаевичу.

Он не чувствовал фальши в своем пове-
дении, но жена и Петр Николаевич томилась
неловкостью.

— Поехали! — И Слава залпом выпил свой
фужер.

Подполковник отпил несколько глотков,
Лариса чуть пригубила.

— Ммм! Какие бифштексы, а? Оцените!
Я не только в автомобилях, я и в кулинарии
кое-что смыслю. Скажете, нет?

И тут Лариса не выдержала:

— Слава, помолчи, а?

— Что? — испуганно спросил Слава. —
Хорошо, хорошо. А вы ешьте, ешьте, биф-
штекс хорош, пока он горячий, а холодный —

это уже не бифштекс, а ростбиф.

— Слава!

— Все, все!

Дальше еда продолжалась в полном молча-
нии, которое оказалось еще хуже. В этой
тишине часы в комнате стали бить одинад-
цать раз.

— Ого! Уже одиннадцать! — сказала Ла-
риса и посмотрела с вызовом на Петра Нико-
лаевича.

— Да, мне пора. Спасибо большое! Мясо
действительно было замечательное. —
И Петр Николаевич стал подниматься из-за
стола.

— Куда ты? — вскинулся Слава. — Си-
ди! — И он обеими руками надавил ему на
плечи, заставив сесть.

— Ларок! Извини, но мы должны оставить
Петю у себя. Ему невозможно идти сегодня
домой. — У него беда!

— Да? — равнодушно спросила Лари-
са. — Какая же?

И прежде чем Петр Николаевич успел
его остановить, Слава выпалил:

— Жена решила с ним разводиться. Так
что, сама понимаешь, какая сейчас обстанов-
ка дома...

Петр Николаевич опустил глаза, словно по-
чувствовав, что сейчас произойдет. Лариса
поводила вилкой по тарелке и вдруг, усмех-
нувшись, сказала ровным голосом:

— Какое интересное совпадение! А зна-
ешь, Славик, мы с тобой тоже разводимся...

Слава оцепенел, потом покачнулся, словно
от удара, и выбежал из кухни. Лариса все
так же водила вилкой по тарелке.

— Ларочка, а вы не спешите? Мало ли
что бывает в семье, — осторожно начал Петр
Николаевич.

— Петр Николаевич, я не буду с вами
обсуждать этот вопрос.

— Извините, — Петр Николаевич поднял-
ся. — До свидания.

В прихожей его догнал Слава и вцепился
в рукав.

— Не уходи, Петя! Как старшего брата
прошу! — зашептал он, будучи и жалок, и
страшен одновременно.

— Опомнись, Слава! Возьми себя в руки!

— Я возьму, возьму... только не уходи...
Как брата прошу... старшего...

— Ну хорошо, хорошо... — Петр Николае-
вич еще раз встряхнул его за плечи и вдруг
сам, скривившись лицом, уткнулся головой
в его голову. — Ох, Славка! Ну и денек нам
с тобой выпал!

Из кухни вышла Лариса, мельком глянула
на двух полуобнявшихся мужчин, стоявших
голова к голове, и прошла в спальню, далекая,
уверенная в себе женщина.

На звонок к двери подошла Людмила Алексеевна. За дверью стоял ослепительный мужчина — ослеплял его белый распахнутый плащ, белый же костюм с темной сорочкой, улыбка, ухоженные усы, зубы и, наконец, букет белых роз. (Идеальным воплощением этого образа был бы Никита Михалков в роли Паратова.)

— Если не ошибаюсь, Людмила Алексеевна? — пропел он бархатным голосом.

— Не ошибаетесь, не ошибаетесь, — сразу же растаяла Людмила Алексеевна. — А вы — Борис Михайлович?

— Он самый! Прошу! — Борис Михайлович протянул ей розы.

— Вы уверены, что эти цветы предназначались мне? — пококетничала Людмила Алексеевна. — А если бы дверь открыла Маша?

— Поскольку я первый раз в вашем доме, цветы — хозяйке, — твердо заявил Борис Михайлович.

— Очень вам признательна! Розы изумительные! Проходите, пожалуйста. Раздевайтесь... Сюда.

Борис Михайлович последовал за ней в комнату.

— Какая прелесть! Обожаю старые квартиры! Только в них пахнет настоящим домом, семьей, историей. Вы знаете, современные квартиры чаще всего как будто кричат: смотрите, и мы не хуже других! А у вас — прелесть, прелесть!

— Ну что вы, — слабо запротестовала Людмила Алексеевна. — Это все такое старье. Мы люди небогатые...

— Как сказать, как сказать... — пропел Борис Михайлович, опытным взглядом приглядываясь к мебели. — Если, скажем, вот это бюро отреставрировать, цена его возрастет так — вполне хватит на хороший современный гарнитур... Да еще и остаться может.

— Что вы говорите! — у Людмилы Алексеевны заблестели глаза. — Неужели? Вы это точно знаете?

— Ну, гарантировать не могу, не такой уж я специалист. Это, конечно, не Павел и не Александр... Но если захотите, могу со знающими людьми свести.

— Вы меня заинтересовали, — начала было Людмила Алексеевна, но не договорила, услышав шаги дочери. — А вот и Машенька.

Вошла Маша, уже приодетая, в кокетливом передничке.

— Здравствуйте, Борис Михайлович! — прощепетала она. — Прошу прощения, что не встретила — пирог стергла.

Борис Михайлович чмокнул ее ручку и, не отпуская, сладостно промычал:

— Ммм... Судя по всему, пирог будет исключительный. Ручка пахнет божественно!

От такого комплимента Маша смутилась и поспешила уйти.

— Извините, я отлучусь. Мам, требуется консультация...

В это время послышался звонок в передней.

— Это муж. Вы, кажется, знакомы?

— Давно.

— Ну и прекрасно! Я пойду открою.

— У нас гости! — сразу же сказала она мужу.

— ???

— Увидишь. — И ушла на кухню.

Судя по выражению лица, гость Дмитрию Дмитриевичу был не очень к стати. Однако, входя в комнату, он приготовил соответствующую улыбку, которая тут же исчезла при виде гостя.

— Вы?

— Как видите. — Только теперь можно было оценить, что самую широкую улыбку Борис Михайлович приготовил для хозяйки. — Очень рад встретиться с вами в домашнем кругу.

Он двинулся к Дмитрию Дмитриевичу с улыбкой и протянутой рукой, но тот вдруг с таинственным видом поманил его пальцем и вышел. Борис Михайлович, озадаченный, помедлил, а когда последовал за ним, увидел Дмитрия Дмитриевича с его плащом у вешалки. Он держал его развернутым, готовясь подать гостю, а палец его вновь манил в конец оторопевшего Бориса Михайловича.

— Позвольте... Я не понимаю...

— Ну чего же тут непонятного. Прошу! — Дмитрий Дмитриевич потряс плащом.

— Но я действительно не понимаю, — Борис Михайлович отступил на шаг. — В конце концов меня пригласила ваша дочь...

Тогда Дмитрий Дмитриевич открыл дверь и вышвырнул этот прекрасный белый плащ на лестницу, не очень блиставшую чистотой.

— Ай-яй-яй... Нехорошо-то как! — Борис Михайлович покачал головой. — Теперь в химчистку нести... Ах, как нехорошо!..

Он вышел на лестницу. Дмитрий Дмитриевич тут же запер дверь. Но видимое спокойствие, с каким он проделал операцию, давалось ему нелегко, и он, словно обессиленный, прислонился к двери спиной.

Из кухни выглянула жена.

— Дима! Ты что тут делаешь? У нас же гости!

— Он ушел, — кротко сказал Дмитрий Дмитриевич.

— Как — ушел?! Почему?!

— Я его попросил.

— Ма-а-аша!! — завопила Людмила Алексеевна.

Из кухни вылетела дочь.

— Полюбуйся на своего папочку! — вперила Людмила Алексеевна перст в своего супруга. — Он выгнал Бориса Михайловича!

— Папа! Что ты наделал! За что?!

— Дикарь! Грубиян! Маша, догони его и извинись!

— Да! Папа,пусти! — Маша рванулась к дверям.

— И не подумаю, — сказал Дмитрий Дмитриевич, поплотней устраиваясь у двери. — Торгашей в этом доме не будет!

— Да кто тебе дал право распоряжаться моими знакомыми?! — закричала Маша. — Я давно уже вышла из школьного возраста!

— Самодур! — взвизгнула Людмила Алексеевна.

— Сами вы дуры! — рявкнул Дмитрий Дмитриевич. — На что вы польстились? Чем он вас купил? Сапогами? Манерами?

— Во всяком случае, манеры у него получше, чем у тебя!

— Да! И в театре на Таганке он чаще тебя бывает!

— А вы думаете, жулик — это кто по карманам лазает? Ошибаетесь! Они сегодня с экономическим образованием! И в театры ходят, особенно в престижные! И сморкаются в платок, а не на землю!

...Борис Михайлович, приникший к замочной скважине, распрямился и, огорченно покачивая головой, стал спускаться по лестнице.

А скандал в квартире разгорался.

— Моего деда Бухарин уважал! С отцом ифлийцы дружили! Знаете, что это за люди? Ни черта вы не знаете! Вы свою жизнь бараклом меряете!

— А ты чем меряешь? Банковскими инструкциями? Ты просто трусишь перед жизнью! Потому что не способен жить раскованно! — запальчиво бросила Маша.

— Раскованно от чего? От принципов? И слава богу!

— А много тебе дали твои принципы? — язвительно спросила Людмила Алексеевна.

— Они мне дали богатство, какое и не снилось вашему Борису Михайловичу, — человеческое достоинство!

— Если твое достоинство в том, — презрительно скривилась Маша, — чтобы по десять лет носить один костюм или ездить в задрипанной машине...

— Дура! Порви свой филологический диплом! Ты утратила смысл понятий и слов. Это уже какая-то душевная коррупция.

Он вдруг замолчал и оперся о стол.

— Маша! — отчаянно вскрикнула Людмила Алексеевна. — Нитроглицерин! Быстро! И звони в «неотложку»!

Она бросилась к мужу, обняла и повела к дивану.

— Ну все, все, успокойся... Господи, с чего это мы такие нетерпимые стали?..

Она расстегнула ему ворот, ремень, оглянулась на дверь.

— Маша! Да скоро ты там?

Вошла Маша с каменным лицом, хотя мож-

но было заметить на нем следы слез, сунула матери пузырек с лекарством и вышла.

— Вызывай «неотложку»! — крикнула ей вслед мать.

Она отсыпала на ладонь несколько таблеток нитроглицерина, положила ему в рот.

— Господи, ну какой ты стал дерганый... Пересиживаешь в своем банке... От этого и стрессы...

— В банке у меня нет стрессов. Есть нормальные деловые проблемы, и я их решаю. Стрессы у меня дома! — начав говорить спокойно, Дмитрий Дмитриевич последние слова выкрикнул, испугав жену.

— Ну ладно, ладно... Помолчи...

Она вышла и заглянула в комнату дочери. Маша плакала.

— Вызвала?

Маша не ответила.

— Маша! Я спрашиваю, ты врача вызвала?

— Сама вызывай! — зло ответила Маша. — Это твой муж!

— Дрянь! — И, сама того не ожидая, Людмила Алексеевна вдруг отвесила дочери пощечину. — Это твой отец!

— Да вы что — взбесились?! — закричала Маша. — Один мужика выгоняет, другая дерется! Родители, называется!

— Поори мне, поори! — зловещим шепотом проговорила Людмила Алексеевна. — Это у тебя варианты, а у меня другого мужа уже не будет. Надо беречь что есть...

— Мамонт! — процедила Маша.

— Хоть мамонт, да мой! А тебе еще неизвестно кто достанется, скорее всего, козел какой-нибудь! И вытри сопли, подумаешь, потеря! Если уж по-честному, то такие Борисы Михайловичи через магазин сидят! И марш вызывать «неотложку»! Ну!

И как ни странно, Маша послушно вышла в коридор к телефону.

На этот раз Петр Николаевич ждал Елену Петровну у аптеки. Когда она вышла, он предупредительно открыл дверцу.

— Слава богу! — выдохнула она, усаживаясь. — Достала! — И она показала две упаковки с каким-то лекарством.

— Теперь куда? — спросил Петр Николаевич, трогая машину с места.

— Бедняжечка! Замучила я вас сегодня?

— Нисколько.

— Будете знать, как ухаживать за женщиной, в руках у которой целых трое мужчин!

— Возьмите четвертого! — постучал себя по груди Петр Николаевич пальцем.

— Куда?.. Я вам очень признательна, Петр Николаевич, если бы не вы — не знаю, как бы я сегодня управилась!

— Рад стараться! Куда теперь?

— Все! Теперь домой!

Через некоторое время, когда они проехали перекресток, Елена Петровна спохватилась:

— Нам направо!

— Елена Петровна, мы сегодня сэкономили уйму времени. А мне очень надо поговорить не за рулем, минут двадцать. Это возможно?

— Да, вы вполне заслужили!

...И вот они стоят на набережной Москвы-реки.

— Мы сегодня проехали три часа, а я вас толком и не видел, надо было все время смотреть на дорогу.

— А может, и хорошо? — вздохнула Елена Петровна. — Выгляжу я последнее время ужасно! И что только вы нашли во мне?

Петр Николаевич развернул ее лицом к себе.

— Все! Я нашел в вас все, о чем даже мечтать не смел!

И как всегда, когда Петр Николаевич давал понять ей о своем отношении, Елена Петровна сразу загрустила.

— Я хочу сообщить вам важную новость — теперь я свободный человек. Жена подает на развод!

— Надеюсь, это не из-за меня? — испуганно спросила Елена Петровна.

— Как сказать? Давно уже наша семейная жизнь стала как один бесконечный ненастный день.

Елена Петровна вдруг облокотилась на парапет и заплакала.

— Ну что вы, Елена Петровна!.. Разве я сказал что-нибудь обидное? Пожалуйста...

Он достал платок, стал вытирать ей щеки, она отняла у него платок и стала вытирать сама, потом снова заплакала, уткнулась ему в грудь. И Петр Николаевич понимал, что это ее движение вызвано не столько каким-то чувством к нему, сколько доверием. Тем не менее эта телесная близость волновала его, хотя он сознавал, что ее слезы не сулят ему ничего хорошего.

— Ну все, все... Успокоились?..

— Я всегда считала, что, если повстречаются два порядочных человека и почувствуют вдруг, что... милы друг другу, ничего, кроме беды, это им не сулит.

— Спасибо, что я все же мил вам!

— А разве иначе стала бы я видиться с вами?.. Я тоже устала от своих проблем!.. У меня на руках не просто трое мужчин — три очень больных человека.

— Вы никогда не говорили о муже.

— Потому что это труднее всего. Он очень талантливый архитектор, не то что я — просто добросовестный исполнитель...

— Это не так-то мало, Елена Петровна! — с жаром заверил ее Петр Николаевич. — Добросовестность — нынче большой дефицит!

— Возможно, — кивнула женщина. — Скажем, в строительстве — это решающий фактор, но в архитектуре главное — талант, воображение, дерзость мысли. К сожалению, у мужа эта дерзость мысли сопровождается и дерзостью языка. И ему этого не прощали. Его проекты гробились, пыliliсь, а начальство проталкивало свои — бездарно-помпезные, понятные более высокому руководству. Ну что говорить, время-то было какое...

— Но время меняется.

— А люди остаются прежними. Юра от всех своих неудач стал пить... Сколько я ни умоляла, чего только ни делала!.. Знаете, что он однажды сказал в критический момент: или водка, или петля — выбирай! Что бы вы выбрали?

— Простите за дерзость, Елена Петровна, — сказал Петр Николаевич, — вы выбрали петлю! Только эта петля на вашей шее!

— Нет! — покачала головой Елена Петровна. — Я выбирала надежду. И такая надежда сейчас появилась. Один Юрин проект выдвинут на конкурс. Очень сильный и красивый проект, имеет шансы. А Юра лечится сейчас в больнице. Если я его брошу в такой критический момент, он просто погибнет!

— Жертвы, жертвы... Можно понять, если они не напрасны, — пробормотал Петр Николаевич. — А если все зря?

— Вы считаете, что каждой жертве обязательно награда? А сознание — я сделала все, что могла? Поверьте, это немало.

И в этот момент Петр Николаевич окончательно понял, что ему придется расстаться со своими надеждами.

...И за рулем теперь он уже сидел с таким лицом, с каким едут на похороны.

— Вы, наверно, думаете: зачем ей этот алкоголик, когда есть я — трезвый, добрый, надежный?.. Петр Николаевич, я вижу ваши достоинства. Но... Каждый конфликт, если он не ведет к разрыву, — это прощение, а прощение — это надежда... Может быть, пережитые драмы больше связывают семью, чем радости.

...И вот они въехали в арку, потом во внутренний двор.

— Дали бы телефон... Честное слово, я не стану надоедать. Только уж если совсем станет невоготу...

— Не стоит, Петр Николаевич, — мягко сказала Елена Петровна.

— Бойтесь?

— И не только вас...

Петр Николаевич внимательно посмотрел на нее и стал вытаскивать из машины вещи — коробку с пылесосом (судя по ветхости, можно было понять, что пылесос возили в ремонт), сумку с картошкой и еще сумку закрытую. Елене Петровне досталась сумка с продуктами. Они вошли в подъезд. Петр Николаевич внес вещи в лифт и вдруг сам

вошел в него и, прежде чем Елена Петровна успела сказать что-либо, ткнул пальцем в самую верхнюю кнопку.

— Вы неправильно нажали.

— А мне все равно! — И Петр Николаевич остановил лифт.

Елена Петровна молча смотрела на него.

— Поцеловаться-то хоть на прощанье мы имеем право? — мрачно спросил Петр Николаевич.

Елена Петровна невольно улыбнулась его мрачной решимости и, легко шагнув ему навстречу, сама обвила его шею руками. Они поцеловались... Раз и другой. Потом Елена Петровна пискнула:

— Ой, пожалейте мои ребра!..

Петр Николаевич ослабил свои объятия и поцеловал ее в третий, самый продолжительный раз и отшатнулся к дверям.

— Ну вот и все!.. И спасибо, — глухо сказал он и нажал нижнюю кнопку.

Елена Петровна смотрела на своего спутника, тот не поднимал глаз. И вдруг она сама остановила лифт.

— Петр Николаевич... Я чувствую себя виноватой... Хотите, встретимся еще? Действительно в последний раз... Съездим куда-нибудь за город. А то лето кончается, а я так ни разу за городом и не побывала... — все это она проговорила как-то робко, будто через силу.

Петр Николаевич понял ее. Он взял ее лицо в ладони и долго смотрел так — глаза в глаза. И увидел возможность недолгого счастья и горечь прощания — будто прожил вместе с ней этот день. И отрицательно покачал головой.

— Пусть уж все и остается сном... А то воспоминания замучают!..

Он поцеловал ее в один глаз, потом в другой, затем поцеловал ей руку, отвернулся к двери, нажал снова кнопку и, когда лифт опустился, вышел, так и не оглянувшись. А если бы оглянулся, увидел бы такие глаза, что непременно рванулся бы к ней и... кто знает, что бы из этого вышло?

Петр Николаевич издалека увидел «Победу» Дмитрия Дмитриевича, покрытую бурными пятнами шпаклевки, как будто он готовил ее к военным действиям и наводил маскировочную окраску.

Проезжая мимо, он взглянул на закрытую дверь Славиного гаража и подъехал прямо к Дмитрию Дмитриевичу.

— Привет! Славке не звонил?

— Нет, я тут приболел малость. Как у него?

— Паршиво. Взял отпуск, сидит дома, бородой обрастает...

— Что же это с нами происходит, а? — задумчиво сказал Дмитрий Дмитриевич. —

И вообще, есть ли справедливость на свете?

— Вообще-то есть. Но маловато, — усмехнулся Петр Николаевич. — На всех не хватает.

Помолчали. Потом Дмитрий Дмитриевич предложил:

— Надо бы Славку вытащить, а? Расшевелить немножко, может, рыбалку затеять?

...Звонок застал Славу в ванной, за полосканием белья.

— А-а, Петя... Привет. Да стираю вот... Успее, освобожу свой гараж — времени еще вагон. Ну так бы и говорил — чайку попить охота... Ладно, кончу постирушку — приеду... Пока.

Через какое-то время, чисто выбритый, он вышел из дома, подошел к своей изрядно запыленной «Волге», очевидно долго ждавшей его во дворе. Обошел вокруг, оглядывая колеса, мазнул пальцем по капоту, подкачал бензин, потом сел и поехал.

Как всегда в субботний день, машин на улицах было меньше, и Слава, кажется, получал удовольствие от такой езды. Но вот на одном из светофоров, где произошло скопление машин, неожиданно взгляд его из рассеянного стал напряженным.

Он увидел впереди знакомую ему машину Вадима, а рядом с водителем — Ларису!

И вместо того, чтобы ехать в гараж, Слава поехал за ними.

На большом перекрестке, боясь, что светофор отрежет его, он приблизился. Так и случилось — зажегся желтый свет, Вадим решил проскочить перекресток с ходу, и Славе ничего не оставалось, как газануть и рвануть вперед. Красный свет уже зажегся над ними. Постовой милиционер погрозил им жезлом. Вадим озабоченно попросил Ларису:

— Глянь, он номер не записывает?

Лариса оглянулась и... встретилась глазами со Славой. За перекрестком Слава стал отставать, но Лариса уже следила за ним и вскоре сказала:

— За нами Славка едет.

— Какой Славка?.. А-а. Ну и что?

Лариса пожала плечами:

— Не знаю... Мне это не нравится.

— Ничего, выйдем на трассу — оторвемся.

Вскоре выехали на Минское шоссе, и Лариса опять увидела Славину машину. Вадим жал на газ, но Слава приближался.

— Ч-черт! Давно пора было ограничитель снять, все мотор жалел. Иначе бы, куда ему на старой «Волге» угнаться!

Слава приблизился метров на пятьдесят и держался на этой дистанции.

— Он? — спросил Вадим, глянув в зеркало.

Лариса кивнула.

— Чего ему надо? — сердито спросил Вадим.

— А я знаю? — так же отозвалась Лариса. — Я боюсь! Знаешь, когда на него найдет, он черт знает на что способен!

— Драться ползет? — усмехнулся Вадим. — Отмахаемся! Я не из слабаков!

Лариса вдруг стала украдкой снимать серьги и спрятала их в сумочку. Вадим не заметил. Потом сняла кольцо с камнем, благо оставалось еще одно — обручальное, и тоже спрятала.

— Вадим! Поедем обратно!

— С какой стати? Люди старались, баранину на рынке покупали.

— Я же тебе говорю: боюсь!

— Там народу полно, не станет же он при всех скандал затевать. Да и поворота тут нет...

Еще через какое-то время Лариса сказала, вернее, подумала вслух:

— Конечно, нехорошо — то сама поощряла его халтурить в гараже, а то вдруг — в нос начала тыкать...

— Ты про что? — не понял Вадим.

— Долго объяснять. Вадим, пожалуйста, ну очень прошу, поедем обратно! Не по себе мне как-то... И не до шашлыка. Ну, пожалуйста!

— С тобой не соскучишься, — буркнул Вадим. — Только придется все равно подождать до разворота.

Кто знает, о чем думал Слава, когда начал эту погоню, и чего он хотел. Но когда он увидел, как далеко на повороте машина Вадима развернулась и, набирая максимальную скорость, помчалась обратно, он вдруг резко бросил свою машину поперек, словно желая преградить им путь.

Отчаянный крик Ларисы... скрип тормозов... удар! И обе машины разлетелись по разные стороны шоссе. Подъезжающие торпозили, выскакивали люди, жестикулировали, бежали к искореженным автомобилям... А иные спокойно пролетали мимо — мало ли на дорогах происшествий, всем не посочувствуешь...

Пришла осень, желтая палая листва шуршала под ногами, завивалась ветерком. С уробным рычанием бульдозер лез на деревянные гаражи, трещало дерево, позвякивало железо, которым они были обиты.

Дмитрий Дмитриевич смотрел, как сносят Славин гараж, — его уже был снесен.

Подъехал сзади Петр Николаевич.

— Ну что?

— Лариса еще в больнице, отдал Кириллу последнее барахлишко из гаража. Он заплакал... Ну, я дал ему наши телефоны, пусть звонит, если какая помощь потребуется... Там бабка к нему приехала...

Дмитрий Дмитриевич кивнул, потом подумал вслух:

— Может, к Ларисе в больницу съездить? Хоть понять, как все случилось?

— Уволь! — замотал головой Петр Николаевич. — Наши-то, может, и подурее, да по-добрее, а эта... До сих пор лицо ее помню: как она сказала ему о разводе!

И еще помолчали, глядя на бульдозер.

— Как тебе новый гараж?

— С одной стороны — да, с другой... Чайку попить не с кем... — вздохнул Петр Николаевич. — И вообще, может, отдам его Сережке вместе с машиной. Распалась наша команда!

— Давай все-таки позванивать друг другу а? — предложил Дмитрий Дмитриевич.

— Обязательно... Ну, мне пора, — сказал Петр Николаевич и занес руку для рукопожатия.

Дмитрий Дмитриевич тоже сначала отвел свою ладонь, потом они столкнулись в крепком и продолжительном рукопожатии. Глянули друг другу в глаза. Прощально глядели, точно зная, что уже не будет у них частых встреч.

Потом пошли к своим стареньким машинам.

А бульдозер делал свое некрасивое, но, в общем-то, нужное дело.

1988 г.





Елена
ЗАРИЧНАЯ

ФУТБОЛ: КОГДА ШАНСЫ РАВНЫ

В идеозапись одного из матчей мексиканского чемпионата мира по футболу. Желательно того, где мы увидим Олега Протасова или Геннадия Литовченко. Зрители же пусть думают, что действие происходит в момент самого чемпионата, в момент именно этого матча.

Его смотрит большая по нашим временам аудитория телезрителей — человек десять парней одного возраста и мужчина лет пятидесяти. (Возможно, здесь будет его жена.)

За игрой все следят с напряженным вниманием. Если и отпускают реплики, то не отрываясь от экрана. По их замечаниям легко понять, что особый интерес у всех вызывают два игрока сборной СССР: Литовченко и Протасов.

Разместились ребята в просторной комнате современной квартиры. Мы осмотрим ее чуть позже, сейчас все наше внимание к их лицам. Конечно, воспринимают игру все по-разному — в зависимости от темперамента, воспитания.

Мы выделим — не очень навязчиво — троих (их имена станут известны позже).

Первый — очень беспокойный, он то и дело откидывается на стуле, потирает лицо ладонью.

Второй — смотрит как бы исподлобья, чуть ли не против воли. Но какой огонь вспыхивает в его глазах по временам!

Третий — с приятным открытым лицом, наблюдает с пытливостью исследователя.

В какофонии звуков, производимых всевозможными пищалками, дудками, другими приспособлениями изобретательных болельщиков, в реве голосов — едва различим свисток судьи. Первый тайм окончен. В кадре — заставка.

Кто-то тут же поднимается, а кто-то остается на месте, не в силах отвести от экрана взгляд — не покажут ли, что там происходит в перерыве. Не вернут ли еще хоть на мгновение в ту обстановку шумного праздника.

Мужчина уходит на кухню, где начинает заваривать чай. Последуем за ним.

Присутствие съемочной группы в этой квартире будет ощутимо, хоть и незримо: по вопросам, которые иногда будут звучать, по монологам присутствующих.

Вопрос. Два человека из юношеской команды в сборной СССР. Это много?

Мужской голос. Конечно! Большинство команд вообще не имеет игроков в высшей лиге. Хотя вы знаете, что, кроме Литовченко и Протасова, еще два человека — нет, три! — из этой юношеской команды могли быть сейчас там, в Мексике...

Вопрос. Кто?

Когда он называет ребят, мы видим каждого из них в комнате. Конечно, это те, кого мы уже «приметили».

Мужской голос. Заика Сергей, Игорь Семёшин, Олег Овчаренко.

Обратим внимание на фотоснимок на стене — большая группа ребят (около ста человек). В правом верхнем углу — надпись наискосок: «СДЮСШ «Днепр-75», июль 1975 года». Возможно, кто-то из героев фильма будет в этот момент рассматривать его. Это может быть любой из присутствующих ребят. Но лучше — Заика или Семёшин.

Вот и названы главные герои нашего фильма: Заика, Семёшин, Овчаренко, Литовченко и Протасов. Пять человек. Пусть не покажется, что это много!

Перед нами ребята из бывшей команды футбольной школы «Днепр-75». Сейчас они собрались у тренера Игоря Леонтьевича Ветрогонова (большинство ребят живет в Днепропетровске) и следят за игрой своих товарищей Литовченко и Протасова, принимающих участие в чемпионате мира. Признание их высокого спортивного мастерства.

Мы увидим одну из дворовых команд — мало ли таких! — где мальчишки разного возраста, но с одинаковым азартом гоняют мяч в «коробке». И если удается малышу обвести большого — то-то радости болельщикам!

Со всей серьезностью следит за игрой тренер-общественник.

С такой команды начинался футбол для многих участников нашего фильма.

А в комнате идет разговор между ребятами — о себе, об этих двух парнях — Литовченко и Протасове, достигших цели, к которой шли все...

Овчаренко. Олега Протасова я выделил, еще когда на «Вихре» увидел: невелико разнообразие технических приемов, но выполнял чисто, до конца. И настойчивость — забить гол. Настоящий нападающий! Гену Литовченко уже тогда среди всех выделял удар по летящему мячу — точный, резкий, хлесткий. Полная преданность спорту, когда футбол — как «идефикс». И поразительное трудолюбие. Я два года тренировался на «Вихре», потом в «Днепре-75». Работал так усердно, что перетренировался, получил воспаление надкостницы — от твердых полей, от прыжков. В школе я любил географию, поэтому мне нравилось с командой бывать в разных городах, музеях... Хотя основной жизнью все же был футбол, а не школа.

Семёшин. А я шесть лет занимался в дворовой команде. Тренировал нас Станислав Трофимович Бондаренко — простой рабочий. У него семья, а он вместо дома шел красить мячи, пробивать поездки на турниры. Любил футбол и детей. В дворовой команде я выступал за старших ребят и считался лучшим игроком. Всегда, с детства пошло, я считался одним из лучших...

Заика. Да, Гешка был пахарь, если бы все

так, как он. Протасов тоже. У него было призвание — забивать голы, он сразу пришел на место номер один. Нестандартным был в игре — нельзя было предсказать, что сотворит...

В разговор «вступает» Олег Протасов. Мы беседуем с ним не в Мексике, конечно, но где-то на нейтральной территории. Можно на стадионе «Метеор» в Днепропетровске.

Протасов. Конечно, у каждого было мнение о том, кто как играет в команде, но это держалось при себе. Хотя у Игоря Леонтьевича было заведено называть, кто лидеры на данном этапе. И долгое время, я помню, лидерами были Заика и Семёшин.

Веселятся ребяташки во дворе школы: «резинки», «догонялки», «классики» — перемена. Звонок — и все гурьбой кидаются на дверь: давка, обиды и смех. Наконец проталкиваются все, самые тихие бегут уже по пустому коридору. И тут в дверях появляется одна озорная рожица, вторая, третья — двор пуст. И мальчишки, обгоняя друг друга, кидаются к углу школы. Затормозили, выглянули: один, второй, третий — никого, и второй рывок — через стадион, к деревьям.

И вот уже они на пляже. За деревьями видна крыша школы. Идет серьезная работа с мячом — то, что не удавалось на тренировке. Работа и игра!

В неярком свете одинокой лампочки, на лестничной площадке подъезда, трое мальчишек работают с мячом: пас на голову, на колено, об стенку, вверх, вниз...

Возможно, кто-то из соседей «отзовется», как это зачастую и случалось...

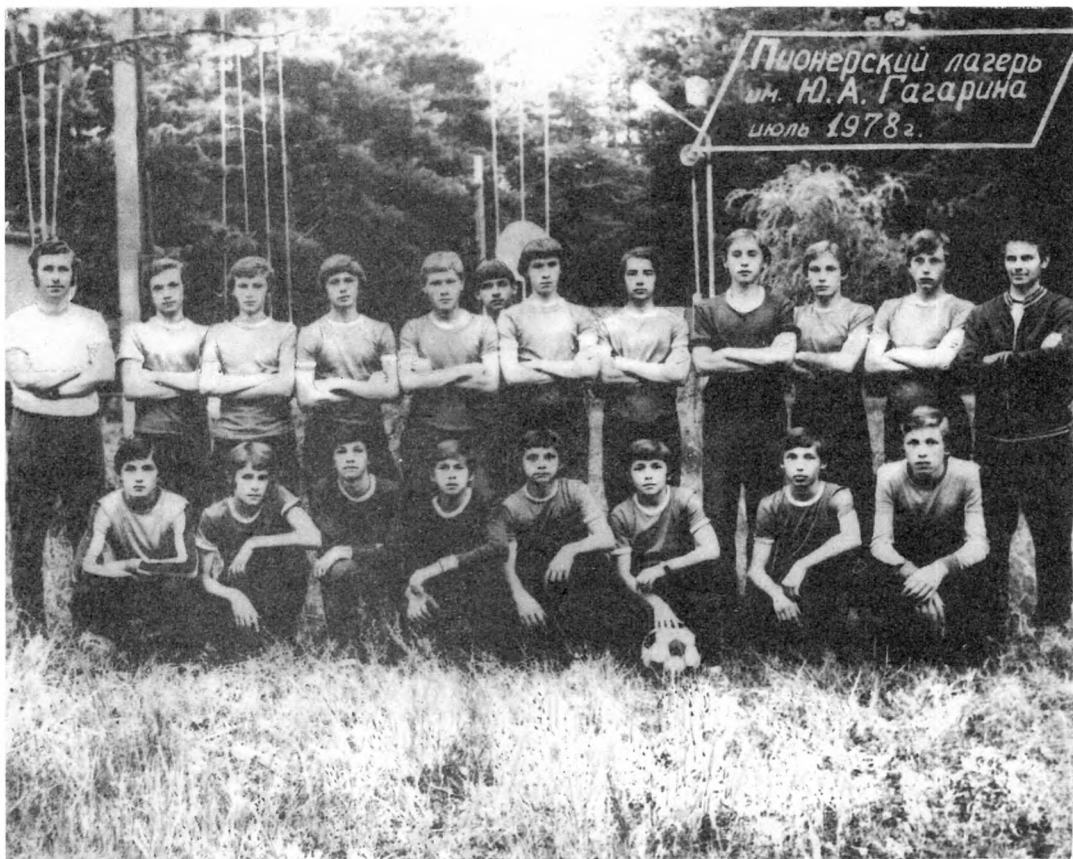
Протасов. Родители, учителя — да все — говорили нам: учись, ведь не все будете футболистами. Какое там учиться! Скорее бы занятия закончились — и на тренировку!

Лето. Мальчишки в спортивном лагере. Кто-то играет в настольный теннис, кто-то перебрасывается футбольным мячом, кто-то читает. Словом, отдых.

А вот и занятия: мальчишки расположились на скамеечках — такими когда-то были и герои нашего фильма и так же слушали, — а Игорь Леонтьевич объясняет что-то у доски, расчерченной, как футбольное поле, и передвигает по ней «фигурки игроков»...

В детстве каждого мальчишки есть футбол. У наших героев был только футбол. Они любили его. И он был для них важнее всего остального в жизни.

Мы на тренировке малышей. Немного



В верхнем ряду: крайний слева — тренер Дановский Борис Иванович, крайний справа — тренер Ветрогонов Игорь Леонтьевич, рядом — Олег Овчаренко, Сергей Заика, шестой справа — Геннадий Литовченко. В нижнем ряду: второй справа — Олег Протасов, второй слева — Игорь Семёшин.

ченко. Не захотел жить в интернате, ездил из Днепродзержинска. В пять утра вставал, в шесть — электричка, в семь он на тренировке, до школы. А с пятнадцати до двадцати — вторая тренировка. Потом опять на электричку, домой. И так каждый день... А Сергей Заика — очень самолюбивый. Уверен был в своих силах. Пижон, — когда человек не считается ни с кем в команде, может нахамить тренеру, может вполсилы работать. Знал, что нужен команде, что тренер все равно возьмет его... Например, тренер Подзюбану говорит, что надо работать над техникой, и Заике: работать над техникой. И того возмущает, что его равняют с Подзюбаном. Остановился на том, чего достиг, а ребята пошли дальше.

Свисток. Начинается (или продолжается) матч между двумя юношескими командами. Болельщики тут же приступают к своей непосредственной обязанности — начинают «болеть»: крики, свист... В этом шуме, не замечаемый никем, из раздевалки выбегает мальчишка, на ходу заталкивая в сумку спортивную форму, — игрок одной из команд.

Почему он не на поле? Мальчишка, не глядя на игру, бежит со стадиона...

Семёшин продолжает свой рассказ:

— Любил, чтоб за ним побегали. Это и помешало ему. А так — способный, любил футбол.

Задумчив Игорь Семёшин — непросто сложилась его жизнь. И футбол, пожалуй, самое светлое, что в ней было.

— У меня тоже где-то в девятом-десятом классе начала проявляться болезнь — ставил себя выше других. Может, потому, что получалось лучше... И хвалили много... Стал покрикивать на ребят, что неправильно сыграл кто-то. Но без футбола я не мог!

А вот что думает по этому поводу тренер Игорь Леонтьевич.

Ветрогонов. У Игоря только футбол был до четырнадцати лет. А потом появились «друзья» вне команды, старше его... Я ведь рекомендовал его в команду «Днепр», Лобановский — он был тогда старшим тренером — приходил к нам на тренировку. А Игорь свои кеды кому-то из ребят отдал... Потом хотел устроить его в заводскую коман-

ду, а тут это происшествие с ним...

Разговор с Сергеем Заикой происходит на школьном стадионе, недалеко от его дома — сейчас это его удел.

Заика. Когда я был в девятом классе, меня приглашали сразу две спортивные школы: Львов и Киев. Директор львовского спортинтерната и тренеры писали и звонили. Бушинский приезжал за мной. Даже уговорил, и мы полетели с мамой во Львов. Но не выходя из аэропорта, улетели обратно. Я не смог. Я хорошо играл и считал, что играть надо там, где родился и вырос, а не мотаться по разным командам, чтобы не стыдно было людям в глаза глядеть. А на тренировках, до сих пор помню, самые тяжелые дни — среда и четверг, силовая работа: штанга, набивные мячи. А самые интересные — на технику. А на играх один должен носить пианино, а другой на нем играть. Я относился ко вторым. Меня так держали. У кого лучше получается, того освобождают от черной работы. Хотя я тоже «пахал», конечно...

Разговор с Геней Литовченко происходит в его квартире, на кухне. Это, скорее, столовая, там очень уютно — угловой диванчик располагает к беседе.

У Гены обаятельнейшая улыбка, взгляд с лукавинкой — ее предвестие.

Литовченко. В «Днепре-75» я считал себя таким, как все. В девятом классе не прошел в сборную Украины. Окончил спортшколу, в команду «Днепр» меня тоже не пригласили. Уехал в днепропетровский «Металлург» — вторая лига. Сыграли одну игру — это было летом, последние школьные экзамены — и вдруг приходит приглашение в юношескую сборную СССР. Я даже задавал себе вопрос: почему именно мне. И была огромная радость. Подумал, что что-то представляю. Надо было доказать. А когда начал играть, почувствовал, что не хуже остальных.

Разговор с Олегом Протасовым продолжается на стадионе.

Протасов. На достижение цели, я думаю, влияют характер, условия жизни, среда. У этих ребят — Заики и Семёшина — не все благополучно было дома. Да и район, где они жили, — «бандитский». За мной родители следили...

Возможно, Олег вспомнит какой-то эпизод, когда и он мог «сорваться». Вроде того, что произошло с Игорем Семешиним и Сергеем Заикой. Но не случилось, к счастью. Во многом благодаря влиянию отца, такому необходимому мальчишкам в их переломные моменты.

Труден путь к цели — «наверх».

Олег продолжает:

— Я был младше ребят этой команды и, когда они окончили школу, я еще год учился и выступал уже за команду своего класса.

У меня было представление, что я самый сильный в команде. Потом меня приглашают в сборную СССР, юношескую, и, оказывается, я ничего не умею. Никакой! И только потом, где-то через год, я освоился... Все-таки, думаю, очень много зависит от природных данных. Может быть последним шалопаем, а ему удастся. А другой потеет, носится, а не получается — не дано.

Мы еще раз вернемся к Дановскому — не просто разобраться, почему из четырех-пяти человек, имеющих у стартовой линии равные шансы на успех, к финишу подходят один-два.

Как происходит «выбывание» из игры, из борьбы?

Дановский. Литовченко — фанат, почему его мастерство и пошло вверх. Протасов — талант, есть чутье забить гол. Мы знали, что если этих двух ребят рекомендовать в какую-то команду, они никогда не подведут. Они могли не подойти по каким-то показателям техники или тактики, но за их поведение и трудолюбие мы могли ручаться. А эти двое — Заика и Семёшин — лентяи! Остались с тем, что умели вначале. Заика стоял на поле, не бегал. Все стараются, а он нет. Хотя футбол любил и мог играть. Отношение его к ребятам: мог ударить, если что-то не нравилось... Хорошим мог быть футболистом, если бы человеком был хорошим.

Танцевальная площадка расцвечена огнями. Далеко окрест разносится музыка. Ритмично колышется людская масса. Мы наблюдаем сверху — площадка расположена в городском парке, в уступе пригорка.

Вдруг где-то в толпе завязывается потасовка. Мы не видим дерущихся, только шарахаются от них те, кто рядом, а остальные продолжают танцевать.

Продирается сквозь толпу убегающий.

Его настигают.

Это происходит, почти как в немом кино, потому что все звуки скрывает музыка.

Перемигиваются разноцветные лампочки.

Стычки на танцплощадках — довольно частое явление. И думаю, несложно будет снять подобный эпизод.

Мы опять возвращаемся в квартиру Игоря Леонтьевича.

Со стола уже убрано, ребята рассматривают фотографии, рассказывают о том, как сложились их жизнь после окончания спортшколы.

Конечно, на этой встрече идет разговор и о других ребятах команды и что-то мы услышим о них. Но не будем уделять этому много времени. Во-первых, чтобы не рассеивать внимания зрителей, не уводить от главных героев; во-вторых, эти пятеро воплотили в себе самые яркие черты, характер-

ные для всей команды.

С Сергеем Заикой мы поговорим в коридоре или на лестничной площадке, когда он выйдет покурить.

Он волнуется, постоянно потирает лицо ладонью, когда говорит о футболе. Эта тема — больная. Она же — главная. Он многое переоценил теперь и, думаю, найдет в себе мужество признаться в собственных ошибках.

— То, чего хотел, добивался. Мог часами стоять, бить, пока не получалось. Если бы еще ума побольше... И тогда, в Никополе, когда я уже играл в дубле «Днепра», уехал прямо с соревнований: поссорился с тренером... И еще раньше — последний год — два в спортшколе. Улица мешала... Район у нас «бандитский», курить в десятом классе начал. Но не пил! Компания... Когда даже на тренировке думаешь не о работе, а о том, когда она закончится и куда пойдешь после тренировки... Незаметно как-то... Чувствовал почву под ногами, а она ушла... Учусь в институте физкультуры, сейчас в академотпуске, хочу устроиться в какую-нибудь команду... По воскресеньям собираемся с ребятами на школьном стадионе. Поносишься, поудивляешь всех — и всё... До следующего воскресенья. Игорь Леонтьевич говорит, что техника не пропадает, пропадает физическая подготовка. Но ее можно восстановить. Только кто захочет возиться? Подавай готовых мастеров!..

...Много передумал за эти годы и Игорь Семёшин, повзрослел. С командой связаны лучшие воспоминания. И думаю, он сможет быть откровенен со съёмочной группой — мы поговорим с ним в соседней комнате.

Через полуприкрытую дверь могут быть видны остальные ребята, у них продолжается свой разговор.

Семёшин. Полгода назад я вышел из заключения... за драку. Четыре года. Мне каждый день снился футбол. После лагеря сразу поехал на матч «Днепра», где играли наши ребята. Вечером лег спать, у меня бежали слезы, сами... Бывает, снится, что выхожу на поле в команде, забиваю голы... Чтобы достичь высокого мастерства, надо любить этот вид спорта. Знать, что без него жить не можешь. Ради него живешь. Если бы не футбол, не жил бы... Я начал играть уже понемногу. Подлечу сердце...

Мы опять на огромном пустом стадионе. Относительно пустом, конечно.

Группа легкоатлетов разминается у прыжковой ямы.

На трибунах, кроме нашего собеседника, никого нет. Он как будто спорит с теми ребятами.

Протасов. Это они теперь так. А тогда?..

У них осталось в памяти все, что было связано с футболом, потому что не было продолжения. А у нас много новых впечатлений, встреч, событий. То забывается. Хотя я помню: меня на этот стадион в детстве приводил отец. А я не столько на футбол смотрел, сколько на зрителей. Особенно интересно, когда гол забивают. Я спрашивал: «Папа, я там тоже буду?» — «Будешь!» Я мечтал, мне снилось, как выхожу на поле. И ощущение, что я достиг того, к чему шел, было именно тогда, когда я в составе «Днепра» вышел играть. Сейчас это уже работа. Мечты, мифы. Футбол — это адский труд. Бывает и не хочется идти, когда по три раза в день тренировки. Но без этой работы не можешь. Когда я забиваю гол, испытываю — я для себя это давно так определил — чувство исполненного долга.

Наш разговор с Гавриилом Дмитриевичем Качалиным, заслуженным тренером СССР, происходит где-то на соревнованиях «Кожаного мяча».

Нам интересно его мнение о Гене Литовченко, которого тот выделяет среди остальных советских футболистов.

— Литовченко — творческий игрок. Несмотря на то, что ему всего было двадцать лет, а самому старшему — Николаю Павлову — тридцать, Гену избрали капитаном команды. Это фанатик. Футболу такие и нужны. Только отказавшись от всего, можно достичь высокого спортивного мастерства.

Вечерет. На небольшом стадиончике недалеко от пионерского лагеря видна одинокая фигурка. Мальчишка наносит один за другим удары по щиту с разметками на точность. Девятка! Восьмерка! Семерка! Девятка!..

Мы опять в гостях у Литовченко. У него милая жена Оля. Возможно, она будет присутствовать при разговоре.

Литовченко. В восемьдесят третьем году я начал тренироваться в сборной СССР — у Лобановского... Для достижения высокого спортивного мастерства, я думаю, нужны терпение и воля. В каждой игре, когда не хочется, надо заставить себя через «не могу», через усталость. Пошли в атаку — обрез, надо снова начинать атаку... И постоянный труд — чтобы не стоять на месте, чтобы не обогнал тот, кто идет сзади, чтобы не выгладеть хуже... Раньше было легче, когда был «перспективным». Сейчас, когда достиг лучшего, уже не можешь — нельзя! —

опускаться на линию ниже...

Хорошо бы увидеть здесь коллаж из фотоснимков, запечатлевших Литовченко и Протасова в острые игровые моменты.

Еще одно интервью — с заслуженным тренером СССР Игорем Михайловичем Кошкиным, имеющим четкую позицию и на деле доказавшим ее состоятельность в воспитании мастеров спорта.

Кошкин. Нужна система. Поставить задачу в масштабе страны. Если цель оздоровительная, то и работа, и воспитание подчинены этому; массовый спорт — своя система: выращивать лидеров, спортсменов экстра-класса — следовательно, требования высочайшие... Слагаемые победы команды — в прямой зависимости от личности каждого спортсмена... В большом спорте мы профессионально можем подготовить мастеров высокого класса. А побеждает сила личности. Кто может терпеть, тот побеждает. А чтобы терпеть — надо готовиться. Вот Шеметов — серебряный призер XXII Олимпийских игр — как спортсмен на порядок выше Сальникова. А Сальников — чемпион XXII Олимпийских игр — как человек выше Шеметова на два порядка. Поэтому Сальников — первый, а тот — второй...

Попросим И. М. Кошкина более подробно рассказать о том, из чего складывается успех, обязательными составляющими которого являются талант, труд и воля спортсмена.

За окном — темно. Из комнаты доносятся голоса. Наш собеседник Олег Овчаренко стоит у окна. И говорит он не для зрителей, а скорее размышляет вслух:

— Я знал, что если поехать в Полтаву в «Колос» — вторая лига, то потяну. Да даже сейчас, если подтянуть общефизическую подготовку, то смогу выступать. Но это не то, к чему я стремился... Я учусь в мединституте, играю за него и, конечно, хочу быть врачом при футбольной команде... Я многим обязан спорту, понял, что жизнь —

борьба, ничего не дается просто так, что всегда надо преодолеть какой-то барьер, чтобы достичь чего-то, и думать не о благах, а именно о деле... Возвращаясь назад, в детство, я думаю: в художественную школу бы мне! У меня всегда была тяга рисовать — ведь это такая возможность выразить себя. Я и сейчас на лекциях рисую.

— Рисунок в комнате — твой?

— Да.

Мы опять видим этот рисунок.

И на какое-то мгновение шум волн «смывает» звуки голосов... Но только на мгновение.

В комнате оживление — закончился перерыв в матче, быстро занимают свои места ребята.

Приветственный шум толпы — команды выходят на поле. Едва прорывается голос комментатора. Первые же минуты матча выдают, насколько накалена обстановка на стадионе — чемпионат мира!

Вот и Литовченко с Протасовым — их узнают сразу.

А наше внимание — к «телезрителям». Уже по-иному мы воспринимаем их.

Хотя так же откидывается на стуле Заика и проводит ладонью по лицу...

Исподлобья, чуть не против воли, наблюдает Игорь Семёшин...

Не скрывает своего огромного интереса Олег Овчаренко...

Задумчив тренер — могло сбыться и у этих троих...

1986 г.





**Петр
ПОПОГРЕБСКИЙ**

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Майским днем у одного из дворов на Суворовском бульваре, если ехать от Никитских ворот, затормозил новенький «Спутник-Лада».

— Гоголь — номер раз! — объявил сидящий за рулем молодой человек в курточке — художник-фотограф Саша Камнебоков.

Манцев, человек лет сорока пяти, одетый по-чиновничьи аккуратно, глянул на скорбную фигуру в глубине заросшего двора:

— Скульптор Андреев. Девятьсот девятый год...

Достав из кофра свой «Никон», Саша щелкнул скульптуру.

— Гоголь — номер два! — Следующая остановка была рядом, где на Арбатской площади высился Гоголь иной.

— Скульптора Томского работа, — сказал Манцев. — Прежде тут андреевский Гоголь сидел.

— Отредактировали? Знакомо! — Саша щелкнул «Никоном». — Март пятьдесят второго, — разглядел он дату на цоколе памятника.

— Значит, решение о замене было принято году в пятидесятом... — размышлял Манцев. — Завершилась первая послевоенная пятилетка. Кому Гоголь помешал? Почему задвинули во двор?

— А третий и вовсе лежит за забором! — выпалил Саша.

— Третий? — переспросил Манцев недоверчиво. — Далеко?

— В Измайлове. Учитель, этот ребус даже вам не расколоты!

— Тогда... — Манцев покопался в карманах пиджака. — Дай монетку! На работу позвоню.

— А может, не надо?

— Я ведь в ГПНТБ, — объяснил Манцев.

— Вас ист дас? — Саша достал мелочь.

— Государственная публичная научно-техническая библиотека.

В одну из комнат информационного сектора министерства вошел человек невысокого роста — заводделом Рогачёв, причем так стремительно, что одна из пожилых сотрудниц едва успела спрятать вязание. Тут работало около десятка человек, в основном женщины. Лишь один стол у окна пустовал. На него и усталился Рогачёв.

— Так где же Манцев, в конце концов?

— В ГПНТБ, — ответила Наташа, милостивая женщина средних лет.

— Так пойдите и найдите его там! Ему срочная командировка в Ново-Яранск! — Рогачёв швырнул на пустующий стол Манцева министерский бланк с текстом предписания. — Как отчет по внедрению новой техники? — обратился он к Звонкову, молодому инженеру.

— Заканчиваю.

— Я слышу это в сто пятый раз! — вздымая ветер, Рогачёв прошел к двери. — Так

вы найдете мне Манцева, Наталья Александровна!

— Бегу! — получил он ответ в спину.

— А если он сам пойдет, а Игоря в библиотеке нет? — спросила Света, молодая соседка Наташи.

— Не пойдет, потому что он это знает.

— И терпит? — Света понизила голос.

— А правда, что у Игоря там, — она показала пальчиком в потолок, — рука?

— И вообще, главный специалист, откуда такая должность?! — вступил Звонков. — В Информсекторе — шесть отделов, главный специалист один — у нас!

— Потому что Игорь в один день может сделать то... — начала Наташа.

— ...что у тебя получается только на сто пятый! — закончила Света.

— Не с того начали, Звонков, — пожилая сотрудница снова достала вязание. — Потрубите лет двадцать по стройкам и монтажам, а уж потом — в министерство. Иначе главным специалистом не стать.

Звонков притих. Тут ожил телефон.

— Алло? — трубку сняла Наташа. — Легко на помине!

— Объявлен розыск? — спросил Манцев.

— Командировка в Яранск.

— Ново-Яранск? Там же все в порядке, передовая стройка!

— Ты меня спрашиваешь?

— Спасибо, родная! — Манцев заспешил свернуть разговор.

— Так что, до отъезда объявишься здесь?

— Командировочные получить, конечно!.. И посмотреть на тебя!

Манцев повесил трубку.

— Еще монетку, Саша!

— Хорошие новости? — Саша насторожился, но монету дал.

Манцев принялся набирать другой номер.

В одной из министерских приемных зурчал зуммер.

— Вас слушают! — ответила секретарша.

— Дмитрий Константиновича, пожалуйста! — попросил Манцев.

— Дмитрий Константинович занят, у него совещание.

— Говорит Манцев...

Дмитрий Константинович Панов, плотный человек одних с Манцевым лет, разве что седины побольше в плотной шевелюре, вел совещание. Человек десять руководителей находилось в кабинете.

— Таким образом, первые результаты эксперимента в условиях нашего специфиче-

ского строительства обнадеживают весьма и весьма, — говорил Панов.

На пульте по левую руку зажегся глазок, мурлыкнул зуммер.

— Особенно по Ново-Яранскому комплексу. Осталось уточнить показатели их успехов и на их основе эксперимент будем расширять! — договорил он и снял трубку: — Панов!

— Митя, привет! — сказал Манцев. — Я нужен тебе?

— Да, — ответил Панов, не изменив выражения лица. — И очень.

— Саша, можешь подбросить меня на Воробьевку? — спросил Манцев, выйдя из будки.

— А как же Гоголь?!

— Придется отложить.

— Я так и знал! Зачем нужно было звонить, зачем?!

— У меня свидание.

Это слово произвело магическое действие, Саша ожил:

— Шерше ля фам? Учитель, одна просьба! Профессиональная: хоть краем глаза глянуть?! У такого мэна должна быть люкс ля фам!

— Эта ля фам, — Манцев усмехнулся, — замминистра, Саша.

С Гоголевского бульвара свернули на Остоженку, и Саша погнал по прямой в сторону Ленинских гор.

— Не лихачь! — предупредил Манцев.

— Волка ноги кормят, учитель! — Саша поразмыслил о чем-то. — Усвоить не могу: как ваша должность называется, Игорь Павлович?

— Главный специалист отдела по эффективности внедрения новой техники, — начал Манцев, — информационного сектора технического управления министерства...

— Тогда обидно за вас, учитель! — вскричал Саша. — Это ж третья футбольная лига получается! Что ж, ваш друг — замминистра, а лучшего места вам подобрать не мог?!

— Выбирал я сам, — ответил Манцев.

— Болото-завод? Варум-почему?!

— Чтобы не участвовать во лжи.

Саша хотел переспросить, уточнить, но не решился.

— Да! — вспомнил Манцев. — У тебя же срочное задание, а помочь тебе я не успею...

— И тем толкнете меня на залепуху, — ответил Саша.

— На что, на что?!

— Поеду на ВДНХ, уговорю из толпы кого-то, поставлю у железного чего-то... Название есть: «Солдат НТР». Клёво?!

— То есть залепуха — обыкновенное

вранье, — понял Манцев.

— Я не виноват, что в редакции берут только НТР или НТП.

— Это еще что такое? — Манцев избрал неведение.

— Научно-техническая революция, научно-технический прогресс, — Саша не уловил иронии. — Отстали?

— Есть разница?

— Революция сначала, прогресс — потом, — подумав, ответил Саша.

— Клёво! — Манцев захохотал.

— Смейтесь, а я вам скажу, почему вы до сих пор в третьей лиге играете, — Саша был задет. — Учитель, не обижайтесь, но знаете, чего вам не хватает? Хорошей дозы здорового цинизма!

— Бери себе весь.

— Да я бы без него и на корку хлеба себе не заработал!

— Голодание вроде просветляет ум...

— Так вся художественная фотография на девяносто процентов — поставленный кадр! — Саша раскипятился. — На последней выставке диплом — за «Обнаженную на поляне». Что, по-вашему, шел фотограф по лесу и голую девушку встретил?!

— А вдруг повезло?! — подтрунивал Манцев.

— Значит, всю художественную фотографию за борт? Не искусство?!

— Не живопись, а документ. Такое к ней доверие у людей.

— Значит, только подсмотренный кадр клепать, да?!

Они уже вырулили на Воробьевку, и у смотровой площадки с видом на Лужники и всю Москву Манцев сделал знак остановиться.

— А это ты решаешь сам, — Манцев вышел из машины.

— Что ж... Документ так документ! — заявил вдруг Саша.

— Как-то ты легко соглашаешься... — Манцев глянул на него.

— Потому что вы умней и старше! — И Саша укатил.

На углу площадки Манцева уже ждал Панов.

— Кто подвез? — спросил он после рукопожатия. — Левака взял?

— Саша Камнебоков, художник-фотограф молодой.

Саша — он не укатил, а лишь отъехал на площадку — видел из машины, как они перешли улицу, чтобы уйти с людного места.

— Фотограф, фотограф, фотограф молодой... — приговаривал Панов.

— Прибежал к нам в сектор за материалами по НТР. И нарвался на меня, — объяснил Манцев. — Теперь зовет учителем.

— Чему учишь? — Панов вел к саду на Университетском проспекте.

— Не врать. А он мне за это ребусы

поставляет, такая у нас игра. В Москве много загадочного, — пояснил Манцев.

— Не только в Москве...

— И поэтому мне — в Ново-Яранск?

Они вошли в сад.

Саша выждал, пока они скроются за деревьями и, выскочив из машины, короткими перебежками двинулся за ними, предварительно навинтив на свой «Никон» телеобъектив.

— Федя Комолый, — говорил Панов, — начальник стройки Федор Иванович Комолый, запомни! — Они вышли на лужайку. — Смотри, что он придумал!

Присев на корточки, Панов стал чертить сучком схему.

— Главный корпус в разрезе. Внутри технологический аппарат, — в сердцевине чертежа появился овал. — Над ним ходит мостовой кран...

По кустам к ним крался Саша, держа фотокамеру наизготовку.

— По проекту монтаж аппарата начинался, когда бетонный корпус будет отлит и закрыт, — продолжал Панов. — Комолый предложил: не дожидаясь, вывести мостовой кран из корпуса на временную эстакаду...

Стоя, Манцев следил, как рядом с чертежом возникли ажурные колонны и на них выехал прямоугольный мостовой крана.

— А под эстакадой — временный цех, где, не дожидаясь конца бетонных работ, начнется сборка аппарата. И мостовым краном втаскивать блоки внутрь и варить один к другому. Ну как?!

— Лихо! — одобрил Манцев.

Панов смотрел на него снизу вверх, и в этот момент Саша щелкнул их из-за кустов телевиком. Панов поднялся.

— Это совмещение работ уже дало Комолу выигрыш в полгода. Дальше: возможности, которые дает эксперимент, — все ограничения сведены до минимума, а на стройке Комолого даже пределы в сумме заработка вообще сняты...

— Слышал, — кивнул Манцев. — Мне это интересно.

— Хозяйствуй, как велят интересы дела! И Комолый манипулирует этими возможностями.. Производительность наголову выше, чем у всех, встройпоселке жилья — достаток, текучести кадров — никакой. В срочном пуске комплекса сомнений нет!

— Чего же тебе волноваться, радуйся!

— Как инженер и организатор Комолый себя доказал. — Панов зачем-то стер чертеж подошвой. — А как человек... Тут нужна твоя помощь.

— В чем?

— Ну как говорят о человеке? Тот достойный, этот... Короче, морально-нравственный облик, цели...

— Митя, друг! Когда ты посылаешь меня

на стройку узнать, не врут ли в отчетности, дают ли качество — я готов. А тут... Да что я за арбитр такой, чтобы людям оценки давать, судить?! — Манцев рассердился.

— При чем тут — судить?! Скажешь просто: понравился он тебе или...

— Нет, Митя, ты чего-то не договариваешь. Чертеж стер, в дебри зачем-то завел! — Манцев имел в виду кущи сада.

— Да проветриться хочу, кабинет прокурили весь!

— Если в Комолом есть сомнения, скажи прямо!

— Игорь! Он возглавил эксперимент, который нужно расширять. И хочется, чтоб по всем статьям, не только по делам, он был достоин. Ну, маяком стать, если хочешь, вот так!

Двинулись через поляну к кустам. Там заволновался Саша.

— Игорек! — уговаривал Панов. — Ты разбираешься в людях, чувствуешь, знаешь психологию. И не только по опыту, по литературе...

Подобрав палку, Манцев сшибал на ходу метелки травы.

— А искусство, в чем ты усовершенствовался в свободное между командировками время? — Панов наращивал нажим.

— Митя! — Манцев остановился. — За возможности, которые ты мне предоставил, благодарю. Не забуду, как ты спасал меня в Хангаре. Но...

— Я не о том, не о том! — замахал на него Панов. — Литература, искусство — ведь это все о человеке, если правильно понимаю. Ты не ошибаешься в людях. Ну считай, что я ничего не говорил о Комолом. Езжай просто так, посмотри! Сам же сказал, что тебе интересно!

Манцев не отвечал.

— И потом... Сколько можно сиднем сидеть, Игорь?! — продолжил Панов уже без ноток заискивания. — С тех пор как тебя... когда тебя... когда ты, — нашел он наконец слова, — вынужден был удалиться, сколько лет прошло, столько изменилось. Врать теперь не заставляют, твое время настало. Вернуть к живым делам тебя хочу, считай, что это главное!

— Изменилось многое, я — за! Но мое отношение к чудесам осталось прежним.

— Что ты имеешь в виду?

— В данном случае наше с тобой промышленное строительство. Из ада в рай — по маговению волшебной палочки? Извини!

— Езжай — увидишь!

— Хозрасчет приветствую. Ты снял ограничения в зароботке — хорошо. Но прежде чем бить в барабан, ответь: завод-изготовитель сорвал поставку оборудования — простой. Из чего рабочим платить, если тебе не скорректируют поэтапные сроки, а совер-

шить приписку совесть не позволит? Или страх.

— Да зачем мне корректировать, если Комолый с опережением сроков идет?! — нашелся Панов.

Размахнувшись, Манцев запустил палку в кусты. Она шарахнула туда, где затаился Саша. Он опрокинулся в траву и замер.

— Хочешь двинуть Комолого вперед и вверх? — спросил Манцев.

— Очень может быть, — ответил Панов. — Нужно, Игорь, помоги!

Поздней ночью в Яранске сошел Манцев с поезда с дорожной сумкой. Пусто было на привокзальной площади, освещенной вывеской магазина «Промышленные товары». Ее, наверное, и не гасили для этого. В стороне теплелись вполнакала окна автобуса.

— До Ново-Яранска доеду? — спросил Манцев, подбегая.

— Не-е, это городской. Ново-Яранский отошел, — ответила женщина, сидевшая в автобусе. — С утрава теперь, жди...

— Садись! — велел сидевший рядом с ней старик.

Манцев вошел, и тут же автобус тронулся.

— У развилки сойдешь, — объяснил старик. — Там по шоссе шас тягачи Комолого домой пойдут, точно! Подберут в Новый Яранск.

— А ты че, к Комолому наниматься мыслишь? — спросила женщина.

— Мимо сечешь! — оценив Манцева взглядом, возразил старик.

— Опоздал... — женщина посочувствовала Манцеву. — Сначала-то Комолый всех брал. А потом половину за ворота и выкинул!

— И зятя твоего туда же! — добавил старик.

— Не нужен Комолому никто теперь! — она не желала слушать его.

— Потому как пить меньше надо! — пригвоздил ее зятя старик.

Манцев отвернулся, чтоб не вовлекли в спор. Некое соперничество, наверное соседское, ощущалось тут.

— Много ты знаешь! — женщина обиделась.

— А боле вижу! Не наниматься он к Комолому едет, — сказал о Манцеве старик. — Командировочный.

— Что ж Комолый за ним машину не выслал?

— А губой не вышел. Стало быть, чин небольшой. — И за спиной Манцева старик объяснил: — У кого губа в три пальца — большой начальник. Два уложил — начальник. Об один палец верхняя — инженер.

Манцев проверил на себе и убедился, что старик прав.

— А у зятя твоего губа и вовсе дура! — закончил тот.

— Потому как не на твоей внучке женился? — нашлась женщина.

— Тебе сходит, добрый человек! — сказал старик Манцеву.

Свет фар одинокой машины обнажил фигуру Манцева, стоящего на обочине пустынного шоссе. Но вот с другой стороны высветилось над холмом небо и донесся гул — шла мощная машина, и не одна. Они поднялись на холм и стали спускаться.

Манцев поднял руку, голосуя. Но первый тягач с многотонным полуприцепом ударил тугой струей и пронесся. За ним — второй, третий. Машины шли порожняком. Четвертая остановилась.

— В Ново-Яранск подбросишь?! — крикнул Манцев шоферу.

...Стлалась под фары дорога, отлетал назад ольховник над кюветами, за ним угадывались поля, поля... Возникал в них редкий огонек и влекло туда, к людям, тихой их жизни...

Шофер, дюжий парень с подбритыми усами-усиками, нашарил под сиденьем и вытащил импортный стереокассетник. Нажал клавишу и... оглушил музыкой.

— Не громко? — потерпев, спросил Манцев.

— А то засну, — объяснил парень. — За банкой с утра.

Не блюз, резкую музыку включил он — все было продумано.

— Впустую съездили? — спросил Манцев. — Воздух везете.

— Мы не сюда, мы туда возим, — парень ткнул пальцем назад.

— Обычно наоборот: везут на стройку, а не с нее...

— Плиты, сваи... На самый край области... — тяжело говорил парень с усталости. — Мост строим...

— Мост? Стройка там, а мост на краю области?

— Речка дрянь...

— В порядке шефства?

— Мост — на века.

Еще раз глянув на осунувшееся лицо парня, Манцев прекратил расспросы. И вскоре уснул — спецмузыка не помогла.

Проснулся он от толчка: тягач стал. Зажегся свет в кабине. Дворники смыхивали с ветрового стекла ртутные потеки.

— Дождь, — понял Манцев.

— Вовремя дошли. Смажет теперь дорогу. Тут глина, как солидол... Гостиница по правому борту, — кивнул парень.

Манцев вытащил из сумки пакет с галошами и стал надевать.

— Галоши? — парень изумился. — Только

на бабушке их видел!

— Не сапоги же из Москвы тащить.

— Опытный командировочный! — парень заинтересовался Манцевым.

— Спасибо! — Манцев протянул пятирублевую бумажку. — Не мало?

Парень от денег отказался.

— Вы же мне свои суточные за два дня отдаете...

— Хорошо Комолый платит?

— Кто вкалывает, тому — хорошо, — ответил парень. — Я б вас к гостинице пришвартовал, да мне там не развернуться — прицеп.

— Что ж, спасибо морской пехоте! — Манцев убрал деньги.

— Стоп! — парень обрадовался. — Как раскололи?! По тельнику? Так в воздушных десантных — тоже. И усы подбриты!

— Ты меня в ночи подобрал, как в море.

— Слава, — парень протянул широченную ладонь.

— Игорь.

— Встретиться бы? Баланду потравить...

— Море сведет, — ответил Манцев.

— Стройка то есть.

В гостинице — она занимала три этажа в секции многоэтажного жилого дома — пышноволосяя блондинка, дежурная, долго изучала командировочное удостоверение Манцева.

— Так как понять: главный специалист чего?

— Там все написано, — ответил Манцев.

— Тут много чего написано! Главный специалист министерства? Управления? Сектора? Отдела?

— Отдела, — ответил Манцев, не унижаясь до того, чтобы врать.

— Ни одного! — объявила дежурная, пролистав книгу регистрации.

— Человека?

— Места ни одного свободного нет!

— И все-все до одного имеют прямое отношение к стройке?

— Все! — дежурная с треском захлопнула книгу.

В четырехместном номере на втором этаже три проектанта колдовали над чертежами. Старший, Степанюк, человек лет шестидесяти, с едким выражением лица, глянув на часы, отшвырнул карандаш.

— Мы не рабы, рабы не мы! Хватит пахать на Комолого!

Двое молодых, Попов и Сапелкин, принялись складывать чертежи на четвертую, пустую софу. Степанюк протер покрасневшие глаза — накурили крепко.

— Увеличить кратность циркуляции! —

в переводе с инженерного это означало проветрить помещение.

Сапёлкин распахнул балконную дверь. Захватив сигареты, а Степанюк — «Беломор», проектанты вышли из номера.

— А ловкая схемка получается! — сказал Попов.

— Хороша Маша, да не наша, — ответил Сапёлкин. — И рубля за нее от Комолого не жди!

Спустились в холл первого этажа.

— Здесь не курить! — прикрикнула на них дежурная.

Они и не собирались, стремились на воздух. Степанюк хотел было съязвить в ответ, но человек, одиноко сидевший на диванчике, отвлёк. Рядом стояли галоши. Молодые, естественно, сделали стойку, но высмеять не успели — Степанюк вытолкнул их на крыльцо.

— Между прочим, хозяин галош — бывший начальник Хантара.

— Ах, из бывших? Тогда понятно! — сострил Сапёлкин.

— И поэтому вход в гостиницу ему запрещен? У нас же свободное место есть... — сказал Попов.

Степанюк затаился глубоко, наслаждаясь свежим воздухом.

— За него не беспокойтесь. Я помню, как он с нас шкуру в Хантаре драл. Трижды проект перелицовывали. Такие не тонут. Всплывет.

В это же время плотный человек восточной наружности спустился в холл, пася перед собой двух смущенных девушек.

— Анвар! — дежурная указала на часы. — Второй час ночи!

— Дождь падал, Зина! Таких беззащитных, нежных — на дождь? Сердце у тебя есть?! — И Анвар выпас девушек на волю.

— Это и есть главный специалист! — прокомментировал Манцев.

С улицы вернулись трое проектантов. Степанюк, взойдя на лестницу, обернулся, победно глянул на Манцева. Сапёлкин с Поповым тоже посмотрели, но сторонне, как глядят на больного или арестованного — с сочувствием, но без желания вмешаться.

Манцев расстегнул сумку, достал пакет и принялся за бутерброд с котлетой. Аромат домашней пицци достиг Зиной.

— Хотите? — предложил Манцев. — У меня есть...

— Ваша жена слишком много лука в котлеты кладет.

Тут вернулся Анвар. Успех побуждал к широте души.

— Спать негде, да? — обратился он к Манцеву. — Пойдем ко мне! «Люкс» живу — кабинет, спальня! Моя спальня, твой кабинет!

— Анвар, не наводи тут свои порядки! — запротестовала Зина.

— Человеку спать негде, порядок?! Ай-да! — велел Анвар Манцеву.

Не прибрано было в «люксе» у Анвара. В углу жалась маленькая толпа пустых бутылок.

— Извини, все скушали, помидоры только остались, — говорил Анвар, нарезая крупные томные плоды южных земель.

Манцев выложил свои бутерброды с котлетами. Но за гостеприимство надо было платить беседой.

— Кем работаешь? — начал Анвар.

— Главный специалист. Как в своем деле ты.

— Сколько получаешь? — Анвар не понял иронии.

— Персональный.

— Много?

— Двести пятьдесят.

— Ва! Это персональный?!

— Извини!

Анвар проявил такт и сменил тему.

— Скажи, специалист, этот комплекс, как он... э-э-э...

— Энерго-технологический.

— Он что делать будет, а?

— Всегда уголь просто сжигали. А тут из него сначала извлекут ценные вещества — на химию, остальное — на энергетику: электричество, тепло, — объяснил Манцев. — Практически без отходов.

— Тепло? — Анвар насторожился. — Много будет тепло? Ва! Хорошее место потеряю... — проявил он удивительную смекалку. — В теплицах помидоры выращивать будут сами здесь.

— Издалека возишь? — спросил Манцев.

— Ты кушай, кушай!

Помидоры были удивительные.

— Сказать откуда? — в Манцеве проснулся естественный исследователь.

— Молодец твоя жена! — Анвар попытался увести разговор в сторону. — Много лука в котлеты ложит!

— На Кавказе такие не растут, — гнул свое Манцев.

— Кавказ большой!

— Средняя Азия, — нащупывал Манцев.

— Средний Азия еще больше! Ва! — Анвар глянул на часы. — Спать надо. Мы очень устали!

Утром, спустившись в гостиничный холл, Манцев увидел, что его галоши вытирает тряпкой уборщица.

— Твоя? — спросила она.

Пришлось признаться, хоть не хотелось осложнений.

— Вот молодец! — похвалила уборщица.

— Воспитанный!

Ясное выдалось утро. Небольшой автобус «пазик», поданный специально для командированных, выкатил на бетонную дорогу, ведущую к стройплощадке.

Вскоре въехали, как в зону военных действий — земля разворочена, все в глине...

Манцев смотрел, как в золоте зреющего дня вырастает впереди бетонная серая глыба главного корпуса. Левее белели параллелепипеды административных строений, и прежде чем автобус свернул на ответвление к ним, Манцев крикнул:

— Остановите!

Шофер затормозил, открыл двери.

— Вы куда, уважаемый? — спросил Степанюк. — Командировки отмечают в конторе.

— Понадобится, отмечу, — Манцев сошел и зашагал на стройку.

— А хорошо ему в галошах... — сказал в автобусе Сапёлкин.

Но и в галошах до главного корпуса Манцев не дошел. Там особенно сгустилась техника, меся глину гусеницами и колесами...

Манцев голоснул, и проходящий мимо автокран принял его на подножку. По мере приближения к бетонной громаде даже сквозь рычание мотора становились все слышней частые тугие хлопки, будто неподалеку стреляла автоматическая пушка.

— Что палит?.. Стреляет что?! — крикнул Манцев в кабину.

— Взрывогенератор.

— Что-что?!

— Взрывогенератор! Бетон долбит. Хорошая машина!

Хорошая машина представляла собой многометровую членистую руку, смонтированную на тягаче. Ее конец уходил в клубы пыли и осколков, выбиваемых микровзрывами. Тугие удары били в уши. Пришлось зажать голову в ладонях.

Пальба прекратилась, пыль осела, обнажив острый, как жало, рабочий орган...

— На конце — два сопла, — охотно объяснял Манцеву оператор. — Через одно — горючее, через второе — окислитель. А из третьего сопла — впрыск такого вещества, капелька за капелькой... и... шарах, шарах, шарах! — глаза оператора горели фанатичным огнем.

— Производительность? — спросил Манцев.

— В двадцать раз выше, чем отбойными молотками!

— Но жидкая взрывчатка дорогая...

— Комолому это вообще даром. Мы ж из НИИ, машина наша. Полигон искали для широких испытаний. Так Комолый нас сам нашел.

— Молодец!

— Кто?

— И вы тоже.

— НТР на марше! — оператор улыбнулся.

— Даешь научно-технический прогресс!

Обмен этим экспромт-паролем завершился рукопожатием. И скоро опять заработал взрывогенератор, разнося над стройплощадкой беспокойные удары: успеть, успеть, успеть!

В коридоре стройуправления Манцев нашел дверь с табличкой «Начальник стройки» и вошел в приемную. Секретарша, статью напомнившая Зину из гостиницы, тоже не улыбнулась ему.

— Командируется... по новой технике... — прочла она в предписании. — Так вам в техотдел, к Плетнёву.

— Может, сначала я Комолому представлюсь?

— У Федор Ивановича — штаб стройки!

Пока она искала в столе печать, Манцев приоткрыл дверь кабинета. Туда набилось не меньше двух десятков народу. Мелькнули среди других лица проектантов, знакомые по гостинице...

За письменным столом сидел человек в очках с массивной оправой, а вдоль стола для заседаний бойко расхаживал невысокий малый с рыжиной в кудрях, очень живой наружности...

— Вы что?! — ужаснулась секретарша.

— Там секретарь обкома!

— Почему же так тихо?

— А чего кричать? У нас работа идет. Если нам не мешают! — И она вlepила печать в командировочное удостоверение Манцева. — В техотдел!

Он постучал в дверь техотдела раз, другой... Ответа не последовало. Тогда он вошел.

Шуплый человек, сидящий за столом меж стеллажей с техдокументацией, и молодая некрасивая женщина посмотрели удивленно, едва ли не с испугом.

— Простите, что без приглашения, — извинился Манцев.

— Пожалуйста-пожалуйста! Но... У нас не принято стучать...

— Я не для этого приехал.

Манцев нога об ногу стащил галоши. Они, конечно, не прибавили доверия к нему.

— Новая техника? — изучив предписание Манцева, Плетнёв повеселел. — Так это в отдел главного механика!

— Нет, к вам. Так говорит секретарша. Мне нужен проект организации работ по главному корпусу.

— Пожалуйста-пожалуйста! — запричи-

тал Плетнёв. — Но тогда при чем тут новая техника?

— Там работает взрывогенератор. Что может быть новей?

— Пожалуйста-пожалуйста! Лена, помогите товарищу! — Плетнёв бочком протиснулся меж стеллажей и вышел очень обеспокоенный.

В кабинете Комолого, где заседал штаб стройки, говорил секретарь обкома Воронин, тот самый человек в массивных очках, которого Манцев выделил первым, заглянув в кабинет:

— Вы взяли мощное ускорение и рветесь дальше. Хорошо. Но! Дистанция у вас стайерская, резвое начало еще не гарантия успеха на финише...

...В приемной, тиская свои ручки, нервничал Плетнев:

— Людочка, долго еще, как вы думаете?

— Секретарь обкома, Аркадий! — отвечала секретарша строго.

— ...Нужна выверенная, по-научному обоснованная раскладка сил на всю длину пути! — продолжал Воронин.

Его слушали бригадиры, мастера, прорабы. Одеты были разношерстно, но почистились все.

— Владимир Елизарович словно не хочет, чтоб мы пустили первую очередь досрочно! — лукаво подал голос тот бойкий с рыжиной, которого приметил Манцев вторым. Это и был Комолый.

— Не хочу, чтобы оборудование, которое вам изготовят досрочно, потом ржавело у вас в лопухах, — ответил Воронин. — Если взятый вами темп окажется вам же не под силу.

Комолый глянул на своих, и те зашевелились, взроптали:

— Ну-у! Как можно?! Не будет такого!

Чувствовалось, не только уважают, но и любят его здесь.

— Надеюсь, вы отдаёте отчет, скольких предприятий это коснется, скольким заводам придется ради вас поломать собственные планы? — заканчивал Воронин. — Поэтому, прежде чем обнародовать свой встречный план, каждый на своем месте, участке, объекте — думайте, считайте, считайте!

...Напором вышедших Плетнёва смело от дверей кабинета. Потом, осмелев, он вошел. И снова оробел — Воронин прощался с Комолым.

— И не на глазок, не с кондачка! По каждой единице оборудования ты должен определить срок, реальный и строго обоснованный. Только тогда вопрос будет поставлен перед Москвой!

— И уточним, и обоснуем! — отвечал Комолый задорно. — Вон у нас мозговой трест

какой! Товарищ Степанюк! — представил он. — Очень хорошие проектанты, Владимир Елизарович!

— Желаю всем успехов, товарищи! — И Воронин с сопровождающими ушел.

— Рады стараться! — буркнул Степанюк. Кроме проектантов в кабинете остался Логвин, щеголеватый молодой человек, судя по всему — приближенный Комолого.

— Федор Иванович, — решил наконец Плетнёв, — там человек из министерства... В документации, так сказать...

— Роемся! — рывкнул Комолый. — Что дальше?!

— По главному корпусу... У нас же там... Мы же там...

— Аркаша! — прикрикнул Комолый, терпя терпение.

— Проемы под технологические трубопроводы долбим.

— Да, долбим, а ты не дрожи!

Степанюк саркастически улыбался, наблюдая эту сценку.

— Что за человек? — спросил Плетнёва Логвин.

— Главный специалист Манцев, информсектор...

— Информчего? — Логвин усмехнулся презрительно.

— Манцев? — переспросил Степанюк. — В галошах?

Логвин захохотал.

— Я тоже слышал эту фамилию! — заявил вдруг Комолый.

— Бывший начальник хантарской стройки, — сообщил Степанюк.

— Так это у него там авария была?

— А вчера его в гостиницу не пустили, — ответил Степанюк.

— Это еще зачем?! Люда! — крикнул Комолый и, когда секретарша явилась, загремел: — Почему Манцева не поселили?!

— Значит, не было мест, — уверенно держалась Людочка.

— А у нас одно место пустует, — Степанюк развлекался.

— Вона что?! — вскипел Комолый, и Людочка выпорхнула с неожиданной при ее упитанности легкостью. — Упал человек, нет чтобы помочь подняться... Я споткнусь, так и меня затопчете?!

В приемной Людочка нервно накручивала диск телефона.

Комолый обратил гневный глаз на Плетнёва. Тот запричитал:

— Пожалуйста! Все, что попросит, дам, пожалуйста! — И он исчез.

Комолый прошелся по кабинету, успокаиваясь.

— Ну что, орлы? — обратился он к проектантам. — Поможем ударной стройке обосновать досрочные сроки сверхсрочной поставки оборудования? — И столько обаяния было

в открытой его улыбке, что даже Степанюк изменил своей привычке и не съязвил.

Вечером Манцев вернулся в гостиницу, снял галоши в холле...

— Вы к кому?! — вместо Зины сидела другая, но очень похожая на нее дежурная — Зоя.

— Третий этаж, номер «люкс».

— В гости?

— Я там живу.

— Я знаю, кто там живет, бросьте!

— Мне уступили кабинет.

— Если вы такой шутник, оставьте паспорт!

Манцев подчинился, но тут же был остановлен опять:

— Галоши возьмите!

— Ни за что! — Манцев ступил на лестницу.

От такой наглости Зоя даже растерялась. Глянула в паспорт...

— Товарищ Манцев, товарищ Манцев! — она побежала за ним. — Извините! Вам место в двадцать первом номере!

В «люксе» у Анвара Манцев собирал сумку. Анвар ссыпал туда же столько отборных помидоров, сколько уместилось в его лапах.

— Куда?! Себе ничего не останется! — пошутил Манцев.

— Пока есть земля, солнце, такие руки — помидоры хватит всем!

— Много у тебя рук, Анвар!

В двадцать первом номере, где жили проектанты, Сапёлкин убирал с кушетки чертежи, чтобы освободить ее для Манцева.

— Оставьте! — сказал Манцев. — Работайте.

— Время ужина, — проворчал Степанюк, освобождая стол.

Из бокового отделения сумки Манцев достал шлепанцы, надел, а туфли отнес под вешалку.

И тут Сапёлкин внес в номер кастрюлю с водой. С завистью глянул он на туфли Манцева, сияющие чистой рядом с выпачканной глиной обувью проектантов.

Достал мощный кипятильник и, погрузив в кастрюлю, включил в сеть.

— Ну а что в штабе стройки? — завязал разговор Манцев.

— Дадим стране угля! — Степанюк снял очки и протер глаза.

— А Комольный? Я так и не познакомился с ним.

— Арап, каких мало! И Аркаша Плетнёв, который вам документацию не давал, арап! Все тут арапы — лишь бы куш урвать!

По проекту при бетонировании главного корпуса должны быть оставлены проемы, а Комольный гнал монолит — давайте скорей мои миллионы!

— Платит — у него работают. Я не видел на площадке перекуров.

— Некогда! Премы в бетоне долбят.

— Не отбойными же молотками? Взрывогенератор. Вполне прогрессивная получилась технология.

— Это Аркашка подсказал, в журнальчике вычитал, — вступил Сапёлкин. — Он вообще, только поступит чертеж на стройку, никому не показывает, тащит в техотдел, мусолит, ищет, как бы рационализацию навести. Нам чертежи потом перекраивать, а они — премию в карман! Мало им, сколько они за схему с временной эстакадой хапанули!

— Разве это не идея Комолого?

— Не знаю чья, но отломилось обоим.

А Аркашка... — Сапёлкин усмехнулся презрительно, — огреб денег и счастью своему не верит. Дрожит, что посадят: пожалуйста, не сажайте, пожалуйста!

Проектанты захохотали.

— А мне нравится их схема, — заявил Манцев.

— Чем именно? — Степанюк прищурился.

— Совмещением строительных работ с монтажными.

— Для таких объектов англичане специально изготавливают кран типа «Голлиаф», — сказал Попов. Эрудиция и точность чувствовались тут. — Схема Комолого — жалкая имитация.

— Тем не менее он выиграл на ней полгода в сравнении с проектом организации строительства. Чей, кстати, проект? Ваш?

— Да вы вообще... — начал Степанюк, но сдержался. — Комольный сидит в теплой ванне! Любимчик Панова, знаете, такого?

— Замминистра, — ответил Манцев, не моргнув. — А что?

— Фаворит его, что! Кто б нам позволил заложить в проект эстакаду да еще требовать, чтоб мостовой кран нам склепали на год раньше? Нас в растратчики записали б, а Комолого теперь — в творцы! Да вы вообще инженер или кто?! — сорвался Степанюк.

— Теперь я вас вспомнил. — Манцев прилег на кушетку. — Это же обвинение вы предъявляли мне в Хантаре, сколько лет тому? Да, я заставлял вас схемы переделывать. Но схемы-то были сырые...

Степанюк смолк, задумал. Молодые соратники смотрели на него с мольбой: ответьте, шеф!

— Сегодня Комольный нас при секретаре обкома похвалил, — начал Степанюк. — Большая честь! Только лучше б он моим ребятам хоть по червонцу подкинул! Две трети проектантов у меня — милые женщины с дипло-

мом. Строительство и монтаж знают по книжке и понаслышке. Инженера со стройки за чертежную доску не заманишь, особенно с такой — заработок не ограничен. А у нас... Теперь вроде могу персонально повысить оклад, дали право. Но в пределах фонда зарплаты. А он заморожен. Значит, кого-то из милых дам — за борт. И не одну! Куда они пойдут, что смогут? Дети на каждой и мужик, который сам семью не прокормит. Валяйте, разгоняйте! Я — не могу...

Манцев молчал, слушая. Замерли молодые соратники.

— Вот! — указал на них Степанюк. — Повезло: два молодых гения в капкан попались. У этого, — он ткнул в Сапёлкина, — жена без театров жизни не мыслит, а он, лопух, — без нее!

— Шеф! — вскричал Сапёлкин.

— А тот, — настала очередь Попова, — подался б на стройку, да матушку хворую надолго одну не оставишь. А все равно сидеть приходится здесь. Корявые задумки Комолог в конфетки превращать. Грехи искупать велено — эстакаду ж он придумал, не мы...

Папироса потухла. Степанюк раздавил окурок в пепельнице.

— Эхма, инженерная школа русская! Дворник шапку ломал, когда инженер из дому выходил. Потому как тот мог все — от парового котла до моста, до радиобашни Коминтерна! Шухов Владимир Григорьевич! Вознаграждайте их хотя бы, как Комолый Аркашку своего. Этот, — о Попове, — такой проект выдает, англичане ахнут, а тот, — о Сапёлкине, — схемами хоть десяток строек завалит! А пока... — Степанюк с грустью посмотрел на гениев, — они даже из этого навару в три с половиной командировочных экономию ухитряются выжать. Этот жене на шубу, тот — матушке на аптеку.

— Кипит, шеф! — вскричали гении. Вода в кастрюле забулькала.

И в этот момент в номер вошла дежурная Зоя.

— Я так и знала! Сколько твердить: нагревательными приборами в гостинице — запрещено! Да кипятильник еще какой мощный!

— Мощный, — подтвердил Степанюк. — Олег, произведи расчет: потребляемая мощность — один киловатт, время работы — пятнадцать минут. Стоимость киловатт-часа — четыре копейки. Сумма к оплате?

Попов подсчитал на логарифмической линейке:

— Одна копейка.

Степанюк достал из брюк монетку и припечатал к столу. Зоя вышла, оскорбленно хлопнув дверью.

— Как ее зовут? — спросил Манцев.

— Зоя, — ответил Сапёлкин.

— Зина, Зоя, какие-то они здесь одинаковые...

— Все здесь одинаковые, — буркнул Степанюк. — Порошковый суп есть будете?

— Буду, — Манцев выложил на стол помидоры Анвара.

Несколько дней спустя уборщица вытирала утром в гостиничном холле галоши. Теперь их было три пары.

— Тетя Вера, ладно вам перед ними унижаться! — крикнула ей Зина, сегодня дежурила она.

— Хотя десять пар вытру, — отвечала уборщица. — Куда легче, чем полы от глины скрести. Тут мне не унижение, а уважение!

Новые галоши принадлежали Попову и Сапёлкину. Молодые гении лихо впрыгнули в них и, выйдя из гостиницы, напрямик через лужу пошли к автобусу. Степанюк задумчиво посмотрел им вслед.

В автобусе севший перед Сапёлкиным и Поповым незнакомый человек развернул «Вечернюю Москву».

— Простите, где газету брали? — спросил Сапёлкин.

— В Москве. — вновь прибывший пробежал последнюю страницу с объявлениями, сложил газету и передал назад: — Ваша!

— Нам бы «Вечерний Ленинград»... — сказал Попов.

Тем не менее газету развернули на двоих. — Гляди! — прыснул Сапёлкин, ткнув в фотоснимок.

— «Солдат НТР»! — прочел Попов, и оба рассмеялись.

Манцев глянул через их плечи — на фоне проходческого щита был запечатлен некий человек, судя по всему — случайный, из толпы на выставке, поэтому вид у него был напряженный, а оттого, что из-за спины к нему тянулись зубастые конусы шарошек, возникло ощущение опасности. Но было похоже, что «солдат» этот скорее погибнет, чем с места сойдет — поработал с натурщиком фотограф!

— Фото А. Камнебокова? — спросил Манцев.

— Точно! — Сапёлкин справился в подписы. — Знаете?

— Как же! Певец НТР! — Манцев с улыбкой вспоминал своего ученика, так отдалившегося вместе с Москвой...

В техотделе Манцев сидел над томом проекта организации строительства. Из-за стеллажей возник Плетнёв. Хотел спрятаваться...

— Аркадий! — остановил его Манцев. —

— Кто все-таки автор схемы с временной эстакадой, вы?

— Нет-нет! Федор Иванович. Я — только техническое обоснование. А что?

— Восхищаюсь, как складно у вас получилось! Отлили бетон досрочно и тут же вам мостовой кран на эстакаду подали. Будто вы его именно к этому сроку заказали. И взрывогенератор...

— В журнале, в журнале нашел... Случайно!

— Какие тут случайности! У вас фортуна за спиной дышала! — Манцев снова углубился в проект.

В своем кабинете Комолый в присутствии Логвина совещался с прорабом и бригадиром.

— И еще вопрос, — говорил Комолый, глядя в телеграфный бланк. — Завод-поставщик вместо проектной нержавеющей на облицовку боксов предлагает нам лист на десятку тоньше... Что думает прораб?

— А чего, надо брать! — ответил тот. — Облицовка на грузки не несет, так что прочность тут не стоит...

— А с тонким листом работать легче, — закончил бригадир.

— И вообще, тонкая нержавейка — дефицит, с чего вдруг расщедрились? Странно! — недоумевал прораб.

Комолый посмотрел на Логвина. Тот пожал плечами:

— Возникла производственная необходимость такая у них...

Комолый взял ручку, чтобы завизировать телеграмму, но задумался. Тут вошел, вернее просочился в дверную щель, Плетнёв.

— Ну? — Комолый поднял голову. — Какие еще страхи принес?

— Манцев временной эстакадой интересуется... Как нам мостовой кран досрочно поставили, спрашивает...

— Напугал, ох напугал! Аркаша! Секреты — это... Ну как объяснить ему?! У слабиков секреты. А мы на прочном фундаменте стоим!

Прораб с бригадиром кивнули согласно и сурово.

— Пожалуйста-позжалуйста! — Плетнёв решил исчезнуть.

— Постой! — приказал Комолый. — Манцев знаешь для чего к нам приехал? Глубоко копает? А-а! Потому что инженер что надо! Да, было — споткнулся. Но времена нынче другие, ветер изменил направление. О нем вспомнили! Ему стройку дают. Вот он и приехал знакомиться.

— Нашу стройку? — прораб с бригадиром всполошились. — Федор Иванович!

— Ишь завибрировали! Удобно при дяде Феде живется?! А вот придет Манцев дотош-

ный, он вам авантюры, — Комолый потряс телеграммой, — подмахивать не станет! Зови! — велел он Плетнёву. — За передовым опытом он приехал. Проси! Давно пора познакомиться.

Плетнёв исчез. Комолый завизировал телеграмму, отдал прорабу.

— Только глядите, дьяволы, чтобы с проектантами было согласовано чин-чинарём!

Когда остались вдвоем, Комолый сказал, не глядя на Логвина:

— Что с излишками делать будем? Поставщик отгрузит нам нержавейку в тоннах. А лист тоньше. Значит, с каждого рулона ты с полкилометра лишку себе открутишь.

— Почему себе? — Логвин улыбнулся обезоруживающе.

— Потому что производственная необходимость такая возникла у поставщика не без твоего участия. Не вижу, думаешь?

— А я и не прячусь. Один из наших поставщиков, Рубцовский химкомбинат, начал реконструкцию. То есть выпуск фторопласта у них сразу снизится. Но они очень нуждаются в нержавеющей листе...

— А мы во фторопласте... — Комолый задумался. — Я в твою кухню не лезу. Но... Если хоть квадратный метр нержавейки пойдет налево или к чьим-то рукам прилипнет... Ты меня знаешь?!

— Еще как!

Манцев шел к Комолому. У приемной стояли прораб с бригадиром, делая вид, что изучают телеграмму. А исподволь пялились. Когда Манцев вошел в приемную, вывод был сделан неожиданный.

— По утрам зарядку делает, — сказал бригадир.

— С чего взял?

— Вы бы с ним сошлись один на один?

Прораб ничем не проявил такого желания.

— Не может быть, чтоб Федя зашатался! — встревожился бригадир.

В кабинете Комолого Манцев рассказывал о себе:

— Стройка распадалась. Мой предшественник, большой мастер по части громких обязательств, снял пенки с выгодных объемов, чтобы создать видимость успеха, ну и запутался, заврался...

Сидя в стороне, Логвин наблюдал за Манцевым.

— Стал восстанавливать стройку по кусочкам, — продолжал тот. — Но объемы работ выбраны приписками. Стройбанк закрыл финансирование. Платить зарплату нечем. Рабочие бежали из Хантара...

— Полный атак! — Комолый кивнул, сочувствуя.

— Выход был один: сказать правду, вскрыть вранье и начать с нуля. Но мне предложили другой ход: будет поддержка, будут льготы, но прошлое — не ворошить и согласиться на заведомо нереальный срок ввода. Я отказался и подал в отставку.

— Значит, не ты стройку доводил? Авария не у тебя была?

— Как же принял отставку министерство? — подал голос Логвин.

— Да, я вас не познакомил, вот голова два уха! — спохватился Комолый. — Мой замначальника планового отдела Валера Логвин.

Кивнули друг другу, и Логвин напомнил:

— Так что министерство?

— Кто может заставить врать, если ты сам не хочешь? — ответил Манцев.

— Ну зачем так, зачем? — Комолый огорчился. — Кинул бы кость, они б потом срок тебе скорректировали, и не раз...

— Как сказал поэт... — Манцев посомневался, уместны ли здесь такие аргументы. — «От ничтожной причины к причине, а глядишь, заблудился в пустыне и своих же следов не найти».

Комолый размышлял, озадаченный.

— Хантар, это ведь в Сибири? — спросил Логвин.

— Граница вечной мерзлоты проходит северней, — ответил Манцев.

— Но возможны флуктуации...

— Я на это не пошел.

— Пойдите, вы о чем?! — Комолый выпал из разговора.

— Флуктуации — случайное отклонение величины или явления, — объяснил Логвин. — Линза вечной мерзлоты может обнаружиться, когда ее совсем не ждешь. Но если очень захочешь, то... Выбирай только размер — с учетом того, на сколько расценки по мерзлomu грунту выше.

— А коли ученые вскроют, что ты наврал? — возразил Комолый.

— Ученые? Пожалуйста: вот он грунт. — Логвин усмехнулся: — А лед... растаял!

— Академик! — кивнул Комолый. — Он такой договор состряпать может, что заказчику самому для себя строить придется!

— И вы ушли... Что дальше? — напомнил Логвин Манцеву.

— Стройку возглавил специалист по мерзлым грунтам. Слово данное сдержал. Отрапортовал. Во время комплексного опробования случилась авария, эхо которой докатилось до вас.

Комолый посмотрел на Логвина: как снесет он этот удар? Но тут вошла секретарша Людочка, сообщив:

— Владимир Елизарович выехал из Яранска.

— Воронин, секретарь обкома, — объяснил Комолый. — Мы обязательство берем

пустить первую очередь на год раньше срока. Слушай... — Он подумал. — Отлично! Приглашаю на обед! Аня, жена моя, стряпуха еще та! «Кубанская сказка» — фирменное блюдо, пальчики оближешь! Согласен?

— Согласны? — поправил Логвин ревниво.

— Игорь Палыч, прости! — извинился Комолый. — Каким был, таким остался — станичник неотесанный. Коли человек по душе, с пол-оборота тыкать начинаю.

— У меня в другую сторону перебор, — ответил Манцев. — Так что не обижайтесь, если я еще долго выкатывать буду.

— Посмотрим, как это у тебя получится, Палыч!

Уютно, чисто было в квартире у Комолого. Во всем ощущалась заботливая рука умелой хозяйки. Но главное, что привлекло внимание Манцева, — библиотека. Стройные ряды классиков заполнили шкаф и выплеснулись на полки.

— Не моя заслуга, — объяснил Комолый. — Аня, жена... С ее подачи книжную экспедицию областного центра опустошаю. Сам если и возьму что, так чтоб скорей заснуть с устатку. Зато детишкам-ребятишкам будет что почитать! Это — Ванюшке... — Ого! — Манцев восхитился. — Вальтер Скотт! Фенимор Купер!

— А это Ксюшке... — Комолый улыбался, довольный.

Целая полка поэзии!

— Счастливая девушка! Тут и Анна Андреевна даже! — Манцев снял с полки томик Ахматовой. — Такого издания у меня нет...

Из передней донесся звук отпираемого замка.

— Гена! — понял Комолый.

— Такого издания и не видел... — Манцев листал книгу.

— Бери, твоя! — и Комолый пошел из гостиной.

...Своим ключом отпер дверь и вошел в квартиру, неся на сгибе локтя пакет, не крупный пень, но, судя по замедленности скупых жестов и движений, редкой физической силы.

— Спасибо, Гена! — Комолый перенял у него пакет.

Прошли на кухню. Здесь Аня, жена Комолого, статная женщина намного моложе мужа, ставила противень в духовку.

— Палыч! — позвал Комолый. — Иди-ка сюда-ка!

Вернув томик Ахматовой на полку, Манцев явился на зов. Комолый сливал коньяк из принесенной Геной бутылки в кувшин.

— Федя, ну зачем?! — упрекала Аня.

— Ну как — за знакомство!

— Знакомство такое приятное, но... Ой! — увидев Манцева, Аня ужасно смутилась.

— Палыч, гляди! Теперь десертного для мути-туману! — Комолый добавил в кувшин вина. — И получается! Домашний квас! Владимир Елизарович откажется, квасок не переносит, а ты — имей в виду!

В передней прозвенел звонок.

— Они! Вот только попробуй за стол со всеми не сесты! — предупредил Комолый Гену, направляясь встречать гостей.

— Увольняйте, Федор Иванович, не сяду.

— Так что секретарь обкома скажет? А гость московский подумает?! Шофера на кухне кормит? Ишь, крепостник!

Отперли дверь — в сопровождении Логвина в квартиру вошел Владимир Елизарович Воронин.

— Замечательный борщ! — хвалил Манцев. — Кубанская кухня!

— Хвалите, а не доели, — упрекнула Аня.

— Игорь Павлович предпочитает порошковый суп, — сказал Логвин.

Манцев глянул на него — неожиданный ход.

— Все про тебя знаем! — Комолый захотел.

— Я вообще мало ем...

— Вот бы таких людей в область, и побольше, а, Владимир Елизарович?! Продолвольственную программу тут же решили б!

— Хочу место оставить, — отшутился Манцев. — «Сказку» обещали.

— А к ней — домашний квасок, — Комолый взял кувшин, — очень хорош будет, а, Владимир Елизарович?

Тот отказался, и Комолый щедро налил в фужеры Манцеву, Логвину и себя не забыл. Аня внесла блюдо с мясными рулетиками в обрамлении томленого лука. Комолый разложил по тарелкам.

— Анечка! Возьму рецепт! — заявил Манцев, попробовав.

Аня порозовела от похвалы. Комолый же воспользовался шумком и сделал добрый глоток из фужера.

— Сколько раз ем, сколько хвалю, а спросить рецепт не догадался, — сказал Воронин о себе.

— Игорь Павлович — тонкий человек, — произнес Логвин.

— Умеет понравиться, умеет! — Комолый возобновил свое и для прикрытия плеснул в нетронутый фужер Манцева.

— А Геннадю? — спросил Манцев, чтобы уделить внимание человеку, который единственный неуютно чувствовал себя за столом.

— Гена за рулем! — брякнул Комолый и осекся.

Воронин поднял на него взгляд. И тогда Манцев взял фужер и, отпив, сколько требовалось для естественности, похвалил:

— Хороший! Очень, очень хороший квасок!

Воронин перевел взгляд на него, но ничего не сказал. Комолый благодарно приобнял Манцева за плечо. И тут охнула Аня:

— Проснулись!

В дверях гостиной, в длинных рубашонках, розовые спросты и безмятежно радостные, стояли, держась за руки, мальчик и девочка трех-четырёх лет и косолапили босыми ножками...

— Детишки-ребятишки пришли! — Комолый возликовал. — А ну — к папе, а ну — к папе!

— Босые! — Аня вскочила из-за стола.

Но ее опередил Гена. Подхватил на руки и унес детишек. Ксюша при этом успела показать пальчиком на Манцева:

— Дядя новый.

— Аня, поздравляю! — сказал Манцев. — Вы произвели шедевры.

Зардевшись, Аня ушла в детскую.

— Игорь Павлович, простите! — обратился к Манцеву Логвин. — У вас семья?

— Жена и дочь, — ответил Манцев. — Обе — единственные.

...В детской Гена одевал детишек.

— Я сама, Гена, иди за стол! — сказала Аня.

— Анна Емельяновна, и одену, и покормлю. Хозяйка с гостями должна быть. Ну что я сидеть буду как олух?! Там сейчас умные разговоры начнутся...

— Хочу умных разговоров! — заявила Ксюша.

Аня вернулась в гостиную.

— Если жена — врач, а дочь — студентка, то возникает вопрос семейного бюджета, — говорил Логвин.

— Дочь на выданье, еще бы! — подхватил Комолый. — Все, Палыч, повалял дурака, пора в солидное кресло пересаживаться!

— А в этом я и моя семья едины: свободен тот, кто мало имеет, — ответил Манцев.

— Как-как? — переспросил Логвин.

— Свободен тот, кто мало имеет. Это не я сказал — Эпикур.

— Разве у эпикурейцев была такая те-за? — спросил Воронин.

— Это стоики! — возразил Манцеву Логвин. — Освободиться от страстей, жить разумом — это стоики, аскеты. Эпикурейцы выше всего ставили удовольствие.

— Извращенное толкование, — отверг Манцев.

— У него два диплома! — сказал Комолый о Логвине. — Экономический и юридический, имей в виду! — его стало развозить от кваска.

— Эпикурейцы — древние материалисты и атеисты. Но я их поправил, имел наглость, — Манцев усмехнулся. — Свободен тот, кто не хочет много иметь.

— Вы строгий последователь собственной философской школы, — и Логвин объяснил остальным: — Игорь Павлович поселился в

четырёхместном номере.

— От вас в самом деле не скроешься, — ответил Манцев.

— Как?! — вскинулся Комолоый. — Я же просил устроить по-человечески! Я просил! Кого я просил?! — он гневно уставился на Логвина.

Тот тут же пошел в соседнюю комнату к телефону. В сердцах Комолоый хватил добрый глоток из фужера.

— Слушай, Федор Иванович! — Воронин не выдержал. — Ты бы газировал свой коньяк, чтоб он хоть чем-то на квас был похож!

Комолоый притих. Аня переживала. Вернулся Логвин. Воронин обратился к Манцеву: — Какая свобода имеется в виду, Игорь Павлович?!

— Та, которая позволяет оставаться самим собой, — независимость.

— Я все-таки не понял, как вам это удалось в Хантаре? — сказал Логвин. — Реакцию обкома на вашу отставку имею в виду.

— Да, была угроза: партбилет на стол.

— За то, что вы отказались быть начальником строительства?

— За то, что сказал все, что думал об их методах строительства.

— И чем кончилось? — поторопил Воронин.

— Строгий выговор в карточку.

— Кто же вас отстоял? — спросил Логвин.

— А некоторое время спустя, не из-за меня, конечно, ветром перемен руководство обкома было обновлено...

— Как и руководство вашего министерства тоже, — закончил Воронин. — Да, общественный процесс не во всем был совершен. Но теперь... Со своеволием покончено, диктат устранен, высвобождается инициатива. Вот Ново-Яранск. Со своими делами справляются более чем и резервы находят области помочь...

— И без химии, Палыч! — Комолоый ожил. — Без всякой мерзлоты!

— Хотя ты и не заслуживаешь похвалы сейчас, — сказал ему Воронин, — но за мост в Ивановке спасибо!

Комолоый и Аня повеселели.

— В наши дни жить в полвздоха, работать в треть силы — не дело, а, Игорь Павлович?! — сказал Воронин.

— Игорь Павлович не верит в перестройку, — заявил вдруг Логвин.

— Ты бы ел, Валерий, ты ничего не ешь! — напала на него Аня, вступившись за Манцева. — Или не нравится?!

— Валерий! — сказал Манцев, сдержавшись. — С вашим двойным образованием вы заслуживаете куда большего, чем место замначальника планового отдела. Но держитесь за него. Видимо, тоже, чтобы остаться самим собой?

— Нет, как он тебя, химик, а?! — Комо-

лый ткнул Логвина в плечо.

— Присматривается, Игорь Павлович присматривается, так будем ставить вопрос, — вступил Воронин. — Игорь Павлович, вы инженер...

— Еще какой! — подхватил Комолоый.

— Грех ведь гонять мощный двигатель на холостом ходу? Так куда большее хищничество, когда возможности личности используются с низким капеде или прячутся в кубышку, вообще непонятно для чего?!

— Верно, Елизарыч, верно-то как! — Комолоый всколил со стула. — Ведь голова! Поговори с министром, стройку ему дать надо!

— Ты бы отдохнул, Федор Иванович! — произнес Воронин с досадой.

Тот подчинился, пошел к двери, но опять силушка взыграла:

— Елизарыч, а, Елизарыч! А моего капеде ты до конца не знаешь! Не-ет! А я тебе скажу: обеспечить оборудование, так я первую очередь не в декабре будущего, а... Дорого яичко к красному дню! День седьмое ноября — красный день календаря!

— Федя, пойдем! — позвала Аня. — Пойдем!

— Федор Иванович, ты готов к славе? — остановил Воронин.

Комолоый не понял. Остальные тоже.

— Ты собираешься выполнить принятые обязательства?

— Для чего ж я их брал?!

— Тогда готовься. О тебе будут писать, станут говорить. Это — слава. Она требует, чтобы предстанный на обозрение народное был безупречен во всем, в каждом деле, в каждом поступке!

— Мне скрывать нечего, у вас — на виду...

— Не только. У стройки тоже. У штаба своего, секретарши, шофера! Расхождение между словами и делами порождает неверие, цинизм. Даже в кругу семьи — потери, на детях скажется: в газетах про папу пишут одно, а мы видим другое?

— Вылей это, Аня! — трагическим жестом Комолоый указал на кувшин.

— Пойдем, Федя, пойдем! — она увела его.

— Спасибо, Анечка, за великолепный обед, но... — говорил Воронин в прихожей, прощаясь. — Смотрите, как бы нам не потерять: мне умелого командира, вам — хорошего мужа, заботливого отца...

— Это чистой воды случайность, — сказал Манцев. — Волнение...

— С усталости он! — взмолилась Аня. — Третий год без отпуска!

— От любой порчи больно, а если — человек, так вдвойне, — Воронин пошел к двери.

— Спасибо, что заступились за Федю! — шепнула Аня Манцеву.

Гена остановил «Волгу» у гостиницы, чтобы высадить Манцева.

— Игорь Павлович, так я могу поговорить о вас с товарищами из министерства,— обернувшись с переднего сиденья, сказал Воронин.

— У меня не было такой просьбы.

— Добро. В любом случае был рад с вами познакомиться!

— Все взаимно! — обменялись рукопожатием, и Манцев вышел.

— Это эпикурейство — просто московско-интеллигентские шутки, да, Владимир Елизарович? — спросил Логвин с заднего сиденья, когда машина тронулась.

— Сказать правду в те времена, когда предпочитали помалкивать в тряпочку... Действительно, шутки! — Воронин усмехнулся.

— Я о другом — отказ от деятельности...

— Человеку нанесли жестокую травму.

— А мне кажется, тут проще: отказ от деятельности, как правило, объясняется неспособностью к деятельности. И все эти морально-нравственные категории только прикрыты, камуфляж!

— Нет, Валерий! — Воронин подумал. — Манцев — глубокий человек.

— В таком случае и цель его приезда должна быть глубокой! — Логвин разгорячился. — Не игра же в бирюльки — новая техника. Может, его уже сватают на стройку? Не на нашу ли?

При этих словах у Гены даже нога сорвалась с педали, машина споткнулась, дернулась...

— Принято считать, что подозрительным живется нелегко, а может, наоборот? — размышлял Воронин вслух. — Легче! Всегда застрахован от обмана. Так что в личном аспекте недоверие кому-то и выгодно. А в общественном... Так ведь можно без хороших людей остаться. Один обидится, другой устанет. Нет. Недоверие неконструктивно. И плодит ложь! Никакие эксперименты экономические тут не спасут. И невозможны! — Воронин разсадовался. — Вы знаете много умных слов, Валерий, но ваши выводы разочаровывают иногда!

Когда Манцев вошел в гостиницу, его окликнула дежурная Зина.

— Товарищ Манцев! Вы переселены. Вот ключ от вашего номера.

Манцев взял ключ, озадаченный... Разгадка пришла на лестнице в виде Анвара, который сносил сверху свои чемоданы.

— Тихий человек! — возмущался Анвар. — В тихом омуте черти водятся! Змею пригрел на своей груди!

С чемоданами он вошел в номер проек-

тантов, где Степанюк примерял новые галоши.

— Мир этому дому! Я буду жить и работать с вами!

Доставив Воронина в Яранск, Гена и Логвин ночью возвращались в поселок. С полей напал туман, укорачивая свет фар.

— Удивительное дело! — возмущался Логвин. — Явился этот бездельник московский — Федя его под ручку в дом, Анечка тает, секретарь обкома готов министра за него просить! А тут из кожи лезешь, вкалываешь, слова доброго не скажут, тот же Федя твой, хоть я именно на него пашу!

— Ты это насчет Манцева, что стройку примет, — перебил Гена, — ты это что, серьезно?!

— Честность, совесть, что там еще? Доверие! Когда слышу эту музыку, инстинктивно оборачиваюсь, — ответил Логвин. — Как бы кто-нибудь не зашел со спины и не трахнул по затылку!

— А Федор Иванович куда?!

— Если б вверх, он бы уже знал об этом.

— Так я этого Манцева... — Гена стиснул баранку.

— Не пыли. Скоро все узнаем. Он у меня под колпаком.

Утром, в трусах, Манцев отжимался на полу, делая зарядку. В дверь постучали, и в номер вошел Комолый.

— Какие апартаменты! — зашумел он. — Ну, теперь я тебя не увижу. На красных барышень меня променяешь!

Когда они вышли к ожидавшей их «Волге», из заляпанного глиной «газика», стоявшего тут же, выскочил немолодой человек в кепке и стал смотреть на них, но подойти не решился...

«Волга» въехала на стройплощадку, направляясь к бетонной громаде корпуса.

— Стоп! — вдруг скомандовал Комолый. — Ин-те-ресно...

Они проезжали мимо вспомогательного блока и здесь, возле растворомешалки, курили, прохладящая, рабочие. Комолый подошел к ним с вопросом: как это так, мол, почему?

Манцев видел из машины, как рабочие объясняли причину, указывая на приводной двигатель механизма. Комолый коснулся ребристого его кожуха и ожегся. Подул на пальцы и тут же, машинально, — на двигатель. Рабочие мигом подхватили:

все как один принялись дуть, охлаждая. Потом дружно смеялись — удачная вышла шутка.

— Любят Федора Ивановича? — спросил Манцев Гену.

Тот не ответил.

— Давно его возите?

Гена опять промолчал. И только когда Комолый, смеясь, вернулся к машине, процедил сквозь зубы:

— Всю жизнь!

— Для нас нужно двигатели в особом исполнении выпускать! — сказал Комолый, сев в машину. — От нашего темпа у них перегрев.

— То есть без сверхурочных не обойтись? — спросил Манцев.

— Теперь обхожусь.

— Воскресенье...

— Самы решили. Азарт в мужиках проснулся!

Они стояли на верхней отметке главного корпуса. Велика была стройка. Снизу доносились тугие хлопки — работал взрывогенератор.

— На каждом участке — свой совет, — объяснял Комолый. — Открылся фронт работ — выходят и в выходной. А чтоб не перebrали объемы не по делу — штаб стройки. Теперь она как бы сама собой управлять стала. И я вроде тут ни при чем... — Комолый явно напрашивался на похвалу. — Палыч, а Палыч? Что ж не спросишь, как я стройку-то раскрутил? Неинтересно?!

— Я мало задаю вопросов, мог заметить, — ответил Манцев.

— Так уж тебе все и понятно? — И, не утерпев, Комолый принялся объяснять: — Сразу освоил большие объемы по бетону, когда главный корпус без проемов отлил. Зарботок крутой — со всей округи народ слетелся. Отобрал лучших. Бригады-то все с предыдущей стройки, гвардия моя! Они и вывели халтурчиков. Дальше. Временная эстакада еще фронт работ расширила, значит, зарботок еще вверх!

— Схема ясна, — прервал Манцев. — Хорошая схема, Федя. Один только вопрос: когда ты ее избобрел?

— Вот ты и перешел на ты! — Комолый засмеялся. — Я ж говорил!

— По ходу стройки? — продолжал Манцев. — Или до?

— Какое это имеет значение теперь?! — Комолый кокетничал.

— Значит, придумал эстакаду и держал, как два в уме? Панов знал об этом? — спросил Манцев в лоб.

— При чем здесь Панов?

— Знал! — понял Манцев. — Он тебе мостовой кран на эстакаду досрочно и дал!

— А если так, то что? К чему цепляешься?

— Обманом попахивает, Федя...

— Где обман?! Я ж эстакаду придумал, не дядя!

— Если бы ее заложили в проект, тебе б определили смету другую...

— Тошую! — Комолый даже ногой топнул.

— Но как всем! И сроки ввода тоже. Но вы эстакаду скрыли и получилась привилегия, Федя! Потому что в сравнении с другими у тебя все завышено: и фонд зарплаты, и рабсила, и механизмы...

— Ни одного человека, ни крана, ни машины в простое! — Комолый помолчал, взвешивая, и решил: — Так и быть! Но тебе, только тебе! Летучие бригады, Игорек. Чуть где грозит непоставка — цемент, металл, отчего же простое, это ж бич наш, непоставка! Чуть где заело, бросаю в ту контору десант. Теперь рабочих рук всем не хватает, у всех реконструкция...

— Взятка натурой.

— Так не на бани финские мои мехколонны идут, не на дачи начальству! На гособъекты мой десант, какая уж тут взятка? Эксперимент позволяет оперировать ресурсами!

— Ты их получил с избытком, поэтому можешь оперировать: тебе — цемент, тебе — металл. Тому, кто не может...

— Кто не может, пусть плачет!

— Не понимаешь?! Ты сдашь досрочно, а сосед свой срок...

— И я бы завалил! Тот срок, какой мне дали бы, если б я эстакаду им открыл до времени. Жалею, что тебе открылся. Ждал, похвалишь, а ты: обман! — тут не обидя даже, огорчение прозвучало.

— Дело новое, способы старые, Федя!

— Ну так давай, если по человеческим нормам на всех не хватает, разделим по шепотке всем! И друженько все и завалим. Ты прямо как комсомолец двадцатых! Или пионер сороковых!

Манцев молчал. И Комолый истолковал это как свою победу. Пока спускались по бетонным лабиринтам, он рассуждал:

— Конечно, есть тут какая-то химия, есть. Вот когда все епархии на новые полки встанут, тогда конечно. А пока все — от кирпича до последнего гвоздя — дефицит-нехватка, придется химичить. А ты это социалистической предприимчивостью называй, как Валера Логвин говорит, вот кто божьей милостью предприниматель!

Манцев молчал. Сомнение шевельнулось в Комолом: победа ли?

— Я его, когда на простым сметчиком был, заметил, — продолжал он, бодрясь. — Мать его химиком родила, я его учиться заставил. Летучие бригады, это ведь он мне

придумал...

Вышли к ожидавшей их машине.

— А хочешь, я тебе Валеру передам? — предложил вдруг Комолый. — Ты же стройку возьмешь? Я — казак, для друга все отдам! Кроме жены и коня.

— Конь — это Гена? — Манцев посмотрел на «Волгу».

— По молодости у него плохая история была. Пятно. И тут ему едва чужое дело не пришлось. Я за него поручился, — Комолый усмехнулся, вспоминая. — Так он клятву дал до гроба меня возить, — распахнув заднюю дверцу, он пропустил Манцева вперед и сел рядом. — Покажем Палычу наш поселок?! — предложил он Гене весело.

Пока выруливали со стройплощадки, Комолый рассуждал:

— Вот ты говоришь: взятка, излишки и другие нехорошие слова. Нет, Игорек, кредит! А теперь я все авансы государству возмещаю. И с процентами. Досрочный пуск — раз, мосты — два. Да, мосты, те самые, за которые секретарь обкома благодарил.

Манцев опять промолчал. Значит, оправдание не удалось? И Комолый решил расчувствовать его воспоминаниями:

— Станица наша в верховьях Лабы стояла, знаешь речку такую?

— Приток Кубани... — вынужден был заговорить Манцев.

— Вот бы узнать, чего ты не знаешь?! — Комолый хохотнул. — Весной как разольется! От мира отрезаны. Да и после паводка в школу на ходулях переправлялись. А бабы — в сельпо, представляешь?!

Больно было Гене слышать, как унижает его кумир.

— Оттуда у меня к мостам отношение особое, — закончил Комолый.

— Клуб! — Гена остановил машину.

Вышли. Два парня сошлись тут у щита с рекламой свежего фильма, и каждый нес японский стереокассетник. Они сошлись каждый со своим шлягером, ни один не хотел уступать. Прибавляли и прибавляли громкость аппаратов и добились гвалта.

— Глянь! — Комолому сценка понравилась. — И тут соревнование!

— У кого-то я еще такого же «японца» видел, — вспомнил Манцев.

— С кооперацией договорился, завезли, — объяснил Комолый. — Чтоб парням было куда деньги девать.

— Одним девать некуда, другие... — досада вспыхнула в Манцеве. — Проектанты Степанюка! Они ж на тебя пашут, схемы перекраивают, потому что ты о своей эстакаде вовремя не сказал! Вам премии, а там, глядишь, и награды, а им на порошковом супе экономия?!

— Недоработка моя, — беспрекословно согласился Комолый. — Извини! Найдем, как вознаградить, не беспокойся!

Двинулись пешком в сторону гостиницы. Но лужа, возникшая на пути, Комолому без галаш была непреодолима. Он сделал Гене знак...

— Озеро имени Комолого! — Манцев усмехнулся зло.

— Здесь бы мост поставить! — Комолый попробовал отшутиться.

— Из машины чаще вылезать надо! Главный корпус, небось, вылижешь — лободорого, а в поселке... Чем гордишься? Что дома стоят? Так они и должны стоять. А вокруг? Прутика не воткнули!

— Мы, строители, временные тут...

— У тебя такие возможности, связи! Возьми в лесопитомнике саженцы яблонь, ясеня, клена! Люди тебя потом вспоминать будут!

— Чего ополчился на меня, Игорь?! — Комолый оторопел.

— Новые веянья, перестройка, эксперимент! А на стройке — химия, как вчера, в поселке грязь, как позавчера, в гостинице хмят, как хамили всегда, и секретарша твоя тоже — даром не улыбнется!

— Не могу ж я за всем уследить! — взмолился Комолый. — Чего от станичника простого требуешь?! Я только строить могу...

— Кому много дано, с того много и спросится!

И тогда, не задирая штанин, Комолый вброд перешел лужу, замочив обувь и брюки. Манцев ощутил вину.

— Да не на тебя я...

— Что ж расстроился так?

— Чуда не произошло.

— Не понял.

Гена притер машину рядом, предлагая сесть.

— Дальше я сам, — отказался Манцев.

Комолому не хотелось и боязно было отпускать его в такой досаде, причины которой он так и не понял.

— Игорек! Пока свою стройку не получишь, оставайся здесь, а? — вдруг предложил он. — Будь моим главным специалистом!

— У тебя Валера есть.

— Друга нет. — И, устыдившись такой искренности, Комолый пошел к машине.

Гена с болью глядел на огорченное лицо хозяина...

Недалеко от гостиницы, на маленьком рынке, старушки из окрестных деревень торговали редиской, лучком. Все это подавлялось роскошными помидорами Анвара, как и его голосом:

— Помидоры, помидоры, сладкие помидоры! Девушка, подходите! Понравится — возьмете, не понра-а-а...

Покупали в основном женщины с детьми. Услышав цену, печалились, но брали.

— Помидоры, сладкие помидоры! Понравится — возьмете, не понра-а-а... — концовку Анвар опускал как сомнительную и невозможную.

Манцев усмехнулся, проходя мимо. Но Анвар увидел его:

— Слушай! Тихий человек! Делай внимание налево! Ко мне! Сюда!

Манцев вынужден был подойти, такой тот поднял шум.

— Архимед! — приветствовал его Анвар неожиданно. — Извини, тебя обидел, змеей назвал, а ты Архимед, оказывается! — Он достал из кармана клочок газеты, расправил на прилавке.

Клочок был из «Литературки». На нем сохранился снимок А. Камнебокова: сидя на корточках в саду Университетского проспекта, Панов царापал на земле схему Комолого и, глядя снизу вверх, ждал, что скажет стоящий над ним Манцев.

— «Архимеды НТР», — прочел Манцев подпись. — Где купил «Литературку»?

— Брат через Москву товар вез... Хорошая газета, много завернуть можно! — Анвар деликатно, но отнял снимок у Манцева. — Домой приеду, гордиться буду, с кем жил!

— Тогда спрячь и никому не показывай. Не хочу незаслуженной популярности, понял?! — И Манцев пошел к гостинице.

— Какой человек! — сказал Анвар старушкам. — О нем газета пишет, а он такой тихий, такой скромный! — И заголосил: — Помидоры, сладкие помидоры! Понравится — возьмете, не понра-а-а...

Когда Манцев подошел к гостинице, из стоящего перед ней замызганного «газика» выскочил тот же человек в кепке, хотел подойти, заговорить. Но тут из гостиницы кто-то вышел, и не один. Человек смешался, оглянулся по сторонам и Манцева упустил...

Манцев лежал в своем номере, собирая, осваивая все, что узнал. Частые трели междугородной подняли его.

— Алло?! — крикнул он в трубку.

— Игорь?! Где пропадаешь? — зарокотал баритон. — С утра звоню!

— Докладывает два нуля семь! Проник на территорию объекта!

— Не до шуток, кончай! — сердился Панов. — Этот ученик твой, фотограф молодой! За такие штучки в суд подать можно!

— Он не знал, что ты читаешь «Лите-

ратурную газету».

— Да я только сегодня узнал!

— Не волнуйся, в Ново-Яранске в нее заворачивают помидоры.

— Ну что там у вас? — спросил Панов, помолчав.

— Ты меня спрашиваешь?! Нечистый эксперимент, Митя!

— Это проба!

— Моей психики на прочность? Ты что же со мной делаешь?! Не к чужому, к своему единомышленнику, однодельцу подослал! Бог с ними, делами вашими, он хороший мужик...

— Это не оценка! — попробовал остановить его Панов.

— Душу мне открыть готов, дружбы ищет, а я при нем шпион?!

— Игорь, не преувеличивай!

В дверь номера осторожно постучали.

— Я никогда не забуду, как ты отстоял меня в Хантаре! — кричал Манцев. — Но участвовать дальше в твоих манипуляциях не могу! Все, Митя, я возвращаюсь в Москву!

Снова стук.

— Я не получил полной информации! — настаивал Панов.

— Войдите! — крикнул Манцев на третий стук.

Вошел тот самый человек в кепке, поклонился от двери...

— Ищи другого! Все, ко мне пришли! — Манцев бросил трубку.

— Извините! — сказал человек. — Вы меня простите! Огромная просьба к вам! От всего колхоза «Рассвет». Вы, я видел, друзья с Комолом. Сведите с ним, а?!

Листая лежащий перед ней паспорт, дежурная Зоя сообщала данные по телефону:

— Гришкин Алексей Макарович... Колхоз «Рассвет», Марусинский сельсовет нашего района...

— Марусинский?! — переспросил Логвин на другом конце провода — из однокомнатной квартиры Зины.

— А вот они идут! — сказала Зоя быстро, увидев, что на лестнице показался Манцев и с ним гость. — Товарищ Гришкин, возьмите свой документ!

«Газик» катил по шоссе. Сидя за рулем, Гришкин рассказывал:

— Пробовали — никак к Комолому не подступиться! Секретарша к Логвину отшивает, договори-то ведает он. А у него разговор короткий...

Впереди, где от шоссе уходил влево проселок, возникла стрелка указателя «с. Марусино».

— А нам без моста никак нельзя! — вздохнул Гришкин.

Свернули на проселок и началось — затрясло, как в танке.

— Колхоз наш пока слабосильный. В том году ввели семейный подряд. Молока стало — залейся! Но... Речка Маглуша. Летом ее воробей перейдет, а по весне... как разольется! Ни продуктов завезти, ни молока вывезти... Вот она, Ниагара наша!

Вышли из машины на бугре. Внизу был брод через речку-ручей.

— Тут с техникой ихней дня на три делово. А Логвин заломил!

— Сколько? — спросил Манцев.

Гришкин оглянулся и хоть вокруг никого не было, не назвал.

— Нет у нас денег таких, все одно! Поговори с Комолым, а? Мужик, говорят, свойский. Может, Логвин хоть часть скостит?

— Ответите меня в поселок, — сказал Манцев.

— Как? — Гришкин растерялся. — А село посмотреть, ферму? Места у нас привольные. Пообедаем...

— Назад, пожалуйста!

...На подвезде к стройпоселку Гришкин спросил несмело:

— Поможешь, добрый человек? Другой надежды у нас ведь нет...

Манцев не ответил.

Войдя к себе, он тут же принялся собирать дорожную сумку.

...Этажом ниже работали проектанты. Та-суя колоду карт, вокруг стола вил круги Анвар — соблазнял сыграть.

— Сколько можно работать?! — не выдержал он. — День работают, ночь работают! Светлый будущее втроем не построишь!

— Золотые слова! — Степанюк снял очки и, протирая глаза, велел Попову: — Все-таки поставку утилизатора надо перенести на второй квартал. В первом Комолый с фундаментом не управится.

Попов внес поправку в график на листе ватмана.

Сапёлкин подбил в стопку страницы пояснительной записки.

Степанюк глянул на часы и...

В номер вошел Гена.

Молча ему вручили документацию. Но Степанюк не удержался:

— Передай хозяйину, что может дырку в пиджаке вертеть!

Гена вышел.

Степанюк обратил взор на Анвара:

— «Сочинку» хочешь?

— Ха! Скучная игра! — Анвар сел за стол. — Мою играть будем.

Постучав, вошел одетый в дорогу Манцев, попрощаться.

— Четыре карты, банк, прикуп, козырь! — объяснил Анвар. — Сколько взяток брал, столько из банка взял. Одну не взял — полбанка поставил, две не взял — банк. Втемную играл — два банка!

— Это геометрическая прогрессия получается, — понял Попов.

— Крапс! — сказал Манцев. — Игра портовых притонов.

— А по-нашему — фрап! — Анвар стасовал карты.

— По четверть копейки, — объявил Степанюк.

— Вы ставьте четверть, мы поставим руп! — Анвар стал сдавать.

— Откуда у нас руп! — вспыхнул Сапёлкин. — У нас помидоры не растут!

— Приезжай к нам, слушай!

— Спекулировать?

— Стоп-стоп! — предупредил Сапёлкин Степанюк.

— Иван Андреевич, вы думаете, это его помидоры?!

С насмешливым превосходством Анвар выставил перед собой задубевшие от работы с землей ладони.

— Под ногтями черное, это значит — агроном, — изрек Степанюк.

— Кроме своих, ты еще гектаров со ста урожай толкнул! — крикнул Сапёлкин Анвару. — Он перекупщик! Вот откуда руп!

— Никогда не считай чужие деньги, — сказал Степанюк.

— Обидно, шеф!

— А ты гордись. Я сорок лет за кулянманом, и ни один расчет, ни одна моя схема никого не подвела. — Степанюк задумал своим «Беломором». — Горжусь вдвойне оттого, что знал и видел, как рядом гнали халтуру другие... Что козырь?

Анвар задумался, пытаясь освоить услышанное.

— Спасибо! — Манцев встал, чтобы уйти.

— Вы что-то хотели спросить, уважаемый? — сказал Степанюк.

— Да нет... «Беломор» ваш урицкий?

Вот ведь как все просуммировалось: Степанюк, его город.

— Только! Ленинградская табачная фабрика имени Урицкого.

— А в блокаду что курили?

— В блокаду я еще не курил.

— Спасибо! — И Манцев вышел.

Кончился рабочий день. Стоя у окна, Манцев смотрел, как по шоссе возвращаются тягачи Комолого. Наверное, в одном из них — Слава, морская пехота. Новое решение созрело, прежнее отменено: ногой задвинув дорожную сумку в угол, Манцев решительно шагнул к двери...

Но... Легкий топоток слышался за нею, детские голоса. Постучали. И в номер вошли нарядные детишки Комолого. За ними Аня.

— Добрый вечер! Игорь Павлович, Федя подарил вам книгу, вы забыли, — она протянула томик Ахматовой.

— А Федя? — Манцев растерялся. — Я к нему иду...

— Выхал в область, чтобы к утру быть в обкоме. Поездили документацию на досрочный пуск... А это рецепт «Кубанской сказки».

Тетрадный листок был исписан аккуратным круглым почерком.

— У вас почерк отличницы... — сказал Манцев зачем-то.

— Нет, я недоучка, — Аня улыбнулась смущенно. — Федя меня из музыкального училища умыкнул...

В номере проектантов шла игра. Сапёлкин сдал карты. Козырем вышел туз. Первым «на лапе», то есть за сдачей, сидел Анвар.

— Сколько в банке?! — вскинулся он.

— Три шубы, полмашины! — Сапёлкин взволновался. — Четыре тыщи!

— Фрап втемную! — Анвар схватил туза.

— Пас! Пас! — Попов и Сапёлкин испуганно бросили карты.

Степанюк глянул в свой набор, затаившись «Беломором»...

— Вист!

— Мне три! — велел Анвар, сбросив все, кроме козырного туза, которого он взял, заказав игру втемную.

Сапёлкин восполнил его набор из прикупа. Повернулся к Степанюку с тем же...

— Мне не надо, — был ответ.

Рука Анвара с картой, которой он хотел козырнуть, зависла...

Встав на цыпочки, чтоб достать глазенками до стола, детишки Комолого смотрели как Манцев складывает бумажного голубя.

— Расскажите, что там, в Москве? — спрашивала Аня. — Сто лет не была. А когда была, все то же — ГУМ, ЦУМ, «Детский мир». Как люди живут? — Ей было интересно с Манцевым, хотелось беседовать.

— По-всякому... — И он был готов, но как говорить с ней после всего, что узнал он о мостах Комолого. — Кому жить интересно, тому везде интересно, кому — нет, тому скучно и в Москве...

— Тут слух прошел, будто Федя, как пустит первую очередь, его берут в министерство, не слышали?

Что мог ответить Манцев на это?

— Но он упираться будет, знаю. Что я там, говорит, генерал без армии? — Вдох-

нув, она посмотрела на детей. — А я бы их в музыкальную школу отдала...

Бумажный голубь был готов. Детишки бережно понесли его на балкон.

— Игорь Павлович, вы очень хороший человек! — сказала Аня. — Погадайте мне на книге. Есть такая примета: если хороший человек нагадает, обязательно сбудется!

Манцев не понял.

— Возьмите любую книгу... Вот! — она подала томик Ахматовой. — Откройте любую страницу. Читайте!

Манцев подчинился. Открыл не глядя... А глянул! На странице — одно стихотворение, всего восемь строк...

— Нет! Не то совсем! — но захлопнуть книгу не успел.

С неожиданной быстротой Аня отняла ее.

— «Последний тост», — прочла она название. Отошла к окну и стала читать вполголоса. Читала неумело, неправильно, но смысл обнажался как пророчество: — «Я пью за разоренный дом. За злую жизнь мою... За одиночество вдвоем... И за тебя я пью!»

Манцев видел, как дрогнули ее плечи.

— Аня! Перестаньте! Ерунда, шутка же!

— «За ложь меня предавших губ! — продолжала она. — За мертвый холод глаз... — голос ее нарастал к надрыву. — За то, что мир жесток и груб. За то, что бог не спас!» — она прикусила губу.

— Аня! К вам это не имеет никакого отношения!

— Конечно! — она повернулась к Манцеву. — Федя любит меня. И я его тоже! — слезинка все-таки выкатилась на ресницу. — Но я боюсь за него, Игорь! Он же казак: или грудь в крестах, или голова в кустах!

Детишки, Ванюша и Ксюша, мечтательно смотрели с балкона на плавный полет бумажного голубя...

Одну за другой Степанюк смел все четыре взятки.

— Банк лопнул! — ахнул Сапёлкин.

— Сколько было в банке? — справился Степанюк.

— Машина Анвара! — Сапёлкин уточнил в записях. — Восемь тыщ!

Повисло молчание. Анвар тяжело поднялся, побрел в угол, где лежал огромный его чемодан, откинул крышку и стал рыться в нем.

— Пят-сот... Шест-сот... Сейчас задаток, — донеслось из-под крышки чемодана. — Остальное — телеграмму дам, брат вышлет...

— Анвар, смотри сюда! — приказал Степанюк.

Анвар оглянулся. Степанюк сложил банковые записи и... порвал.

— Шеф! — Сапёлкин ужаснулся.

— Зачем так делаешь?! — взревел Анвар. — Последний рубашка продам, долг платить буду!

— Это мы должны тебе, Анвар! — Степанюк усмехнулся. — Ты доставил нам несколько часов настоящей жизни.

Через день утром секретарша Комолого Леночка отчаянно работала диском телефона. Ответила гостиница. Дежурила Зина.

— Зина, где Валера Логвин, не знаешь? — зачастила Леночка.

— Ночевал у меня, — ответила Зина. — А что случилось?

— Не можем найти. Федя рвет и мечет! Снаружи донесся визг тормозов. Леночка метнулась к окну — из «Волги» выходил Логвин.

— Он здесь, все! — Леночка бросила трубку и доложила в кабинет: — Приехал!

Там сидели Комолый и Манцев.

— Так что, очную устроим? — спросил Комолый недобро.

Манцев показал, что готов ко всему. Вошел Логвин.

— Взятку за мост в селе Марусине требовал? — начал Комолый.

— Никак нет!

— Божись!

— Дайте земли, съём! — лихо держался Логвин.

— Я проверю!

— Хоть сейчас! Игорь Павлович, — Логвин смело-весело глянул на Манцева, — вы поедете с нами?

— Игорь Павлович утверждает, что ты вор! — пригвоздил Комолый.

— В таком случае, Игорь Павлович — шпион! — был ответ.

— Ну ты, дитя эпохи! — Манцев встал.

— Разрешаю дать ему по морде! — Комолый изучающе глядел на него. — Если это не так.

Манцев смолчал.

— Разрешаю дать мне по морде, если то, что скажу, тоже не так. — Комолый помедлил, волнуясь, и выпалил: — Ты чисто-плый, Палыч!

Манцев не ответил.

— Теперь уважать тебя не могу! Стройки без грязи не бывает. А тем, кто в галошах, главное — не замараться. Поэтому никто из таких ничего не построил!

— Я не хвастаю, что откатился участвовать во лжи в Хантаре. А ты строить на лжи считаешь подвигом?

— Спасибо за подсказку! — Комолого понесло. — Если б ты не отказался довести стройку в Хантаре, аварии там не было б! Потому как ты честный, а вместо тебя пришел арап!

— Жаль, что такое видится только на расстоянии.

Сказано было о Логвине, Комолый понял. Но пути назад не было. Не глядя на Манцева, он сказал:

— Ступай, Палыч!

— Судя по тому, что ты держишь хвост пистолетом, техобоснование на досрочный пуск пошло в Москву.

— Ступай! И нам не мешай! Никому не мешай! — был ответ.

В коридоре управления маялся, тискавая свои ручки, Плетнёв. Из приемной вышел Манцев, глянул свирепое:

— Слушайте, Аркадий! Вы-то свои премии заработали честно. Не надо дрожать! — и пошел к выходу.

— Не надо пугать! — с неожиданной дерзостью ответил Плетнёв.

В гостиничном холле Анвар беседовал с Зиной. Уборщица терла пол. По лестнице сбежал с дорожной сумкой Манцев. Хотел сдать ключ от номера, но его догнал Сапёлкин.

— Игорь Павлович! Замольте за меня Комолому! Я хочу к ним...

— А Степанюк? Учителя бросаешь?!

— Да ну! — Сапёлкин отмахнулся. — Полусумасшедший старик.

— Вот как?!

— Комолый просто так меня не возьмет, а вы с ним в контакте.

— Твоя жена не хочет ведь из Ленинграда...

— А шубу хочет.

— Тогда уточни, что ей нужней: шуба или порядочный человек?

— Значит, помочь не хотите. — Сапёлкин вдруг обнаглел: — Возможности-то у вас есть, — он достал газетный клочок, — и немалые!

Перед лицом Манцева оказался тот же снимок «Архимеды НТР» — он с Пановым в саду. Брякнув ключи на стол Зине, Манцев хлопнул Анвара по плечу и ушел. Сапёлкин мстительно ухмыльнулся вслед.

— Вокруг что-то происходит... — начал Анвар.

Но Зина, не слушая, принялась накручивать диск телефона.

— Кругом что-то происходит, слушай! — обратился Анвар к Сапёлкину. Но тот, злой, ушел наверх.

Только в лице уборщицы тети Веры Анвар обрел слушателя:

— А мы?! Весной сажаем, летом продаем, зимой деньги тратим... Весной сажаю, летом продаю... Жизнь проходит мимо, слушай, а?!

По шоссе в сторону Яранска шли четыре тягача с плитами и сваями в полуприцепах. Впереди у съезда на проселок показался знакомый указатель «с. Марусино». Первые три тягача прошли мимо. Четвертый свернул. Его вел Слава. Рядом сидел Манцев.

Шедшая за ними на достаточном расстоянии «Волга» сбросила ход. Переваливаясь с боку на бок, тягач ушел в поля. Гена остановил «Волгу» у проселка на Марусино.

— Теперь убедился?! — сказал сидящий рядом Логвин.

Съехав с берегового откоса, тягач лихо форсировал речку Маглушу, но противоположный берег одолел с трудом.

— И здесь бы мост поставить! — сказал Слава.

— Если не поставили за одиннадцать пятилеток, — ответил Манцев. — Это очень непокорная река...

— Ни в какую область я с вами не поеду! — стоя на крыльце невзрачного дома, где помещалось колхозное правление, отказывался Гришкин. Он был без кепки и пиджака, обнажившаяся лысина старила. — Потому как ничего не знаю, ничего не говорю!

— Вы рассказали мне все! — отвечал Манцев. — Сумму только не назвали, какую Логвин потребовал...

— Не знаю я никакого Логвина!

— Меня тоже не знаете?

— Вижу впервой, — Гришкин отвел глаза.

— Гришкин Алексей Макарович... Село Марусино... — произнес Манцев с горечью. — Имена-то все какие хорошие, честные! Так чего лжете, зачем?! — Он повернулся и пошел к машине.

— Постой! Слышь?! — Гришкин догнал его.

— Да ну! Сидите тут, пока с вас последние портки не снимут!

— Не знаю, кто ты, — заговорил Гришкин, — вижу, человек справедливый. Но вяжусь я с тобой в разговор, так село Марусино в будущем тысячелетие без моста войдет. Смолчу — Логвин обещал задарма мост поставить. Вот и выбирай...

Манцев поднялся в кабину.

Слава завел двигатель, стал разворачивать тягач.

Манцев сидел притихший...

В привокзальном магазине Яранска Манцев выбирал игрушки.

— Этого вот усатого, пожалуйста! И эту очаровашку тоже!

Продавщица уложила в коробку котенка и кудлатую собачку.

Манцев вышел из магазина.

— Передашь Ане, жене Комолого, — сказал он Славе. — Детишкам-ребятишкам. От меня...

Но уж слишком серьезно было сказано как-то. Слава глянул — да, на лице Манцева отпечаток того же, что прозвучало в голосе — то ли грусти, то ли вины...

— Что еще сделать для вас, командир?

— Так и без того... Уж и не знаю, чем заслужил?

— Понимаем кое-что! С таким командиром хоть на сверхсрочную!

— Будешь в Москве... — Манцев достал блокнот. — Обязательно!

— Море сведет, командир!

Из «Волги», стоявшей в переулке, была видна вся площадь. Логвин пронаблюдал, как Слава попрощался с Манцевым и уехал.

— Придется допросить...

— Он тебе башку оторвет! — ответил Гена. — Это ж Слава, морская пехота!

— На всякую пехоту есть бог войны. Гони за ним, пока не настучал! Или Федя тебе уж не дорог?

— Ты Федор Ивановича не мажь!

— Кто же поверит, что он чист, как голубь?!

— Федор Иванович ни при чем! — процедил Гена сквозь зубы.

— Не знала-не гадала?

— Что ты такой химик — нет!

— Откуда же капуста на сабантуйчики-подарочки, которыми я контакты наводил? На подряды-субподряды, фонды-дефициты, лимиты?

— А еще больше к твоим рукам прилипало!

— Это гонорар за мой экономический талант, благодаря которому Федя вывел стройку в передовые.

— Он сам ее вывел, сам!

— Не смейся! Вся моя деятельность была направлена только на то, чтобы Федор Иванович Комолоый сдал стройку досрочно! — Логвин намеренно накалял Гену. — Так и скажу на суде.

— Пшел вон! — Гена так глянул на Логвина, что тот понял — продолжать опасно.

— «Счастлив я, что целовал я женщин!» — пропел он, вылезая из машины. — Пойми, если сможешь, конечно: не на реформах, не на путях стимулирования-манипулирования, поднятия-приподнятия — общество такими, как я, движется. Пока на земле чего-то не хватает, такие люди везде нужны. Подберут, заслонят. А ты... Кому ты нужен будешь без любимого хозяина с условным сроком твоим?

На перроне Манцев ждал поезда на Москву. Что-то заставило его оглянуться. Через минуту он опять ощутил спиной чей-то взгляд. Посмотрел — две мужские ноги под газетной витриной были неестественно неподвижны. Зашел за витрину... Там стоял Гена.

— Ну?! Я готов! — сказал Манцев.

— Слушай! — ответил Гена. — Если с Федор Иваныча хоть волос упадет, за Уралом, где хошь, хоть в Магадане прячься, я тебя достану!

— Знакомые места?

— Угадал! Федор Иваныч — человек! — крикнул Гена. — Когда в поселке вербованные чепешку устроили, так первого взяли меня. Он один мне поверил. Так я за него на вечную отсидку готов!

— Верись Феде?

— Как отцу не верил!

— Так открой ему глаза. И еще, Гена...
Добрые дела не делаются ножом...

На станцию входил московский «скорый».

Поезд вполз на один из путей Казанского вокзала. Манцев сошел на платформу в числе последних — спешить было некуда...

Стоя возле электровоза, нервничал Панов. Он знал только поезд, которым выехал Манцев из Яранска, но не знал вагона. Уже зародилось, зацвело сомнение, не пропустил ли его в толпе.

Манцев брел задумчиво-злой. Кто-то преградил путь. Он поднял голову — перед ним стоял Панов.

— Игорь, извини! — сказал он, волнуясь. — У меня не было выхода. Эксперимент оказался под угрозой.

— А я? Спасибо, друг!

— Комольный чист? — спросил Панов, выдержав необходимую паузу.

— Значит, знал о мостах яранских, знал! — понял Манцев.

— Не знал подробностей. — Панов оглянулся, куда бы деться, чтобы поговорить без помех: толпа редела, но стали доминировать носильщики своими тележками и окриками — пришло время летнего переселения народов...

— Так ради них ты забросил меня как приманку? На живца удил?!

— Пойми! — Панов повлек Манцева назад, к хвосту состава. — В новых условиях обнажается то, что не всем по вкусу: есть в руководителе творческий потенциал или ничего, кроме лужёной глотки? На словах все — за, а на деле... Оппозиция!

Остановились у дальнего конца платформы. Тут было пусто.

— Ты ничего не знаешь, в рощах гуляешь! — Панов перехватывал инициативу. — Поползло, когда эксперимент был еще на бумаге: снятие ограничений — есть расшире-

ние возможностей для злоупотреблений.

— На лжи — вот откуда, на чем злоупотребления, Митя!

— Да этот Логвин еще во времена римских цезарей крал!

— У тебя на бумаге уже неправда сидела. Потому что вы с Комолым вариант с эстакадой скрыли.

— Нужно было подстраховать, первый блин не должен выйти комом. Тактика!

— Вот и вышел.

— Да нет пока!

— Пока я молчу?

— Комольный чист, спрашиваю?! — сорвался Панов.

— Ах, вот тебе что нужно было! — теперь Манцев понял все. — А ты?

— Если Федя замаран, конечно...

— Не брал он взятку, не для денег живет, успокойся!

— Да? — надежда возникла на лице Панова, но тут же погасла. — Но Логвин при Комолом — значит, пятно на Комолом и на...

— Тебе?

— На эксперименте!

— Хочешь, чтоб я молчал... — кивнул Манцев.

— Да это, может быть, главное дело моей жизни! Пустит Комольный первую очередь, в мостах-мостиках разберемся. Главное, не опочить эксперимент!

— Слушай, ты даже гордишься тем, что затеял в Яранске?! — изумился Манцев. — Какой это эксперимент?! Забудь! Хуторские хитрости это, а не эксперимент! Яранские успехи держались только на том, что ты эстакаду до времени спрятал. И ты собираешься этот опыт распространять? Сказать, что у тебя выйдет? Всех обречешь на провал! Потому что на каждую стройку возглавит начальник с такой башкой, как у Комолого, а такой эстакады на другом объекте, может, и придумать нельзя!

— Придумают что-то другое! — из последних сил держался Панов. — Эксперимент высвобождает инициативу, ты видел!

— Какой-то другой обман? И объявят тактикой?

— Ну а как, как еще стройку раскрутить, чтоб она самоходом пошла, ты знаешь?! — опять сорвался Панов.

— Не знаю, не знаю я, как надо! — крикнул Манцев в ответ. — Знаю одно: скрыл — значит, наврал. А врать дальше ни в чем уже нельзя! Только тогда — чистый эксперимент. А у тебя вышел эксперимент с нечистыми руками...

— Звучит как приговор! — Панов усмехнулся горько.

— Что дальше, решай сам. Все!

— Умываешь руки?

— Прикажешь немывтым ходить, пока Комолому орден за досрочный пуск не наве-

сят? И тебе что-нибудь тоже?

Панов смолк. Пустой состав, в котором прибыл Манцев, тронул назад и пошел на отстой. Манцев вдруг охлопал карманы, сумку...

— Чего? — спросил Панов.

— Галоши в Ново-Яранске забыл...

Несколько дней спустя отдохнувший и почищенный Манцев объявился на работе.

— Судя по отметке в командировочном удостоверении, вы вернулись в Москву пять дней назад, — отчитал его завотделом Рогачёв.

— Из них два выходных, — отвечал Манцев.

— Куда делись остальные?

— Работал в ГПНТБ, — Манцев пока сдерживался.

— Где результаты?

— Тут! — Манцев коснулся пальцем лба.

— Вы обязаны отчитываться по приезду!

— Я сделал это в тот же день. Сказать, перед кем?

Странно, но намек на имя замминистра не осадил Рогачёва.

— У вас есть непосредственный начальник, Игорь Павлович! С сегодняшнего дня будьте любезны отчитываться передо мной! — И прежде чем выйти, Рогачёв нанес главный удар: — В том числе о каждом походе в ГПНТБ!

— Как он говорил с тобой! — Наташа была поражена.

— С сегодняшнего дня... — повторил Манцев. — Значит, вчера что-то произошло.

Вошел Звонков, имея высокомерно-загадочный вид.

— Ты бы не бегал по этажам, — сказала ему пожилая сотрудница, пряча вязание подальше. — Бонапарт разбушевался.

— Строгости всегда сопутствуют смене власти, — изрек Звонков и прошелся — руки в карманах. Гордость распырала его: он знал нечто, чего не знали остальные.

— Дмитрий Константинович Панов, — произнес он наконец, — уважаемый заместитель министра... снят.

Манцев взял чистый лист бумаги и стал писать.

— Ушел в отпуск, но в замминистры уже не вернется, — пересказывал Звонков подробности женщинам. Несколько раз донеслось:

— Ново-Яранск?! Ново-Яранск!!!

— Игорь! — окликнула Манцева Наташа. — Ты был, что там?

— Много хорошего... Да! — Манцев помнил Звонкова. — Дарю хлебную тему: взрывогенератор. Замечательная машина! При многочисленных проемах в монолитных железобетонах. Столби и внедряй!

— А вы?! — Звонков удивился.

— А я отдохну. — Манцев положил лист с заявлением на Наташин стол: — Передашь Бонапарту.

— Отпуск? — спросила Света.

— Если бы! — прочитав, Наташа растерялась. — По собственному...

— Я написал правду, — ответил Манцев. — Работать здесь больше не желаю. — Он повернулся ко всем, чтобы проститься...

— Игорь! — в голосе Наташи была боль. — Ты же бросаешь нас!

Саша Камнебоков вез Манцева и Панова — да, Панова! — в Измайлово. Друзья подводили невеселые итоги на заднем сиденье.

— Может, с признанием поспешил? — спрашивал Манцев.

— А ты бы мне простил? — отвечал Панов. — В тот же день доложил министру все. То есть подал в отставку.

— Надеюсь, что она не будет принята?

Панов глянул на него с укором. Манцев ощутил вину.

— Митя, я хочу понять, как бы сам поступил на твоём месте.

— Сравнил! Когда ты подал в отставку в Хантаре, твои тылы были обеспечены: друзья, книги, ребусы... Камнебоков, аккуратней! — сделал замечание Панов на повороте.

— Присоединяйся к нам, — сказал Манцев.

— Вот уже... А ты что решил?

— Институт истории техники. Зовут.

— Младшим научным возьмешь?

— А ты пойдешь?

— Прорабом пошел бы. На-ачни сначала! — пропел Панов. — Хоть какую-нибудь стройку дали б! А вообще, куда вы меня везете?!

— Саша хочет доказать, что я не все знаю, — Манцев усмехнулся.

— Сейчас убедитесь! — Саша, веселый, обернулся к ним.

— А я и не спорю.

Они въехали в сень Главной аллеи Измайловского парка.

— Хорошо-то как! — вздохнул Панов.

На глухом дощатом заборе повисли два человека. Хоть не молодые были оба, сила в руках не избыла — сумели подтянуться. Да и было на что посмотреть: вплотную к забору лежала лицом к доскам статуя в два человеческих роста. Шинель с немнущимися складками и пелериной была на ней. Сеянцы клена проросли вокруг. Под головой с известным подбором длинных волос дотлевали прошлогодние листья...

Саша, стоя на другой стороне аллеи, тай-

ком поймал кадр: Панов и Манцев висят на заборе. И щелкнул их.

— Поместье какого-то скульптора крупного... — Манцев взволновался.— Из давних... — он спрыгнул на землю.

— Я ж говорил! — возликовал Саша.— Супер-ребус!

— Если андреевский Гоголь, которого загнули во двор, автор «Мертвых душ», то этот,— Манцев кивнул за забор,— автор «Шинели».

— Ну Гоголь, так что? — Панов не понял волнений и не хотел.

— В Москве два памятника Гоголю. Этот — третий,— сказал Саша.

— Третий — лишний! — объяснил Панов просто и надежно.

— Замена произошла в пятьдесят втором,— размышлял Манцев.— В пятидесятом завершилась первая послевоенная пятилетка — промышленность была восстановлена. И хотя жилья не хватало и деревня стонала, радио играло: «Будем петь и веселиться, в вихре праздничном кружиться»... А Гоголь сидел на Арбатской площади печальный. Во-от! Был объявлен конкурс на замещение. Но автор «Шинели» получил тоже не весел. И победил автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

— Что дальше? — спросил Панов.

— Кто — скульптор? — Саша имел в виду статую за забором.

— Звоню домой, чтоб не ждали к обеду! — решил Манцев.

Телефонная будка была рядом. Но вскоре Манцев окликнул:

— Саша! Монетку!

— Куда вы еще?!

— Звонили с работы. Кажется, моя отставка тоже принята...

— Учитель, не надо! — возопил Саша.— Опять все сорвете!

— Радуйся, я получаю расчет! — Манцев заперся в будке.

Тем временем Панов обратил строгий взор на фотографа:

— А вы где работаете, Александр?

— Вольный стрелок,— Саша почему-то робел перед ним.

— То есть снимаете, что хотите?

— Но не все берут.

— Значит, снимаете не то, что нужно.

— А вы строите только то, что всем нужно? — озлился Саша.

Панов смолк. Саша почувствовал себя виноватым.

— Я не хотел вас задеть, извините!

Из телефонной будки вышел Манцев.

— Вы достойный ученик своего учителя,— ответил Саше Панов.

Манцев смотрел на них. Вид у него был озадаченный.

— Я так и знал! — вскричал Саша.

— Ребус отменяется,— подтвердил Манцев.— Вы будете очень смеяться, но... Митя, меня вызывает министр.

— А-а... как же Гоголь?! — вырвалось у Панова.

Министр Кропотов принял Манцева.

— Игорь Павлович! Мне интересно ваше мнение о ново-яранском эксперименте.

— Если человеку платить по работе, он будет хорошо работать. Вот все, что Ново-Яранск доказал.

— Уже не мало! — Кропотов встал из-за стола.

— Но и не ново.

— К сожалению, не для всех. Есть еще вывод: экономия на урезанных сметах оборачивается куда большими убытками.

— Потому что чудес на свете не бывает.

— Как же быть? — Кропотов остановился на прогиве Манцева.

— Вы же не сможете создать таких привилегий всем.

— Не все сразу.

— И не каждую стройку возглавит Комолый.

— Как оцениваете его? — спросил Кропотов.

— Дар редкий... Инженерный... Божий... — Тут Манцев усмехнулся: — Остальное приобрел в силу обстоятельств времени.

Кропотов вернулся за свой стол министра.

— Игорь Павлович! Мы получили подряд. Вернее, нам поручили. Металлургический комбинат. Его высокосортная сталь на вес золота. Но она производится на крайне устаревшем оборудовании...

— Реконструкция,— понял Манцев.

— Я пригласил вас, чтобы предложить: езжайте, посмотрите...

— На кого? — Манцев насторожился.

— Добро на ваше увольнение я не дал,— предупредил министр.

И, ощутив себя в положении зависимого, Манцев ощетинился:

— Что, такая у меня рука легкая? Стоит приехать посмотреть, как тут же кого-то снимут?!

— Снимать там некого,— ответил Кропотов.— Начальника пока нет.

— Так зачем я?

— Чтобы возглавить реконструкцию,— Кропотов следил за сменой нюансов на лице Манцева.

— Вы знаете, что в Хантаре я отказался... — начал тот.

— ...чтобы остаться самим собой,— закончил за него Кропотов.— То была другая стройка и времена не те. Вы получите все, что нужно для дела. Потому что вам мы верим.

Никак не ожидал Манцев такого хода.
— Условие одно: провести реконструкцию, не снижая выдачи стали.

— Это сделает Панов! — осенило Манцева.

— Почему не верите в себя?

— Панов сделает лучше, — настаивал Манцев.

— Да оставьте вы его в покое! — не выдержал министр.

— Он мой друг, и вы это знаете.

— За него не беспокойтесь, он доведет стройку Комолого!

— А Комоловый?

— О вас сейчас речь! — министр встал. — Ну грех же, когда такое, — он ткнул себя в левую сторону груди, — и такое, — ткнул себя в лоб, — тратится впустую! Низок капеде ваших знаний и опыта!

— Секретарь обкома Воронин Владимир Елизарович, — понял Манцев. — Вы говорили с ним.

— От вас можно устать!.. Ладно, скажите: вот вы посетите в ГПНТБ, а значит, сидите дома. Что делаете, вообще? Не скучно?

— По данным ЮНЕСКО, средний человек успевает прочесть за жизнь около двух тысяч книг из многих десятков тысяч хороших, — но, увидев, как задумался Кропотов, соизмеряя свой багаж, Манцев сжалился: — Кто-то меньше, кто-то больше...

— Я — меньше, — признался Кропотов. — Да, я говорил с Ворониным. Он сказал, что вы честный, совестливый человек. О людях радуете! Если это не так, давайте заявление, я завизирую ваш уход хоть сейчас!

Манцев молчал.

— Езжайте, смотрите, Игорь Павлович! — Вы там нужны, товарищ главный специалист! — закончил министр.

Поезд шел на юг от Москвы. Манцев задумался, глядя в окно. Раскрытый том лежал перед ним на столике.

— Можно? — попросил Саша, он ехал с ним. — «На старшего великого князя Московского, — стал читать он, — стали смотреть, как на образцового правителя-хозяина... а на Московское княжество, как на исходный пункт нового строя... первым плодом которого было установление большей внутренней тишины и внешней безопасности»... Клёво! — одобрил Саша. — «Курс русской истории» проф. В. Ключевского, — прочел он на титульном листе.

За окном разворачивалось все то же — степной холмистый край.

— Что себе позволяет, надо же! — воскликнул вдруг Саша. — «Такое значение приобрел москворецкий князек, который полтора века назад выступал мелким хищни-

ком, из-за угла подстерегавшим своих соседей...» Однако!

— О пятнадцатом веке речь, — ответил Манцев.

— А написано в пятнадцатом. Написано и опубликовано!

— То есть?

Саша безнадежно махнул рукой в ответ. За окном мелькнули огороды, поезд стал тормозить — приближалась станция.

Едва поезд стал, у пищевого ларька на перроне образовалась очередь. Но Саша метнулся к киоску «Союзпечати».

Вернувшись в купе, он гневно швырнул на столик газету.

— Опять не напечатали!

— А был шедевр? — спросил Манцев.

— Люкс-кадр! Когда вы с замминистра на заборе висели и на Гоголя глядели. И название блеск: «В поисках истины».

— Саша, что интересного в двух старых задицах на заборе?

— Учитель, у каждого поколения свое мироощущение.

— Если этот кадр тебе так дорог, назвал бы «Развездчик НТР».

— Учитель! — Саша вскипел. — Моей зависимостью от вас пользуетесь? Как шута при себе держите, да?!

— Бунт на корабле?

— Если вы считаете, что я конъюнктурщик, то зачем я вам? Ребусы поставлять для развлечения?

— Ты молодой, значит, не безнадежен.

— Будто не знаете, что редакция требует!

— Тут ведь в чем причина, в редакции или в себе...

— А вы попробуйте! Чуть шагнешь от магистральной темы — хана! А я не могу, понимаете, не могу больше снимать железо чугунное! Мне уже лейбл наклеили!

— А на языке Гоголя?

— Ярлык! «Певец НТР», вот что! — Саша рассвирепел.

— Невмоготу больше — не пой.

— Так другие найдутся показуху клепать!

— А ты снимай, к чему душа лежит.

— И в стол?

— Стоящая вещь своего часа дождется.

— Как тот Гоголь под забором?

— Слушай, друг! — сказал Манцев так, что Саша выпрямился почти по стойке. — Прежде чем кивать на обстоятельства, разберись в себе. Если цель опубликоваться любой ценой — одно. Если правду сказать любой ценой — совсем другое. И труд, и сроки — все другое! — Он смолк, вспоминая. — «Гоголь за забором» — это Меркуров, автор лучшего памятника в Москве — Тимирязеву у Никитских ворот...

— Ну что снимать, где? В чем она, правда?! — насканивал Саша. — Подскажите! Я же вас учителем зову!

— В Ново-Яранске детишки-ребятишки Ванюша и Ксюша...

— Слюньки-сопельки?

— ...кажется, без батюшки остались,— продолжал Манцев о своем.— Милая Аня — без мужа, село Марусино — без моста... Женщины в отделе — без меня...

— Что случилось?! — Саша понял, что все не так просто.

— Спель... — произнес Манцев, поглаживая внутренний сгиб Сашиной газеты. Что-то шершавое обнаружил он там и смел микроскопические эти частицы в крошечную горку, повторив: — Спель...

— Учитель! — Саша решил, что Манцев заговариваться начал.

— Особая форма железистого углерода, — ответил Манцев.— Образуется при выбросах из крайне изношенных мартенов...

И тут на поезд, как раз с их стороны, накатил комбинат: обоймы кауперов, башни домен, рудный двор — все, вроде, как везде. Но Манцев увидел больше.

— Не смогу! — выдохнул он.— Не подниму...

Он шел по заводскому двору. Жаром тянуло от коксовых батарей. Маневровый протацил ковши с жидким чугуном...

Саша приотстал, целясь камерой вправо, влево.

Здрав голову на башню доменной печи, Манцев стал обходить ее вокруг. С противо-

положной стороны, тоже здрав голову, шел другой вновь прибывший. Они столкнулись.

— Игорек?!

— Федя?! — Манцев увидел перед собой Комолого.— Ты чего здесь?!

— Прорабом... Начальника жду.

Глянули друг на друга и... обнялись, поняв, что работать им вместе. Но радость тут же вытеснилась заботами. Безрадостная картина открылась им: на всем копать, ржавая пыль, все надрывается...

Присев на корточки, Саша навел широкоугольник.

На снимке два немолодых человека стоят под громадой домны, та нависла над ними и, кажется, сейчас упадет.

Классная печать, детали проработаны до солевых потеков окиси на кожухе домны, до окалины перепускных труб, даже чад коксовых батарей ощущается, и понимаешь, какая суровая работа предстоит этим людям... Так бы снимок и назвать.

Но то ли фотограф не совладал с искушением бить наверняка, то ли редактор попался искушенный. «Атланты НТР» — под таким названием очередной снимок А. Камнебокова появился в печати.

1987 г.





**Григорий
ОСТЕР**

ДО ПЕРВОЙ КРОВИ

Огромное спокойное летнее море. Маленькая, словно игрушечная, песчаная бухта, окруженная скалами,— пуста. Чуть заметен прибой, неторопливо движущий на берег низкорослые волны.

Среди зелени, уступами уходящей вверх по склону горы, стоят небольшие коттеджи пионерского лагеря.

Утреннее солнце, всплывая над горизонтом, отразилось в стеклах распахнутых окон.

Дети еще спят. Кто-то улыбается во сне, кто-то причмокивает губами. На руке у спящего парнишки электронные часы. Они живут своей отдельной жизнью. На циферблате: 06.59. И рядом секунды: 51, 52, 53...

В спальню мальчиков ворвалась девчонка.

— Вставайте, война!

Сонные, разбуженные, ничего не понимающие детские лица. И вдруг общий вопль:

— Ура-а-а-а!!!

Вскакивают мальчишки, натягивают майки с пришитыми на плечах бумажными погончиками, выхватывают из-под кроватей деревянные автоматы, выбегают в двери, выпрыгивают в окна первого этажа.

— Ура-а-а! — нарастает радостный детский крик над спокойным утренним морем.

По тропинке, полого уходящей в горы, бегут пятеро двенадцатилетних мальчишек. На плечах синие погоны, в руках деревянные автоматы. Но нет, только у четверых автоматы. Пятый без оружия. У него на запястье электронные часы. Это Командир.

Ростом Командир не выше остальных, но четкие движения, уверенный взгляд делают его старше.

— Быстрее! Ну! — подгоняет он свой отряд.

Приотстав, Командир пропускает всех вперед. Последним бежит худощавый парнишка. Это Саша.

— Ровно дыши, ровно. Легче шаг,— советует ему Командир и легко обгоняет свой отряд.

Он бежит уверенно, свободно. Оторвавшись от отряда, уходит за поворот тропинки...

Когда четверо выбегают из-за поворота, Командир уже ждет их, сидя на камне посреди мелкой и быстрой речушки.

— Привал! — командует он.

Теперь на камнях, разделенных струями воды, все сидят вокруг Командира. Саша зачерпнул воду ладонью. Командир накрыл Сашину руку.

— Пить потом. Хуже будет. Сваришься.

— А он уже,— усмехнулся крепенький толстячок Мишка.

— Так! — Командир поднялся во весь рост.— Эти костыли,— показал на деревянные автоматы,— в воду.

— Почему? — удивился жилистый Степка.

— Смотри! — Командир со своего камня легко перепрыгнул к Степке и, протянув руки, сжал оба его погона в горстях.

Деревянный автомат Степки уперся в живот Командира.

— Правила игры! — сказал Командир.— Погоны сдернули — труп, а эти игрушки так, для понта. Руки — вот оружие наше. Пока они ты-ды-ты...

Степа понял, усмехнулся, его автомат полетел в воду. Другие тоже.

— Вперед! — Командир прыгнул с камня на берег.

Остальные за ним. И снова бег гуськом.
— Далеко еще? — с трудом выдохнул Саша.

— Не болтай! — сердито откликнулся бегущий впереди, похожий на хмурого мужичка Васек.

— Ты ляг, полежи! — с насмешкой предложил наступающий Саше на пятки Мишка. И обогнал его.

По крутой тропе, цепляясь пальцами за камни, поднимались мальчишки на гребень горы. Саша шел последним. Командир подал ему руку.

Несколько секунд все пятеро стояли на гребне, смотрели вниз. С высоты коттеджи у моря казались кубиками...

От коттеджей в разные стороны уходили отряды ребят с деревянным оружием в руках. То здесь, то там среди зелени мелькали группы участников военной игры. Одни отряды шли строевым шагом, другие бежали пригибаясь, стараясь поскорей скрыться среди деревьев, кустов...

С горы бежать было легче. Командир мчался впереди. Набирая скорость, маленький отряд покотился по заросшему редколесьем склону.

Ниже по склону вдоль шоссе двигалась колонна ребят. Колонна ползла, как улитка, оставляя за собой след — цепочку вооруженных деревянными автоматами часовых. Мальчики и девочки с зелеными погонями на плечах оставались стоять через каждые десять-пятнадцать метров, а основная колонна — человек семьдесят, бегущих мелкой трусцой, — тянулась по шоссе наперерез Саше, Степке, Ваську, Командиру и Мишке.

Выскочил на шоссе Командир, за ним остальные и, перебежав дорогу, исчезли в лесу. И тотчас же из-за поворота показалась колонна «зеленых». Проплыла мимо, оставив за собой часовых оцепления...

На полянке в траве лежит на спине Командир, дышит глубоко, правильно. Сел, оглядел своих, лежащих вокруг него солдат. Остановил свой взгляд на Саше, который явно еще не отдышался. Во взгляде Командира — забота и что-то еще, какое-то особое внимание, интерес.

— Проскочили! — радостно вскочил на ноги Степка.

— Шумный ты, — повернул к нему голову Командир, и опомнившийся Степка как подкошенный упал на колени. — А тут все чудное... — ровным голосом добавил Командир.

Посерьезневший Степка смотрел на траву, кусты, деревья...

И дерево, и куст, и травинка, прогнувшаяся под пчелой, и сама пчела — все это было на чужой территории, все было чужое.

— Значит, так! — начал Командир, и все

внимательно слушали его. — Наша задача — разведка боем. Ребята вы надежные — сам выбирал.

— А Сашка? — спросил серьезно мужичок Васек. Он не глядел на Командира. Казалось, он всецело был занят разглядыванием только что пойманного, зажатого в пальцах крупного жука. — Сашка нам на что?

— Васек! — холодные глаза Командира уставились на Ваську. — Ну-ка, положи вражеского жука на место... Что-то я тебя не понял, Васек.

— Да ну... — вмешался Мишка, — про Сашку говорят: на своих настучал. Его палата ночью к морю дернула — поплавать, а он сдрейфил. Ну и... раскололся потом.

— Кто говорит? — дернулся к Мишке Командир.

— Ну... ребята, — замялся Мишка.

— Трет, — твердо сказал Командир и положил руку Саше на плечо. — Сашку не трож!

Саше было приятно, что за него заступился сам Командир, даже дышать легче стало.

— Ближе все! — приказал Командир и, вытащив из-за пазухи свернутую в трубочку карту, развернул ее.

Мальчишки склонились к карте.

— Мы, «синие», — тут, тут и тут. «Зеленые» здесь, — показывал Командир. — Вот флажок. Здесь наш штаб. Это где дуб дырявый, ясно?

— Ага, — кивнул Мишка и спросил наивно: — А их штаб где?

— Интересношься? — усмехнулся Командир. — Я тоже.

— А-а-а... — понял Мишка. — Найдем, да?

— Молодец, — серьезно похвалил Командир Мишку. — Взрослеешь на глазах.

— Спешу, сынок, — пихнул Мишку в бок Степка. — Я в твои годы уже умер.

— Саша! — Командир протянул ему карту. — Спрячь, понесешь.

Васек неодобрительно покачал головой, но ничего не сказал.

Под предводительством Командира маленький отряд покинул полянку.

Из-за камня высунулось лицо Мишки, исчезло.

Неподалеку на широкой ветке дерева распластался Степка. Наблюдает за полевым госпиталем «зеленых».

Палатка. Перед ней девочки в пилотках с красными крестами. Девочки копаются в картонной коробке с катушками ниток, иглами. Рядом на скамейке лежит стопка зеленых погон с красными полосками.

— Как не надо бинтов, как не надо?! — горячится долговязая девочка, прижимая к груди пачку бинтов.

— Ты правила знаешь? — спокойно спрашивает ее маленькая черненькая Света.

— Знаю! — наступает на нее долговязая. — Ну и что? А если в ногу ранили?

— Дурой не будь, — спокойно сказала Света. — В ногу, в руку, — передразнила она. — Два погона сорвали — убит. С этим все. Остался погон — ранен. И ему, раненому, — Света тряхнула перед лицом девочки пачкой погон с полосками, — пришьешь. Иголочкой. Быстренько. И не к ноге, пулей пробитой, не к уху. Вот сюда, вот! А в доктора... дома будешь. С куклой.

— Иди ты, Света, знаешь куда! Мы все равно бинтовать будем, да? — Долговязая ждала от девочек поддержки.

— Она офицер, может тебе приказать! — вступилась за Свету ее подруга Лена. — Ты рядовая.

К девочкам подбежал мальчишка с зелеными погонами.

— Свет! Давай в штаб, через десять минут совет командиров!

— Есть в штаб, — откликнулась Света.

Мальчишка торопился дальше, но его задержала Лена.

— Вить! Любка Свете не подчиняется. Приказ не выполняет.

Витя остановился, медленно повернулся, подошел к долговязой.

— А чего она... — начала долговязая.

— За отказ выполнять приказ — расстрел на месте! — гневно сказал Витя. — У меня право — лично привести в исполнение.

Витя протянул руку к плечам долговязой.

— Не надо, — попятилась та испуганно.

— Погоны долой и марш вниз! — кричал Витя. — А ну, стань смиренно. Руки по швам. Играешь — так играй!

Долговязая вытянулась перед Витей.

— Я не буду... Я буду выполнять. Правда, — долговязая со страхом смотрела на Витины руки. Пачки бинтов валялись у ее ног.

Вытянув руки вперед, Витя стоял перед застывшей долговязой. У него было странное выражение лица. Он мог «убить», мог «подарить жизнь». В глазах мальчишки плясала власть.

Наконец, опустив руки, Витя оставил долговязую в покое. Обернулся к остальным:

— Или играть, или... Не хотите — гуд бай. Обойдемся. Вечером, кто победит, на военно-морских катерах пойдут. Там прожектора, ракеты, трассирующими стрелять будут. Только, кто победит. Не все.

— До вечера еще дожить надо, — серьезно сказала Света.

— Да, — так же серьезно кивнул Витя и, глянув на часы, сорвался с места.

Витя убежал, а долговязая все еще стояла по стойке смиренно и бинты валялись у ее ног.

— Во все иголки нитки вденьте, чтоб не возиться потом. Когда начнется, не до того будет, — давала Света указания своим санитаркам. — Потренируйтесь пока. Лена старшая. А я — в штаб.

Степка с дерева махнул Мишке рукой и соскользнул с ветки.

Командир, Саша и Васек ждали Степку за поваленным деревом.

— Одна... — докладывал Степка. — Света ее зовут, офицер, сейчас к штабу пойдет. Мишка за ней следом. А тут у них санитарки. Погон с полосками — целая пачка, раненых лечить.

Командир взял за плечи Степку и Ваську:

— Вы оба к Мишке. Следить за ней — к штабу приведет. А мы с Сашей эту больницу пощекочем.

Девчонки одна за другой скрылись в палатке. У палатки сидела долговязая и старательно вдевала нитки в целый ежик иголок. Тут же лежала пачка запасных погон.

На долговязую легла тень. Перед ней стоял улыбающийся Командир. Из-за его плеча выглядывал чуть растерянный Саша.

Долговязая начала приподниматься, но Командир взял ее за плечи и усадил обратно. Потом он нагнулся, подхватил пачку погон и сунул в карман. Долговязая ахнула и завизжала.

Когда девчонки выскочили из палатки, на поляне уже не было «синих». Только долговязая, не переставая, визжала:

— Они! Они! Погоны взяли! Туда побежали!

— Сколько их? — быстро спросила Лена.

— Двое.

— Скорей! Догоним!

Девчонки кинулись в заросли по следам Саши и Командира. Долговязая за ними.

— А ты куда? — крикнула ей Лена. — Тебя ж кокнули.

Долговязая схватилась за плечи и только теперь поняла, что Командир лишил ее «жизни». И она заревела. Здоровенная дылда стояла одна посреди поляны и рыдала как маленькая. Но это было не смешно. В ее всхлипываниях звучали недетские обида, отчаяние, разочарование.

Света спокойно шла по лесу.

Мишка, Васек, Степка крались за ней. Хрустнула ветка под ногой у Мишки, и Света повернула голову. Вздрогнула. Остановилась, секунду подумала и резко изменила направление. Теперь она вводила чужих разведчиков от штаба...

Света бежит. Трое мальчишек гонятся за ней уже в открытую. Молча петляет Света среди деревьев, редко торчащих на склоне холма. Мальчишки обходят ее слева, справа. Окружают. Метнулась Света в сторону — там Васек руки растопырил, кинулась назад — там Мишка.

Всё. Догнали. Стоит Света, спиной прижавшись к стволу дерева, смотрит с насмешкой на застывших перед ней преследователей. Света хотела сорвать погоны со своих плеч, «живой» она не дастся, но сзади из-за дерева высунулись две руки, перехватили ее пальцы. Это вовремя подкрался вездесущий Командир.

И вот уже Света в плену.

Со связанными за спиной руками сидит Света на земле. Саша смотрит сзади на ее чуть побелевшие шевелящиеся пальцы. Васек рассматривает свои порванные брюки. Командир присел на корточки перед Светой.

— Не скажет,— заключил Командир, внимательно поглядев Свете в глаза. И повернулся к Степке: — Не могли тихо проследить? Разведчики!

К Свете шагнул сердитый Васек.

— Ну! Где ваш штаб?

— Ага! Так я и сказала,— огрызнулась Света.

— А вот мы тебя разденем,— навис над Светой Степка.

— Это нельзя,— сказал Саша и встревоженно глянул на Командира.

Командир кивнул ему: мол, пугаем.

Света побледнела, она переводила взгляд со Степки на Мишку, на Ваську и пыталась понять, всерьез ли угроза.

Степка взял пальцами ткань Светиной юбочки. Света дернулась от него и вдруг закричала. Коротко, громко.

С ужасом глядела Света — нет, не на мальчишек. Почти касаясь ее ног, сидела в траве мокрая холодная лягушка.

— Не любишь? — с интересом глядя на Свету, Мишка поднял лягушку на ладони. Света резко отвернулась. Ее била дрожь.

— Штаб покажешь? — спросил Степка.

Рука Мишки с зажатой в пальцах лягушкой придвинулась к лицу Светы.

— Убери, пожалуйста,— с трудом сказала Света. Она с отвращением глядела на шевелящуюся у самых ее глаз лягушку.

— Штаб,— сказал Степка.— Ну?

Отстраняясь от лягушки, Света оперлась спиной о дерево, с трудом встала на ноги. На лбу ее выступили капли пота.

— Не надо,— тихо попросила она.

Саша напряженно следил за происходящим.

— Скажешь? — спросил Мишка.

Света крепко зажмурилась, отрицательно помотала головой. Тогда Мишка быстро сунул лягушку ей за пазуху, под майку. Под

тканью майки было видно, как лягушка скользнула к поясу и зашевелилась над резинкой юбки.

Открыв в беззвучном крике рот, Света хватала губами воздух. Зрачки ее расширились. Стараясь не шевелиться, она замерла у дерева и только переступала с ноги на ногу.

— Я скажу, скажу, скажу...— быстро зашептала Света. Губы ее скривились, как у маленькой.— У... у... уберите ее.

Командир отстранил Мишку и протянул руку, чтоб достать лягушку, но... маленькие Светкины грудки, едва заметные, но уже существующие так, под майкой, смutilи Командира. Он на секунду замешкался — не решаясь сунуть руку под майку, искал выход. Нашел. Командир оттянул резинку Светиной юбки, и лягушка, скользнув по напряженным ногам девчонки, упала на траву.

Света рыдала. Со связанными за спиной руками она лежала, уткнувшись носом в траву. Сломившие ее волю мальчишки стояли над ней, не зная, что им делать со своей победой.

Внезапно шелест кустов, треск, топот хлынул сверху. С холма бежали «зеленые». Впереди мчалась Лена со своими девчонками. «Зеленых» было много.

— Уходим,— спокойно сказал Командир.

Отбежав несколько шагов, он остановился. Ухватил за руку чуть не промчавшегося мимо Сашу.

— Саша, вернись, погоны с нее надо.

Саша смотрел на Командира, ничего не понимая. Лицо Командира изменилось:

— Это приказ! Слышишь?

Света подняла голову, смотрела на своих. Но Саша уже приближался к ней. Света поняла, зачем он идет. Поднялась, торопливо заковыляла навстречу своим.

— Живее! — подстегнул Сашу криком Командир.— Ну что ты там?

Саша почти догнал Свету. Оглядываясь на него, она, падая и поднимаясь, карабкалась вперед.

«Зеленые» лавиной катились вниз.

Лишь руки протянуть осталось Саше к Светиным поганам, но крик Командира остановил его. Командир мчался к Саше.

— Поздно. Беги. Схватят! — орал Командир и размахивал руками.— У тебя же карта! Карта у тебя!

Лавина «зеленых» накатилась. Отрезала Сашу и от Светы, и от Командира. Командир ловко увернулся от нападающих, помчался к своим. Саша кинулся в другую сторону.

— За этим! За этим! — кричала Света, пытаясь плечом показать на Сашу.— У него карта. Живым его брать, живым!

Саша промчался мимо высокого дерева и развилки, где разбегались тропы, метнул-

ся в кусты, упал. Прямо перед ним торчал старый пень с дуплом. Одно движение — и Саша, вытащив из-за пазухи трубку карты, сунул ее в дупло. Вскочил, кинулся бежать и попал прямо в объятия преследователей. Борьба была недолгой. Девчонки навалились на Сашу кучей, подмяли его, прижали к земле.

Раздвинув плечи столпившихся над Сашей «зеленых», к нему склонилась уже освобожденная от пут Света.

— Палач! — бросила Света ему в лицо.

Голова Саши, которого крепко держали за руки и за ноги, дернулась, словно от удара. Несколько секунд Света в упор глядела на беспомощного, распластанного на земле врага. Потом она усмехнулась.

В темноте вспыхнул фонарик. Осветил лицо зашмурившегося от неожиданности Саши. Он сидел на табуретке со связанными за спиной руками. Луч фонарика ощупал поганы на его плечах, скользнул по ногам и снова уперся в лицо. Невидимый из-за фонарика мальчишка сказал с чуть заметной иронией:

— Пытать мы тебя не будем. Лягушек там разных, пауков в штаны... Мы — не вы. Но про карту скажешь. Мне. Ну? Куда ты ее дел?

Шурясь в луче фонарика, Саша молчал.

— Герой, — усмехнулся голос. — Карту бросил и наутек. Мы и сами, конечно, найдем. Где искать, ясно. Но... хотелось бы побыстрей ее получить. Так вот, Саша Данилов, второй отряд, в игре рядовой, был недавно в твоей биографии такой случай сомнительный: кое-кто ночью к морю слинял — поплавать, а кто-то взял да наступал. И почему-то подумалось кое-кому: уж не Саша ли это Данилов постарался.

Саша слушал, молчал, и в призрачном свете фонарика его лицо казалось то испуганным, то, наоборот, — отрешенным.

— А теперь, Данилов, слушай внимательно. Скажешь мне одному про карту — где, никто не узнает, наоборот: буду про тебя, как про героя, — молчал до последнего и точка. А вот если не скажешь... Игра-то кончится, но тебе тут быть еще со своими ребятами, а уж я постараюсь в подробностях, как ты карту выдал, чтоб отпустили, а мы тебя отпустим. И поганы не тронем. Найдем карту и отпустим. Даю тебе десять минут. Выбирай. Десять минут.

Фонарик лег на камень и осветил стоящий перед ним старый будильник, на котором было без десяти десять. Хозяин фонарика отдернул брезент и вышел из «кабинета».

Саша сидел в каком-то сарае, вместо одной стены — натянутый брезент. Тикал будильник. Саша закрыл глаза...

Отдернулся брезент, и вернулся парень, который допрашивал Сашу.

— Карта у нас, — сказал он иронично. — Без тебя обошлись. Сам себе устроил. Иди.

Саше развязали руки, подтолкнули его в спину, и, шурясь от света, он пошел мимо с любопытством глядящих на него групп «зеленых».

Света шагнула в сторону, уступая ему дорогу. Она смотрела на Сашу с ненавистью и презрением.

— Глянь, живой идет, — сказал кто-то у Саши за спиной. — Спасся. Ну и дурак же ты.

«Враги» смеялись. Кто-то заулюлюкал, затопал вслед. Саша побежал. Он, наверно, и сам не смог бы объяснить, куда он мчался. Он бежал, спасаясь от взглядов «врагов», убежденных, что он, Саша, только что предал своих. Он понимал: хозяин «кабинета» сделал, как обещал, — оповестил всех, что Саша сам рассказал, где карта.

Ничего не видя перед собой, с глазами, полными слез, бежал, шел и снова бежал Саша. Метался перед лицом ветки, прыгала под ногами трава.

Саша остановился. В глаза ему бросились знакомое дерево и развилка. Где-то здесь был старый пень с дуплом, в который он спрятал карту. Здесь нашли ее «зеленые», и ему, Саше, не смыть с себя позора предательства.

Вот он! Саша упал на колени, опустил голову на пень, обнял его и... сунул руку в дупло. Карта была на месте.

Саша держал в руке свернутую в трубку карту. Значит — не нашли. А если так, то, выходит, за ним следят. Он быстро оглянулся. Неужели он сам по глупости привел «врагов» к карте?! Ну уж нет. Саша с картой в руке бросился бежать. И сейчас же из-за дальних кустов высочили «зеленые». Двое. Нет, четверо...

«Зеленые» мчались к Саше.

Саша поднимался вверх по осыпающейся насыпи к шоссе. Катились вниз камни, щебень. «Враги» догоняли, но Саша уже вот — на дороге, поднял руку...

Мимо проплыл автобус, пассажиры из окон равнодушно глядели на мальчика.

«Жигуленок» остановился и подхватил беглеца, когда преследователи уже были совсем близко.

В машине молодой парень за рулем покосился на Сашины поганы и усмехнулся:

— Война, что ли?

На заднем сиденье, оказывается, была девушка.

— А это секретное? — весело спросила она и коснулась пальцем зажатой в Сашином кулаке карты. — Можно потрогать?

Саша быстро, испуганно сунул карту под майку.

Рука девушки, протянутая к карте, повисла в воздухе. От неожиданности она рассмеялась.

Парень за рулем бросил взгляд на Сашу, улыбнулся, но что-то заставило его снова взглянуть на своего странного пассажира.

«Жигуленок» катился по серпантину горного шоссе.

— Ага! Вот и погоня, — сказал водитель, глянув в зеркало заднего вида.

За «жигуленком» шла «Волга». Шофер в «Волге» тоже улыбался и вел машину след в след «жигуленку», а сзади — сосредоточенно и серьезно следили за «жигуленком» Сашины преследователи.

— Не бойсь! Уйдем! — водитель «жигуленка» прибавил скорость. Он наклонился вперед, руки его, лежащие на баранке, напряглись, глаза чуть сощурились...

«Волга» не отставала. Шофер «Волги» явно развлекался.

Девушка в «жигуленке» тоже получала искреннее удовольствие от приключения.

— Ты Штирлиц или Джеймс Бонд, а? — спросила девушка Сашу и, не дождавись ответа, высунулась в окошко, выставила палец, имитируя пистолет, стала «обстреливать» машину преследователей.

— Тыдых! Тыдых! — кричала девушка.

Теперь горная дорога круто пошла вниз. Внезапно «Волга» резко увеличила скорость, пошла на обгон. Машины поровнялись.

— Бронебойными, бабах! — веселилась девушка, тыча пальцем в Сашиных преследователей, молча глядевших на нее.

Завизжали тормоза. Крутой вираж. «Жигуленок» снова вырвался вперед. Теперь он не давал «Волге» обогнать себя.

Девушка уже не веселилась. Она притихла, вцепившись руками в сиденье. Потом спросила удивленно:

— Митя, ты чего?

Водитель не ответил. Поглощенный погодой, он смотрел прямо вперед. Так же напряженно вперед смотрел сжавшийся на переднем сиденье Саша.

«Жигуленок» выскочил из-за поворота и резко затормозил. Дорога впереди была забита машинами. Пробка. По полосе встречного движения медленно поднимался тяжелый грузовик. «Жигуленок» остановился в хвосте пробки. Подкатила «Волга» и встала за «жигуленком».

Хлопнули дверцы. Четверо преследователей вышли из машины и направились к «жигуленку».

Хрустели по придорожному гравию их шаги.

Саша, не оглядываясь, медленно, тайком, поднял руку и опустил кнопку, запирая свою дверцу.

Преследователи подошли вплотную к машине. Девушка внезапно метнулась вправо,

влево, закрывая задние дверцы. Водитель «жигуленка» положил, будто случайно, локоть на кнопку своей дверцы. Кнопка щелкнула.

Машина была заперта, а четверо преследователей стояли вокруг и, чуть наклонившись, смотрели в окошко на Сашу.

Гудел работающий двигатель. Водитель «жигуленка» медленно повернул руль влево. Преследователь, стоящий у левого колеса, чуть отступил.

«Жигуленок» рванулся с места, выскочил на встречную полосу и, нарушая все правила, рискуя ежесекундно столкнуться лоб в лоб с встречной машиной, помчался вдоль длинного ряда легковушек, грузовиков, автобусов... и исчез за поворотом.

Маленький поселок, расположенный между горами и пляжем, казался полупустым. По крутой узкой улочке поднимались редкие отдыхающие с полотенцами, пляжными сумками. Пятачок — центральная площадь поселка казалась покатою. Здесь стоял закрытый на всякий замок ларек с сувенирами. Рядом — пустой автомат без газированной воды. Напротив — стеклянный павильон почты.

Саша вошел в прохладный после солнечной площади полумрак почты, подошел к окошку. Женщина за стеклянной перегородкой, занятая какими-то своими делами, даже не подняла головы. Кабина междугородного телефона-автомата стояла в самом углу павильона свободная. Саша протянул женщине в окошко рубль, и она отсчитала ему горсть пятнадцатикопеечных монет.

Он вошел в кабину автомата, плотно закрыл дверь и опустил монеты в щель. Набрал номер.

Сначала были долгие гудки, а потом такой знакомый родной голос сказал:

— Да!

— Мама! — крикнул Саша.

— Саша! Сынок! — голос обрадовался. — Здравствуй, родной. Как ты там? — теперь голос приблизился, он звучал в полную силу.

Но Саша уже не прижимал трубку к уху. Трубка качалась на шнуре, с улицы через стекло заглядывал мальчишка с зелеными погонами на плечах.

Посреди площади стояла «Волга». Четверо Сашиных преследователей разбежались в разные стороны.

Трубка качалась на шнуре, и встревоженный голос бился в ней, как птица в тесной клетке:

— Саша, Саша, Саша, я ничего не слышу! Сашенька! Я не слышу тебя, сынок.

Саша был здесь, в кабине. Сжавшись, он сидел на корточках в углу и смотрел на качающуюся трубку.

— Мама,— полушепотом сказал Саша.— Мама...

— Господи, да где же ты, сынок!..— летело из трубки. Потом голос прервался короткими гудками на полуслове.

Толкнув дверь плечом, Саша осторожно выглянул из кабины. Преследователь в зеленых погонах стоял у стеклянного окошка.

— А в Днепропетровск можно позвонить? — гулко раздался голос в пустом помещении.

— Там код в кабине,— ответила женщина. Звякнули монеты.

Преследователь вошел в кабину, протянул руку к висящей на шнуре трубке, положил ее на рычаг.

Саша стоял за открытой дверцей кабины, прижавшись к стене. Он слышал, как преследователь набрал номер. Потом услышал его крик.

— Мама! У меня монеток мало. Тут тепло. Я плавать научился,— торопился преследователь.— Нет, мама, ничего не надо...

Саша осторожно выскользнул из засады, шагнул, дверь кабины скрипнула. Преследователь оглянулся. В ту же секунду Саша кинулся в кабину, сорвал погоны с его плеч.

На шум выглянула из окошка женщина.

— Эй! А ну...— крикнула она.

Но Саша уже не слышал. Он выскочил из почты на солнечную площадь.

— Вот он! Вот! Держи! — заорал шофер «Волги», стоявший у своей машины.

С разных сторон площади трое преследователей кинулись к Саше. Саша увернулся от ближайшего, кинулся в переулок, круто уходящий вверх.

Мечется Саша по узким кривым улочкам поселка. Кажется — время остановилось. Вновь и вновь уходит Саша от погони в лабиринт улочек с каменными стенами, проходных дворов, переплетающихся лестниц, а преследователи вновь и вновь находят его, вот-вот настигнут. И нигде не укрыться беглецу.

Трое преследователей мчатся по пятам. Жестки их лица. Какая же это игра! Разве бывают такие глаза у играющих детей? В глазах преследователей нет пощады, нет жалости. А в глазах жертвы только один всепоглощающий животный страх. Идет охота на человека. Это уже не игра. Это реальность. И человеческим чувствам нет места в этой ставшей реальностью игре.

Наконец Саше удалось на несколько секунд оторваться от погони. Сбегаю по узкой улочке, он вдруг заметил приоткрытую калитку в глухом, затянутом зеленью заборе. И скользнул в нее. Калитка закрылась за Сашей, отделив его от погони.

Саша приник к узкой щели. Гулкие звуки погони пронеслись и исчезли. Внезапная неожиданная тишина настораживала, пугала.

Вдруг Саша почувствовал за спиной движение, что-то хрустнуло... Мгновенно, как пружина, он развернулся, выставил руки вперед, готовясь встретить подкрывшегося врага, и застыл, замер.

Перед ним, вжавшись в колючий куст, стояла девочка лет четырех. С ужасом глядела малышка на Сашу, все сильнее и сильнее вжимаясь голым плечиком в колючки куста.

И Саша, замерший в атакующей позе, медленно осознал, что перед ним не враг, покушающийся на погоны и карту, а просто человек из мира других отношений, из мира «вне игры».

Наконец Саша отвел глаза.

— Я уйду... Скоро. Не могу сейчас...— сказал он.— Ты... не бойся.

Саша протянул руку к малышке, но этот жест переполнил чашу страха. Девочка дернулась, и по ее ножкам потекло. Лужица расплзлась вокруг мокрых сандаличков.

Саша попятился, спиной толкнул калитку и оказался на улице.

Трое преследователей стояли в самом конце улочки. Увидев Сашу, они бросились за ним. Но он исчез, завернув за угол...

Саша выбрался из поселка. Он поднимался по крутому склону к скалам, сильно оторвавшись от преследователей. Оглянувшись, Саша увидел, как преследователи разделились, один пошел в сторону, а двое продолжали путь по прямой.

Когда Саша подошел к скале и вновь оглянулся, оказалось, что двое преследователей значительно сократили разделявшее их расстояние.

В ближайшей скале зиял высокий вход в пещеру. Саша шагнул под каменный свод. Собственно, это была еще не пещера, а большая ниша в скале. Сама пещера — щель между камнями в глубине ниши — оказалась узкой, тесной и темной. Саша исчез в ней.

Голоса преследователей приблизились, и в нишу вошли двое. Они склонились к щели.

— Вылезай, вылезай! — крикнул крепыш в очках.— Отсюда никуда не денешься.

— Все равно вытащим. Чего ждешь? — крикнул второй, стриженный наголо.

Оба были крупней Саши, явно сильней его. Оба чувствовали себя уверенно.

— Вот завалим камнем и сиди там,— пообещал крепыш.— Давай, Серега, кати этот камень.

Саша лежал в каменном мешке почти в темноте. Слабый свет из щели слегка освещал его лицо. Свет то исчезал, когда его загораживали топчущиеся у щели преследователи, то вновь появлялся. Саша слышал голоса, пыхтение, скрежет передвигаемого камня.

— Ну-ка, взяли! Еще! Так!

— Держу. Кати его!

Саше казалось, что вот-вот закроется щель,

прервется нить света, связывающая его с солнцем, небом, со всем миром.

Но преследователи не собирались заваливать пещеру. Стоя под сводами у щели, они имитировали скрежет перекачиваемого камня, обменивались репликами: «Взяли. Тащи». Они пугали Сашу.

Когда стало ясно, что Саша не поддается, крепыш в очках сказал:

— От поганец. Не идет. Надо лезть.

— Давай я! — предложил Серега, но крепыш уже снял очки, положил их аккуратно на камень и полез в щель сам.

Сначала исчезли его плечи, потом обтянутый джинсами зад, из щели торчали только ноги в кедах.

Серега приложил свою стриженую голову к этим кедам, старался услышать, что происходит там, в глубине. Но из щели доносилось только сопение крепыша.

Вдруг кеды дернулись, и Серега, получив по уху, отскочил. Полупридушенный вопль крепыша рвался из щели.

— Гад! Гад! Трус поганый! Трус!

Крепыш, извиваясь задом, с завидной быстротой выползал из щели. Вот он появился с поцарапанным лицом и одним погоном.

— Трус! Трус! Трус! — бессмысленно повторял крепыш чуть не плача.

— Он с тебя погон... — сочувственно сообщил Серега.

— Знаю. Тесно там, — огрызнулся крепыш, оправдываясь.

— Говорил, давай я, — попрекнул Серега.

— Ну лезь, лезь, давай, — немедленно пригласил крепыш. Серега не полез.

— Один погон ничего, — утешал он крепыша. — Спустимся, девчонки пришьют с полскойой.

Крепыш, сощурившись, глядел на Серегу. Обида и злость распирали его. Казалось, сейчас он обрушится с насмешками на Серегу за то, что тот не полез в щель. Но гнев на Сашу переселил.

— Сейчас я его, сейчас... — забормотал крепыш и, схватив очки, выбежал из-под каменной арки.

Сухая еловая ветвь нашлась неподалеку. Злорадно шевеля губами, крепыш поймал в стекло очков солнечный луч, и сухие иголки задымались.

У щели Серега тыкал в глубину палкой и, пытаясь задеть там Сашу, приговаривал: — Вылезай, вылезай!

С дымящейся веткой в руке крепыш отпихнул Серегу, сунул ветвь в щель. Дым потянуло в глубину.

— Тащи его! — крикнул крепыш. — Сейчас выскочит.

Через несколько секунд ворох веток у щели пылал костром. Дым густо шел в глубину.

А там, в глубине и темноте, сквозь узкий проход пробирался Саша... Впереди мелькнул

свет, и Саша выполз из скалы, нависшей над морем.

Крутая скала отвесно падала вниз. Море было далеко внизу. Узкая тропинка, еле видная, вела от пещеры. Прижимаясь к скале, вытянув руки, Саша осторожно пошел по этой тропинке. Тропинка стала еще уже. Саша повернулся спиной к скале, пошел боком. Заглядывать вниз было жутко. Наконец, с трудом обогнув выступ, Саша попал на маленькую площадку. Здесь можно было передохнуть.

Скала огромна, море огромно, небо огромно. И на этом фоне — маленькая фигурка Саши. Он остался наедине с морем, небом, горами. И ему стало не по себе.

Вдруг из-за выступа показалась рука. Осторожно, повернувшись лицом к скале, приближался третий преследователь, тот самый, чьто пошел в обход.

Мальчик встал на площадку, повернулся к Саше и... замер от неожиданности. Несколько секунд оба настороженно глядели друг на друга. Саша молчал. Мальчик в зеленых погонах, оценив обстановку, — здесь, на маленькой площадке, играть было нельзя, слишком опасно — сказал хриплым голосом:

— Слушай, начнем дурака валять, оба свалимся.

— Да, — подтвердил Саша.

— Не собираюсь дурью маяться, — сказал мальчик. — Не играю. Понял?

— Ладно, — согласился Саша.

— А ты играешь? — спросил мальчик. Саша кивнул.

— А я — нет, — сказал мальчик. — Здесь — глупо.

— Да, — снова кивнул Саша.

— Проходи, — сказал мальчик и прижался к стене. — Я не трону.

Саша двинулся с места.

— Ты что, не веришь? — спросил мальчик после паузы.

— Нет.

— Нет?

— Нет.

— Почему?

— Потому что игра, — сказал Саша.

— Да в гробу я видал! — закричал мальчик. — Ты кретин, да? Не врубаешься? Тут вниз метров двести. Ну хочешь, я руки за спину?

— Хочу.

Мальчик заложил руки за спину.

— Иди, — позвал он Сашу.

Саша шагнул. Еще шагнул, еще...

Мальчик напряженно следил. Вдруг лицо мальчика изменилось. Он поднял руки, защищаясь от Саши. Саша отшатнулся.

— А ты? — хрипло спросил мальчик. — Не тронешь?

Саша отрицательно покачал головой.

— Честно? — спросил мальчик. — Дай честное слово.

— Честное слово, — сказал Саша.

— Что «честное слово»? — потребовал мальчик уточнения.

— Что не трону.

— Хорошо, — мальчик несколько секунд чувствовал облегчение. Потом недоверие вернулось. — Нет. Тут честное слово не считается. Это же война. Тут ничего не считается.

Огромное небо. Огромное море. Скала. Если отодвинутся далеко, две мальчишеские фигурки будут едва различимы. Отойти еще дальше, и фигурки сольются в одно пестрое пятнышко, в нечто целое. Но это обман зрения.

— Иди назад, в ту сторону, — предложил мальчик.

— Нет, — отказался Саша.

— Хорошо, — легко согласился мальчик. — Стань там. Я уйду, а потом ты.

Саша отошел от мальчика, насколько позволяла площадка. Мальчик приготовился уйти в ту сторону, откуда пришел. Но для этого ему нужно было повернуться к Саше спиной. Сделать это он не решался.

— Я повернусь, а ты меня... да?

Саша молча глядел на мальчика. Потом он отрицательно помотал головой.

— Ага. А откуда я знаю?.. — криво усмехнулся мальчик.

— А я? — Саша был вправе задать тот же вопрос.

— Мы что, не можем договориться? — удивленно спросил мальчик.

На этот вопрос ответа не знали оба.

— Я же тебя знаю, — с обидой сказал мальчик. — Ты из второго отряда. Помнишь, мы с тобой в теннис играли?

— Да, — кивнул Саша и, помолчав, добавил: — Это тоже не считается. Теперь не считается.

И они сцепились — Саша и мальчик с зелеными погонами. Схватили друг друга за руки и жали, давили друг друга, стараясь добраться до погон. Силы были примерно равны. Обоим было страшно, но они все равно боролись, упираясь ногами в уступы скалы. И тот и другой старались действовать осторожно, ведь пропасть была совсем рядом. Но борьба есть борьба. И вот уже все меньше осторожности в их движениях. Все яростней рывки и толчки.

И вдруг... камень выскочил из-под ноги мальчика и стуча помчался вниз. И снова тишина.

А они все так же стоят у самого края, вцепившись друг в друга. Мальчик покачнулся над бездной и потянул за собой Сашу. Глаза их встретились, в них общее выражение — страх. Они снова покачнулись и... устояли. Поддерживая друг друга,

сделали шаг от пропасти, еще один. Прислонились плечами к стене. Облегчение было в их глазах...

Во время борьбы они поменялись местами. Теперь мальчик был с той стороны, откуда пришел Саша.

Больше они не боролись. Очень осторожно, молча, не отпуская рук, стали расходиться, пятясь назад. Вот пальцы разжались. Не спуская друг с друга глаз, они двинулись с площадки в разные стороны, повторяя движения друг друга.

Вот оба исчезли, только их руки, цепляющиеся за камни, еще видны с площадки. И, наконец, на площадке — никого.

Все быстрее и быстрее спускается Саша к морю. Шире стала каменистая тропа. Вот и безлюдная бухта между скалами.

Языки волн лижут следы от Сашиних сандалий. Саша оглянулся. Погони за спиной не было.

Саша в два прыжка преодолел мелкую горную речушку, которая несла свои мутные воды в море, и увидел множество следов детских ног. В песке лежали поломанные деревяшки-автоматы, валялся растоптанный пластмассовый игрушечный пистолетик. То здесь, то там на песке шевелились обрывки синих погон. Саша поднял два обрывка, приложил друг к другу — они не сходились.

У берега волны шевелили растерзанный дощатый плот с привязанными к нему тремя автомобильными камерами. Камеры были изрезаны. На одной, полуспущенной, читалась надпись детским корявым почерком: «Крейсер».

Но нигде никого не было. Саша двинулся вверх по течению речушки и углубился в заросли.

Здесь было тихо и спокойно. Не останавливаясь, Саша вытащил из-за пазухи карту, развернул и на ходу стал рассматривать. Флажок, обозначавший штаб, был у самого края карты. А вот линия моря. Саша пальцем провел по карте маршрут от моря к флажку. Этот путь ему предстояло пройти, чтоб добраться до своих. Саша поднял голову от карты, пытаясь определить направление. Определил и шагнул с тропы.

И вдруг он замер. Сунул карту за пазуху, встревоженно огляделся. Вокруг, казалось, никого не было, но... Саша поднялся. Невнятный шепот прозвучал где-то близко, треснул сучок, и снова все стихло.

Перед Сашей громоздилось густое сплетение кустов. Один куст смотрел. Куст смотрел на Сашу испуганными глазами.

— Ты наш, — внезапно сообщил Саше куст. И сказал куда-то в сторону: — Он наш.

У куста появились еще одни глаза. Там, в сердцевине, защищенные от всего мира

сплетением ветвей, как в большом гнезде, сидели, затаившись, двое малышей с синими погонами на плечах. Семилетние мальчики из младшего отряда.

Саша пролез к ним в гнездо и сразу оценил уют и защиту, которую давал куст малышам. Отсюда не хотелось уходить.

— Вы тут что? — спросил Саша.

Оба малыша стояли рядом, жались друг к другу в тесноте куста. Они были какие-то притихшие и не спешили отвечать на Сашин вопрос.

— Сидим, — наконец сказал один из малышей, белобрый, и почему-то отдал Саше честь, приложив ладошку к носу. — Все убежали.

— Убили их, — поправил белобрый второй малыш с оттопыренными ушами. — Всех.

— Мы десант были. На плотках... — белобрый заговорил быстро. — Пять плотов, весь младший отряд...

— Приказ нам дали, — перебил ушастый, — приплыть, плоты разломать...

— Спрятать, — вставил белобрый.

— И кричать «Ура!» громко.

Ушастый и белобрый рассказывали все быстрее, перебивая друг друга, но говорили тихо, почти шепотом:

— Мы с плота слезли, никого нет...

— И мы кричали...

— Долго...

— И вдруг они...

— Сверху...

— «Зеленые»...

— Все старшие. Большие...

— Нечестно. Нам же до плеч не достать, до погон их.

— Они раз, раз — всех убивают...

— И мы убежать стали...

— Девчонок сразу догнали...

— А мальчишек не всех...

— Вот мы...

— Еще Колян и Серый тоже... но их потом...

— Нашли. Тут везде искали. В ряд встали и шли...

— А нас — нет...

Увлечшись, малыши заговорили громче. Шорох в кустах мгновенно заставил малышей смолкнуть и присесть. Страх прокатился по их лицам. Сидя на корточках, Саша тоже пригнул голову. Ушастый зажмурился, а Саша и белобрый, напряженно прислушиваясь, глядели друг на друга.

Вслед за шорохом раздалось хлопанье крыльев.

— Птица, — прошептал ушастый и открыл глаза.

— Можно нам с тобой? — белобрый с надеждой глядел на Сашу.

— Мы тихо-тихо, — пообещал ушастый. Саша осторожно крался среди редких ство-

лов сосен. Потом он оглянулся, махнул рукой. Сзади появились два малыша и, пригибаясь, подбежали к Саше. Саша осторожно пошел вперед. Перебегая от дерева к дереву, малыши шли за ним.

Лес вокруг жил своей размеренной жизнью. Тишину нарушали только птичьи голоса, и напряжение постепенно стало спадать. Саша и малыши не прятались, они уже шли рядом, переговаривались. Сначала тихонько, а потом, забывшись, громко, в полный голос.

— Да знаю я, — захлебывался словами белобрый. — Мне братан приемы показывал: «подсечка», «мельница», захваты разные. А боевое самбо, когда пистолет отнимать. Или нож. Вот так — раз... и хоп!

— То самбо, а то каратэ, — возражал ушастый.

— Так боевое, боевое же, понял! — не сдавался белобрый. — Саш, скажи, что у десантников? Каратэ или самбо?

— И то, и то, — сказал Саша. Он снова вытащил карту и, повернувшись спиной к малышам, уточнял направление к штабу.

— Покажи, а! — дернул Сашу за рукав белобрый.

— Не надо нам... смотреть, — остановил белобрый ушастый. — Не знаешь, так и не выдашь, — серьезно сказал он. — А то мало ли что.

Белобрый смолк.

— Пошли, — позвал Саша и двинулся дальше. Малыши шли за ним.

— Тебе аппендицит резали? — спросил белобрый ушастого.

— Нет.

— А мне — вот! — белобрый на ходу задрал майку, показал шрам. — Ух, болело.

Ушастый кивнул с уважением.

— Это с наркозом, — задумчиво сказал белобрый, — а представляешь, если без?

Трое ребят давно уже шли по долине, и никто не покушался на их «жизни», сосредоточенные в синих погонах на плечах.

— Нет, на войне понятно, — говорил белобрый. — Убил его или в плен. А просто драка? Ну... во дворе, в школе. Когда переставать? Если маленький — он заплачет, убежит. А когда вырос — думаешь: что я, трус? Плакать там, убегать. Я с одним стучался. Он меня — я ему сдачи. Он опять. Я ему — еще. И он. Долго так, пока дядька один не шел. А то — не знаю, как уже не драться чтоб. Если бы он упал, и все. А он встает. И опять.

— Книжку читал, — усмехнулся Саша, — раньше мужчины до первой крови дрались или до второй. Еще было такое: «до первой мамы».

— Чья скорей выскочит? — засмеялся ушастый.

— Не-е, пока не заорет: «Ма-а-а-ма-а!» — сказал белобрый.

Все трое захохотали.

Постепенно взрыв веселья угас, рассосался как бы сам собой. Ребята шли дальше. Легко и звонко перекатывались в лесу их голоса.

— Если с детства трус,— говорил белобрысый,— так уже навсегда. И вырастет — все равно подвиг не сможет совершить.

— Разозлится — сможет,— сказал Саша.

— Злые, что ли, подвиги совершают? — удивился ушастый.

— Нет,— попробовал объяснить Саша.— Нормальные. Но вообще-то рассердиться надо, чтоб в атаку или там под танк с гранатой. Ну вроде как обидеться на врагов сильно очень. Тогда — да.

— Не,— возражал белобрысый,— трус не так злится. Это разное. А вообще, война теперь другая будет. Без подвигов.

— Чего это без подвигов? — не согласился ушастый.

— А когда? Ракета — вжжик. И все! — обьяснил белобрысый.

— Мне,— начал ушастый,— папа говорил...

— Папа, папа! — передразнил белобрысый.— Чё он, твой папа, знает? У меня дед и то на войну не успел. Маленький еще был, когда фашисты...

— А мой папа был,— ушастый сказал это просто, как если бы сообщил, что папа его шахтер или токарь.

— Ага. Во сне,— засмеялся белобрысый.

— На танке,— сказал ушастый.

— На подушке,— хихикнул белобрысый.— Верхом.

— Дурак ты! — всерьез обиделся ушастый.— Я сам помню, когда он там был. А потом приехал.

— Во дает! — даже восхитился белобрысый.— Ладно врать-то. Сначала деды, потом папы. У тебя папа — дедушка? Да? Война когда была! Ого! Сорок пятый год. А сейчас? — Это другая.

— Какая другая? Войны две было. Первая — мировая! — загнул палец белобрысый.— Вторая — отечественная. Ну еще там гражданская. Эта вообще! — белобрысый даже сморщился, не в силах представить себе бездну времени, отделяющую его от той, с танками и шашками, почти легендарной войны.

— Еще была,— упрямо сказал ушастый.— Папа, когда в армии служил, ездил туда. Она и теперь эта война. Там,— ушастый махнул рукой куда-то за лес, за горы.

— Ну чё он лепит? — обратился белобрысый за помощью к Саше.— Какая это война теперь? Разве есть?

— Есть,— сказал Саша.

Белобрысый недоуменно моргал. Он шел за Сашей и ушастым и то и дело ловил себя на странном ощущении, что вот — вокруг так тихо, мирно, даже их детская война осталась где-то вне реального мира, а в эту мину-

ту, пусть далеко, но прямо сейчас, идет реальная, взаправдавшая война.

Ушастый, обиженный недоверием белобрысого, примолк. Саша внимательно поглядывал по сторонам, он боялся заблудиться.

Белобрысый плелся за ними. И вдруг он увидел орех. Крупный грецкий орех в лопнувшей темно-зеленой коже лежал на траве. А вот еще один. И еще. Орехов было много, они напáдали с могучего раскидистого дерева. Только теперь белобрысый почувствовал, что голоден. Проглотил слюнки.

— Ребя! — радостно окликнул он ушедших вперед Сашу и ушастого.— Орехов тут! Во!

Через минуту все трое собирали орехи. — Давайте туда, на камни, расколем! — суетился белобрысый.

Ребята перетаскали орехи к большому камню, дружно раскололи, сложили ядрышки в одну кучу, честно разделили на троих и приступили к трапезе.

Белобрысый, ощущавший себя кормильцем маленького отряда,— ведь это он нашел орехи — начал рассказывать с набитым ртом: — Анекдот знаете? Удав провинился, да?

А мартышка говорит: «Давайте его накажем — отрубим ему голову». «Не,— говорит слоненок,— это очень строго, давайте только хвост отрубим». А попугай: «Правильно. Отрубим хвост. По самую голову».

Ушастый фыркнул с набитым ртом. Саша тоже смеялся.

Сунув в рот последний орех из своей кучки, белобрысый вскочил:

— Там на дереве еще полно! Шас!

Белобрысый ловко взобрался по толстому стволу ореха и исчез в могучих ветвях. С глухим стуком стали падать на траву орехи.

Саша и ушастый сидели в отдалении у камня. Вдруг ушастый схватил Сашу за локоть. Саша обернулся и сразу увидел «зеленых».

Их было человек девять. Крепкие, ловкие ребята, они бесшумно и быстро бежали к дереву, на котором рвал орехи белобрысый. Сашу и ушастого они не заметили.

Саша видел, как «зеленые» окружают орех. Он быстро схватил лежавшую рядом с ним на траве карту, сунул за пазуху.

Ушастый присел рядом с ним и поглядел на него ставшими вдруг огромными испуганными глазами.

Сразу за камнем был овраг, и, пятясь от камня, Саша и ушастый сползли в него.

В зеленых недрах дерева белобрысый стоял на прогибающейся ветке и, держась за дружку, еще тоныше, тянулся к дальним орехам. Срывал их и, разжав пальцы, отпускал. Медленно, медленно уходили орехи вниз, пролетали мимо бесчисленных листьев, мимо других, еще не сорванных орехов, прочно сидящих на своих черенках. Здесь, среди ветвей, белобрысый существовал как бы в ином мире,

в другой вселенной. Здесь не было, как в нашем привычном мире, верха, низа, земли, неба. Само пространство здесь, казалось, имеет другие измерения.

Белобрысый, вытянув руки, плыл от ореха к ореху.

Вылетая из этой зеленой, пронизанной солнцем вселенной, сорванные белобрысым орехи, глухо стуча, падали на землю, а внизу, задрвав головы, стояла небольшая часть человечества — земные мальчишки с зелеными погонами на плечах. Глядели вверх, ждали белобрысого.

Саша и ушастый сидели в зарослях на дне оврага и, глядя друг другу в глаза, напряженно вслушивались в дальние голоса у дерева. Слов было не разобрать, только смех.

— Её надо донести, да? — дотрагиваясь до карты, спрятанной под майкой у Саши, почти беззвучно спросил ушастый.

Саша облизнул пересохшие губы, кивнул утвердительно...

Белобрысый сидел на нижней развилке дерева и плакал, громко всхлипывая.

«Зеленые» добродушно посмеивались, звали его вниз, перекидывались веселыми репликами:

— Ну хватит, слезай. Мы тебе ничего не сделаем.

— Убьем только, и все.

— Что он тут один? Разведчик, что ли?

— Не. Это же морской десантник. Из тех.

— Ого, куда забрел.

— Во чесал, небось, только пятки сверкали.

— Давай, не тяни, прыгай, хуже будет.

— Ну! Долго ждать?

Один из «зеленых» взобрался другому на плечи.

Белобрысый набрал воздух в грудь, крикнул:

— Са..!

Но так и не выговорив Сашино имя, всхлипывая, стал карабкаться вверх, исчез в листьях. За ним быстро и ловко полезли двое «зеленых». Остальные, задрвав головы, молча ждали.

Наверху, внутри дерева, было тихо. Казалось — там никого. Потом сверху, планируя, как сухие листья, слетели и опустились на траву два надорванных синих погона...

Саша и ушастый уходили от «зеленых». Они бежали, оглядываясь, по крутому спуску. Бежали все быстрее и быстрее. Казалось, вот-вот, за спиной появится погоня. Саша бежал впереди, ушастый отставал. И вдруг ушастый споткнулся, покатился и остался лежать.

— Что? Ты что? — склонился над ним Саша.

Ушастый лежал на спине, морщился от

боли, казалось, он сейчас заплачет. Но не заплакал. Сел, потрогал капельки крови на расцарапанной коленке.

— Это ничего, не больно, — сказал ушастый.

Саша оглянулся назад. Ушастый тоже. Погоня не показывалась.

— Я пойду, — сказал ушастый вставая. — Вот, видишь, — он торопливо пошел вниз, заметно прихрамывая.

Саша шел рядом.

— Я быстрее могу, — заглядывая в лицо Саше, говорил ушастый.

Саша ничего не ответил. Склон горы, предательски голый, наконец кончился, и спасительные деревья окружили обоих.

— Дай посмотрю, — Саша присел на корточки перед коленкой ушастого.

— Не больно, честное слово, — сказал ушастый, морщась от Сашиного прикосновения. — Пойдем.

Саша поднял голову и внимательно поглядел на ушастого. Ушастый спросил:

— Саш, если я быстро не смогу, ты сам уйдешь, да?

— Нет, — твердо сказал Саша, не глядя ушастому в глаза.

— Я понимаю, — кивнул тот, будто получил утвердительный ответ. — Из-за карты.

Саша и ушастый молча шли рядом. Ушастый взял Сашу за руку.

— Ты все равно меня не бросай, ладно?

Деревья поредели. Внезапно впереди, примерно метрах в десяти, мелькая между деревьями, бесшумно промчался грузовик. Оказывается, рядом была дорога.

Ребята вышли на проселочную дорогу и сразу увидели деревянный мост. На мосту никого не было, и, осторожно оглядываясь, оба ступили на дощатый настил.

— Стой! Стой! — по мосту навстречу им бежала девочка лет десяти. На шее у нее болтался деревянный автомат на яркой ленте для косичек.

— Сюда нельзя. Это мост взорванный! — кричала девочка. — Идите в обход.

Девочка подбежала и только тогда заметила синие погоны. У нее были зеленые.

— Ой! — не испугалась, а почему-то смутилась своей ошибки девочка. — Вы не наши.

Саша и ушастый напряглись, готовые кинуться назад, как только она закричит, поднимет тревогу, позовет своих.

Но девочка не кричала, никого не звала. Огорченная своей оплошностью, она покраснела и сказала, как бы оправдываясь:

— И пароль я у вас не спросила. Забыла.

Саша шагнул к девочке, ушастый за ним. Девочка отступила, прижалась спиной к перилам моста, улыбнулась беспомощно, попрощалась:

— Давайте сначала, а?

Саша зашел с одной стороны, ушастый

с другой. Теперь уже девочке некуда было деться. Все еще на что-то надеясь, она заговорила быстро:

— Вы убивать будете? Не надо. Я еще не играла совсем, только тут стояла. Пожалуй-ста. Поиграть хочется. Интересно ж, а?

Почему-то девочке казалось, что ей не откажут.

Саша и ушастый кинулись на нее, мешая друг другу.

— Не надо, не надо,— повторяла девочка, прикрывая погоны руками.

Грузовик, въехавший в это время на мост, остановился в пяти шагах от борющихся. Пожилой водитель открыл дверцу кабины, выскочил.

— Эй, мужики! — крикнул водитель. — Совесть есть, с девчонкой драться?!

Но все было уже кончено. Саша и ушастый убежали через мост. Водитель подошел к сидящей на дощатом настиле девочке, поднял ее на ноги.

— Ушибли тебя?

— Убили они...— всхлипнула девочка и прижалась к водителю.

Водитель только теперь заметил автомат на яркой ленте, обрывки погон на плечах, обнял девочку, усмехнулся:

— Что поделаешь, дочка, война.

Отбежав от моста, Саша и ушастый остановились. Оба дышали тяжело, трудно. Ушастый разжал кулак, на ладони у него лежал пачкающийся зеленой краской обрывок бумаги — погон, сорванный с плеча девочки.

— Подняла бы тревогу, и все, да? — ушастый внимательно посмотрел на Сашу.

Саша кивнул. Он разжал пальцы, и из его опущенной руки выпал такой же зеленый обрывок.

Саша и ушастый вышли из-за поворота проселочной дороги, скользящей вдоль моря. Они устали и шли медленно, грязные, измученные.

Впереди, у обочины, на песке сидел мальчишка. Он набирал песок в кулак и струйкой выпускал его на землю. Выпустит весь — снова наберет.

— Не играет. Без погон,— сказал Саша. Они прошли мимо мальчишки, который только равнодушно взглянул на них и снова погрузился в свое занятие.

Ушастый оглянулся, тронул Сашу за руку:

— Он уже, да?

— Да,— кивнул Саша.

Дальше вдоль дороги сидели еще трое мальчишек, чуть впереди — девочка. Их было много — сидящих на песке. Одни — в одежде, другие только в плавках или купальниках. Их майки, рубашки с торчащими на плечах нитками от оторванных погон валялись рядом. Некоторые стояли в воде по колено, по

пояс, тем, кто отошел в море далеко, вода была по грудь. Никто не плавал. Просто стояли. Дети были разные: постарше, помладше. Наверно, тут было человек тридцать, не меньше, но каждый был как бы сам по себе — отдельно. Все были врозь. Никто не разговаривал друг с другом. Над пляжем висела тишина.

Тень от тучи прошла по пляжу, изменила освещение. Фигуры, лица стали четче. Многие, сидящие на песке, стоящие в воде, повернули головы, провожая Сашу и ушастого взглядами. Выражения лиц были в основном равнодушные, отрешенные, но в некоторых взглядах была зависть.

Саше и ушастому неуютно было идти под этими взглядами, но они, стараясь не встречаться глазами с «убитыми», шли вдоль небольшого пляжа до конца.

— Ура-а-а-а! — старательно орал бегущий мальчишка с синими погонами на плечах.

Рядом неслись другие мальчишки, девочки, тоже орущие, размахивающие деревянными автоматами, пистолетами.

Вот бежит крупная девочка с не по летам развитой фигурой; рядом, обгоняя ее, мчится мальчик лет десяти — совсем еще ребенок. У всех счастливые, вдохновенные лица, но что-то дикое, безумное в глазах этих, сломя голову летящих, орущих детей.

Человек пятнадцать налетели на палатку, у которой мы впервые увидели Свету.

Бегущий впереди мальчишка, размахивая деревянным пистолетом, с криком: «За Родину!» ворвался в палатку, и та сразу покосилась, стала заваливаться. Мальчик сбил внутри жердь, на которой держался брезент. Остальные ногами выбивали колышки из земли, срывали веревки... Палатка рухнула.

Кто-то ударил ногой по картонной коробке с катушками. Катушки покатались по траве.

Вот крупная девочка схватила брыкающуюся Свету, вот отбивается ее подруга Лена от троих насевших на нее «врагов».

Кого-то вытаскивают за ноги из-под брезента. Общая свалка, крики, суета...

Странное возникает впечатление. Взглянешь мельком на этих увлеченных игрой ребят — вроде, все здорово, интересно, заманчиво. Самому хочется кинуться вместе с ними в атаку, бежать, кричать... Но стоит повнимательней присмотреться к происходящему, пристальней взглянуть на детей, играющих в самое страшное, что только бывает на свете и... оторопь берет. И тогда замечаешь мелькающие то здесь, то там испуганные глаза, растерянные лица, внезапное смущение...

...На дальнем конце поля навстречу друг другу выскочили группы ребят. Издалека не разобрать цвета погон. Противники столкнулись, смешались, сцепились. Кто-то за кем-то

погнался, кто-то убегает, кого-то сбили с ног...

...По опушке леса бегут среди деревьев человек семь «зеленых». Выбежали на поляну и вдруг выскочил из-за пенька «синий» с деревяшкой-автоматом в руках.

Прижав свою деревяшку к животу, он всеором водил ею по ряду замерших на секунду «зеленых» и кричал яростно:

— Тра-та-та-та-та!

И вдруг «стреляющий» опешил. Глаза его расширились от ужаса. Перед ним один за другим падали, валились на траву «зеленые». На одежде мальчишек вспыхивали кровавые дыры от пуль. Один из «зеленых», схватившись за живот мокрыми от крови руками, бился на земле в судорогах, другой корчился, закрывая ладонями лицо, и кровь струями текла по пальцам. Кто-то уже лежал недвижно с пробитым лбом, у кого-то расплзлось на груди по рубашке алое пятно.

«Стрелявший», не веря своим глазам, попятился, бросил деревяшку-автомат, кинулся бежать, и за ним погнались «зеленые».

— Нету тут никакого штаба,— сказал ушастый оглядываясь.

Он стоял под густой кроной старого корявого дуба, почти пустого внутри из-за огромного сквозного дупла. Ушастый прошел сквозь дупло и остановился перед Сашей, сидящим на изогнутом корне. На коленях у Саши была развернута карта.

— Точно здесь? — спросил ушастый.

Саша отпустил карту, и она, как живая, свернулась в трубку, соскользнула в траву.

— Здесь,— сказал Саша. Он устало поглядел на ушастого и пожал плечами.— Здесь.

Ушастый отошел на несколько шагов от дуба, раздвинул густую, высокую траву.

— Саш,— позвал ушастый вполголоса.

Раздвинув траву, Саша и ушастый смотрели на спрятанное в стеблях гнездо небольшой птицы. В гнезде лежали маленькие пестрые яйца, и сидящая на них птица нервно открывала и закрывала клюв, не спуская с непрошенных гостей круглых темных бусинок-глаз.

— Видишь, тут и не было никого,— шепотом сказал ушастый, еще шире раздвигая траву над гнездом.— Все там, внизу.

— Не надо, не пугай,— шепнул Саша.

— Я только посмотрю...— ушастый отпустил стебли травы, и они, сомкнувшись, закрыли гнездо.

Далеким раскат грома прокатился где-то за холмами, приблизился, растворился в шуме внезапно встретившейся листвы дуба. На широком поле зашевелилась, заходила волнами трава. Низкие тучи стремительно неслись, и иногда в их разрывах пронзительно светило солнце, освещая поле, дуб...

— Там. Гляди! — вдруг вытянул руку

ушастый.

На опушке леса были ребята. Их было много. Непонятно только было, свои это или чужие, «зеленые».

От отряда отделилась фигурка и двинулась по полю к дубу.

— Наш,— обрадовался ушастый, разглядев на плечах идущего синие погоны. И облегченно вздохнул.— Наши.

Теперь и Саша разглядел приближающегося. Это был Командир.

Командир подходил. Он тоже узнал Сашу.

— Живой! — удивляясь, похвалил Командир Сашу и улыбнулся.

Саша слабо улыбнулся в ответ. Все-таки приятно, когда тебе рады.

— Ну даешь! — Командир смотрел на Сашу почти с восхищением. Так глядит художник, довольный своим только что законченным творением.

Командир сел на траву, вытряхнул из кроссовки камешек и, натягивая ее на ногу, спросил с интересом:

— Как же ты живой? Сбежал?

— Отпустили,— сказал Саша.

— Ага,— покивал Командир, зашнуровывая кроссовку. Он встал.— Пошли!

— Они...— начал объяснять Саша.

Но Командир перебил:

— Перед строем тебя расстрелять будем,— сказал он сквозь зубы.

Командир, прищурившись, глядел на Сашу. Теперь у него было совсем другое лицо.

— За что? — удивленный ушастый переводил взгляд с Саши на Командира. Он ничего не понимал.

— За предательство — расстрел! — жестко сказал Командир.

— Нет,— сказал Саша.— Нет, я не...

— Он не предатель,— глядя широко открытыми глазами на Командира, сказал ушастый. И крикнул: — Слышишь?!

— А ты тоже с ним в плену был? — заинтересовался Командир ушастым.

— Мы в плену не были. Не были мы! — крикнул ушастый.— Саша, скажи ему!

— Он-то был,— усмехнулся Командир.

— Ты? — ушастый с ужасом глядел на Сашу.

— Не предавал я,— с трудом выдохнул Саша.

— Тебе карту доверили,— сурово сказал Командир.— А ты ее на жизнь променял. Шкуру спас,— в голосе Командира зазвенело презрение.— Предатель.

— Карта! — ахнул ушастый.— Так она...— Ушастый кинулся к дубу,

Командир сделал движение, чтоб задержать ушастого, но решил, что важнее удерживать Сашу.

Ушастый метался вокруг дуба, раздвигал кусты, искал в траве. Но карты не было.

Шелестел от ветра дуб, от сильных порывов — шумел, сострясался. Ветер нес по полю сухие листья, ветки, траву...

Ушастый беспомощно оглядывался. Неужели ветер унес карту?

Крепко держа Сашу за локоть и глядя ему в лицо, Командир сказал:

— Скоро они здесь будут. Уже идут. А карта-то фальшивая. Дошло?

— Что?.. — Саша не понял.

— То, — глаза Командира стали веселыми. — Военная хитрость. Нарочно тебе дали, чтоб ты — им.

— Мне? — Саша испуганно смотрел на Командира.

— Тебе. Не слабо сработало! — в глазах Командира была гордость. — Я первый сказал: Сашка — то что надо. Сразу расколется. Надо только, чтоб взяли. А уж Сашка не подведет — заложит. — Командир усмехнулся. — Тебе не впервой.

— Это же не я... — беспомощно выговорил Саша. — Не я тогда... что ночью на море...

— И сейчас тоже не ты, — в тон ему ответил Командир.

— Пуст! — рванул Саша руку. — Пусти! — закричал он. — Не хочу!

— Фигли, — сказал Командир и, вцепившись в плечо Саше, больно сжал его.

И тогда Саша ударил Командира коленом в живот. Командир охнул, согнулся, а Саша повернулся, пошел прочь.

Но пришедший в себя Командир в три прыжка настиг Сашу, сбил с ног. Оба покатились по траве.

— Вот! Вот! — бежал к ним от дуба ушастый, подняв над головой найденную карту.

Но в этот миг из-под катавшихся по траве с криком взлетела птица.

Ушастый с картой в руке присел на корточки перед раздавленным гнездом. Над его головой металась, кричала обезумевшая птица.

Командир стоял на коленях над лежавшим ничком Сашей и держал его руку, вывернув ее болевым приемом. Но Командир смотрел не на Сашу, он смотрел на ушастого, вернее, на карту в его руке. Не веря своим глазам, Командир отпустил Сашу, подошел к ушастому, забрал карту.

Малыш не сводил с него глаз.

Командир жадно изучал карту. Потом он кинулся к Саше, который так и лежал, перевернул его на спину. Он смотрел на Сашу с обидой и злостью. Теперь Командир уже не выглядел старше своих лет. Сразу было видно, что он просто мальчишка.

— Ты... ты... — кричал Командир. — Ой дурак! Кретин! Все испортил! — Брызгая слюной, со слезами в голосе он вопил: — Теперь все! Из-за тебя! Там! — Командир вытянул руку к лесу. — Наши два часа! Ждут! Мы... засаду, а ты...

Командир рывком поднял Сашу на ноги.

— На! — совал он в руки Саше карту. — Что хочешь, но чтобы она у «зеленых» была!

— Уйди, — сказал Саша. — Уйди.

— Пойми, — попытался взять себя в руки Командир. — Не поверят они, если я... А тебе — да. Что ты... ну... — Командир поглядел на Сашу, но так и не выговорил слово «предатель».

Саша смотрел на Командира, как на незнакомого, словно не узнавая его.

— А-а! — вдруг с досадой сообразил Командир. — Тебе тоже теперь... Не поверят.

Тяжелый сумрак неминуемого дождя ступился над полем.

Командир смотрел на ушастого.

— Он! — сказал Командир. — Пусть он.

— Нет, — сказал Саша.

И в этот миг хлынул ливень. С каждой секундой он становился все сильнее и сильнее...

Саша и ушастый шли под сильным дождем, по намокшей, прибитой к земле траве.

Карта, истрепанная, измятая и теперь уже никому не нужная, валялась в траве. Ливень хлестал по ней, и нанесенные гуашью красные стрелы наступлений, синие квадраты расположения противника, разные прочие «военные» обозначения потеряли четкость, потекли грязными струйками несуществующих рек.

Саша и ушастый, промокшие до нитки, шли не останавливаясь. Синяя краска с их погон стекала быстрыми струйками, и сами погоны словно растворялись на глазах, расплывались бумажными клочками.

Ушастый, шагая рядом с Сашей, поднял голову, тронул погон пальцем.

— Мы умираем? — спросил он Сашу.

— Нет, — ответил Саша.

Ливень стоял стеной, и оба, сделав несколько шагов, исчезли, ушли в эту плотную стену воды.

Но ливень не уменьшался, а набирал еще большую силу.

Вот уже последние следы «войны» исчезли с карты, смылись. Теперь это была не карта военных действий, а просто карта местности. Но постепенно исчезали и эти оставшиеся обозначения. И карта перестала быть картой...

Сквозь ее контуры стали проступать холмы, горы, ручьи — живые черты Земли с высоты птичьего полета...

Море, шумящий под порывами ветра лес, поля, дороги, виноградники. Просто Земля, омываемая теплым летним дождем...

1987 г.

Александр
ЧАЯНОВ

Абрам
БРАГИН

ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ («АЛЬБИДУМ»)

ЧАСТЬ 1.

[Голод, голод, голод...]*

В 1921 г. СОВЕТСКАЯ СТРАНА, ТОЛЬКО ЧТО ПОБЕДИВШАЯ В ТЯЖЕЛОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ, ИЗМУЧЕННАЯ, РАЗОРЕННАЯ, БЫЛА ПОРАЖЕНА ГОЛОДОМ...

БЕСПОЩАДНОЕ СОЛНЦЕ СОЖГЛО ВСЕ ПОСЕВЫ САМАРСКИХ И САРАТОВСКИХ ПОЛЕЙ.

Многие месяцы горящее, все сжигающее солнце недвижно стояло на безоблачном небе. Поля тучных черноземных пашен были едва прикрыты засохшей растительностью, среди которой терялись одинокие чахлые колосья пшеницы.

САРАНЧА ДОКОНЧИЛА НЕСЧАСТЬЕ.

Черные тучи летящей саранчи поднимались над горизонтом, застилали собою солнце и падали дождем смерти на выжженные поля.

...ПОЕДАЯ ПОСЛЕДНИЕ КОЛОСЬЯ... В ДЕРЕВНЯХ И ЛЮДИ, И СКОТ УМИРАЛИ ОТ ГОЛОДА И БОЛЕЗНЕЙ.

В деревнях, притихших при раскрывшемся перед ними ужасе голода, у крестьян падали последние, сохранившиеся еще лошади... Дети плакали у иссохшей груди умирающих от голода матерей, и крестьяне с безнадежностью смотрели перед собой, не видя выхода из неминуемой гибели.

ЕЩЕ НЕ ОКРЕПШИСЬ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И СОВЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПО МЕРЕ СИЛ БОРОЛИСЬ С НАДВИНУВШИМСЯ БЕДСТВОМ.

Бесплатные столовые работали в голодающих волостях. На агропунктах раздавали семена для озимого сева.

В ЭТИ ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ УЧАСТКОВЫЙ АГРОНОМ ЛЕОНОВ...

Леонов стучится в окно, около которого вывеска — «Прокатный пункт».

...ЗАШЕЛ НА СТАРОДУБСКИЙ ПРОКАТНЫЙ ПУНКТ.

Леонов продолжает стучать в окно, которое открывается и в нем появляется голова Евсеича.

Двор прокатного пункта: стоят рандоли, двухлемешные плуги, сеялки, жатки и другие сельскохозяйственные машины. Леонов стоит у крыльца, к нему подходит Евсеич, и они оживленно разговаривают.

— НУ КАК РАБОТАЕТЕ? МНОГО ЛИ ЗАСЕЯЛИ ОЗИМОЙ?

— КАКАЯ УЖ ТУТ РАБОТА! ВО ВСЕМ СТАРОДУБЬЕ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ ЛОШАДИ. У ЕВСТИГНЕЕВЫХ ПОДЫХАЕТ ПОСЛЕДНЯЯ НА СЕЛЕ КОБЫЛА. ТЕПЕРЬ ВСЕ ЭТО, ТОВАРИЩ ЛЕОНОВ, НИ К ЧЕМУ, БЕЗ ЛОШАДЕЙ-ТО.

Евсеич широко жестом показывает на сельскохозяйственные машины и безнадежно машет рукой. Леонов опускает голову и, нахмурившись, уходит со двора. Евсеич его провожает.

Леонов и Евсеич идут полем и о чем-то, понурившись, разговаривают... Начинают всматриваться в сторону. Бьется в судорогах умирающая лошадь Евстигнеевых, около — тупо смотрящие дети и рыдающая баба. Леонов и Евсеич останавливаются, понурясь.

Леонов грозит солнцу кулаком.

— БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТА, БЕЗДУШНАЯ СТИХИЯ! ЖИЗНЬ СВОЮ ОТДАМ ЗА ПОБЕДУ НАД ТОБОЙ!

Евсеич хватая идущего рядом с ним по полю Леонова за рукав и показывает направо. Среди выжженного поля стелется по ветру целый пучок полнозерных колосьев вызревшей пшеницы. Леонов и Евсеич нагибаются над кустом. Рассматривают колосья. Руки Евсеича разминают колосья, и вот на его ладони — зерна. Евсеич раскусывает несколько зерен, хочет съесть и остальные. Леонов останавливает его руку в крайнем волнении.

— ЕВСЕИЧ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ? ВЕДЬ ЭТО ЖЕ, НАВЕРНО, НЕВИДАННЫЙ НОВЫЙ СОРТ ПШЕНИЦЫ, КОТОРЫЙ НЕ БОИТСЯ ЗАСУХИ, КАЖДОЕ ЗЕРНЫШКО

* Заголовок восстановлен по авторскому либретто.

ЕЕ СТОИТ МИЛЬОНЫ. ЭТОЙ ГОРСТЬЮ МЫ ПОБЕДИМ СОЛНЦЕ И ГОЛОД!

Евсейч с удивлением смотрит на семена.

Вера Ширяева, улыбаясь зрителям, крутит ручную молотилку.

ВЕРА, ШИРЯЕВА, СТУДЕНТКА ТИМИРЯЗЕВСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ, УЖЕ ДВА МЕСЯЦА НА ПРАКТИКЕ В АГРОУЧАСТКЕ. ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОНА...

Вера крутит молотилку. Постепенно перестает улыбаться и мечтательно задумывается, перестав крутить.

...СТАЛА ЧАСТО ЗАДУМЫВАТЬСЯ.

Вера смотрит вдаль, закрыв глаза от солнца рукой.

Издали скачет всадник. Вера подбегает к воротам; вскоре к ней подъезжает верховой, который осаживает лошадь и подает письмо. Вера вскрывает конверт и читает письмо.

Письмо в руках Веры: «Люблю. Целую. Буду вечером. Персов».

Вера, просясь, пожимает верховому руку и, спрятав письмо, быстро начинает крутить молотилку...

Вера сбегает в свою комнату, запирает на ключ дверь и, посмотрев в зеркало, открывает комод и начинает вынимать из него платья.

Леонов и Евсейч подходят к агроучастку, жмут друг другу руки, после чего Леонов делает несколько шагов к музею агроучастка, потом резко поворачивает к дому, где живет Вера.

Леонов, поднимаясь по лестнице, бережно несет на ладони найденные зерна пшеницы. Леонов стучится в дверь Веры.

Вера в новом платье причесывается у зеркала. Слышит стук и поднимает с радостной улыбкой голову.

— КТО ТУТ?

Леонов у двери, в радостном возбуждении.

— ЭТО Я, ЛЕОНОВ, ОТВОРИТЕ.

Улыбка превращается на лице Веры в выражение крайней досады.

— Я НЕ ОДЕТА, И МНЕ ВООБЩЕ НЕКОГДА.

Леонов у двери, крайне обескуражен.

— Я ХОЧУ ПОКАЗАТЬ ВАМ СВОЮ НАХОДКУ.

— Я ВЕДЬ УЖЕ ПРОСИЛА ВАС КО МНЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРИСТАВАТЬ.

— ПОСЛУШАЙТЕ, ВЕРА МИХАЙЛОВНА, ВЕДЬ ЭТО НЕОБЫЧАЙНАЯ ЗАСУХОУСТОЙЧИВАЯ ПШЕНИЦА.

Леонов в изнеможении и обиде стоит у двери. Вера в неистовстве машет рукой по направлению к двери.

— ЧТО ЗА МАНЕРА ПРИСТАВАТЬ К СВОИМ ПРАКТИКАНТКАМ!

К агроучастку на тройке подъезжает Персов. Тарантас останавливается. Персов вылезает и идет в дом Веры.

Леонов что-то умоляюще говорит через дверь Вере, в то время как за его спиной появляется Персов. Заметив Персова, Леонов, не здороваясь, уходит. Персов торжественно смотрит и стучит в дверь. Вера, зажав уши пальцами, кричит:

— ВОН, ВОН! НЕ СМЕТЬ КО МНЕ ПРИСТАВАТЬ!

Персов хохочет в восторге. Вера, услышав его хохот, соображает, что за дверью не Леонов, а Персов, отворяет дверь и протягивает руки Персову, который целует их.

Леонов, раздраженный и мрачный, входит в свою комнату, где его дожидается Евсейч, и, высыпав зерна на стол, бросает на кровать шапку и портфель. Садится за стол и смотрит перед собой. Евсейч опускает ему на плечо руку.

— ЧТО ТЫ, ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ, НАСЧЕТ ПШЕНИЧКИ-ТО ПРЕДПРИНИМАТЬ НАМЕРЕН?

Леонов отрывается от своих мрачных дум, откидывает рукой волосы и, обернувшись к Евсейчу, начинает горячо ему рассказывать.

ЛЕОНОВ ДОЛГО И ГОРЯЧО ГОВОРИЛ ЕВСЕИЧУ О ТОМ, КАК НУЖНО БОРЬТЬСЯ С ЗАСУХОЙ, ЧТО ТАКОЕ ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЕ ПШЕНИЦЫ И КАК ИХ МОЖНО ВЫВЕСТИ НА ОСНОВЕ ЗАКОНОВ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО ДАРВИНА ПРИЕМАМИ НАУЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ.

ЕВСЕИЧ С ТРУДОМ, НО ПОНИМАЕТ СВОЕГО СОБЕСЕДНИКА.

Евсейч слушает Леонова...

Вера, оживленная и улыбающаяся, поит играющего на гитаре Персова чаем. Вода бежит из самоварного крана в стакан. Пальцы Персова перебирают струны.

Взволнованный Евсейч сидит за столом с Леоновым и что-то ему говорит. Леонов берет бумагу и перо, пишет:

«ГУБЗЕМУПРАВЛЕНИЕ. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА АГРОНОМА Г. ЛЕОНОВА О ВНОВЬ НАЙДЕННОЙ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОЙ ПШЕНИЦЕ...»

...НУЖНО ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН КРЕСТЬЯН И РАБОЧИХ, ПРОВОЗГЛАСИТЬ ВОЙНУ СОЛНЦУ И ВЕТРУ...»

Силуэт агитатора, окруженного силуэтами все увеличивающихся слушателей.

«ИЗ ГОРСТИ ЗЕРЕН МЫ СОЗДАДИМ МИЛЛИОНЫ ПУДОВ...»

Рисунком силуэт. Из земли вырастает колос, созревает, из него выскакивают зерна и, упав на землю, начинают расти в колосья и так далее, пока весь экран не будет занят целым полем колосьев.

«К ХОРОШИМ СЕМЕНАМ ПРИБАВИМ МЕЛИОРАЦИЮ И ОРОСИМ СОТНИ ТЫСЯЧ ДЕСЯТИН...»

Силуэты копают каналы, из которых потом течет вода, орошающая землю и вызывающая рост колосьев.



А. В. Чайнов. Начало 20-х годов.

«ЗЕРНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОДКРЕПИМ МОЛОЧНЫМ СКОТОВОДСТВОМ».

Крестьянка выводит корову и начинает ее доить.

В ПРИЕМНОЙ ЗАВ. ГУБЗЕМУПРАВЛЕНИЯ.

Леонов входит в приемную ГЗУ и разговаривает с секретаршей, та показывает ему на стул.

— ОБОЖДИТЕ, ТОВАРИЩ КУЗОВКОВ ЗАНЯТ.

Типажи служащих Губземуправления и посетителей в несколько шаржированном виде.

Леонов смотрит на часы и изнывает в ожидании. Секретарша раздраженно говорит Леонову:

— ВЫ ЗАПИСАНЫ ДВАДЦАТЫМ И СВОЕВРЕМЕННО БУДЕТЕ ПРИНЯТЫ.

Леонов еще раз подходит к секретарше; та, не оборачиваясь к нему, говорит:

— ТОВАРИЩ КУЗОВКОВ СРОЧНО ВЫЗВАН, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ПРИХОДИТЕ ВО ВТОРНИК.

Леонов едет на беговых дрожках среди выжженных полей, над которыми клубится саранча.

Леонов в своей комнате; в бешенстве ходит из угла в угол, потрясает кулаками и что-то рассказывает Евсеичу. Останавливается и, погрозив кулаком, садится писать. Рука Леонова нервно пишет:

«В ПРЕЗИДИУМ ГУБИСПОЛКОМА. ВВИДУ НЕДОПУСТИМОЙ ВОЛОКИТЫ В НАШЕМ ГУБЗЕМУПРАВЛЕНИИ...»

Чья-то тень падает на бумагу, по которой пишет Леонов. Насмешливо улыбающаяся Вера видна в окне. Она протягивает ключи и говорит:

— ВОТ ВАМ КЛЮЧИ ОТ МАШИННОГО САРАЯ, ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ. КАК Я ЗАМЕЧАЮ, ВЫ ВСЕ ЕЩЕ НЕ МОЖЕТЕ РАССТАТЬСЯ С ВАШЕЙ ВОЛШЕБНОЙ ПШЕНИЦЕЙ.

Леонов встает, комкая бумагу; Вера, смеясь, скрывается. Леонов в сердцах швыряет стулом о землю.

Заседает Губисполком. Среди вызванных спесов сидит Персов. Секретарь докладывает дела.

Председатель:

— ТЕКУЩИЕ ДЕЛА ЕСТЬ?

— КАКОЙ-ТО МАНЬЯК ТРЕТИЙ РАЗ НАСЕДАЕТ СО СВОЕЙ ЧУДЕСНОЙ ПШЕНИЦЕЙ.

— ФАМИЛИЯ?

— АГРОНОМ СЕДЬМОГО УЧАСТКА ЛЕОНОВ.

— ЕГО КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ? ЧТО ОН ТАКОЕ?

Персов поднимает палец и говорит:

— САМОУВЕРЕННЫЙ МАЛЬЧИШКА И ХОДОК ПО ЖЕНСКОЙ ЧАСТИ. ПРАКТИКАНТКАМ СВОИМ ПРОХОДУ НЕ ДАЕТ.

Председатель смотрит на часы:

— ОТКАЗАТЬ, ПЕРЕХОДИМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВОПРОСУ.

Леонов со взбешенным лицом заклеивает языком конверт, на котором написано: «Москва, Пречистенский бульвар, Коллегия Наркомзема».

Секретарь докладывает Кузовкову полученную корреспонденцию.

— А ВОТ ИЗ МОСКВЫ НА ОТЗЫВ ДОКЛАД НАШЕГО ПРИЯТЕЛЯ ЛЕОНОВА. ДВАДЦАТЫЙ ПО СЧЕТУ.

Кузовков в бешенстве.

— ЕЩЕ ДОКЛАД О ВОЛШЕБНОЙ ПШЕНИЦЕ? ПОСЛАТЬ КО ВСЕМ ЧЕРТЯМ ЭТОГО ИДИОТСКОГО СКЛОЧНИКА.

Комната Веры. Персов помогает Вере зазывать чемодан и портплед.

Леонов в отчаянии с письмом в руке подходит к агропункту и поднимается по лестнице.

В комнату Леонова через окно на стол влетел петух; опрокидывает шкатулку, из которой высыпаются зерна леоновской пшеницы. Птица с жадностью клюет их. Леонов входит в свою комнату, видит петуха, клюющего его сокровище, в ярости хватает убегающую от него птицу и начинает колотить ее по полу и об стену. Летят перья. Бросив убитого петуха, Леонов вытаскивает наган и приставляет его ко лбу. Рука Леонова с нага-

ном около виска. В последний момент чья-то другая рука вышибает револьвер кверху и пуля только царапает голову.

Вера, спасшая Леонова от самоубийства, в замешательстве около него. Вбегает Евсеич. Вера перевязывает голову Леонова. Отворяется дверь, и на пороге появляется Персов, одетый по-дорожному.

— ДАВНО ПОРА ЕХАТЬ, ВЕРА МИХАЙЛОВНА. БРОСЬТЕ ЭТОГО КОМЕДИАНТА. ВЕДЬ ЭТО ЯВНАЯ СИМУЛЯЦИЯ.

Вера выталкивает Персова за дверь; хлопнув дверь, склоняется над лежащим Леоновым и целует его в лоб.

— ПРОСТИТЕ МЕНЯ, ЕСЛИ МОЖЕТЕ, ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ.

Вера убегает из комнаты. Леонов, шатаясь, подходит к окну и падает на подоконник.

— ВСЕ КОНЧЕНО... НЕТ ЗЕРЕН, НЕТ ВЕРЫ...

Евсеич поднял петуха и все понял.

— НАКЛЕВАЛСЯ, ДЬЯВОЛ, ГРИШИНОЙ ПШЕНИЦЫ, УЖО ТЕБЕ.

Евсеич разрезает зоб петуха и высыпает из него зерна пшеницы.

— ЗЕРНА-ТО ТВОИ, ЭВОНА, ОНИ ТУТ — ЦЕЛЕХОНЬКИ...

Под дугой звенит колокольчик... Вера обернулась с быстро бегущего тарантаса и смотрит назад. Звенит колокольчик под дугой.

На ладони у Евсеича зерна пшеницы.

ЧАСТЬ 2.

Дерюгинская коммуна.

В очень красивой местности на берегу реки Сяси в большом благоустроенном имении Дерюгино, вполне сохранившемся за время гражданской войны, уже два года существовала сельскохозяйственная коммуна, вполне снабженная сельскохозяйственным инвентарем и даже трактором. Голодный год был пережит сравнительно благополучно, однако общее собрание коммунаров, проходившее у крыльца старого дома, волновалось.

Прохор Беспалов, сидя на перилах, корил правление.

— НАРОД ТЕМНЫЙ, ДА И ВЫ НЕ ЛУЧШЕ! А НАМЕДНИСЬ НАПУСТИЛИ СКОТИНУ НА СЕЯНЫЙ ЛУГ, ТРИ КОРОВЫ СДОХЛИ, МАШИНЫ ИЗ ГОССЕЛЬСКОЛАДА ПРЕДСТАВЛЕНЫ, А СОБРАТЬ НИКТО НЕ МОЖЕТ. ХОЗЯЙСТВО ОТ ЭТОГО В БЕСПРЕМЕННОСТИ ВОЙДЕТ В ПОЛНОЕ РАЗОРЕНИЕ...

Коммунары явно сочувствовали беспаловским доводам.

— ...А НАМ НУЖНО НЕ ТОЛЬКО НЕ РАЗОРИТЬСЯ, А, МОЖНО СКАЗАТЬ, ВСЕМ ПОДАТЬ ПРИМЕР, ЗАВЕСТИ ТАКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЧТОБЫ ОНО ЗАСУХИ

НЕ БОЯЛОСЬ И БЫЛО ОБРАЗЦОВЫМ ДЛЯ ВСЕЙ ОКРУГИ...

Правление чесало в затылке и говорило:

— ЧЕЛОВЕК ТУТ НУЖЕН ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ, К ЭТОМУ САМОМУ ДЕЛУ ПОДХОДЯЩИЙ, СПЕЦ — ОДНО СЛОВО.

И снаряжен был Прохор Беспалов в губернию искать подходящего, знающего агрономию человека, который помог бы коммуне совладать с большим хозяйством.

— ПОЕЗЖАЙ-КА, ТЫ, ПРОХОР ВАСИЛЬИЧ, ЗА СТРАХОВКОЙ, ВСЕ МОЖЕТ СТАТЬСЯ, КОГО ТАКОГО И НАЙДЕШЬ...

Прохор Беспалов в губернском городе сходит с парохода на пристань. Прохор на базаре встречает Евсеича. Прохор и Евсеич в чайной пьют чай.

— ДА, ЧТО И ГОВОРИТЬ, ДЕЛО ВАШЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ, НЕЛЕГКОЕ.

Прохор и Евсеич оживленно разговаривают за чаем. Евсеич говорит:

— Я-ТО ЧТО, Я НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ, ДА ТОЛЬКО МОЕ-ТО ДЕЛО КРЕСТЬЯНСКОЕ, МАЛЕНЬКОЕ. ЗНАЮ Я ТУТ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА...

Рука пишет.

«ДОРОГАЯ ВЕРА МИХАЙЛОВНА. УЖЕ ДВА МЕСЯЦА ПРОШЛО С ТЕХ ПОР, КАК ВЫ СПАСЛИ МЕНЯ ОТ СМЕРТИ. И Я НЕ ЗНАЮ, ХОРОШО ЛИ ВЫ ПОСТУПИЛИ. Я БЕЗ РАБОТЫ, ОПУСТИЛСЯ, ПЬЮ САМО...»

Рука перестает писать и кладет ручку. Леонов пишет письмо, останавливается, слушает, идет отворять дверь и выпускает Евсеича и Прохора. Леонов, Евсеич и Прохор разговаривают.

ПРОХОРУ И ЕВСЕИЧУ НЕ СТОИЛО БОЛЬШОГО ТРУДА УБЕДИТЬ ЛЕОНОВА ВЗЯТЬСЯ ЗА РАБОТУ В КОММУНЕ. ЕВСЕИЧ ОСОБЕННО УГОВОРИЛ ЕГО ТЕМ, ЧТО В КОММУНЕ МОЖНО БУДЕТ НАЧАТЬ РАЗВОДИТЬ НАЙДЕННУЮ ИМ НОВУЮ ПШЕНИЦУ.

К главному дому дерюгинской коммуны подъезжают на телеге Прохор, Леонов и Евсеич; коммунары их встречают и окружают. Голова Леонова среди голов коммунаров.

С ПРИЕЗДОМ ЛЕОНОВА ДЕЛА ДЕРЮГИНСКОЙ КОММУНЫ ЗАМЕТНО ОЖИВИЛИСЬ.

Трактор ведет восьмивершковую вспашку. Стадо на водопое.

Доильщицы.

Политчас.

Лошади в реке на купанье.

ВЕСНОЮ, В ПРИСУТСТВИИ ПРИЕХАВШЕЙ В КОММУНУ ВЕРЫ, БЫЛ СДЕЛАН ПЕРВЫЙ ПОСЕВ ЛЕОНОВСКОЙ ПШЕНИЦЫ.

Леонов и Вера делают грядовый посев

пшеницы. Кругом коммунары и насмешливо улыбающийся Персов.

А ОСЕНЬЮ ВЕРА СЖАЛА ПЕРВЫЙ, НА РЕДКОСТЬ УДАВШИЙСЯ УРОЖАЙ.

Улыбающаяся Вера жнет полосу, сзади улыбающийся Леонов.

А В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЕ ЗЕМНОГО ШАРА...

Вертится глобус...

В ДАЛЕКОЙ АМЕРИКЕ, В НЬЮ-ЙОРКЕ...

На 10-й Авеню, в доме «короля» хлебной биржи банкира ван дер Пуля происходило организационное заседание новой акционерной компании «Супер-Манитоба и К°». Ван дер Пуль убеждает своих коллег.

— КУПЛЕННЫЙ НАМИ У СЕЛЕКЦИОНЕРА ВОРВУДА СОРТ «СВЕРХ-МАНИТОБЫ»* ПРЕВОСХОДИТ ПО СВОЕЙ УРОЖАЙНОСТИ, ПО СОДЕРЖАНИЮ БЕЛКА И ДРУГИМ КАЧЕСТВАМ ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПШЕНИЦЫ. ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ И ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ — И МЫ ВЫШВЫРНЕМ С РЫНКА И АРГЕНТИНУ, И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ.

Коллеги ван дер Пуля утвердительно кивают головами.

Вера жнет грядку пшеницы.

Заседание в Нью-Йорке. Ван дер Пуль ораторствует.

— МЫ СОБЕРЕМ В КУЛАКЕ ВСЮ АМЕРИКАНСКУЮ АГРОНОМИЮ, КУПИМ СОТНИ ИМЕНЕЙ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ.

Карта Америки. Поля размножения «Сверхманитобы»...

Вера кончила жать и стерла рукой пот со лба.

Прошло три года. Дерюгинская коммуна процветала, и нередко Прохор Беспалов отправлялся на пристань и...

Прохор около пристани с лошадейю смотрит на пристающий пароход.

Леонов помогает Вере сесть в экипаж. Прохор трогает.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ИНСТРУКТОРСКИМ ОТДЕЛОМ ГУБСЕЛЬСОЮЗА ПЕРСОВ БЫЛ КРАЙНЕ НЕДОВОЛЕН ЧАСТЫМИ ПОЕЗДКАМИ АГРОНОМА-ИНСТРУКТОРА ШИРЯЕВОЙ В ДЕРЮГИНО.

Персов ходит, разряженный, по служебному кабинету. Звонит, входит комсомолка-курьер.

— ПОЗОВИТЕ КО МНЕ ШИРЯЕВУ.

— ОНА ЕЩЕ НЕ ВЕРНУЛАСЬ ИЗ ДЕРЮГИНА.

Персов бросает книгу на стол. Отво-

рывается дверь, входит Вера в дорожном костюме.

— НЕ СЛИШКОМ ЛИ ЧАСТО БЫВАЕТЕ В ДЕРЮГИНЕ, ВЕРА МИХАЙЛОВНА...

— ВЫ ЖЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО МЫ ЗАЛОЖИЛИ ТАМ ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО.

— А НЕТ ЛИ ТАМ У ВАС ЧЕГО-НИБУДЬ КРОМЕ СЕМЕНОВОДСТВА?

— А ЭТО, ПО-МОЕМУ, ВАС НЕ КАСАЕТСЯ, БОРИС СЕМЕНОВИЧ...

Персов и Вера негодующе смотрят друг на друга. Персов опускает глаза. Вера уходит. Персов в ярости.

НЕ ВСЕ БЫЛО ГЛАДКО И У ЛЕОНОВА В КОММУНЕ...

Покос. Работают шесть косилок одновременно. Работа режущего аппарата. Работа конных граблей. Два коммунара и коммунарка, работающие с конными граблями, останавливают лошадей и, садясь в тень, начинают любезничать; одна из лошадей незаметно уходит.

Леонов и Евсеич обходят луга, видят лошадь с граблями и без кучера. Евсеич бежит за ней, а Леонов, увидя ничего не подозревающих виновников, идет к ним. Леонов укоряет молодежь. Петька Хлюпин отругивается, пока на него не цыкнул подошедший Евсеич. Работа возобновляется. Злое лицо Петьки Хлюпина.

Петька Хлюпин с четырьмя товарищами, сидя на бревнах во дворе коммуны, злобно смотрят на проходящего мимо Леонова.

— ТОЖЕ, ПОДУМАШЬ, НАЧАЛЬСТВО. АГРО-ЦАЦА КАРТАВАЯ.

К Хлюпину и товарищам подходит Персов; он разговаривает с ними, злобно поглядывая на Леонова и Веру, проходящих вдаль.

РАБОТА ПО РАЗМНОЖЕНИЮ НОВОЙ ПШЕНИЦЫ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ БЫСТРО ПОДВИГАЛАСЬ ВПЕРЕД. ЛЕОНОВ НЕ ТОЛЬКО СМОГ ЗАСЕЯТЬ 6 ДЕСЯТИН СВОЕЙ ПШЕНИЦЕЙ, НО НЕМАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕЕ РОЗДАЛ НА ПРОБУ КРЕСТЬЯНАМ-ОПЫТНИКАМ.

Леонов идет, управляя сеялкой, за ним идут еще двое.

Крестьяне развозят пшеницу, развешиваемую Прохором Беспаловым.

ОДНАКО, ПОЛУЧАЯ ПИСЬМА ИЗ ГУБЕРНИИ ОТ ВЕРЫ, ЛЕОНОВ ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ВОКРУГ КОММУНЫ И ЕГО САМОГО СГУЩАЕТСЯ АТМОСФЕРА.

Леонов разрывает письмо и читает его, нахмутив брови. Входит взволнованный Евсеич и, размахивая руками, что-то рассказывает. Леонов встает, все уходит.

Гессенская муха* поедает всходы.

* Манитоба — известный сорт североамериканской пшеницы.

* Гессенская муха — насекомое-вредитель зерновых культур.

Леонов и Евсеич подходят к полю, где уже стоят Хлюпин и еще несколько парней. Смотрят на поле. Евсеич разводит руками.

— ДОЛЖНО, РАНО ПОСЕЯЛИ. И «ГОРКИ» И «БЕЛОТУРКА» СТОЯТ, ХОТЬ БЫ ШТО, А НАШУ ВСЮ МУХА СЪЕЛА.

Гессенская муха поедает всходы.

Хлюпин вбегает в пустой двор коммуны, выводит лошадь, седлает и скачет.

Хлюпин прискакал в город.

Хлюпин в кабинете Персова рассказывает, Персов с торжествующей улыбкой выходит.

Персов в кабинете предгубсоюза негодуяще рассказывает о происшедшем:

— ЛЕОНОВ В ДЕРЮГИНЕ РОЗДАЛ КРЕСТЬЯНАМ НЕГОДНУЮ ПШЕНИЦУ. ВООБЩЕ В КОММУНЕ ПОЛНЫЙ РАЗВАЛ, КООПЕРАЦИЯ ДИСКРЕДИТИРОВАНА, НУЖНЫ СТРОГИЕ МЕРЫ, РЕВИЗИЯ, ОТСТРАНИТЕ ЭТОГО МАНЬЯКА.

Персов и еще двое сидят в экипаже; тройка скачет.

Общее собрание коммунаров, взволнованных, жестикулирующих. Персов держит речь:

— ...ВЫ, ГРАЖДАНИН ЛЕОНОВ, РАЗДАВАЯ НЕГОДНЫЕ СЕМЕНА, ДИСКРЕДИТИРОВАЛИ КООПЕРАЦИЮ, А САМУЮ ДЕРЮГИНСКУЮ КОММУНУ ПРЕВРАТИЛИ В НЕГРИТЯНСКУЮ ПЛАНТАЦИЮ.

Курьер-комсомолка прибегает к Вере и рассказывает о дерюгинской ревизии. Вера надевает шляпу и выбегает на улицу.

Петька Хлюпин, тыча пальцем в сторону Леонова, кричит:

— ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ... КАДЫ ЗАМЕСТО ПОМЕЩИКА-ШАБЛЫГИ ЭТОТ ВОТ ГРАЖДАНИН ИЗ НАС ВЕРЕВКИ ВЬЕТ.

Вера выводит лошадь и, не седлая ее, скачет.

Проход Беспалов говорит:

— ...ОНО, КОНЕЧНО, НО БЕЗ ДИСЦИПЛИНЫ НИКАК НЕВОЗМОЖНО, НА ВСЕ ХОЗЯЙСКИЙ ГЛАЗ НУЖЕН.

Вера скачет без дороги через кустарник.

Леонов, волнуясь, начинает говорить. Хлюпин пытается наброситься на него, но коммунары его удерживают.

Вера прискакала к дому, на котором вывеска: «Областная опытная станция», и, соскакивая с лошади, бежит в дом. Лошадь, предоставленная сама себе, начинает есть георгины.

Вера входит в кабинет заведующего опытной станцией и начинает умолять его спасти пшеницу.

— ...ЕСЛИ СЕЙЧАС ЖЕ, СИЮ МИНУТУ, ВЫ, КАК ЗАВЕДУЮЩИЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИЕЙ, НЕ ПРИДЕТЕ НА ПОМОЩЬ, ТО, БЫТЬ МОЖЕТ, ЛУЧШАЯ В МИРЕ ПШЕНИЦА, В КОТОРОЙ СПАСЕНИЕ НА-

ШЕГО КРАЯ, ПЕРЕСТАНЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ...

Заведующий опытной станцией говорит по телефону.

Персов с натянутой серьезностью говорит среди волнующихся коммунаров:

— ...В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, НЕ ЖЕЛАЯ ДЕЛАТЬ ВЫВОДОВ, Я ПРЕДЛАГАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ: ПРОСИТЬ ГУБЗЕМУПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВЕСТИ ТЩАТЕЛЬНУЮ РЕВИЗИЮ ПРОИСШЕДШЕГО И ВООБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В КОММУНЕ, ВПРЕДЬ, ДО РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВИЗИИ, ТОВАРИЩА ЛЕОНОВА ОТСТРАНИТЬ ОТ ЕГО ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПОЛЯ С ВОЛШЕБНОЙ ПШЕНИЦЕЙ ПЕРЕСЕЯТЬ, А ОСТАВШИЕСЯ ЖЕ ДВА МЕШКА ПОСЛАТЬ В ОПЫТНОЕ ПОЛЕ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ. КТО ПРОТИВ? ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ЗАКРЫВАЮ СОБРАНИЕ.

Коммунары расходятся после собрания, почесывая затылки; Евсеич и Проход в чем-то убеждают Леонова.

Сотрудники опытной станции Мейстер и Тулайков, секретарь Губисполкома и Вера в мчащемся автомобиле.

Персов с Хлюпиным в амбаре, где сложены мешки с пшеницей. Хлюпин показывает на два мешка леоновской пшеницы. По указанию Персова он их оттаскивает в сторону, кладет вместо них много других мешков, а затем заваливает на спину один из оттащенных. Персов говорит:

— ШПАРЬ ПРЯМО НА МЕЛЬНИЦУ — КОНЦЫ В ВОДУ. А ЭТИ ПОЛОЖИ МНЕ В ТАРАНТАС, ПРЕДСТАВИМ В ОПЫТНОЕ ПОЛЕ, ПУСТЬ АНАЛИЗИРУЮТ.

Хлюпин с мешками и тарантас Персова уезжают в разные стороны.

Из-под амбара вылезает мальчишка Петька, который, постояв немного и погрозив вдогонку Персову кулаком, бежит в другую сторону.

Автомобиль Веры переезжает горбатый мост.

Евсеич убеждает Леонова не волноваться.

— ТЫ, БРАТ, ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ, НЕ ВОЛНУЙСЯ, ОБОЙДЕТСЯ, ПРАВО СЛОВО, ВСЕ ОБЕРНЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ...

Вбегает Петька, рассказывает Леонову про Хлюпина. Леонов схватывает со стены ружье и убегает, за ним Петька.

Хлюпин гонит лошадь по дороге к ветряной мельнице, которая видна вдаль.

Леонов бежит лесом с ружьем, за ним Петька.

Автомобиль въезжает во двор коммуны, Вера выскакивает из машины, Евсеич и Проход взволнованы, всё ей рассказывают. Все садятся в автомобиль. Автомобиль разворачивается и уезжает.

Мельник, типичный кулак, и Хлюпин разгружают мешки. Зерно засыпали в мельницу, начинают молотъ.

Леонов подбегает к мельнице, навстречу ему Хлюпин, драка, выстрел, катятся по земле.

Автомобиль на проселке.

Пшеница размалывается.

Леонов и Хлюпин в борьбе катаются по земле. Хлюпин одолевает.

Автомобиль влетает на поляну. Прохор бросается на Хлюпина, Евсеич бежит на мельницу. Поднимается Леонов. Крылья мельницы останавливаются.

Мейстер и Тулайков рассматривают зерна пшеницы.

— ДА ВЕДЬ ЭТО — «АЛЬБИДУМ 0604», КОТОРЫЙ МЫ ИЩЕМ УЖЕ ПЯТЫЙ ГОД.

Вера падает в объятия Леонова. Поцелуй.

ЧАСТЬ 3.

Засуха надвигается.

НА ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ АЛЬБИДУМ БЫЛ ПОДВЕРГНУТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СЕЛЕКЦИИ И УЛУЧШЕНИЮ...

Практикантки завязывают марлей цветы селекционных растений.

Директор станции рассказывает Леонову и Вере о своей работе.

— ...СОВЕТСКИЕ УЧЕННЫЕ УСТАНОВИЛИ СВЫШЕ 2500 РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, ИЗ НИХ ДЛЯ КАЖДОГО РАЙОНА СОЮЗА ВЫБРАНО ТРИ-ЧЕТЫРЕ СОРТА, НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ К МЕСТНОМУ КЛИМАТУ И ПОЧВЕ И ОТВЕЧАЮЩИХ РЫНОЧНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. ЭТО ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ СТАНДАРТНЫЕ СОРТА. НАША ЗАДАЧА — ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕ ПОЛЯ СССР ЗАСЕВАЛИСЬ ТОЛЬКО СТАНДАРТНЫМИ СОРТАМИ... ВАШ АЛЬБИДУМ ДОЛЖЕН СТАТЬ СТАНДАРТНЫМ СОРТОМ ДЛЯ ВСЕЙ ЗАСУШЛИВОЙ ОБЛАСТИ, МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ НАД НИМ, УЛУЧШАЯ И УКРЕПЛЯЯ ЕГО КАЧЕСТВО.

На мраморной доске идет отбор семян. Работа по селекции на грядках.

ПО МЕРЕ ТОГО КАК НАРАСТАЛА ПОСЕВНАЯ МАССА АЛЬБИДУМА, РАБОТАЮЩИЕ НАД ЕГО СЕЛЕКЦИЕЙ И РАЗМНОЖЕНИЕМ АГРОНОМЫ ВСЕ ЧАЩЕ СОБИРАЛИСЬ И БЕСЕДОВАЛИ О ЕГО БУДУЩЕЙ СУДЬБЕ.

В лаборатории опытного поля — Вера, Леонов и четыре других агронома оживленно спорят.

— ...ПОРА, ПОРА РАЗВЕРТЫВАТЬ МАСШТАБЫ... ПОРА БРОСИТЬ НА ЭТО ДЕЛО МИЛЛИОНЫ... ПОРА ПОДНЯТЬ

ВОССТАНИЕ ПРОТИВ СОЛНЦА И ВЕТРА...

Вера и Леонов одни.

— ...ПОЧЕМУ БЫ ТЕБЕ, В САМОМ ДЕЛЕ, НЕ ВЫСТУПИТЬ НА ОБЛАСТНОМ СЪЕЗДЕ И НЕ ПОТРЕБОВАТЬ МИЛЛИОНОВ НА РАШШИРЕНИЕ РАБОТ ПО АЛЬБИДУМУ?..

— Я БОКОСЬ ПРОВАЛА. ПОМНИШЬ, КАК ПРЕЖДЕ...

— ЭТО ТЕПЕРЬ-ТО?.. ПУСТЯКИ...

Вера и Леонов крепко жмут друг другу руки и улыбаются.

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ВОПРОС БЫЛ ПОСТАВЛЕН НА ОБЛАСТНОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ.

Кафедра над морем голов. На кафедре оратор рабочего типа. Оратор говорит:

— ...НАШЕЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПРОКОРМИТЬ НАШУ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ГОРОДА, НО ТАКЖЕ ЗАВОЕВАТЬ СЕБЕ МЕСТО НА МИРОВОМ РЫНКЕ. ПШЕНИЦА ДОЛЖНА ДАТЬ НАМ ВОЛГО-ДОНСКОЙ КАНАЛ, ЮЖНО-СИБИРСКУЮ МАГИСТРАЛЬ...

На той же кафедре оратор старинтеллигентского типа:

— ...НУЖНО РАБОТАТЬ, НО НЕЛЬЗЯ СОЗДАВАТЬ СЕБЕ ИЛЛЮЗИИ. АМЕРИКУ ШАПКАМИ НЕ ЗАКИДАЕШЬ...

Оратор в крайней ажитации нагибается к публике.

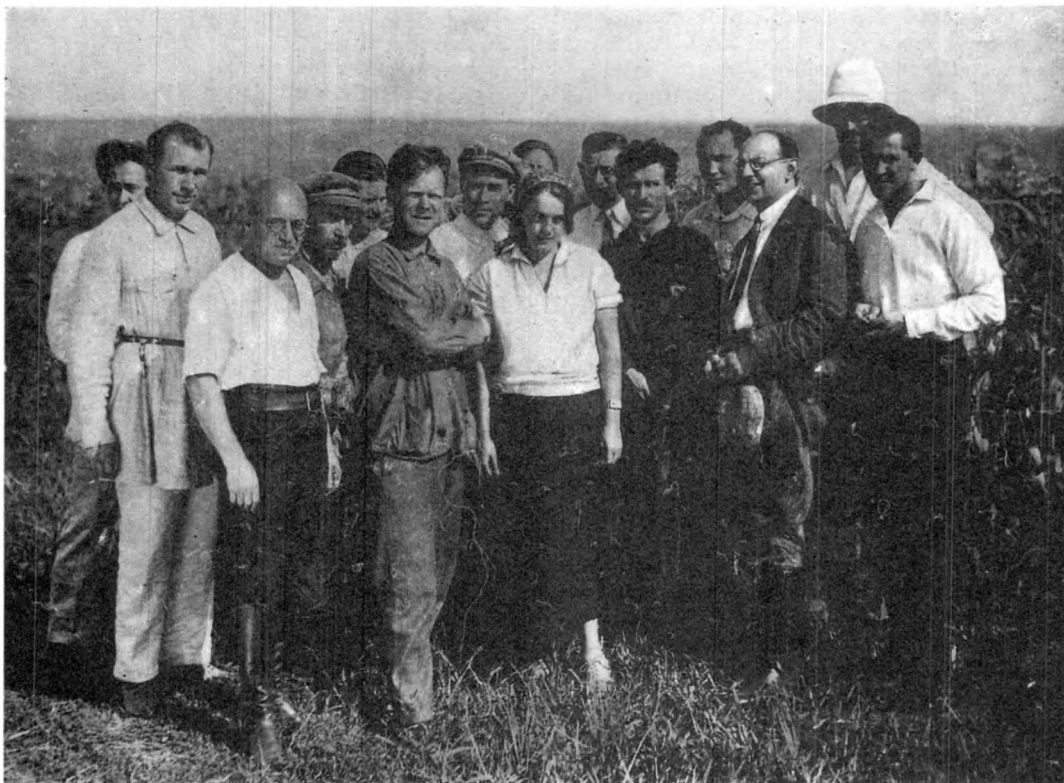
— ...В БОРЬБЕ ЗА МИРОВОЙ РЫНОК ХЛЕБНАЯ БИРЖА БРОСИТ НА РАЗВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОЙ «СВЕРХМАНИТОБЫ» СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, И АМЕРИКАНСКИЙ КАПИТАЛ БУДЕТ НАСМЕХАТЬСЯ НАД НАШИМИ ПОТУГАМИ...

Из раскрывшегося нестораемого шкафа льются потоками и летят по воздуху золотые монеты и бумажные доллары. В их потоке вырастает шаржированная фигура ван дер Пуля, который показывает в экран публике кулак. Кулак раздувается до огромных размеров и разрывается, как фейерверочный бумрак. Все застилается дымом, в просвете которого проглядывают то десятки пахущих тракторов, то целые полчища жаток, то быстро мчащиеся поезда, то элеваторы и «Трансатлантик». В дыму вырастает пляшущая огненная надпись:

ЧТО ВЫ ПРОТИВОПОСТАВИТЕ ЭТОМУ?

Надпись пропадает в клубах дыма, которые, рассеявшись, открывают следующий кадр. На кафедре Леонов, встречаемый овациями. Он говорит:

— ...ПРОТИВ СИЛЫ АМЕРИКАНСКОГО КАПИТАЛА МЫ ПРОТИВОПОСТАВИМ СИЛУ НАШЕГО ПЛАНОВОГО ХОЗЯЙСТВА. ПРОТИВ ОПЫТА И ТЕХНИКИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ —



Воронежская опытная сельскохозяйственная станция. В перерыве между съемками. В группе: второй справа — Леонид Оболенский, третий — Абрам Брагин. 1927 г.

НАШУ РАБОЧУЮ СПЛОЧЕННОСТЬ И СПАЙКУ! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: СОЛНЦЕ И ЧЕРНОЗЕМ В ГОДЫ МИРА С ПРИРОДОЙ — НАШИ СОВЕРШЕННО НЕПОБЕДИМЫЕ СОЮЗНИКИ!

Сидящий среди публики Персов наклоняется к своему соседу и со злобным выражением лица что-то шепчет ему на ухо, тот сочувственно кивает головой.

На кафедре Евсеич.

— ...МЫ, КООПЕРАТОРЫ, ПОЛАГАЕМ, ЧТО ДЕЛО ЭТО НУЖНОЕ, НЕОТЛОЖНОЕ, И СКУПИТЬСЯ В ЭТОМ ДЕЛЕ НИКАК НЕВОЗМОЖНО...

Председатель собрания Дьяков звонит в колокольчик.

— ПРИСТУПАЮ К ГОЛОСОВАНИЮ.

Море поднятых рук.

В комнате президиума. Из зала заседания, где видна волнующаяся толпа, выходят Дьяков и другие члены президиума, позже других Леонов.

Леонов говорит Дьякову и Евсеичу, расматриваящим карту СССР:

— ...ОТПУЩЕННЫЕ ДВА МИЛЛИОНА — ЭТО ДЕНЬГИ НЕМАЛЫЕ, НО ВРЯД ЛИ ИХ ХВАТИТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАСЕЯТЬ ЭТИ ПРОСТРАНСТВА...

Дьяков берет Леонова за руку и показывает на карту.

— НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО ЗА ВАМИ...

На карте вспыхивают тысячи огней и надпись:

СНАЧАЛА ТЫСЯЧИ КРЕСТЬЯНОПЫТНИКОВ, ЗАТЕМ — 35 000 КООПЕРАТИВОВ.

— ...И Я...

Вера бросается в объятия Леонова.

В БЛИЖАЙШИЕ ЖЕ ДНИ СОТНИ ПУДОВ АЛЬБИДУМА БЫЛИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ДЛЯ МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ПО СОВХОЗАМ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОММУНАМ И ХОЗЯЙСТВАМ КРЕСТЬЯН-СЕЛЕКЦИОНЕРОВ.

Крестьянин из мешка высыпает пшеницу в ящик сеялки. Сеялка пошла сеять.

А В ЭТО ВРЕМЯ В ДАЛЕКОЙ АМЕРИКЕ ЗАВЕДУЮЩИЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ «5.14 С°» ПРОФЕССОР ЧЕЛЛЕНЖЕР...

Профессор Челленжер на метеорологической вышке у самопишущего барометра.

...СОПОСТАВЛЯЯ ГРАФИКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, С НЕСОМНЕННОСТЬЮ УБЕДИЛСЯ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ЛЕТО...

Профессор Челленжер за вычислениями в метеорологической лаборатории. Рассматривает графики, нервно проводит рукой по волосам, берет телефонную трубку, ожесточенно говорит и быстро уходит, взяв графики.

Ноги профессора Челленжера быстро поднимаются по лестнице.

Челленжер и ван дер Пуль рассматривают графики.

— ...ЗЕМНОЙ ШАР БУДЕТ ОХВАЧЕН ЗАСУХОЙ, ПЕРЕД КОТОРОЙ БЛЕДНЕЮТ ВСЕ УЖАСЫ 1921 ГОДА.

Сосредоточенное лицо ван дер Пуля:

— ВЫ В ЭТОМ УВЕРЕНЫ?

Взволнованное лицо Челленжера:

— СОВЕРШЕННО УВЕРЕН. НЕМЕЦКИЙ УЧЕНЫЙ БРЮКНЕР ДОКАЗАЛ, ЧТО ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 14 ЛЕТ БУДЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ПЕРИОД ЗАСУХИ... ЭТОТ ПЕРИОД ПРИБЛИЖАЕТСЯ — ЛЬДЫ ПОЛЯРНОГО МОРЯ ОТХОДЯТ НА СЕВЕР. РУСЛА МИССИСИПИ И ВОЛГИ ОБМЕЛЕЛИ, КАК НИКОГДА...

Ван дер Пуль оживает, ударяет рукой о ручку кресла и говорит нарочито серьезно:

— Я ЗАПРЕЩАЮ ВАМ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ. ЭТО ТАЙНА НАШЕЙ ФИРМЫ. ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ УЗНАЕТ ОБ ЭТОМ, Я В 24 ЧАСА УНИЧОЖУ ВСЕ ВАШИ СТАНЦИИ.

Профессор Челленжер с мрачным видом собирает графики и уходит. Ван дер Пуль радостно потирает руки, в возбуждении ходит по комнате.

— ПРЕДСТОИТ ГОЛОД — БУДЕМ ИГРАТЬ НА ПОВЫШЕНИИ ХЛЕБНЫХ ЦЕН.

Ван дер Пуль звонит. Входит секретарь.

КАК РАЗ В ЭТИ ДНИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ СОБИРАЛИ ДЕСЯТИМИЛЛИОННЫЙ УРОЖАЙ АЛЬБИДУМА.

Идут десять жаток. Евсеич наблюдает их работу и поправляет ее.

Крестьянки работают на четырехконной молотилке, обмолачивая урожай.

Леонов и Вера приезжают в Дерюгино на «праздник урожая». Прохор Беспалов и коммунары их встречают. Участники «праздника урожая» во главе с Леоновым совершили паломничество на горбатую межу, где некогда на крестьянских землях посевы Альбидума были съедены гессенской мухой; на этот раз посевы коммуны нельзя было отличить от озимых посевов крестьянских полей.

«Сухие маки» с хорошими посевами с обеих сторон; Леонов со спутниками...

Ван дер Пуль курит сигару и диктует секретарю:

— ЦЕНА ДОЛЖНА УПАСТЬ НЕ МЕНЬШЕ, КАК НА ДВАДЦАТЬ ПУНКТОВ,

ПОЭТОМУ ЛОЗУНГАМИ МОИХ ГАЗЕТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

Ван дер Пуль загибает один палец:

1. МЕТЕОРОЛОГИ ПРЕДВЕЩАЮТ НЕОБЫЧАЙНЫЙ УРОЖАЙ БУДУЩИМ ЛЕТОМ.

Руки ван дер Пуля: загибает еще один палец.

2. ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА АКЦИИ 5 НОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ЭЛЕВАТОРАМ ДЛЯ ОЖИДАЕМЫХ ИЗБЫТКОВ ХЛЕБА.

Третий палец ван дер Пуля загибается.

3. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ УГРОЖАЕТ ЗАТОПИТЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК СВОИМ ХЛЕБОМ.

Секретарь вбегает в ночную редакцию. Дежурные редакторы чешут затылки и ищут статьи на «лозунги» Пуля. Ротационная машина вертится. Экспедиция газеты выпускает номер. Сотни газетчиков разбегаются.

Нью-Йоркская хлебная биржа. Хлебные спекулянты с разными выражениями лиц читают газеты. Биржевое волнение. Радиопочта, излучающая волны и огненные цифры падающих цен. Два биржевика, жестикулируя, в панике спорят.

— ГАРРИСОН, ПОКА НЕ ПОЗДНО, НУЖНО ПРОДАВАТЬ!

Биржевик в отчаянии говорит по телефону.

— ГАРРИСОН, СОВСЕМ НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПОКУПАТЬ!

В кабинет, где на мягких креслах сидит ван дер Пуль, входят шесть подобострастных биржевиков-агентов ван дер Пуля. Ван дер Пуль, подняв палец кверху, говорит:

— «СУПЕР-МАНИТОБА КОМПАНИ» ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ПОКУПАТЬ ВЕСЬ НАЛИЧНЫЙ И СРОКОВЫЙ НА ОКТЯБРЬ ПО 70 ЦЕНТОВ ЗА БУШЕЛЬ, НЕ ДЕЛАЯ БОЛЬШОГО ШУМА.

Самопишущий биржевой указатель цен стремительно падает от 110 до 12. Биржевая паника сбегает к указателю спекулянтов.

Сидящий в буфете биржевик пьет кофе, покупает у мальчика газету, читает биржевую хронику. Он разливает кофе. Глаза у него готовы вылезти из орбит. Он хватается за голову.

ЦЕНЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПАДАТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ.

Ван дер Пуль, окруженный репортерами и убитыми событиями биржевиками, с приторно-озлобленным лицом разводит руками и садится в автомобиль, который трогается. По мере того как биржевая толпа остается позади, лицо ван дер Пуля проясняется, он довольно и лукаво улыбается, оборачивается и затем заливается смехом.

Мимо мелькают улицы, дома. Ван дер Пуль подъезжает на автомобиле к своей вилле.

СЕСИЛЬ УЖЕ БОЛЕЕ ЧАСА ЖДАЛА СВОЕГО ЛЮБОВНИКА.

Сесиль, сидя в своем будуаре спиной к входящему ван дер Пулю и надув губки, делает вид, что его не замечает. Ван дер Пуль на цыпочках подходит к ней сзади и надевает ей на шею жемчужное ожерелье. Сесиль запрокидывает голову и целует ван дер Пуля.

— МОЯ МИЛАЯ КОШЕЧКА, ЕСЛИ ДЕЛА ПОЙДУТ С ТАКИМ ЖЕ УСПЕХОМ ДАЛЬШЕ, ТО ОСЕНЬЮ Я СМОГУ ПОДАРИТЬ ТЕБЕ НОВУЮ ВИЛЛУ ВО ФЛОРИДЕ И ПОИСКАТЬ ГДЕ-НИБУДЬ В ЕВРОПЕ ПАРУ РЕМБРАНДТОВ ДЛЯ ТВОЕЙ ГОСТИНОЙ.

Сесиль целует его еще раз и, грозя пальцем, говорит:

— МОЙ БЕГОМОТ НЕ ДОЛЖЕН ЗАБЫВАТЬ, ЧТО У МАЛЕНЬКОЙ СЕСИЛЬ НЕТ ЕЩЕ ОБЕЩАННЫХ СЕРЕГ С БРИЛЛИАНТАМИ ПО 60 КАРАТ.

Ван дер Пуль обнимает Сесиль...

Персов, сидя на крыльце дерюгинского дома, агитирует среди насупившихся коммунаров.

— АЛЬБИДУМ, АЛЬБИДУМ! ПРОДАДИМ ПО 2 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК, А КОМУ ОН НУЖЕН, ДЕРЬМО ТАКОЕ? НЕ ХОТИТЕ ЛИ РУБЛЬ С ЧЕТВЕРТАКОМ НА ПЕРЕМОЛ?... РАЗОРИЛ ВАС ГРИШКА-ТО, ВОТ ЧТО...

Коммунары в смущении.

Подвода за подводой поступали на элеватор. Прохор их принимает. Подходит Вера. Прохор и Вера сдержанно разговаривают.

— НЕАККУРАТНО ПОЛУЧАЕТСЯ, ВЕРА МИХАЙЛОВНА, СЕБЕ ОН НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЦЕЛКОВЫХ, А ЦЕНЫ-ТО И НЕТ...

Леонов говорит по телефону, рядом Евсеич в крайне подавленном настроении.

— АЛЛО, АЛЛО, ДАЙТЕ «ХЛЕБОПРОДУКТ».

Председатель «Хлебопродукта» Филимонов берет трубку. Леонов взволнованно говорит по телефону.

Филимонов говорит по телефону.

— НИЧЕГО НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ, ТОВАРИЩ ЛЕОНОВ, АМЕРИКА ПОНИЖАЕТ МИРОВОЙ РЫНОК, ДАЕМ НА ЭКСПОРТ 140 ФРАНКО-ПОРТ НА КОЛЕСАХ. ВАМ ЗА СЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИОННЫЙ БОЛЬШЕ 170 ДАТЬ НЕ МОЖЕМ, И БОЛЬШЕ 3 МИЛЛИОНОВ ПУДОВ ПО ЭТОЙ ЦЕНЕ НЕ ВОЗЬЕМ. ОБРАЩАЙТЕСЬ В СТО*.

Леонов кладет телефонную трубку и

обескураженно смотрит на Евсеича, который качает головой.

— ЭТО, ГРИША, ПОХУЖЕ ХЛЮПИНСКОЙ МЕЛЬНИЦЫ БУДЕТ! ПЕРЕБОРЩИЛИ.

Входит Вера и, видя взволнованные лица собеседников, подходит к Леонову.

— ГРИГОРИЙ, НЕУЖЕЛИ ЭТО ПРАВДА?

— ПРАВДА. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

— НЕ ЗНАЮ.

Персов, Хлюпин, крестьяне и коммунары, обступив со всех сторон Прохора Беспалова, угрожают ему расправой.

Леонов встал и подошел к окну. Вера и Евсеич в тяжелом раздумье.

Телеграф Морзе отстучивает телеграмму.

Телеграфист идет по улице.

Лестница в доме, где живет Леонов. Проходят Персов, Хлюпин и толпа жестикулирующих коммунаров; спускаются кокетничавшие барышни и кавалер. Поднимается телеграфист, звонит раз, другой.

Персов и Хлюпин с жаром наступают на Леонова, он стоит, скрестя руки на груди; напряжение становится все больше и больше. Звонит дверной колокольчик. Персов хватая Леонова за рукав и разъяренно наступает. Вбегает взволнованный Евсеич, отстраняет Персова и дает Леонову телеграмму. Руки Леонова раскрывают телеграмму. В ней написано: «Из Москвы — Саратов, Обсельстанция. Леонову. Ожидается сильная засуха. Телеграфируйте количество Альбидума. Правительство покупает весь наличный два рубля сорок. Вы назначаетесь чрезвычайную тройку посевокмании. Коллегия Наркомзема». Телеграмма, которую Леонов держит перед лицом Персова. Он остолбенел, потом надевает шапку и молча уходит. Евсеич обнимает Леонова и Веру, которая в радостном изумлении читает телеграмму.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ХЛЕБНОЙ БИРЖЕ.

Общий вид биржевых кладовых сроков биржи.

Ползут биржевые слухи.

Самопишущий указатель цен колеблется около одного уровня, затем начинает стремительно подниматься, кругом бегают, паника. С хоров биржи бросают листки газет.

Заголовки специального номера «Нью-Йорк Геральд»:

«ОЖИДАЕТСЯ ГОЛОД, ВСЬ НАЛИЧНЫЙ И СРОКОВЫЙ ХЛЕБ СКУПЛЕН АГЕНТАМИ ВАН ДЕР ПУЛЯ».

Радиопочта. По экрану несутся слова:

ГОЛОД. ГОЛОД. ГОЛОД.

Рабочий и пожилая женщина читают газеты, отрываются от листка и с беспокойством качают головами.

Три спекулянта, не продавшие свой

* Совет Труда и Оборонны.

хлеб, читают газеты и хохочут, радостно жестикулируют.

Биржевая паника. Старый спекулянт в панике заходит в телефонную будку и стреляется. Самопишущий указатель цен забирает кривую все выше и выше. Кругом паника. Ван дер Пуль смотрит на биржевую панику с верхнего буфета, вынимает изо рта сигару и с довольным видом хохочет, содрогаясь всем своим жирным телом.

ЧАСТЬ 4. СССР вступает в игру.

БИРЖИ АМЕРИКИ БЫЛИ ПОДАВЛЕНЫ.

Негр, вращая белками, продает газеты. Биржевик с кислым выражением лица покупает у него номер и смотрит на среднюю страницу. Газетная хроника: «Озимые вышли из-под снега в очень плохом состоянии. Цены на хлеб продолжают расти».

Биржевик комкает газету и бросает ее. Ноги биржевика топчут газету.

Биржевая толпа в волнении. Иеремия Мак-Кеннод собирает несколько раздраженных биржевиков и тащит их за собой. В биржевом буфете Мак-Кеннод и его приятели садятся за стол, у которого прислуживает негр. Мак-Кеннод ораторствует.

— ПРОЙДОХА ПУЛЬ УТЕР НОС СТАРОМУ ИЕРЕМИИ. ИГРА ПРОИГНАНА. ДА-С, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, ПРОИГНАНА. КАНАДСКИЙ ХЛЕБ У ВАН ДЕР ПУЛЯ, АРГЕНТИНА — У НЕГО ЖЕ. БУДЕМ ИГРАТЬ В ОТКРЫТУЮ. ПОЕХАЛИ К ВАН ДЕР ПУЛЮ.

Биржевики в открытом автомобиле, придерживая свои шляпы, едут.

Ван дер Пуль на лужайке с маленькой девочкой и двумя собаками играет в бильбоке. Насадив удачно шар на палку, он торжествует; в это время приходит горничная и приносит визитные карточки. Пуль недоволен, но просит провести просителей. Иеремия Мак-Кеннод и его спутники подходят к ван дер Пулю, который продолжает сидеть на траве. Иеремия садится на детский складной стул, остальные, посмотрев кругом, остаются стоять.

— ...УЖЕ ТРИ МЕСЯЦА НА БИРЖЕ НЕ БЫЛО СДЕЛОК. БИРЖА БОЛЬНА, БИРЖА ПРОСИТ СЛАБИТЕЛЬНОГО...

— ...МЫ ПРОИГРАЛИ И ПРИШЛИ ЧЕСТНО РАСКЛАНЯТЬСЯ. БЕРИ РАЗНИЦУ И ПРОДАВАЙ НАЛИЧНОЙ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ КУРСУ — 180 ЗА БУШЕЛЬ. Ван дер Пуль мотает отрицательно головой.

— ...5 % ПРИБАВКИ.

Ван дер Пуль отрицательно мотает головой.

Иеремия шепотом совещается с окружающими и потом говорит:

— ...10 % НАДБАВКИ.

Ван дер Пуль вскакивает разъяренный и, размахивая бильбоке, наступает на биржевиков.

— КРЕТИНЫ, КРЕТИНЫ, ВАМ ВОДУ ВОЗИТЬ НАДО, А НЕ ИГРАТЬ НА БИРЖЕ! НЕ ХОТИТЕ ЛИ, Я ВАМ САМ ПРЕДЛОЖУ ПРИБАВКИ В 60 % КУРСА ЗА ПОСТАВКУ ОСЕНЬЮ МНЕ НОВОГО УРОЖАЯ?

Иеремия Мак-Кеннод встал потрясенный со стула и попятился назад.

— ДЖОН, ТЫ СОШЕЛ С УМА! КТО ЖЕ ТЕБЕ ОПЛАТИТ ЭТИ ЦЕНЫ?

Голова ван дер Пуля с налившимися от крови глазами.

— АНГЛИЙСКИЙ ГОРНОРАБОЧИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ МЕТАЛЛИСТ, РОССИЙСКИЙ ГОЛОШТАННЫЙ КРЕСТЬЯНИН — ВОТ КТО ОПЛАТИТ ПУХНУЩИЙ С ГОЛОДУ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Биржевики, разводя руками, уходят, ван дер Пуль снова сел на траву и хохочет. Собаки прыгают кругом.

Голова хохочущего ван дер Пуля. Вдруг — сзади женские руки, держащие письмо, закрывают ему глаза. Ван дер Пуль освобождается из плена, целует руки, потом их обладательницу и, взяв письмо, начинает его читать. По мере чтения его лицо постепенно хмурится, он поднимает голову и говорит:

— СКВЕРНЫЕ ВЕСТИ ИЗ МОСКВЫ. СССР МОЖЕТ СОРВАТЬ НАМ ВСЮ ИГРУ.

Леонов говорит что-то по телефону. Вера стоит сзади.

ПОСЕВКАМПАНИЯ ПО СССР БЫЛА В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ.

ПО ПЛАНУ, УТВЕРЖДЕННОМУ СОВНАРКОМОМ, И ОРДЕРУ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ТРОЙКИ БАЗИСНЫЕ СКЛАДЫ НАГРУЖАЛИ СОТНИ ВАГОНОВ АЛЬБИДУМА.

Погрузка вагона на элеваторе.

МАРШРУТНЫЕ ПОЕЗДА РАЗВОЗИЛИ ИХ ПО ЗАСУШЛИВОЙ ПОЛОСЕ...

Идет поезд. По рельсам бегут вагоны. **ПРИСТАНЦИОННЫЕ КООПЕРАТИВЫ ПРЯМО СО СТАНЦИЙ РАСПРЕДЕЛЯЛИ В КРЕДИТ СЕМЕНА.**

Разгрузка семян из вагонов. Крестьянин с лукошком сеет вручную. Тракторы пашут. Сеялки работают.

Вера с телеграммами в руках отмечает крестиками уезды на карте с надписью «Районы, начавшие посев». Леонов стоит рядом и говорит ей:

— УЖЕ ТРИ ЧЕТВЕРТИ ЗАСЕЯНО, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ГЕССЕНСКОЙ МУХИ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.

Ван дер Пуль, сидя на траве в той же позе, говорит Сесиль:

— БЫЛО БЫ НЕПЛОХО, СЕСИЛЬ, ЕСЛИ ТЫ, КАК ПРЕЖДЕ, ПОМОГЛА БЫ

МНЕ НЕМНОГО И ПОБЫВАЛА БЫ В МОСКВЕ. БЫТЬ МОЖЕТ, ЧТО-НИБУДЬ МОЖНО СДЕЛАТЬ.

Сесиль вдруг сделалась серьезной и, утвердительно наклонив голову, уходит вместе с ван дер Пулем.

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ АВИОН ПОДНЯЛСЯ С АЭРОДРОМА НЬЮ-ЙОРКА.

Берег моря. Летящий низко над землей аэроплан устремляется в открытое море и скрывается из виду.

В руках Леонова визитная карточка. Леонов в недоумении рассматривает карточку Сесиль и наконец говорит что-то стоящему перед ним курьеру.

Сесиль и несколько смущенный ею Леонов. Вера с недовольным видом проходит сзади.

— Я ВОСХИЩЕНА, МИСТЕР ЛЕОНОВ, ВАШЕЙ АГРОНОМИЕЙ И ТАК МНОГО СЛЫШАЛА О ВАШЕМ УДИВИТЕЛЬНОМ АЛЬБИДУМЕ!

ЛЕОНОВ, ПОЛЬЩЕННЫЙ СЛОВАМИ КРАСИВОЙ ФРАНЦУЖЕНКИ, НАЧАЛ ПОДРОБНО И ДОЛГО РАССКАЗЫВАТЬ О СОВЕТСКОМ СТАНДАРТЕ ПШЕНИЦ И О БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ.

Леонов с увлечением рассказывает. Сесиль слушает со вниманием, сквозь которое видна пытливая наблюдательность.

Вера говорит по телефону, читает и пишет бумаги, и временами подозрительно смотрит на Леонова и Сесиль.

МЕЖДУ ТЕМ ЗАСУХА НЕУМОЛИМО РАЗВЕРТЫВАЛАСЬ. НЕДВИЖНОЕ СОЛНЦЕ СТОЯЛО НА БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ. ПОЛЯ ТУЧНЫХ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПАШЕН, НЕ ЗАСЕЯННЫЕ СЕМЕНАМИ АЛЬБИДУМА, БЫЛИ ЗАДУШЕНЫ ПАЛЯЩИМ ЗНОЕМ. ОДНАКО, ЕСЛИ В 1921 ГОДУ ТОЛЬКО ОДИНОКИЕ КОЛОСЬЯ АЛЬБИДУМА ПРОТИВОСТОЯЛИ СОЛНЦУ, ТЕПЕРЬ 3 МИЛЛИОНА ГЕКТАРОВ АЛЬБИДУМА И ДРУГИХ ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫХ ПШЕНИЦ, ПОДКРЕПЛЕННЫЕ МЕЛИОРАЦИЕЙ И УЛУЧШЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ, ПРАЗДНОВАЛИ ПОБЕДУ НАД СОЛНЦЕМ.

Необозримые поля, снятые с аэроплана. Волны ветра стелятся по полям пшеницы.

НЕКОТОРОЕ БЕСПОКОЙСТВО ВНУШАЛО ВОЗМОЖНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ САРАНЧИ И ДРУГИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ, И ЛЕОНОВ РЕШИЛ ОТПРАВИТЬСЯ НА МЕСТА ПОСМОТРЕТЬ, ВСЕ ЛИ ГОТОВО К ВСТРЕЧЕ НЕПРОШЕННЫХ ГОСТЕЙ.

Леонов на заседании Тройки показывает на карте маршрут своего инспекторского объезда.

СЕСИЛЬ, УЗНАВ ОТ СВОИХ АГЕНТОВ О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПОЕЗДКЕ ЛЕОНОВА, ПРИКАЗАЛА ВО ЧТО БЫ ТО НИ

СТАЛО ДОСТАТЬ ЕЙ БИЛЕТ В ТОМ ЖЕ ВАГОНЕ.

Сесиль в номере гостиницы разговаривает с двумя типами, которые, получив деньги, кланяются и уходят.

Леонов собирается на вокзал. Вера его провожает.

Автомобиль Леонова и Веры подъезжает к подъезду Казанского вокзала.

Провожающие толпятся на перроне уходящего поезда. Леонов и Вера подходят к вагону. Леонов жмет руки, целует Веру и входит в вагон.

Леонов в окне вагона, Вера около окна на перроне. Поезд трогается, Вера машет рукой Леонову. К вагону Леонова подбегает Сесиль, вскакивает на ходу на площадку, носильщик подает ей чемодан. Вера с радостным лицом машет рукой. Вдруг она замечает на площадке Сесиль, которая также машет ей рукой. Вера продолжает махать рукой, но ее лицо выражает недоумение и растерянность.

Уходящий поезд. Улыбающийся Леонов машет из окна. Улыбающаяся Сесиль машет из окна. Какой-то песик мчится вслед убегающему поезду, отстал, остановился, лает.

Вера с задумчивым лицом спускается по ступеням Казанского вокзала.

Кондуктор, посмотрев на билет, вводит Сесиль в купе, где сидит Леонов и показывает ее место. Леонов, пораженный «неожиданной случайностью», встает и здоровается.

Сесиль, сидя с Леоновым в купе, умело и осторожно кокетничает.

ЛЕОНОВ НЕ МОГ НЕ ПРИЗНАТЬ, ЧТО ФРАНЦУЖЕНКА ЕМУ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ.

Сесиль намазывает тартинки и кормит ими смущенно улыбающегося Леонова.

Ножка француженки в изящной туфельке. Вера разбирает, сидя в кабинете Леонова, деловую почту и быстро пишет телеграмму: «Не получаю никаких инструкций, нет данных о последовательности районов высева. Тройка требует распределения срочных назначений, отвечай немедленно».

Секретарь Леонова пропускает Сесиль в кабинет, на котором написано «Ростовское представительство Главпосевкома». Сесиль в кабинете одна, быстро осматривает стол. Три нераспечатанных телеграммы лежат на столе, рука Сесиль их схватывает.

Сесиль, кладя телеграммы в ридикюль, уходит в сторону. Из двери выходит Леонов. — **ПРОСТИТЕ, ЧТО Я ЗАСТАВЛЯЮ ВАС ЖДАТЬ, МАДЕМУАЗЕЛЬ. ОЧЕНЬ МНОГО ДЕЛ, И Я СЕГОДНЯ ЖЕ ДОЛЖЕН ЕХАТЬ В МОСКВУ.**

Сесиль кокетливо смотрит на Леонова, который стоит спиной к зрителям, и говорит ему:

— НО ВЕДЬ ВЫ ЖЕ ОБЕЩАЛИ ПОКАЗАТЬ МНЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКУЮ ОБ-

ЛАСТНУЮ СТАНЦИЮ! НЕУЖЕЛИ У ВАС В СОВЕТСКОЙ РОССИИ ТАК СКОРО ЗАБЫВАЮТ ОБЕЩАНИЯ?

Дьяков и Вера в кабинете Леонова в Москве. Обеспокоенная Вера.

— Я НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГРИГОРИЕМ, ОН УЖЕ ДВА ДНЯ ПРОСРОЧИЛ С ОТЪЕЗДОМ И НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ПОВТОРНУЮ ТЕЛЕГРАММУ. НЕТ ТОЧНЫХ ПОРАЙОННЫХ СРОКОВ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ МОЖЕТ ДОРОГО ОБОЙТИСЬ!

Дьяков уходит. Вера остается одна, задумчиво подходит к столу. В руках Веры конверт, на котором написано: «Москва, Главпосевком, В. М. Леоновой, срочно, лично». Вера с недоумением рассматривает конверт и вскрывает его.

Письмо: «Ваши доброжелатели советуют Вам обратить внимание на пристрастие Вашего супруга ко всему французскому. Бабенка, конечно, недурна, но дело может угрожать не только Вам, но и Посевкомиссии». Вера с недоумением вертит в руке письмо.

А В ЭТО ВРЕМЯ В НОВОРОССИЙСКЕ...

Персов показывает новороссийский элеватор Леонову и Сесиль.

Леонов и Сесиль на фоне моря.

На подушке голова плачущей Веры.

Телеграмма: «Москва, Главпосевком, Вере Леоновой. Если Вы еще сомневаетесь, встретьте сегодня незамеченной ростовский поезд».

Скорый «Ростов-Москва» на полном ходу. Перрон Казанского вокзала. Вера за грудой багажа ждет подходящий ростовский поезд. Идут пассажиры. Вера видит среди проходящих Леонова и Сесиль, весело разговаривающих. Вера следит глазами за проходящими Леоновым и его спутницей.

— НУ ЧТО, КАКОВ ВАШ ГРИША? МЕРЗАВЕЦ БОЛЬШОГО КАЛИБРА!

Вера оборачивается, сзади стоит ухмыляющийся Персов.

— ПОСЛУШАЙТЕ, ПЕРСОВ, ЭТО ВЫ ПИСАЛИ МНЕ О ГРИГОРИИ?

Самодовольно гордое лицо Персова.

— ПОЧЕЛ СЕБЯ ОБЯЗАННЫМ, ВЕРА МИХАЙЛОВНА... НАДЕЮСЬ...

Вера дает пощечину остолбеневшему Персову и уходит.

А В ЭТО ВРЕМЯ В АМЕРИКЕ ИЕРЕМΙΑ МАК-КЕННОД ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ЗАМЕТНО ЛУЧШЕ.

Иеремия Мак-Кеннод улыбается.

КАНАДСКИЕ ПОСЕВЫ БЫЛИ НЕВАЖНЫ, НО НЕ БЕЗНАДЕЖНЫ.

Средние посевы Канады.

Самопишущий указатель цен на нью-йоркской бирже показывает цифры.

ВАН ДЕР ПУЛЬ НЕРВНИЧАЛ.

Кабинет ван дер Пуля. Ван дер Пуль отдает

приказания входящим и выходящим секретарям. Рука ван дер Пуля нервно подписывает бумаги. Ван дер Пуль разрывает переданную ему телеграмму: «Нью-Йорк. «Супер-Манитоба Компани». Бабушка сильно хворает, дети здоровы. Боятся клопов, нужно много персидского порошка. Сесиль». Пуль, прочтя телеграмму, заливается хохотом и манит пальцем секретаря.

— В РОССИИ, НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХУ, ПОСЕВЫ ДЕРЖАТСЯ ХОРОШО. ВСЕ БОЯТСЯ САРАНЧИ И ОДНА САРАНЧА МОЖЕТ НАС СПАСТИ. ДЖОН, ПРИКАЖИТЕ СКУПИТЬ ВСЕ ЗАПАСЫ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С НЕЙ. ПУСТЬ СЕБЕ ЖИВЕТ НА ЗДОРОВЬЕ.

Пуль хохочет.

Леонов ходит по своему кабинету. Место Веры пусто. Звонит по телефону:

— АЛЛО, ВЕРА МИХАЙЛОВНА У ВАС? НЕ ПРИХОДИЛА?

Леонов сидит, задумавшись, берет шляпу и портфель, уходит. Леонов поднимается по лестнице в свою квартиру, звонит, еще раз звонит, отпирает дверь английским ключом. Ходит по пустым комнатам. Лицо Леонова в полном недоумении. Осматривает совершенно пустые кровати и стол, под которым штилеты. На столе лежит записка: «А я была уверена, что ты меня любил и любишь. Прощай, Вера».

Леонов в растерянности держит записку.

ЧАСТЬ 5.

Лицом к лицу.

ТУЧИ САРАНЧИ, ЭТОГО ЖЕСТОКОГО СПУТНИКА ЗАСУХИ, ПОКАЗАЛИСЬ НА НЕБЕ. ОДНАКО НА ЭТОТ РАЗ УСТОЙЧИВО ДЕРЖАЩИЕСЯ ПОСЕВЫ НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЗАЩИТНИКОВ.

Эскадрилья аэропланов «Авиахима» готовится к борьбе с саранчой. Вера вместе с авиатором садится в аэроплан. Пуск пропеллера. Эскадрилья взлетает. Эскадрилья в работе. Погибшая саранча.

Вера спускается с приземлившегося аэроплана и уходит.

ВЕРА, НЕ ХОТЕВША БОЛЬШЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ С ЛЕОНОВЫМ, УЕХАЛА «НА САРАНЧУ» И В ОЖЕСТОЧЕННОЙ РАБОТЕ ХОТЕЛА НАЙТИ ЗАБВЕНИЕ.

Вера входит с грустным лицом в комнату и садится за стол. Она грустит, ее глаза что-то замечают и в волнении широко раскрываются. Руки Веры берут письмо, положенное кем-то на ее стол. Руки Веры держат письмо, на котором написано: «Почтовая станция Мокрый Лог, 111-й саранчевый отряд «Авиахима», Вере Михайловне Леоновой. Отправитель Г. Леонов. Москва. Главпосевком». Вера в странном волнении, хочет распечатать письмо, но потом долго думает и, наконец,

берет чистый конверт, кладет в него полученное письмо, пишет адрес, наклеивает марку и встает.

Письмо Леонова было отправлено назад нераспечатанным.

Вера опускает письмо в почтовый ящик, некоторое время стоит в тяжелом раздумье, потом уходит.

Аэроплан «Авиакима» борется с саранчой. А В ЭТО ВРЕМЯ В АМЕРИКЕ, ГДЕ ТАКЖЕ СВИРЕПСТВОВАЛИ ВРЕДИТЕЛИ, СЕЛЬСКИЕ ХОЗЯЕВА НИГДЕ НЕ МОГЛИ НАЙТИ СРЕДСТВ НА БОРЬБУ С НИМИ.

Канадский фермер чешет себе затылок перед погибающими полями. Фермеры осаждают лавку, на которой написано: «Удобрения и средства по борьбе с вредителями». Приказчик, окруженный фермерами, разводит руками.

— НИ НА БИРЖЕ, НИ НА СКЛАДАХ НЕТ НИ ЦЕНТНЕРА ХОРОШЕЙ ИЗВЕСТИ И СЕРНОГО ЦВЕТА... ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО ИНТРИГИ КОМИНТЕРНА.

Два фермера говорят между собой, разводят руками и качают головами.

Саранча ест колосья пшеницы.

Самопишущий указатель цен на бирже лезет в гору. Иеремия Мак-Кеннод недоволен. Ван дер Пуль довольно улыбается. Рабочий, читая газету, хмурится.

В РАБОЧИХ КВАРТАЛАХ ЛОНДОНА И В УГОЛЬНЫХ РАЙОНАХ НЕУКЛОННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ХЛЕБ ВЫЗВАЛО БОЛЬШУЮ ТРЕВОГУ.

Толпа горнорабочих и их жен перед входом в булочную очень взволнована. В булочной хозяйки и рабочие укоряют булочника, тот, оправдываясь, показывает в газете цены на зерно. «Бобби» отгесняют волнующуюся толпу от булочной.

АНГЛИЙСКИЕ КООПЕРАТОРЫ ОБСУЖДАЛИ СОЗДАВШЕЕСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ХЛЕБНОГО РЫНКА.

Заседание совета «Общества оптовых закупок». За большим столом сидят 11 человек разного социального типа, взволнованно обсуждая вопрос о заготовке хлеба.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОЧДЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ* ДЖОННИ ДЖОНС СЧИТАЛ СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМЫМ ВЕСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С «СУПЕР-МАНИТОБА КОМПАНИ», ПОЛЬЗУЯСЬ ПРИЕЗДОМ В ЛОНДОН ЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

Джонни Джонс говорит, слушатели одобительно кивают головами.

Кооператоры во главе с Джонни Джонсом садятся в автомобиль. Автомобиль «Общества оптовых закупок» проезжает сквозь взволнованную толпу рабочих, сдерживаемую «бобби». Рабочие приветствуют Джонни Джонса.

Гостиничный «бой», пройдя по коридору гостиницы, стучится в одну из дверей.

ВАН ДЕР ПУЛЬ БЫЛ ДОВОЛЕН, КОГДА ГОСТИНИЧНЫЙ «БОЙ» «КРОУКЕР ОТЕЛЯ» ДОЛОЖИЛ ЕМУ О ПРИЕЗДЕ АНГЛИЙСКИХ КООПЕРАТОРОВ.

В номере «Кроукер отеля» ван дер Пуль держит поданную «боем» визитную карточку. Секретарь ван дер Пуля по его приказу идет с гостиничным «боем» и приветствует пятерых членов кооперативной делегации. Ван дер Пуль предлагает кооператорам сесть и садится сам.

Ван дер Пуль улыбается весьма предупредительно. Джонни Джонс убеждает ван дер Пуля продать хлеб.

— ЖЕЛАЯ ПРЕДУПРЕДИТЬ ГОЛОД В ФАБРИЧНЫХ РАЙОНАХ И ВОЗМОЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВО ИМЯ СОЦИАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ ПРОДАТЬ АНГЛИЙСКОЙ КООПЕРАЦИИ ВСЕ НАЛИЧНЫЕ ЗАПАСЫ ВАШЕЙ ФИРМЫ, КОТОРЫЕ, КАК ГОВОРЯТ, ДОСТИГАЮТ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ ТОНН.

Лицо Пуля делается печальным, и он с выражением соболезнования начинает говорить.

— Я БЫЛ БЫ СЧАСТЛИВ, ЕСЛИ БЫ В НАШИХ ЭЛЕВАТОРАХ БЫЛА БЫ ОДНА ДЕСЯТА ЧАСТЬ НАЗВАННОГО ВАМИ КОЛИЧЕСТВА. УВЫ, ЭТО ЛЕГЕНДА, ПОЛОЖЕНИЕ ОТЧАЯННОЕ И НАШИ СКЛАДЫ ПОЧТИ ПУСТЫ...

Ван дер Пуль соболезнующе пожимает руки уходящим кооператорам и, закрыв за ними дверь, сразу преобразуется, заливаясь хохотом и приплясывая, возвращается к столу. Плутовская физиономия смеющегося ван дер Пуля.

Рабочая толпа в волнении около лавок.

Рабочая семья. Английский горняк разводит руками, его жена и дети стоят в полном отчаянии.

А В ЭТО ВРЕМЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ...

Жатки косят посеы Альбидума. Крестьяне жнут серпом. Тракторная молотыба.

Леонов в своем кабинете отпускает какого-то посетителя и затем начинает разбирать почту. Руки Леонова разбирают почту и в волнении берут конверт, на котором написано: «г. Москва, Главпосевком, т. Леонову от В. М. Ширяевой».

Взволнованное лицо Леонова. Руки Леонова распечатывают письмо и вынимают из него нераспечатанное письмо самого Леонова.

* Рочдельское общество потребителей — первая в истории кооперативная организация рабочих-ткачей, возникшая в начале 40-х гг. XIX века в английском городе Рочдейле и руководствованная идеями социалиста-утописта Роберта Оуэна.

ПОЛУЧИВ В ТРЕТИЙ РАЗ ОБРАТНО НЕРАСПЕЧАТАННЫМ СВОЕ ПИСЬМО К ВЕРЕ, ЛЕОНОВ ГЛУБОКО ЗАДУМАЛСЯ.

Леонов в глубокой задумчивости. Входит Евсеич и садится рядом. Видит письмо, возвращенное Верой, и кладет свою руку на руку Леонова. Лицо Евсеича, утешающего Леонова.

— ЗНАЮ Я, ГРИША, ЧТО НА ТЕБЕ ВИНЫ ПЕРЕД НЕЙ НЕТ... ПОЕЗЖАЙ ТЫ ПРОДАВАТЬ НАШУ ПШЕНИЧКУ В ЛОНДОН, А Я ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПОБЫВАЮ У ВЕРЫ МИХАЙЛОВНЫ...

Леонов, Евсеич. Леонов поднимает голову и, подумав, кивает головой в знак согласия. ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ЛЕОНОВ УЖЕ БЫЛ В ОСТЕНДЕ И ПОДНИМАЛСЯ ПО ТРАПУ ПАРОВОДА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ ОТВЕЗТИ ЕГО В АНГЛИЮ.

Пристань, около которой стоит небольшой пароход. Леонов с небольшим чемоданчиком среди толпы туристов, поднимающихся на пароход.

ЛЕОНОВ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ОДИНОКИМ СРЕДИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРАЗДНОЙ ТОЛПЫ И С ГРУСТЬЮ ДУМАЛ О ВЕРЕ.

Леонов в шезлонге грустно смотрит на море. В стелющемся пароходном дыму, в морской пене волны ему видятся знакомые черты Веры.

— ЗДРАВСТВУЙТЕ, МИСТЕР ЛЕОНОВ.

Из мира грез Леонов возвращается к действительности, он поднимает глаза вверх и оборачивается. Ярко освещенное солнцем улыбающееся лицо Сесиль. Леонов встает со стула и крайне холодно здоровается с Сесиль.

Леонов и Сесиль ходят по палубе парохода. Сесиль всеми силами хочет завладеть вниманием Леонова. Смеющееся и кокетничающее лицо Сесиль. Сосредоточенное и мрачное лицо Леонова.

— ЧТО С ВАМИ, МИСТЕР ЛЕОНОВ, ВЫ СОВСЕМ НЕ ПОХОЖИ НА СЕБЯ. ЗАЧЕМ ВЫ ЕДЕТЕ В АНГЛИЮ?

Леонов и Сесиль сидят около перил на палубе парохода.

СЕСИЛЬ ПРИЛАГАЛА ВСЕ СТАРANIA УЗНАТЬ ЧТО-НИБУДЬ О ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ ЛЕОНОВА, КОТОРЫЙ НА ЭТОТ РАЗ БЫЛ МОЛЧАЛИВ. ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЕГО СЛОВАМ ОНА ДОГАДАЛАСЬ, ЧТО ОН ЕДЕТ ПРОДАВАТЬ СОВЕТСКИЙ ХЛЕБ.

Раздосадованная Сесиль прощается на перроне Лондонского вокзала с Леоновым и раздраженно смотрит ему вслед.

ЛЕОНОВ И ПРИЕХАВШИЕ РАНЕЕ ЕГО ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ОЧЕНЬ ГЛУПО В ЧОПОРНОЙ АНГЛИЙСКОЙ ГОСТИНИЦЕ.

Леонов сидит в огромном кожаном кресле в курительной комнате отеля и грустно дума-

ет. Струя табачного дыма застилает все кругом.

Постепенно вырисовывается следующий кадр. Вера в глубокой задумчивости. Евсеич подходит к двери и стучит. Вера отворяет дверь и, увидев Евсеича, бросается к нему в объятия.

Евсеич и прижавшаяся к нему Вера со слезами на больших глазах. Евсеич рассказывает Вере обо всем, что было в Москве. Евсеич протягивает Вере письмо Леонова, та отрицательно машет головой и отводит его рукой. Евсеич с волнением говорит.

ЕВСЕИЧ ДОЛГО УБЕЖДАЛ ВЕРУ В ТОМ, ЧТО НЕТ ОСНОВАНИЯ СЧИТАТЬ ЛЕОНОВА ВИНОВНЫМ ПЕРЕД НЕЮ.

Вера берет письмо и открывает его.

«МИЛАЯ ВЕРА, ЕСЛИ ТЫ МНЕ НЕ ВЕРИШЬ И НЕ ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ЭТО ТВОЕ ДЕЛО, НО ТЫ НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА БРОСИТЬ ОБЩЕ ДЕЛО НАШЕЙ ЖИЗНИ. Я ДОЛЖЕН УЕХАТЬ В ЛОНДОН. ТОЛЬКО ТЕБЕ МОГУ ПОРУЧИТЬ Я НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОТПРАВКОЙ АЛЬБИДУМА. ПОПРЕЖНЕМУ ЛЮБЯЩИЙ ТЕБЯ И НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТЫЙ ГРИГОРИЙ».

Вера в волнении читает письмо и движением руки просит Евсеича уйти...

Ужин в буржуазном английском доме. Рюмка с ликером опрокидывается на скатерть. Ноги фокстротирующей пары. Сигара, дым от которой поднимается струйкой и кольцами вверх. Ван дер Пуль целует ручку какой-то блондинке. Лакей, балансируя среди фокстротирующих пар, несет на подносе письмо.

Ван дер Пуль получил письмо и с крайним беспокойством читает. Прощается со своей дамой. Уходит, надевает в вестибюле цилиндр и пальто.

Автомобиль, в котором сидит Сесиль. Ван дер Пуль в волнении к ней подходит. Целует ей руку. Сесиль наклоняется к ван дер Пулю и говорит ему на ухо:

— ПРОДАВАЙ НЕМЕДЛЕННО ПШЕНИЦУ. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ЗАТОПИТ РЫНОК АЛЬБИДУМОМ... ЛЕОНОВ В ЛОНДОНЕ.

Ван дер Пуль садится в автомобиль Сесиль и они уезжают, оживленно разговаривая.

СОВЕТСКИЕ ДЕЛЕГАТЫ СОБИРАЛИСЬ УЖЕ ОТПРАВИТЬСЯ В «ОБЩЕСТВО ОПТОВЫХ ЗАКУПОК», КОГДА ГОСТИНИЧНЫЙ «БОЙ»...

Леонов и три его спутника собирают бумаги в портфели и надевают пальто. Гостиничный мальчик стучит в дверь и открывает ее, подает карточку Леонову. Карточка ван дер Пуля «Супер-Манитоба Компани», на которой написано рукой: «Просит мистера Леонова принять его наедине». Леонов показывает карточку своим спутникам. Те

удивленно пожимают плечами, разводят руками, кивают головой и уходят; Леонов просит позвать ван дер Пуля.

Ван дер Пуль и Леонов здороваются. Леонов предлагает ван дер Пулю сесть. Лицо Леонова настороженно, холодно.

— ЧЕМ МОГУ СЛУЖИТЬ?

Ван дер Пуль любезно и в то же время нагло говорит:

— ВАМ, МИСТЕР ЛЕОНОВ, ПО ВСЕМУ, ВЕРОЯТНО, ИЗВЕСТНО, ЧТО В РУКАХ НАШЕЙ КОМПАНИИ СОСРЕДОТОЧЕНО 2/3 МИРОВОГО ЗАПАСА ПШЕНИЦЫ ЭТОГО ГОДА. ОСТАВШАЯСЯ ТРЕТЬ НАХОДИТСЯ В ВАШИХ РУКАХ, НАШЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОЗВОЛИЛО ВАМ ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЕЩЕ НА 20 ПРОЦЕНТОВ ПУНКТОВ. ВАШЕ СОГЛАСИЕ ДАСТ СССР 150 МИЛЛИОНОВ ЧИСТОГО ДОХОДА, КОТОРЫЙ ДЛЯ ВАС НЕ ЛИШНИЙ.

Леонов оторопел и находится в явном замешательстве.

— А КАК ЖЕ РАБОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И НАСЕЛЕНИЕ ГОЛОДАЮЩИХ РАЙОНОВ?

— НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ, ЦЕЛЫ БУДУТ, ХОТЯ НЕМНОГО И ПОДВЕДЕТ ЖИВОТ. МЫ ЛЮДИ ДЕЛА, А НЕ РОМАНТИКИ.

Леонов в негодовании встает.

— Я ОТКАЗЫВАЮСЬ. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ НЕ МОЖЕТ СТРОИТЬ СВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ГОЛОДЕ ТРУДЯЩИХСЯ ДРУГИХ СТРАН.

Ван дер Пуль в негодовании встает. Противники стоят, сжимая кулаки.

— В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ БУДЕТЕ РАЗДАВЛЕНЫ, МИСТЕР ЛЕОНОВ.

Леонов рукой показывает ван дер Пулю на дверь. Ван дер Пуль, иронически хохоча, уходит, останавливается в дверях и говорит:

— ПОДУМАЙТЕ...

Леонов хватает за спинку стул и бросается на ван дер Пуля, который скрывается за дверью. Леонов крайне взволнован.

ЧАСТЬ 6.

Альбидум против Супер-Манитобы.

Автомобиль остановился у подъезда «Общества оптовых закупок», из него выходят Леонов и его спутники. Англичане-кооператоры приветствуют Леонова.

— ИМЕЙТЕ В ВИДУ, МИСТЕР ЛЕОНОВ, ЧТО ПОСЛЕ ВСЕГО, ЧТО ПРОИЗОШЛО, АНГЛИЙСКАЯ КООПЕРАЦИЯ, ПОДПИСАВ ДОГОВОР С ВАМИ, ПОРВАЛА ВСЯКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ХЛЕБ ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВАН ДЕР ПУЛЯ. ВЫ ДОЛЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ДОСТАВИТЬ ХЛЕБ ВОВРЕМЯ, НО И ПО КАЧЕСТВУ ОН НЕ ДОЛЖЕН УСТУПАТЬ ЛУЧШЕЙ СУПЕР-МАНИТОБЕ.

Подписи под договором.

Телефонный аппарат звонит. Пуль в своем кабинете берет телефонную трубку.

— КАК, УЖЕ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР? НЕВЕРОЯТНО!

Пуль вызывает секретаря и, раздраженно размахивая руками, говорит ему что-то.

Секретарь входит в кабинет редакции газеты.

— МИСТЕР ПУЛЬ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ НАЧАТЬ КАМПАНИЮ ПРОТИВ ЗАСОРЕННОГО СОВЕТСКОГО ХЛЕБА.

Вернутся ротационные машины.

Мальчишки-газетчики бросают газеты над толпой. Газеты летят сплошным потоком, вихрями бумаги, среди которых вспыхивают огненными буквами надписи: «Банкротство советского хлеба», «Гнилые запасы пшеницы в Новороссийске», «Общество оптовых закупок» вводят в заблуждение».

Погрузка хлеба в элеваторы. Кубань и Крым уже отгружали Альбидум к портам.

Погрузка хлеба из станционного элеватора в вагоны. Запечатывают вагоны, и поезд трогается. Колеса вагонов бегут по рельсам.

Новороссийский порт. Пароходы, готовые к погрузке.

ЗАВЕДУЮЩИЙ КОНТОРОЙ «ХЛЕБОЭКСПОРТ» ПЕРСОВ В КРАЙНЕМ РАЗДРАЖЕНИИ.

Сильно растолстевший и опустившийся, Персов в своей конторе потрясает полученной телеграммой.

— ЭТОТ ПРОХОДИМЕЦ ЛЕОНОВ... ТРЕБУЕТ! УГРОЖАЕТ! ГРУЗИТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АЛЬБИДУМ! ТОЖЕ, ПОДУМАЕШЬ, ЦАЦА.

Персов подзывает к себе делопроизводителя.

ДЛЯ «ПЕМБРОКА» НУЖНО 25 ТЫСЯЧ ТОНН, У НАС ЕСТЬ АЛЬБИДУМА В ПОРТУ 10 ТЫСЯЧ ТОНН. ГРУЗИТЕ. ОСТАЛЬНОЕ НА «ПЕМБРОК» ИЗ ПЯТОГО НОМЕРА.

Погрузка «Пемброка». Погрузка заканчивается. Подходит Вера. Капитан прощается с Верой и портowymi работниками и поднимается на мостик. «Пемброк» отваливает. Смеющаяся Вера, махая уходящему «Пемброку», идет по пристани.

Вера останавливается около пустого лабаза в замешательстве. Вера осматривает двери, на которых печать законченной погрузки. Приходит в крайнее беспокойство. Подходит к портovým грузчикам, только что грузившим «Пемброк».

— НЕТ, МИЛУША. ГРУЗИЛИ ИЗ ПЯТОГО НОМЕРА. ПРОШЛОГОДНЯЯ ГИРКА*.

* Гирка — сорт пшеницы, традиционный для юга России, вывозившийся на экспорт.

Вера хватает грузчика за рукав и тянет в контору «Хлебэкспорта». Вера с недоумевающим грузчиком врываются в контору к Персову.

— СЛУШАЙТЕ, ПЕРСОВ, ЧТО ВЫ НАГРУЗИЛИ НА «ПЕМБРОК»?

Вера в волнении укоряет Персова, тот ей показывает разные бумажки и в свою очередь кричит на нее.

— ВЫ СРЫВАЕТЕ ПЛАН, ТОВАРИЩ ШИРЯЕВА! Я БУДУ ЖАЛОВАТЬСЯ В МОСКВУ!*

Вера в ярости смотрит на Персова, машет рукой и уходит. Персов ехидно смеется. **ВИДЯ БЕЗНАДЕЖНОСТЬ РАЗГОВОРОВ С ПЕРСОВЫМ, ВЕРА ПОБЕЖАЛА В ГУБКОВ И ПОТРЕБОВАЛА ВОЗВРАТА И ПЕРЕГРУЗКИ «ПЕМБРОКА» ИЛИ ОТПРАВКИ ВСЛЕД «ЛЕОНИДА КРАСИНА» С АЛЬБИДУМОМ.**

Заседание Губкома под председательством Дьякова. Персов говорит с ехидством:

— ПОМИМО ПЛАНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ОТСУТСТВИЯ ПРИКАЗОВ ИЗ МОСКВЫ, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ГОВОРИТ МНЕ, ЧТО «ЛЕОНИДА КРАСИНА», ИМЕЮЩЕГО ВМЕСТИМОСТЬ В 25000 ТОНН НЕЛЬЗЯ ОТПРАВИТЬ, НЕ ИМЕЯ АЛЬБИДУМ В НАЛИЧНОСТИ. А ДО ПРИБЫТИЯ ХЛЕБА ИЗ САРОВОА НУЖНО ЖДАТЬ ПОЛТОРЫ НЕДЕЛИ.

Вера говорит:

— НАША ДЕЛЕГАЦИЯ ОБЯЗАЛАСЬ ДОСТАВИТЬ АЛЬБИДУМ В ЛОНДОН НЕ ПОЗДНЕЕ 20 ОКТЯБРЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО УСЛОВИЯ СОРВЕТ ВСЮ КАМПАНИЮ...

Дьяков говорит:

— В БУДУЩЕМ ГОДУ МЫ МОГЛИ БЫ ПРОТАЩИТЬ ПО ВОЛГО-ДОНУ САРАТОВСКИЙ АЛЬБИДУМ В ЧЕТЫРЕ ДНЯ, ТАРИФ ПРОВОЗА СТОИЛ БЫ НАМ ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ, А ТЕПЕРЬ МЫ ТЕХНИЧЕСКИ БЕССИЛЬНЫ.

* Судя по сохранившимся режиссерским разработкам, сюжетный узел с Персовым разрешался более определенным образом:

«Грузчики спорят на полбутылки — дойдет зерно или сгорит. Вера (...) узнает о подмеси, о том, что пробы взяты неправильно. У нее рождается подозрение.

Губком. Вера говорит о своих подозрениях. Персов как будто бы прав, улики нет. (...) Зерно сгорело.

Вера ночью получила телеграмму от Леонова. Леонов пишет о крахе. Вера плачет.

Утром секретарь губкома утешает Веру. Говорит: все будет в порядке. Звонит по телефону в ГПУ. Персов делает подмесь в новую партию, исполняя договор с Сесиль. Но как только гнилая гирка потекла в корабль, Персов арестован». См. Научный архив ГФФ, там же, л. 15.

Вера умоляюще убеждает вызвать главного инженера Волго-Дона.

ВЕРА УГОВОРИЛА НАЧАТЬ ПОГРУЗКУ АЛЬБИДУМА НА «ЛЕОНИДА КРАСИНА» И ПОПЫТАТЬСЯ ПРОТАЩИТЬ АЛЬБИДУМ ПО ГОТОВОМУ ВЧЕРНЕ ВОЛГО-ДОНСКОМУ КАНАЛУ.

Дьяков и Вера выходят из дома и садятся в автомобиль.

Ростовский аэродром. Вера и Дьяков подъезжают на автомобиле к аэроплану, где сидит пилот; механик и Вера садятся в кабину. Крутящийся пропеллер аэроплана, набегающий на зрителя. Аэроплан в воздухе.

Ван дер Пуль выслушивает своего секретаря и берет телефонную трубку.

— АЛЛО, «ОБЩЕСТВО ОПТОВЫХ ЗАКУПОК»? Я НАШЕЛ СПОСОБ ПОСТАВИТЬ ВАМ ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ МИЛИОН ТОНН МАНИТОБЫ, НО СТАВЛЮ НЕПРЕМЕННОМ УСЛОВИЕМ ОТКАЗ ОТ ЗАСОРЕННОГО НИЗКОПРОБНОГО СОВЕТСКОГО ХЛЕБА.

В этом кадре на черном квадрате экрана вспыхивают в четырех углах светлые пятна, в которых возникают ван дер Пуль, Леонов, Джонни Джонс и автомат биржи в зависимости от того, кто из перечисленных лиц говорит; слова проносятся светящимися буквами, как буквы рекламы.

Джонни Джонс: «Алло, мистер Леонов, уверены ли Вы в аккуратности Вашей поставки?»

Леонов: «Совершенно. «Пемброк» вышел из Ростова».

Джонни Джонс: «Алло, мистер Пуль. «Пемброк» вышел из Ростова. Мы просим подождать его прихода».

Ван дер Пуль: «На «Пемброке» самые низкопробные гирки».

Джонни Джонс: «Алло, мистер Леонов, гарантируете ли Вы качество пшеницы?»

Аэроплан. Вера в воздухе по направлению к Волго-Дону.

Леонов — Джонни Джонсу: «Качество ростовской погрузки выше Манитобы».

Джонни Джонс: «Мы надеемся, что это так».

Аэроплан Веры снижается перед конторой строительства Волго-Дона.

Дьяков и Персов в ростовском кабинете председателя Губисполкома.

— ТОВАРИЩ ДЬЯКОВ, КАЖДЫЙ ЧАС ПРОСТОЯ В ПОГРУЗКЕ «ЛЕОНИДА КРАСИНА» ОБХОДИТСЯ НАМ 500 РУБЛЕЙ, БРОСЬТЕ БРЕДНИ ЭТОЙ ВЗБАЛМОШНОЙ ДЕВЧОНКИ.

Дьяков в подавленном состоянии смотрит в окно. Берет телефонную трубку, говорит, еще раз в раздумье смотрит. Наконец обращается к Персову.

— ОТ ВЕРЫ МИХАЙЛОВНЫ НЕТ НИ-

КАКИХ СВЕДЕНИЙ. ГРУЗИТЕ «КУ-БАНКУ».

Персов уходит. Дьяков сидит у стола. Пальцы Дьякова нервно перебирают карандаши.

Вера скачет на лошади по степи. Вера подъезжает к почтовой станции и соскакивает с лошади. Сияющая Вера у телефона почтовой станции.

В кабинете Дьякова звонит телефон. Дьяков берет трубку.

— ТОВАРИЩ ДЬЯКОВ, БАРЖА ПРОШЛА ПОСЛЕДНИЙ ШЛЮЗ. ЧЕРЕЗ ЧАС БУДЕМ НА ВОДЕ ДОНА.

У борта «Леонида Красина». Персов отдает распоряжение о погрузке, элеватор приходит в движение. Рукава самогрузок передаются на люки «Красина».

Самокатчик подъезжает к порту. Персов самодовольно смотрит на погрузку. Перед ним вырастает самокатчик и передает записку:

«ПОГРУЗКУ «КУБАНКИ» ПРЕКРАТИТЬ. БАРЖА ИЗ САРАТОВА ПОДХОДИТ К РОСТОВУ».

Через пять дней «Леонид Красин» отваливает в Англию, имея на борту Веру и 25000 тонн Альбидума. Вера машет платком с капитанского мостика. Дьяков и Евсеич машут с мола, позади них мрачный Персов. «Леонид Красин» в открытом море.

А В ЭТО ВРЕМЯ ЛЕОНОВ, ПРЕДУПРЕЖДЕННЫЙ ИЗ РОСТОВА, ВСТРЕТИЛ «ПЕМБРОКА» И УЖАСАЛСЯ КАЧЕСТВУ ПРИСЛАННОГО ХЛЕБА.

Леонов на борту «Пемброка» рассматривает пробы хлеба, которые ему показывают, хватается за голову.

Агент говорит из будки автомата ван дер Пулю:

— ТАМОЖЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ ГОВОРЯТ, ЧТО НА «ПЕМБРОКЕ» ПРИБЫЛА НИЗКОПРОБНАЯ РАЗНОСОРТНАЯ ПШЕНИЦА.

Ван дер Пуль — Джонни Джонсу: «Потребуйте от Леонова, чтобы он показал Вам груз «Пемброка», а то он вышвырнет его в воду».

Джонни Джонс — Леонову: «Могу я Вас видеть сегодня?»

Джонни Джонс входит в кабинет Леонова и возбужденно говорит с ним.

АНГЛИЙСКИЕ КООПЕРАТОРЫ НАСТОЙЧИВО ТРЕБОВАЛИ ПОКАЗАТЬ ИМ ЗЕРНО «ПЕМБРОКА». ЛЕОНОВ ОТКАЗАЛ ИМ, СКАЗАВ, ЧТО ПО ДОГОВОРУ ОН ОБЯЗАН СДАТЬ ИМ ТОВАР ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ.

Джонни Джонс холодно прощается и уходит. Леонов, проводив его, мрачно ходит из угла в угол.

«ЛЕОНИД КРАСИН» НЕУКЛОННО ПРИБЛИЖАЛСЯ К АНГЛИИ.

«Леонид Красин» идет сквозь бурю в океане. Волны заливают палубу.

В машинном отделении «Леонида Красина». Нос «Леонида Красина» режет волны.

Хлебная биржа в Нью-Йорке. Общий вид волнующейся толпы около указателя цен. Иеремия Мак-Кеннод машет руками, ораторствуя среди спекулянтов. Слухи ползут по бирже.

«Леонид Красин» борется с ветром в открытом море.

Слух ползет по бирже.

ВАН ДЕР ПУЛЬ, ВЫКРАВШИЙ ОБРАЗЕЦ ХЛЕБА С «ПЕМБРОКА», ПРИВЕЗ ЕГО НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ «ОБЩЕСТВА ОПТОВЫХ ЗАКУПОК».

Ван дер Пуль и Джонни Джонс среди взбешенных английских кооператоров. Джонни Джонс, ван дер Пуль и несколько кооператоров входят в кабинет правления и, глядя на часы, телефонируют.

— АЛЛО, АЛЛО. МИСТЕРА ЛЕОНОВА НЕТ, КАК НЕТ. НЕИЗВЕСТНО, КУДА УЕХАЛ.

Полная паника. Ван дер Пуль негодуяше указывает пальцем на Джонни Джонса, который совершенно растерялся.

А В ЭТО ВРЕМЯ...

«Леонид Красин» входит в порт. Леонов на моторной лодке подплывает вместе с таможенными чиновниками к борту «Леонида Красина» и взбирается по лестнице наверх.

Леонов взбирается на палубу. Видит Веру, останавливается в замешательстве. Вера протягивает ему руки и он, бросаясь к ней, крепко ее обнимает.

Иеремия Мак-Кеннод говорит по телефону, бросает трубку и начинает скакать по комнате от радости.

Иеремия Мак-Кеннод вбегает на биржу, его расспрашивают, кругом начинается паника.

Ван дер Пуль со злорадством составляет договор «Супер-Манитоба Компани» с английской кооперацией.

Джонни Джонс вынимает часы и смотрит на них.

— ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ МЫ БУДЕМ ИМЕТЬ ПРАВО РАЗОРВАТЬ ДОГОВОР.

Бежит секундная стрелка.

Леонов и Вера входят в собрание «Общества оптовых закупок». Ван дер Пуль и кооператоры заметили Леонова. Застыли в ожидании. Джонни Джонс подходит к Леонову. Леонов передает ему таможенное удостоверение и говорит:

— СОГЛАСНО УСЛОВИЮ ИМЕЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ 25000 ТОНН ПШЕНИЦЫ. ОСТАЛЬНЫЕ ПОСТУПАТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА.

Полная сенсация среди кооператоров.

Биржевой самопишущий указатель цен отмечает падение.

Кругом волнение. Торжествующее лицо Иеремии Мак-Кеннода. Совершенно убитый горем ван дер Пуль.

В МОСКВЕ ИЗВЕСТИЕ О ПОБЕДЕ СОВЕТСКОЙ ПШЕНИЦЫ БЫЛО ВСТРЕЧЕНО С ЭНТУЗИАЗМОМ.

Мальчишки продают «Вечернюю Москву». Манифестация. На трибуне саратовские

коммунары во главе с Леоновым, Верой, Евсичем и профессора саратовской опытной станции.

Рабочие преподносят им Знамя:
«ЗА ПОБЕДУ НАД СОЛНЦЕМ ВО ИМЯ СОЛНЦА».

1927 г.

Рашит Янгиров

К ИСТОРИИ ОДНОЙ КИНОУТОПИИ

Имя Александра Васильевича Чаянова (1888—1939), возвращенное наконец в наше сознание, вызывает все более растущий интерес. В первую очередь, он обусловлен заново осознанной актуальностью чаяновского научного наследия, посвященного вопросам теории и практики некапиталистических форм хозяйствования. Но не меньший интерес представляет и многогранная личность этого человека, воплощающая в себе почти утраченный ныне тип отечественного интеллигента с его уникальным сочетанием энциклопедизма ученого и универсализма культурного деятеля, фундаментализма теоретика и подвижничества практика-организатора — словом, всех качеств, слагающих, по определению Чаянова, «творческий синтез исключительной личности».

Постижение «феномена Чаянова» не нашло еще адекватного исследовательского подхода и пребывает пока в стадии идеализации, граничащей с узкопрофессиональной пристрастностью. Между тем, современным исследователям чаяновского наследия, безоговорочно разделяющим его на две основные, но неравноценные части, стоило бы прислушаться к самоощущению Александра Васильевича, считавшего их органичными и самоценными формами проявления своей индивидуальности. В марте 1927 г., добиваясь разрешения на издание сборника «романтических» повестей «Ботаника X.», он так определял место художественных вкусов и пристрастий в ряду своих важнейших занятий: «Коллегии Наркомпроса, по всем вероятностям, известно по моей научной деятельности, что я совершенно далек не только от мистицизма, но даже идеализма. Однако мой сугубый материализм в науке и мирозерцании не мешают мне уважать и любить как сказочный эпос, так и поэтику Гофмана».

«В самом деле, — предлагал он своим читателям в «Предуведомлении» к этому

неосуществленному изданию, — отчего после томительного заседания на согласительных комиссиях и ночной работы над перспективным планом какого-либо предприятия не почитать на сон грядущий взамен переводных мещанских романов авантурные похождения московских петиметров? А к тому же, если сейчас издают и читают гоголевский «Нос», в музее Изящных искусств вереницей экскурсии глубокомысленно рассматривают всякую чертовщину, сверкающую красками на полотнах старых мастеров, а в Большом театре ставят «Фауста» и «Сказку о царе Салтане», то почему бы и Вам, читатели, не почитать и ботаническую Гофманиаду?»

Художественное своеобразие чаяновской прозы, опирающейся на богатейшую традицию, тем не менее было обречено на конфликт с нормативными представлениями своего времени задолго до того, как обесценились научно-практические взгляды ученого. Еще в самом начале 20-х годов, когда эти представления только формировались, соответствующий тон был задан наиболее авторитетными, а в сегодняшнем представлении — либеральными теоретиками и практиками новой культуры. А. В. Луначарский на X съезде РКП(б) провозглашал, что «все просвещение в коммунистическом государстве должно быть только коммунистическим и никаким другим; все науки, все искусства должны быть пронизаны коммунистическим духом»¹.

Еще более категоричен был Н. И. Бухарин: «Мы не должны терпеть того, что мы не понимаем и чего никто не может понять. Мы должны разрешать все то, что не выходит за пределы рациональных познаний»².

Следом шли и оргвыводы. Например, в случае с беллетристикой Чаянова они были однозначными: «(...) во всех повестях чуда, нечистая сила, волшебство, чертов-

щина и т. д. (...) Главлит считает, что печатание (...) разрешать не следует. Это решение Главлита согласовано с директивными организациями».

Этот частный, но далеко не единственный эпизод в практике эпохи приобретает в контексте рассматриваемой нами темы особое значение. Восторжествовавший тип утопического мышления с его воинствующей претензией на универсализм и объективную закономерность собственного существования был особенно нетерпим к иным моделям и утверждал свою правоту самым простым и эффективным способом — всеобъемлющей монополией на общественное сознание. «Мечты Чайновых и советская действительность»³ отрывались друг от друга столь безоговорочно, что и сегодняшним обществоведам вся совокупность чаяновского наследия представляется второсортной утопией, не достигшей «высот марксизма» и оттого лишенной самостоятельной ценности⁴. До сих пор не услышанным ответом всем оппонентам остается предупреждение ученого: «История... указывает нам, что существуют методы социального воздействия, при помощи которых небольшая кучка лиц может повергать в духовное рабство широкие народные массы. Причем идеи и волевые импульсы, внушаемые этими организациями народным массам, нередко ими самими не разделяются, а только используются как средства для осуществления иных идейных заданий. (...)»

Печальной памяти эпоха государственного коллективизма наглядно доказала, что нет ныне атлантов, могущих держать шар земной единственно на своих плечах, и что духовная монополия ничего, кроме сожжения духовной жизни принести не может. Помните, что в духовной жизни только духовно слабый нуждается в духовной защите своих идей методами внешнего воздействия⁵.

Методологической основой чаяновской мысли стало утверждение его учителя, профессора А. Ф. Фортунатова, что «все мыслимое может являться предметом науки». Это во многом объясняет то, что «гуманитарная» часть наследия ученого, известная далеко не в полном объеме, соприкасается с разнообразными сферами искусств. Наименее известным до сих пор оставалось участие Чайнова в практике современного ему кинематографа, связанное с постановкой сценария «Победа над солнцем». Экранная судьба снятого по нему фильма развернулась на фоне политических событий и социально-экономических процессов конца 20-х годов.

Инициатор этого замысла А. Брагин давно интересовался агротехникой и вопросами

пропаганды прогрессивных форм земледелия, посвятив им сборник популярных очерков, в котором выступил с призывом «спешить земле на помощь». Выступив «запевалой» нового начинания, он первым же поспешил включиться в его реализацию, обратившись к кинематографистам студии «Межрабпомфильм» с предложением снять пропагандистский фильм об агротехнических проблемах сельского хозяйства. Идея журналиста была сочтена нужной и своевременной. Требовалось, однако, соединить ее с увлекательной художественной формой. Тогда-то к работе над сценарием задуманного фильма и был привлечен профессор Чайнов. Скорей всего этот выбор предопределен не только глубокими познаниями ученого в предложенной теме. Немалую роль, видимо, сыграл дар Чайнова — беллетриста, хорошо владевшего техникой развертывания сюжета. Это подтверждает в своих воспоминаниях постановщик фильма Л. Оболенский: «Чаянов-новеллист прекрасно понимал необходимость ярких перипетий — сломов действия в новые обстоятельства, «неожиданные, но возможные», по Аристотелю. (...) Скорее всего, что такие неожиданные сломы действия и обнаружения характеров (в сценарий — Р. Я.) привнесены именно Чайновым»⁶.

Для самого ученого работа над киноповестью стала естественным продолжением его постоянных усилий по популяризации агротехники. Более того, взяв за основу сюжета научную идею о селекции высокоурожайных сортов пшеницы, он как бы вновь вернулся к своей давней мечте — урожаю 1984 года в стране «крестьянской утопии».

Работа над сценарием шла, вероятно, в первой половине 1927 г. Во всяком случае, 30 июня «Правда» сообщила своим читателям, что киностудией «Межрабпомфильм» принят к постановке «сценарий А. Брагина и А. Чайнова «Альбидум 0604», являющийся первой попыткой передать в художественном фильме наиболее актуальные моменты борьбы на пшеничном фронте». К съемкам картины, приуроченной к 10-летию Октября, были привлечены кооперативные организации, Народный комиссариат земледелия и «ряд ученых в главе с профессором Вавиловым и профессором Макаровым». Дело, однако, не ограничилось эпизодическими консультациями специалистов. Волею авторов и, вероятно, в первую очередь, Чайнова в сюжетную ткань сценария были введены реальные персонажи — деятели сельскохозяйственной науки. В одном из эпизодов участвовали известные агрономы — почвоведы Н. Тулайков и Б. Мейстер, игравшие

самих себя. «Саратовский» период биографии Н. Вавилова предопределил время и место действия, отразившись в известной мере и в чертах главного героя. Не обошлось и без автобиографических мотивов, «выдающих» авторство самого Чайнова (поездка в Лондон, пропаганда традиционных форм крестьянской кооперации, все более терявших свое значение в реальной практике и др.).

Фабула будущего фильма была такова: «Крестьянин Леонов в дни голода в Поволжье собрал несколько зерен и с помощью женщины-агронома и коллектива ему удалось культивировать их и получить засухоустойчивые зерна «Альбидум». Ему пришлось преодолеть ряд препятствий в продвижении его семян, пока он не получает заграничную командировку, и вот в качестве «красного купца» он экспортирует в Лондон зерно. (...) В конце показано возвращение и чествование Леонова в СССР после установления торговли с Западом».

В сценарии, принятом к постановке, крестьянин Леонов был превращен в агронома, а «ряд препятствий в продвижении его семян» был развернут в борьбу с вредителями-чиновниками, подкупленными обольстительной шпионкой — агентом американского хлебного магната.

Необходимо известное усилие, чтобы от решиться от ощущения квазихалтурности этой фабулы, размноженной за последние десятилетия в бесчисленных вариациях, и вернуться к незамутненному восприятию этого раннего образчика «производственной» темы. Задуманная с самыми благими намерениями, киноповесть несет на себе несмыаемую печать эпохи с ее идеологической ангажированностью и безбрежным социальным оптимизмом. То, что сейчас ощущается прямолинейностью, схематизмом и дидактичностью, тогда лишь подчеркивало благородную утопичность пропагандируемой идеи и почти осязаемую близость ее осуществления. В этом еще раз проявилась характерная черта научного мышления Чайнова, давно отмеченная зарубежными биографами и исследователями его творчества. Не приходится сомневаться в том, что ученому лучше многих из современников были известны трудности решения «продовольственной программы» того периода. Отнюдь не понаслышке он был знаком с реальными показателями, с которыми Советский Союз в середине 20-х годов активно включился в круг стран-экспортеров зерна.

К 1927 г. уровень производства зерна на душу населения в развитых странах был следующим: Канада, в значительной мере сохранявшая колониальную и хо-

зяйственную зависимость от своей метрополии, собирала 110 пудов, США — 62 пуда, Германия — 28 пудов, Франция — 26 пудов. В СССР этот показатель составлял 24 пуда⁸. И в этих условиях важнейшей задачей советского сельского хозяйства стала «предстоящая нам в ближайшие годы борьба за мировой хлебный рынок»⁹. Специалисты вполне отдавали себе отчет в экономических мотивах, лежавших в основе этого решения, правда, не догадываясь еще об организационных методах его выполнения: «Наш экспорт не является следствием высокой земледельческой продукции: мы вынуждены вывозить хлеб, чтобы было чем заплатить за импортруемые машины и другие предметы, которые, в сущности, могли бы производить сами, если бы наша промышленность стояла на должной высоте. Наш экспорт возможен только благодаря вегетарьянству нашего крестьянства...»¹⁰

Это «вегетарьянство» через пять лет, проведенных в неуклонной «реконструкции» сельского хозяйства, сменилось массовым голодом и разорением крестьянства, в то время как мировой рынок был засыпан дешевым зерном. По имеющимся, но не подтвержденным официально данным, объем хлебного экспорта из СССР в 1928 г. составлял 1 млн. центнеров, в 1931—51,8 млн. центнеров, в 1932—18,1 млн. Общий валовой сбор зерна в 1931—1932 гг. дошел до 696,7 млн. центнеров по сравнению с 733,3 млн. — в 1928 г. По сравнению с «дежурным» индексом 1913 года валовая сельскохозяйственная продукция в стране упала со 124 % в 1928 г. до 101 % в 1933. По мнению историков, «Сталина нельзя было запугать «сказками о голоде»: он не хотел спасать голодающих от смерти не потому, что не было хлеба (экспорт зерна свидетельствовал об имевшихся возможностях), а потому что голод, смерть крестьян ослабляли крестьянство как политическую силу, ломали остатки его сопротивления. Речь шла о крестьянстве вообще, не только о «кулаках», о единоличниках, но и о тех, кто вошел в колхозы. Необходимо было им также показать, на чьей стороне сила, в чьих руках власть»¹¹.

Возвращаясь к агрономической киноутопии, родившейся в преддверии надвигающихся перемен, следует отметить один весьма существенный элемент ее художественной конструкции — игру в детектив. Этот прием, издавна популярный в кинематографе, был введен, видимо, как некий идеологический «пароль» советского кино этого периода.

Как известно, важнейшим условием раз-

вития социалистического искусства изначально стала практика «социального заказа», гарантировавшая его актуальность и художественную ценность. Одним из первых ее популяризаторов стал Н. Бухарин, специально занимавшийся разработкой вопросов партийного руководства культурой. До сей поры недооцененным остается его выступление на V съезде комсомола в октябре 1922 г., посвященное проблемам коммунистического воспитания молодежи.

«Мы слишком мало говорим относительно социализма в его развернутом виде,— признавался он своим слушателям, обращая их внимание на отсутствие в общем сознании хотя бы отдаленных умозрительных представлений о социальном идеале,— для молодежи, которая более эмоциональна, нужно дать более отчетливое выражение развернутого социализма, развернуть патетическую сторону борьбы за социализм и борьбу за социалистический идеал во всей широте: с точки зрения искусств, с точки зрения культуры, с точки зрения всего комплекса человеческих эмоций».

И вот тут-то, по мнению Бухарина, следовало использовать опыт низовой, а следовательно, демократической культуры, существующей в буржуазном обществе, способной в пролетарском государстве выдвинуться в самые верхние этажи его духовной надстройки. «Я утверждаю, что буржуазия именно потому, что она не глупа, преподносит Пинкертону молодежи. Пинкертон пользуется громадным успехом. Маркс, как известно, читал с большим увлечением уголовные романы. В чем же тут дело? Дело в том, что для ума требуется легкая, занятая, интересная фабула и разветвление событий, а для молодежи в десять раз больше, чем для взрослых. Вот почему вопрос о всяких революционных романах, об использовании материала из области военных сражений, приключений из области нашей подпольной работы, из области деятельности ВЧК, из области различных походов и прочего наших рабочих, когда наши рабочие бросались с одного фронта на другой, из области деятельности Красной армии и Красной гвардии — материал у нас громадный — вот почему этот вопрос встает перед нами. Этого материала мы до сих пор использовать не можем даже в одной стомиллионной. Если дать конкретное описание жизни какого-нибудь из наших революционных бойцов — это будет в тысячу раз интереснее всего. И это будет иметь огромнейшее воспитательное значение — большее, чем многие наши плакаты, рассуждения и т. п.

Необходимо создать соответствующую, вытекающую из всех намеченных задач, (...) литературу, кинематограф и т. п. Литература должна быть создана во что бы то ни стало», — завершал изложение своей программы Бухарин и выразил уверенность в том, что «если мы кадр отличных борцов выработаем на поле культурной борьбы, то мы сможем его через несколько лет насадить на протяжении всей Республики»¹².

Не приходится удивляться тому, с какой быстротой указания виднейшего теоретика партии были переведены в сферу художественной практики. Быстрее всех, как и ожидалось, отреагировали литераторы. В этом убеждает свидетельство одного из ведущих критиков этого периода, с особым удовлетворением отмечавшего тот исключительный интерес, «который проявляет современная беллетристика к чека и чекистам. Чекист — символ почти нечеловеческой решимости, существо, не имеющее права ни на какие человеческие чувства вроде жалости, любви, сомнений. Это — стальное орудие в руках истории»¹³.

Как ни велик был читательский успех нового жанра революционной литературы, «где все приключения героя вызываются заговорами, преследованиями противников, шпионажем, провокацией и т. п.» (Б. Томашевский), мера его жизнеподобия почти немедленно вызвала серьезные сомнения. Уже в 1924 г. это отметил Ю. Тынянов: «Есть вещи (настоящие, подлинно бывшие или каждый день случающиеся вещи), которые так повернуты в нашей литературе, что их просто не различаешь. Так произошло с героем-чекистом. Демон-чекист Эренбурга, и мистик-чекист Пильняка, и морально-педагогический чекист Либединского — просто стерлись, сломались. Происходит странное дело: литература, из сил выбивающаяся, чтобы «отразить» быт, — делает невероятный самый быт. После Эренбурга и Пильняка, и Либединского мы просто не верим в существование чекистов»¹⁴.

Ходульность, нежизненность нового героя заставляли искать и находить ему иную «среду обитания». Ближайшей к литературе оказался кинематограф, сам уже искавший возможностей вырваться из безжизненного тупика агиток. «Коммунистический Пинкертон» или «красный детектив» в кино стал на время важнейшей творческой задачей дня. Искусству экрана, в частности, предстояло «дать здоровую приключенческую картину и выявить идеального революционного героя — честного, отважного, борющегося с темными силами строителя новой жизни. Главная

задача в этом направлении — <...> сделать эту фигуру популярной»¹⁵.

Но очень скоро и в кино «красный детектив» стал не просто штампом, стершимся от частого употребления, он реально угрожал взорвать систему жанрового разнообразия советского кино. Кажется, именно этого опасался Ю. Тынянов: «У нас пока нет сколько-нибудь ясного выделения киножанров, а ведь именно киножанры должны диктовать самые принципы построения сценария. Не всякая фабула входит во всякий жанр, вернее, жанр кино либо оправдывает фабулу, либо делает ее неправдоподобной. ...Идеология входит в картину не абстрактной темой, а конкретным материалом и стилем»¹⁶.

«Гинкертоновская прививка» кинематографу не принесла ожидаемых результатов, но и не была столь уж бесплодной. Именно на волне увлечения «красным детективом» обрел свое яркое воплощение опыт «динамической фильмы», предпринятый Л. Кулешовым и его киноколлективом. Опираясь на свои теоретические разработки, режиссер поставил целью создать «фильм приключений, происходящих в СССР, фильм, в котором сильные люди побеждают все препятствия и врагов» и добился того, что метод слился с тем жанром, в котором были найдены его элементы» (В. Шкловский).

Приверженность к детективу очень скоро стала тяготить Кулешова, и он со второй половины 20-х годов решительно уходит в психологический кинематограф. Однако творческий опыт «Мистера Веста» и «Луча смерти» его ученикам казался еще вполне актуальным, во всяком случае, необходимым для пробы своих сил в режиссуре. Пример Б. Барнета — характерный, но не единственный. Для Л. Оболенского постановка фильма «Альбидум» стала не просто повторением «пройденного», но в известном смысле полемикой со своим мастером, категорически отрицавшим возможность совмещения на экране «американизмов» с «русским бытом». Предложенный сценарий, казалось, давал начинающему режиссеру заманчивые возможности объединить несоединимое. Задача научной популяризации позволяла подойти к отображению специфичного крестьянского быта через «искусство факта» и тем самым избежать диссонанса с условностью «американской» интриги.

Школа Кулешова, как известно, входила в сферу влияния ЛЕФа, претендовавшего на роль организатора и строителя художественной культуры революционной эпохи. Приобщение к его творческому опыту имело принципиально важное зна-

чение при создании киноутопии, обеспечивало ее вхождение в русло традиций «левого» искусства.

Работа над фильмом попала в круг заинтересованного внимания ЛЕФа вовсе не случайно. Рассчитанный на широкую аудиторию и, прежде всего, крестьянского зрителя, он расценивался как важный инструмент для внедрения собственных эстетических установок в «иноязычной» среде, невосприимчивой, как правило, к индустриальному пафосу «левых». Особо подкупало ЛЕФ стремление авторов вести в образно-смысловую конструкцию фильма опыт одного из известнейших достижений художественного авангарда 10-х гг. — оперного «дейма» «Победа над солнцем» (пролог В. Хлебникова, либретто А. Крученых, музыка М. Матюшина, художественное оформление К. Малевича). Специалисты выделяют из творческого опыта этой постановки лишь новаторство художника, впервые нашедшего в костюмах и декорациях супрематистские сочетания «белого с черным»¹⁷. Однако значение этого синтетического опыта для практики «левого» искусства оказалось несомненно более универсальным, сохранявшим свою актуальность многие годы.

Сценическая утопия в тонах музыкального ультрахроматизма и многозначительных вариациях словесной зауми оказалась вполне соответствующей предчувствию небывалых тектонических изменений в судьбе человечества, совершавшихся по воле нового творца истории. Прежняя бессмыслица обернулась гениальными пророчествами, услышанными заново:

«<..> Мы выстрелили в прошлое...
Всем стало легко дышать...
Как необычайно жизнь без прошлого.
С опасностью, но без раскаяния
и воспоминаний...»

Жители утопического «Десятого Страна», возникшего когда-то в творческом воображении, теперь обращались к зрителю из «царства свободы»:

«...вспомните прошлое
полное тоски ошибок...
ломаний и сгибания колен <...>
вспомним и сопоставим
с настоящим <...> Так радостно...»

Агрономическая киноутопия нашла в футуристическом предшественнике свои соответствия, но на ином уровне — семантическом и концептуальном. Ранний пафос «солнцеловов» основывался на стихийном бунте устоявшегося порядка вещей:

«Солнце ты страсти рожило
И жгло воспаленным лучом
Задернем пыльным покрывалом
Заколотим в бетонный дом»¹⁸.

На смену разрушительной стихии пришло разумно управляемое созидание «прекрасного нового мира». Метафоричность образного строя оригинала перешла в новое качество, трансформировалась в пафос научного знания, обогащенного новым социальным видением и опытом. Таким образом, «перевинчивание старой пьесы» (А. Крученых) переносило ее актуальность из чисто художественной сферы в область социального обращения при полном сохранении внутренних «родовых» связей.

Устойчивые словесные конструкты, вкладываемые исключительно в уста главного героя, по ходу развертывания сюжета все более тесно смыкаются с общественно-политической фразеологией.

Финал киноутопии реализует важную, но оставшуюся не вполне развернутой метафору оперного действия. Его безымянные герои — силачи — лишь провозглашали некий «праздник победы над солнцем», тогда как на экране должна была развернуться своего рода революционная мистерия с присущими ей атрибутами.

Метафорическая образность драматургической основы требовала соответствия в изобразительном строе фильма, однако, отсутствие киноматериала позволяет нам теперь лишь догадываться об этом. Во всяком случае, можно с уверенностью говорить об эффективной лаконичности декораций, построенных С. Козловским по эскизам А. Родченко, об изобретательной работе оператора Г. Кабалова, находившего смелые и неожиданные планы и ракурсы в подаче натуры (критика обвиняла его в «профессиональном неумении» — «падающих домах» и планах, снятых с «неведомых точек»). Особое смысловое значение в фильме играл по-кулешовски «рваный» монтаж. Но, пожалуй, самой оригинальной находкой режиссера стало освоение уже апробированного опыта в смысловой организации света, почерпнутого им у С. Эйзенштейна и Э. Тиссе, работавших в то время над «Генеральной линией». По свидетельству Л. Оболенского, совет оператора был прост, но безошибочен: «Свет делай так. Берешь солнце, берешь зеркало, много зеркал, много зеркал. Отражаешь — получается много солнца. Тут солнце, там солнце, везде солнце. Чтобы волосы трещали...»¹⁹ Так, по видимому, фильм обрел свою главную смысловую метафору, обогатившую солярную символику оригинала.

Наконец, нельзя не отметить актерский состав (О. Жизнева, Г. Кравченко, С. Ценин, А. Громов, М. Жаров, Б. Пясецкий и особо отмеченный прессой исполнитель главной роли В. Уральский), подобранный режиссером, насколько те-

перь об этом можно судить, в точном соответствии с типовыми данными и возможностями. Отсутствие подлинных человеческих характеров у героев киноутопии в полной мере было компенсировано игрой ярко индивидуализированных масок, удачно найденных актерами.

И все же художественная сверхзадача, поставленная режиссером при воплощении киноутопии, не была им вполне достигнута. Сам он много лет спустя охарактеризовал снятый им фильм как кентавр — «полунаука, полудетектив», признав тем самым, что ему не удалось достичь в нем искомого равновесия всех составляющих его разнородных элементов. Художественная конструкция фильма оказалась перегруженной зрелищными, игровыми эффектами. Первоначально введенная как пародия на коммерческий кинематограф, фабульная интрига в процессе работы приобрела самодовлеющее значение и почти целиком заслонила собой основу — научную популяризацию и сопряженный с ней документализм.

Первыми это заметили левовцы. Сразу после окончания съемок несмонтированный еще, вероятно, киноматериал был жестоко раскритикован В. Шкловским на совещании «ЛЕФ и кино»: «Есть такой человек Брагин, который говорит, чтобы снимали хлеб, а сам начинает сюда вкатывать любовь. Только что разговор шел о ржи (?), теперь ее отправляют в Лондон. Надо и эту парочку (?) отправить тоже в Лондон. (...) Ничего и не получается, когда форма применена неверно. (...) Несчастье и ошибка наша, — сетовал критик, — в том, что мы (...) не всегда умеем отстоять материал и что начинаем работу с никаким, с художественной точки зрения, материалом»²⁰.

Несмотря на принесенное разочарование, фильм все же не прошел бесследно для тех, кто отказал ему в творческом «доверии». Свообразным эхом представляется «Урожайный марш» Маяковского, опубликованный в 1929 г. и сохранивший совершенно очевидные сюжетные совпадения с первоначальным творческим замыслом фильма.

Что же касается Чаянова, то его активное участие в работе над киноутопией завершилось после сдачи сценария в производство. Напряженная научная работа (в это же время им была написана статья «Будущее сельского хозяйства в СССР») и длительная зарубежная командировка (во время пребывания в Париже, между прочим, он вел переговоры с художницей Н. Гончаровой о передаче ее произведений в советские музеи) отвлекли его от кино. Он присоединился к съемоч-

ной группе при сдаче «Альбидума» руководству киностудии лишь весной 1928 г. Надо думать, что он все же был хорошо осведомлен о работе над фильмом от своего соавтора, взявшего на себя основные хлопоты по сценарным консультациям и «пробиванию» картины в инстанциях и цензуре. Рубежной датой в истории кинопостановки для Чаянова можно считать 4 апреля 1928 г., когда он вместе с Брагинским был принят в киносекцию Московского Общества драматургов, писателей и композиторов (МООДПИК) в качестве сценаристов «производственной драмы»²¹.

Начиная с июня, «Альбидум» несколько раз служил предметом обсуждения на заседаниях Главреперткома. В них участвовали кинематографисты, специалисты-аграрники и представители общественности. Поначалу фильм был безоговорочно принят. Правда, без особых восторгов. Однако, на заседании 16 августа было высказано опасение в том, что «при наличии затруднений с хлебозаготовками он может произвести на зрителя нежелательное впечатление».

Действительно, фильм вышел на экраны в разгар хлебоуборочной кампании, завершившейся, как известно, так называемой «хлебной стачкой» крестьянства, протестовавшего против насаждаемых методов коллективизации. В этих условиях пропаганда мировой хлебной монополии в руках СССР, провозглашавшаяся фильмом, выглядела более чем неуместно. Агитационный пафос «поэмы о колосе», одобренной злободневной темой «экономической контрреволюции», не мог увлечь зрителя, оценившего ее с неожиданной стороны — «с точки зрения очердеи в собственной булочной»²². Характерно, что в провинции это было очевиднее, чем в Москве. Саратовское ОГПУ, например, уже в сентябре запретило демонстрацию «Альбидума» на местных экранах²³, а в октябре фильм был запрещен к показу уже повсеместно и возвращен на перемонтаж.

К этой операции был привлечен В. Шкловский, слышавший незаменимым спасателем гибнущих фильмов. Таким образом, ему представилась редкая возможность участвовать в «исправлении» раскритикованного им фильма и в приведении его в соответствие не только собственным вкусам, но и текущей конъюнктуре. В результате «хирургического» вмешательства «Альбидум» потерял почти четверть своего первоначального метража. Из него была почти полностью удалена игровая интрига, и он превратился в довольно скучный агитпропфильм, совершенно лишенный жанрового своеобразия.

Любопытно, что весь его агитационный пафос был «откорректирован» при помощи несложной манипуляции надписями: экспорт советской пшеницы был перенесен в более «безопасное» время — 1935 год и мотивирован оптимистическим, но, на сегодняшний взгляд, несостоятельным прогнозом: «Общий рост благосостояния нашей страны позволяет нам вывозить за границу излишки хлеба».

Между тем, перемонтаж как творческий метод к тому времени уже дискредитировал себя. Случай с киноутопией еще раз подтвердил правоту Ю. Тынянова: «Перемонтаж возник из привычки к плохой продукции. Из очень плохой трагедии при перемонтаже может получиться плохая драма и приличная «видовая». Делать же плохую трагедию хороший перемонтаж не может. Привычка к спасению плохой продукции, если ее перенести на хорошую, дает еще более скромные результаты. Работу режиссера, актеров и оператора нельзя похоронить начисто: элементы остаются, хорошая же картина остается хорошей, но попорченной картиной. В «Безрадостной улице» убийцей вместо героини сделан ее бывший жених. Перемонтажер, наверно, радовался своей работе. Но руки убийцы остались на экране женскими. Надпись о том, что руки принадлежат мужчине, вряд ли помогла бы! Это — случай «художественного перемонтажа», так как идеологические основы для него трудно указать. Идеология же в крепко сделанных картинах дана сразу в нескольких элементах сюжета и стиля, так что ни ножницы, ни клей не помогают»²⁴.

Можно считать, что судьба обреченного фильма еще раз, но уже косвенным образом, отразилась в кинопрактике ЛЕФа. Несомненно, он вошел в круг фильмов, пародируемых в кинопамфлете «Стеклянный глаз», вышедшим на экраны по «горячим следам» «Альбидума». В разгар висекции киноутопии, обусловленной, как уже понятно, причинами далеко не художественного порядка, в кругу Маяковского рождается замысел еще одного фильма-памфлета — о перемонтаже. Весьма остроумный по форме, он, по свидетельству Л. Брик, остался не воплощенным²⁵. Можно ли считать убедительным объяснение мемуариста о причинах отказа от постановки со стороны кинопроизводственников («Предложение было непривычным — неизвестно в какую графу его занести»)? Ведь практика изъятий и подмен все более набирала силу — и не только в сфере художественного творчества. Открыто дискредитировать ее становилось небезопасным.

Атмосфера вокруг Чаянова начала сгущаться с 1928 года. Поражение «правой» оппозиции, во многом опиравшейся на выкладки чаяновской организационно-производственной школы, поначалу не имело особых последствий. Несколько критических статей на страницах экономических изданий не могли насторожить неприученный еще к этому слух. Но слом крестьянского хребта дубиной «генеральной линии» вызвал рост массового сопротивления коллективизации и требовал от ее теоретиков и исполнителей все более значительных усилий. Отказ чаяновской научной школы от безоговорочного приятия и обоснования сталинского плана коллективизации вызывал настоятельное желание разгромить этот оплот инакомыслия. Уже в начале 1929 г. Чаянов вместе со своими коллегами подвергся резкой критике на II Всероссийском агрономическом съезде. От ученого потребовали немедленного публичного покаяния. Подобная практика в научной среде была еще в новинку, и он не сразу смирился с необходимостью публичного признания собственной «неправоты». Одно было ясно — продолжать разработку прежней научной проблематики уже невозможно. Чаянов с присущей ему оперативностью переключился на новую экономическую проблему — обоснование сверхкрупных земельных хозяйств-совхозов, организуемых, по его мнению, путем «самоколлективизации» крестьян. При этом вопроса о колхозном строительстве ученый не обсуждал, будто его и не существовало. Противниками это было воспринято однозначно как маневр «неразоружившегося» оппозиционера.

Внешнее давление все нарастало. Еще в марте 1929 г. в Тимирязевской академии началась чистка профессорско-преподавательского состава. Все чаще в публичных выступлениях имя Чаянова и его коллег стало упоминаться в качестве «противников социалистической реконструкции сельского хозяйства». На рубеже нового, 1930 г. в Москве была проведена конференция «аграрников-марксистов», на которой с программной речью выступил их верховный патрон. Его недоумение тем, «почему антинаучные теории «советских» экономистов типа Чаяновых должны иметь свободное хождение в нашей печати», было воспринято участниками конференции в ожидаемом направлении. Все они единодушно согласились с необходимостью беспощадного разгрома «всех буржуазных и мелкобуржуазных идеологий». Тут и там на страницах печати открываются рубрики «Против правого уклона, против кондратьевско-чаяновской «реконструк-

6 «Киносценарий» № 5

ции», «Против чаяновщины». Одним из деятельных участников печатной кампании показал себя еще мало кому известный Н. Ежов, занимавший в то время довольно скромный пост заместителя наркома земледелия.

16 января 1930 г. Чаянов получил последнюю возможность самореабилитации. В обширной статье, опубликованной в газете «Экономическая жизнь», он безоговорочно признал правильность «генеральной линии партии», но оговорил свою личную позицию. «Я должен совершенно откровенно сказать, что многие из жестких тактических методов раскулачивания деревни в процессе проведения коллективизации на месте весьма не легко осваиваются мною, и я лично не нашел бы в себе достаточно твердости для проведения их в качестве оперативного организатора».

Судьба Чаянова и его научной школы была предрешена. «Компетентные органы» активно собирали «компромат» и разрабатывали концепцию, которая впоследствии легла в основу следственного дела о «Трудовой крестьянской партии».

Нетрудно себе представить психологическое состояние человека, загнанного в угол. При встречах его не узнавали многолетние знакомые и сослуживцы, предавали ученики, публично отмежевываясь от своего учителя. Студенты, подогретенные возможностью безнаказанного глумления над своим преподавателем, срывали лекции...

Чаянов был арестован 19 июня 1930 года. Одновременно с ним была арестована большая группа преподавателей Тимирязевской академии и ведущих сотрудников Научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономики и политики. Следствие, которым руководил один из несомненных прототипов бухаринского «Пинкертона» Я. Агранов (с такой неподражаемой симпатией описанный недавно Ю. Семеновым в его «Версии» о самоубийстве Маяковского), велось параллельно с двумя другими — «Промпартии» и «Союзного бюро меньшевиков». По замыслу инсценировщиков, процесс по делу «Трудовой крестьянской партии» должен был стать последним актом грандиозной судебной постановки. Однако все упиралось в отсутствие улики (их не было и в двух первых случаях). Все зависело от фантазии следователя, обратившегося в поисках вдохновения к давней чаяновской повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», изданной в 1920 г. В ней Агранов и нашел все для себя необходимое. Дальнейшее было уже

вопросом техники, наработанной мастерами ОГПУ.

По свидетельству О. Э. Чайновой, «допросы вначале были очень мягкие, «дружественные», иезуитские. Агранов приносил книги из своей библиотеки, потом просил меня передать ему книги из дома, говоря мне, что Чайнов не может жить без книг, разрешил мне продовольственные передачи и свидания, а потом, когда я уходила, он, пользуясь душевным потрясением Чайнова, тут же ему устраивал очередной допрос. Принимая расположение к нему Агранова за чистую монету, Чайнов дружески объяснял ему, что ни к какой партии он не принадлежал, никаких контрреволюционных действий не предпринимал. Тогда Агранов начал показывать ему одно за другим тринадцать показаний его товарищей против него. (...) Показания, переданные ему Аграновым, повергли Чайнова в полное отчаяние — ведь на него клеветали люди, которые его знали и которых он знал близко и много лет. Но все же он еще сопротивлялся. Тогда Агранов его спросил: «Александр Васильевич, есть ли у вас кто-нибудь из товарищей, который, по вашему мнению, не способен солгать?» Чайнов ответил, что есть, и указал на профессора экономической географии А. А. Рыбникова. Тогда Агранов вынимает из стола показания Рыбникова и дает прочесть Чайнову. Это было последней каплей, которая подточила сопротивление Чайнова. Он начал, как и все другие, писать то, что сочинял Агранов»²⁶.

По данным автора многотомного и авторитетного «Опыта художественного исследования», «следственный аппарат ГПУ работал безотказно: уже тысячи обвиняемых полностью сознались в принадлежности к ТКП и в своих преступных целях. А всего было обещано «членов» — двести тысяч»²⁷.

На процессах «Промпартии» (25 ноября — 7 декабря 1930) и «Союзного Бюро меньшевиков» (1—9 марта 1931) мифическая ТКП материализовывалась из небытия. По замыслу устроителей на последнем из них в качестве обвиняемых и свидетелей были задействованы люди из чайновского круга — Н. Суханов (Гиммер), Н. Кондратьев и др., которые обеспечили «плавность» перехода к заключительному из намеченных судилищ. «Кулацко-эсеровская организация Кондратьева — Чайнова» упоминалась практически в каждом из выступлений участников процесса, но самого Чайнова на нем не было. ТКП была удостоена особого упоминания и в обвинительном заключении, согласно которому она «брала на себя органи-

зацию крестьянских восстаний и беспорядков, используя влияние кулацких элементов и колебание известной части середняков в вопросе об отношении к коллективизации сельского хозяйства; работу по снабжению восставших оружием и боевыми припасами и по доставке их в районы предполагаемых восстаний; работу по разложению частей Красной Армии, в особенности направленных для прекращения беспорядков в сельских местностях» и т. д. и т. п.²⁸.

Однако столь тщательно готовившийся процесс «Трудовой крестьянской партии» так и не состоялся. По мнению автора цитированного выше исследования, «в одну прекрасную ночь Сталин передумал (...) прикинул он, что скоро вся деревня и так будет от голода вымирать, и не двести тысяч, так нечего и трудиться. И вот была отменена вся ТКП, всем «сознавшимся» предложили отказаться от сделанных признаний (...) и вместо этого засудили внесудебным порядком, через коллегию ОГПУ небольшую группу Кондратьева — Чайнова»²⁹.

Но была и еще одна причина, помешавшая проведению запланированного процесса. «Гуманные» методы следствия Агранова кончились тем, что большая часть его подопечных получила серьезные расстройства психики. Многие из них впоследствии кончили свои дни в психиатрических больницах. Выводить на открытый процесс неуправляемых обвиняемых организаторы не решились, справедливо опасаясь неожиданного провала всего спектакля.

Чайнову удалось победить подступавшее безумие чтением и работой, благо тюремный режим позволял в те времена эти занятия. От времени пребывания в Бутырской тюрьме сохранилась тетрадка, в которой он начал научное исследование в европейской средневековой гравюре. Позднее, в Суздальском политизоляторе, в котором Чайнов вместе со своими «подельниками» провел несколько лет, им, как вспоминал профессор Н. Макаров, была составлена книга кулинарных рецептов и написан исторический роман «Юрий Суздальский» о Руси XIII века³⁰. Судьба этих сочинений, увы, неизвестна.

В середине 30-х годов Чайнов был отправлен в ссылку — в Алма-Ату. Здесь ему удалось продолжить свою педагогическую деятельность в сельскохозяйственном институте, где он помимо специальных дисциплин вел факультативный курс по истории западной гравюры. Кроме того, Чайнов был привлечен к работе республиканских и областных планово-экономических органов и, по некоторым сведениям,

принимал активное участие в разработке перспективных планов освоения казахстанских степей.

Одно из редких воспоминаний об алматинском периоде чаяновской биографии сохранил писатель Ю. Домбровский: «Видел я его — дай Бог памяти — в 35—36 годах в комендатуре НКВД, куда мы, ссыльные, ходили на регистрацию по 1 и 15 числам каждого месяца. У меня остался в памяти высокий седоватый худощавый человек с черной бородкой». По свидетельству писателя, исчезновению Чаянова предшествовала провокация, затеянная неутомимым НКВД. «Ему предложили выступить на каком-то праздничном собрании института, а когда он выступил и сказал очень простую и вдохновенную речь о науке вообще и о долге агронома — речь, к которой придаться было невозможно, — печать подняла вой: зачем предали трибуну врагу. И как так? Говорил, говорил, а о том, что он враг и не сказал? Где его признания своих ошибок? После этого (...) А. В. Исчез из Алматы»³¹.

По последним данным, он был арестован в 1937 году, а 3 октября приговорен к расстрелу.

Примечания

1. «Правда», 12 марта 1921, № 56.
2. Там же, 14 октября 1922, № 292.
3. Цитируем заголовок статьи Ем. Ярославского, опубликованной в «Правде» 18 октября 1930 г. По форме — запоздалая рецензия на повесть Чаянова «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920), а по существу — печатный донос, сигнализировавший следствию и общественности о давней «контрреволюционной» деятельности ученого.
4. См.: В. Кабанов. Александр Васильевич Чаянов. — «Вопросы истории», 1988, № 6, с. 166—167.
5. Цит. по: «Архитектура и строительство Москвы», 1988, № 5, с. 21.
6. Письмо Л. Оболенского Г. Кравченко от 12 декабря 1987, любезно переданное нам в копии адресатом.
7. Научный архив Госфильмофонда, секция 1, фонд 2, опись 1, ед. хр. 14.
8. Д. Н. Пряшников, М. К. Домонтович. Агрохимия в СССР. — «Наука и техника СССР. 1917—1927». т. 1, М., 1927, с. 420.
9. «Правда», 30 июня 1927, № 145.
10. Д. Н. Пряшников, М. К. Домонтович, Ук. соч., там же.
11. М. Геллер, А. Некрич. Утопия у власти. История Советского Союза до наших дней. — Лондон, 1982. Т. 1, с. 252, 246—258.
12. Цит. по: два несовпадающих источника: «Правда», 14 октября 1922, № 232;

13. П. С. Коган. Литература этих лет. 1917—1923. — Иваново-Вознесенск, 1924, с. 73.
14. Ю. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977, с. 158.
15. «Центральное Государственное Фото-Кино Предприятие Наркомпроса «Госкино». Отчет с 1-го октября 1923 г. по 1-е октября 1924 г.» М., 1925, с. XII.
16. Ю. Тынянов. Ук. соч., с. 324.
17. См. Charlotte Davis «Birth of a "Royal Infant". Malevich and "Victory over the Sun" — "Art in America", 1974, March — April, p. 47.
18. «К. С. Малевич. Письма к М. В. Матюшину». Публикация Е. Ф. Ковтуна. — «Ежегодник РО Пушкинского Дома 1974» Л., 1976.
19. Все цитаты из либретто оперы приводятся по изданию: «Победа над солнцем» Опера А. Крученых. Музыка М. Матюшина. — СПб, изд-во «ЕУЫ», 1913.
20. Цит. по: Г. Масловской. Пространство образа. — ИК, 1987, № 6, с. 88.
21. «Новый ЛЕФ», 1927, № 11—12, с. 56.
22. ЦГАЛИ, фонд 675, опись 1, ед. хр. 53, л. 1.
23. См.: «Вечерняя Москва», 4 августа 1928, № 180; «Правда», 16 августа 1928; «Известия», 8 августа 1928, № 182; «Жизнь искусства», 26 августа 1928, № 35, с. 9.
24. «Красная газета» (вечерний выпуск), 22 октября 1926, № 249. Сообщено Ю. Цивьяном со ссылкой на Р. Тименчика в докладе на III Тыняновских чтениях (июнь 1988).
25. Л. Брик. Из воспоминаний. — «Дружба народов», 1989, № 3, с. 211—212.
26. Цит. по: «Огонек», 1988, № 10, с. 6.
27. А. И. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918—1956. Опыт художественного исследования. — Ч. 1—11, Париж, 1987, с. 58.
28. «Правда», 27 февраля 1931, № 57.
29. А. И. Солженицын. Ук. соч., с. 58—59.
30. Цит. по: Л. Чертков. А. В. Чаюнов как прозаик. — «История парикмахерской куклы и другие сочинения Ботаника Х.» Нью-Йорк, 1983, с. 26.
31. Там же.

Текст сценария печатается по неавторизированной машинописи, хранящейся в Научном архиве Госфильмофонда (секция 1, опись 2, опись 1, ед. хр. 14, лл. 81—137). При публикации из него была исключена авторская нумерация кадров и внесены незначительные стилистические исправления.

Публикация сценария и комментарий
Р. Янгирова

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Публикация

Николай Бердяев

СУДЬБА РУССКАГО КОНСЕРВАТИЗМА

Судьба русского консерватизма очень своеобразна, в ней чувствуется историческая ирония. Консерватизм властвует в русской жизни и держит в тисках ея творческие силы, но он умер в литературе, он не существует как идейное направление. У нас нет консервативной идеологии и быть сейчас не может. Это характерно: ни один консервативный журнал не может существовать в России, всякое консервативное журнальное начинание замирает от равнодушия читателей, от отсутствия литературных сил. Консервативный журнал просто никому не нужен, для него не существует никаких задач, никаких вопросов, теоретических или практических, подлежащих решению. Ведь самая суть русского консерватизма, торжествующаго в жизни и уничтоженнаго в литературе, в том и заключается, что все вопросы и задачи он распределяет по разным департаментам и призывает к их решению власть имеющих. При такой точке зрения и при таком настроении для литературы не остается ничего, ей нечего делать, она может только производить следствие и доносить. И деятельность консервативной печати почти целиком теперь слилась с деятельностью одного из департаментов, наиболее далекаго от каких бы то ни было литературных и идейных задач.

Просмотрите любой номер «Русскаго Вестника». Можно ли там найти хоть одного настоящего писателя, хоть одну идею, хоть какой-нибудь материал для литературного чтения? Даже самые крайние консерваторы предпочитают читать прогрессивные журналы. Была попытка создать боевой консервативно-клерикальный журнал «Русское Обозрение», но попытка эта потерпела самое постыдное фиаско. В истории наших консервативных журналов всегда было что-то морально нечистоплотное. И в литературную семью не могли быть приняты те, от кого можно было ожидать всякого рода предательства, предательства литературы власть имеющих. Идейным может быть признано лишь то литературное на-

правление, которое уважает идею, свободную мысль и литературе придает самостоятельное значение.

Но консерватизм нашел себе приют в газетах, тут его царство. Долгое время в Петербурге не было ни одной настоящей, принципиальной газеты и только в самое последнее время, под влиянием новых настроений и ожиданий, возникли «Наша жизнь» и «Сын Отечества», которыя удовлетворяют требованиям от идейных политических органов. И это понятно. У нас не могло не быть монополии так называемых консервативных органов ежедневной прессы, эта монополия создавалась теми тяжелыми условиями, в которых находится наша печать. Консервативныя газеты могли говорить тогда, когда другия были вынуждены молчать. В то время как журнал должен иметь литературныя дарования, какия-нибудь идеи и творческия задачи, газета может обойтись без всего этого, как это, к сожалению, доказывается существованием уличных газет. И долгие, темные годы в повседневной прессе царствовало «Новое время» и владело сердцами огромной массы русских обывателей. Было бы слишком много чести назвать этот орган консервативным, так как в названии этом есть все-таки намек на какой-то порядок идей, какое-то направление. О, мы прекрасно знаем, что «Новое Время» может быть и либеральным, может запеть какия угодно песни, когда минута этого потребует, когда это будет удобно и выгодно, оно никогда не станет по дон-кихотски защищать консервативных идей, над которыми будет смеяться «ново-временская» улица. «Новое время» останется в русской истории как символ пережитого нами позора, как яркий образец литературного разврата и проституции. «Московския Ведомости» и «Гражданин» лучше «Новаго Времени», но что сказать о консервативной мысли, которая приютилась в этих органах? Русский консерватизм целиком разрешился в нынешния «Московския Ведомости», и это достаточно показывает, насколько драматична его судьба. Присмотримся ближе к истории консерватизма и его природе.

Когда-то в русской литературе была настоящая консервативная идеология — славянофильство. Это было идейное направление, создавшее очень своеобразное и интересное мирозозерцание, и оно было богато яркими и крупными дарованиями. Славянофильство — двойственно, это не

просто консерватизм, в нем было очень много элементов прогрессивных, требованый общих с противоположным западным лагерем. В славянофильском учении своеобразно сочетались два противоположных начала — власти, авторитета и — свободы, и этим сочетанием была предreshена дальнейшая печальная судьба славянофильства. Старые классические славянофилы были романтики, они не любили реальной, позитивной власти, не хотели ея для народа и символически возложили ее на одно посланное Богом лицо. Таким образом пришли они к мистическому оправданию власти и романтически мечтали соединить эту власть с свободой народа, которому предоставляли мысль, думу. Славянофилы брали под свою защиту права личности и хотели утвердить ея вольности без ея воли и помимо ея воли. Это было чудовищное противоречие: свободу нельзя было построить на противоположной ей власти. Романтика разложилась у эпигонов славянофильства и начало власти окончательно поглотило начало свободы. И истинный романтизм, который не может подвергнуться реалистическому разложению в процессе истории, должен искать не мистического оправдания власти, а мистического оправдания свободы, должен утвердить не два взаимоисключающих принципа, а один — волю к свободе, а не волю к власти, какое-то окончательное, для всякого человеческого существа желанное безвластие. Славянофилы мечтали о том, чтобы власть пожелала свободы народной, только такую власть они и считали истинной, мистической и горячо клеймили власть историческую, порабощающую народ. И теоретическая соображения и исторический опыт учат нас, что пожелать народной свободы может только воля самого народа, а не власть, ему противоположная. Историческое развитие человечества к окончательной, мистически оправданной свободе может совершаться только путем растворения власти в воле каждой человеческой личности, творящей для себя желанную свободу, и путем ограничения всякой власти, даже власти народной, неотъемлемыми, абсолютными правами личности.

И замечательно, что диаметрально противоположное славянофилам учение о власти, — учение о народовластии, о народном суверенитете, тоже впадает в одну из форм государственного позитивизма и в нем также начало свободы поглощается началом власти. Если славянофильство выродилось в консервативную государственную казенщину, культивирующую сильную власть и воздвигающую гонение на жажду свободы, то и позитивистическое

учение о народовластии может выродиться в демократическую казенщину, в столь же реакционное культивирование власти насчет свободы*. И мы должны решительно противопоставить всякому государственному позитивизму, всякому культу власти романтический культ свободы, культ безвластия. Проблема отношения власти и свободы — основная проблема человеческой истории и самым тесным образом связана она с пониманием смысла мирового процесса. И тут есть два противоположных полюса, два типа мистицизма — мистицизм власти, с роковой неизбежностью, перерождающийся в позитивистический культ государства, в казенщину, и мистицизм свободы, освещающий ярким светом всемирно-исторический процесс освобождения человечества и охраняющий романтические мечты человеческой природы. Старые славянофилы хотели соединить эти два типа мистицизма, слить два пути и были жестоко за это наказаны, были опозорены своими продолжателями, подхватившими только одну половину их учения, только идею власти и доведшими ее до того, что исчезла всякая идея и осталась одна власть, голая, ничем не прикрытая и безстыдная. Славянофилы верили в великую миссию русского народа, но миссия эта должна была быть осуществлена для них через свободу, мистическая власть помогала этому осуществлению, освобождая народ от политики, от забот о делах мира сего. Во всяком случае для старых славянофилов власть не была единственным орудием осуществления нашего национального предназначения. Они идеализировали старья формы властвования и пытались приковать к ним творческий национальный дух, но для них все-таки существовали творческие задачи, к решению которых призывалась свобода.

Что случилось дальше с нашей консервативной мыслью? Она развивала одну половину славянофильского учения, заложенное в нем начало поклонения авторитету, и соединилась она с традициями не литературными и не идейными, — с традициями нашей государственной практики. И поклонение идее власти незаметно перешло в холопство перед фактом власти, перед казенщиной жизни. Мистицизм славянофилов роковым образом переродился в государственный позитивизм Каткова, который снял романтический покров с учения о власти славянофилов и глумился над их

* Во избежание недоразумений должен оговориться, что этим я выступаю не против демократии, наоборот, я признаю ее в самых решительных формах, но хотел бы построить царство социальной демократии на иных принципах, на принципе абсолютных прав личности.

идеализмом. Катков был выдающийся, первоклассный по своим дарованиям политический публицист, но у него мы уже не видим никакой консервативной идеологии, никакой религиозно-философской санкции консерватизма, тут уж все задачи человеческой жизни возлагаются на власть и не остается места для свободы, проповедуется поклонение оголенной казеннице. Ученики и последователи Каткова пошли еще дальше, они не имели его таланта, потеряли всякую связь с идейно-литературными традициями и всю свою литературную деятельность свели к тому, что на разные лады начали взывать к полиции. Консервативные журналы субсидировали, старались поддержать, но их ненужность, их нелитературность делали невозможным не только процветание, но даже жалкое существование этих quasi — литературных предприятий, прикомандировавших себя к соответствующим департаментам. Того значения для государственной власти, которое имел Катков, все эти жалкие консервативные литераторы, не обладающие даже именем собственным, не могли иметь, а в литературе, в мире идейного творчества для них нет места. Консервативный литератор в настоящее время почти что *contradictio in adjecto*, так как парадоксальный процесс нашей истории убил консерватизм как факт литературный и идейный, укрепив его власть в жизни.

Одиноко в стороне стоит только крупная фигура К. Леонтьева, создавшего очень оригинальную и глубокую религиозно-философскую концепцию, оправдывающую самое мрачное реакционерство и человеконенавистничество. Но Леонтьев был очень индивидуален, для его идеологии трудно найти место на большой дороге нашего консерватизма и он бесполезен, не нужен для практических целей консервативной казенщины, он слишком романтик и утопист.

И вот началось бегство из консервативного лагеря всего живого, талантливого и честного. Особенно важно отметить бегство Вл. Соловьева. Мировоззрение Вл. Соловьева сложилось в атмосфере консервативно-славянофильских традиций и определяющее влияние на него оказала идеалистически-прогрессивная сторона славянофильского учения. Если в старых славянофилах совмещались и Катков и Вл. Соловьев, то в дальнейшей судьбе славянофильства эти противоположные начала разъединились и стали друг против друга, как враги. Вл. Соловьев выступил блестящим критиком нашего консерватизма и национализма, раскрыл непримиримые противоречия между казенщиной и универсальными началами христианской религии. В «Национальном вопросе» Соловьев с осо-

бенной силой настаивал на безнравственности и безбожности практики консерватизма, всего этого человеконенавистничества, реакционного национализма, угнетающего дух. Вл. Соловьев показал, что в консервативном лагере оставаться невозможно, что практика нашего консерватизма несомнима не только с идеализмом, но и с какими бы то ни было идеями. И это было огромной заслугой перед русской литературой и русским обществом. Но начала власти и свободы продолжали бороться в этом крупном мыслителе и большом человеке и до конца дней своих не преодолел он этой раздвоенности, не мог сбросить этой давящей идеи власти. Поэтому Вл. Соловьев так и не пришел к определенному социально-политическому мировоззрению и его принципиальное отношение к либерализму и социализму оставалось неясным.

Бежал из консервативного лагеря еще один человек, очень даровитый и в высшей степени своеобразный, я говорю о В. В. Розанове. Розанов писал в консервативной печати, служил консерватизму, но и там всегда был представителем романтики, а не казенщины, был не нужен для настоящей практики консерватизма. Мистицизм Розанова искал оправдания и освящения жизни, чтобы сделать жизнь радостной. Но санкция жизни может быть только религиозной, и вот Розанов хочет дойти до самых глубоких и самых первоначальных корней религиозного сознания человечества. Он идет от христианства к юдаизму и древнему Вавилону, ищет религии рождения, а не смерти, религии радости жизни, а не мрачного ее отрицания. Такому человеку нечего делать в консервативном лагере, для него должна быть ненавистна практика мрачного реакционерства, казенная, а не мистическая санкция жизни. И Розанов неизбежно должен придти к решительному радикализму, к мистицизму свободы, а не мистицизму власти. Вероятно, Розанов никогда не придет к определенным и ясным социально-политическим взглядам, он останется наивным, его мало интересуют вопросы внешнего порядка жизни, но по духу своему он должен быть самым крайним радикалом и должен был бы об этом заявить. На эволюции Розанова мы еще раз убеждаемся в окончательном духовном банкротстве русского консерватизма, в невозможности у нас какой бы то ни было консервативной идеологии.

Консерватизм может быть романтическим и может иметь настоящее литературное представительство только в той стране, которую он не давит своей властью в жизни. В России он только — казен-

щина, никаких творческих задач он не в состоянии ни ставить, ни решать. Все жизненные интересы страны находят себе отражение в нашей передовой печати, все вопросы разрабатываются тем или другим из наших прогрессивных направлений. На долю консервативной печати выпадает только одна задача — задержать ход жизни, погасить поставленную мыслью и жизнью проблемы. Но это ведь задача мало литературная и для выполнения ее призваны другие, более компетентные и более властные органы.

А теперь посмотрим, каковы теоретические основы консерватизма. Славянофильство пыталось дать мистическое оправдание консервативным устоям государства, церкви, семьи, искало религиозной санкции для воплощения власти на земле. И позднейшие консерваторы все еще прикрывали свою духовную наготу мистическим покровом и свое чисто материалистическое насильничество оправдывали высокими, идеалистическими словами. Но торжествующая реакция сорвала этот покров с нашего консерватизма и обнаружила его настоящую природу, которая яснее всего просвечивала у Каткова.

Религия русского консерватизма есть религия государственного позитивизма. Только государственный позитивизм может быть оправданьем казенщины и только его слуги могут молиться богу власти. Под государственным позитивизмом я понимаю систему, которая в свободе и правах личности не видит абсолютных ценностей и считает государственную власть источником, распределителем и расценщиком всех прав и даже всех стремлений человеческого духа. Вся духовная культура для государственного позитивизма творится не в личности, она должна проходить через санкцию власти и материалистическая орудия насилия тяготеют над всяким свободным творчеством. С религиозно-философской точки зрения вопрос может быть поставлен так: в чем уплощается сверхчеловеческое начало на земле, в человеке, в личности, которая должна быть поэтому признана суверенной, или в какой-нибудь власти, над личностью стоящей, в государстве, в организованных коллективных единицах, присваивающих суверенность себе? Это самый основной вопрос и от его решения зависит и все наше мирозерцание, и все наше отношение к жизни, к историческому процессу.

С нашей точки зрения последовательный мистицизм может признавать только теократию и тем самым должен отрицать всякую другую «кратию». И мистицизм неизбежно перерождается в позитивизм и даже грубейший материализм, если он при-

знает земную власть воплощением власти небесной и государство посредником между личностью и началом сверхчеловеческим. Начало власти по существу своему материалистическое, оно принадлежит природному, связанному, скованному бытию и ему противоборствует заложенное в глубинах мира духовное начало свободы*. Путем от «природы» рабской, заключенной в тиски «необходимости», к Богу, к сверхприродному и сверхчеловеческому бытию может быть только освобождение и его носителем и творцом может быть только личность, источник свободы. И истинная «теократия» должна была бы объявить непримиримую борьбу всем формам властвования, всем безбожным «кратиям» и признать человеческую личность единственным воплощением духа Божьего. На «земле», в эмпирическом, «природном» мире нет ничего выше человеческой личности, это высшая форма бытия и на нее падает миссия освобождения мира путем всемирно-исторического прогресса. Сверхчеловеческая освободительная мощь идет лишь из глубины метафизической природы личности, лишь изнутри, а не извне, как это полагают все государственные позитивисты, все сторонники земных, позитивных «кратий».

Таким образом мистицизм приводит нас к оправданию решительного индивидуализма и анархизма, который мы не противопоставляем ни религиозно-философскому универсализму, ни социальному демократизму. Государственному позитивизму мы должны противопоставить правовой идеализм, мистическому оправданию власти — мистическое оправдание свободы. Все романтические чаяния, все интимные запросы человеческой природы только тут могут найти себе приют. Консерватизм же неизбежно вырождается в оголенное и бесстыдное насильничество и приводит он может в свою пользу только самые позитивные и утилитарные аргументы. Консерваторы могут защищать свою теорию насилия ссылками на блага людей, на счастье, довольство и успокоение, во имя которых власть должна лишать людей свободы, всегда трагической, рождающей не только радость, но и горе. «Московская Ведомости» постоянно апеллируют ко благу русского народа или к его насильственному спасению, т. е. к позитивизму или открытому, или одетому в религиозный костюм. Государственный консерватизм неизбежно носит

* Этим я не утверждаю того вульгарного дуализма, который видит в «плоти» начало злое, а в «духе» начало доброе. Начало злое я вижу в материальной природной необходимости насилия, связанности. С этой точки зрения «плоть» должна быть освобождена и преображена.

утилитарный характер и каждым своим проявлением отрицает абсолютные ценности, неотъемлемые права, религиозно-метафизический смысл свободы.

Но часто направления прямо противоположные консерватизму стоят на той же почве государственного позитивизма и утилитаризма и не в состоянии дать настоящего оправдания свободы, построить ту теорию индивидуализма, о которой мы говорили выше. Внешнему насилью можно противопоставить только внутреннюю свободу, государственной власти — абсолютные права. От одной организованной насильственной власти нельзя искать спасения в другой организованной насильственной власти, а позитивизм и утилитаризм бессильны нас вывести из этого круга. Позитивистическая власть или идеалистическое безвластие — вот настоящая дилемма. И поражают своей наивностью некоторые индивидуалистические теории общества, которые соединяют суверенность личности и безмерную ее свободу с материалистическим мировоззрением.

Никогда еще в истории власть консервативных начал, начал реакционного государственного позитивизма не заходила так далеко, не давила так духовную культуру, как у нас в России. Всю эту систему беспощадно критиковали, и лучшие русские люди всегда отрицали ее в корне, но есть угол зрения, под которым редко смотрели на наш практический консерватизм. Наша консервативная система есть организованное, нигилистическое в самом точном смысле этого слова отрицание культуры, отрицание религии, философии, науки, литературы, искусства, нравственности, права, всего духовного содержания человеческой жизни. Консерваторы наши превратились в настоящих нигилистов и поддерживают заговор против всякого творчества в жизни*. Нельзя признавать и утверждать духовную культуру и отрицать ее единственного носителя и творца — человеческую личность, ее право на свободное самоопределение. Нигилистическим является начало власти, так как оно всегда отрицает что-нибудь, препятствует чему-нибудь, начало же свободы является творческим, оно что-то создает или сметает по пути то, что задерживает творческое созидание.

Русский консерватизм невозможен потому, что ему нечего охранять. Славянофильская романтика выдумала те идеальные начала, которые должны быть консервированы, их не было в нашем историческом

* Теперь, в эпоху революции, наш старый консерватизм окончательно превратился в хулиганство, проповедует убийства и разбой. Играл роль консерваторов культурных и честных «либералов» из партии «мирного обновления».

прошлом. Поэтому консерватизм наш не утверждал какую-то своеобразную культуру, а отрицал творчество культуры, перерождался в нигилистическое реакционерство. Творческие силы организуются, чтобы уничтожить власть нигилистического отрицания.

«Новый путь», декабрь, 1904 г.

КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА

(К философии новой русской истории)

Не раз уже указывали на то, что Россия самая странная, самая фантастическая и чудесная страна в мире. В ней уживаются глубочайшая противоположность: и высшее, религиозное бытие, и культурное небытие, варварство. Это ведь страна Достоевского, в нем отразилась самая интимная, первоначальная наша стихия. Только в России могли сплестись: глубокая и крайняя религиозность с небывалым еще религиозным индифферентизмом и отрицанием, величайшая в мире литература с варварским презрением ко всякому литературному творчеству, изуверский консерватизм с революционизмом, приводящим в трепет обмещанившуюся Европу.

Я хочу говорить о странной и трагической судьбе русской культуры. Давно уже произошел какой-то роковой разрыв между творчеством культуры, между религиозными исканиями, созданием философии, искусства, литературы, даже науки и нашей передовой интеллигенцией. Творцы культуры и борцы за освобождение, создатели благ и ценностей и отрицатели зол и несправедливостей не знают друг друга, часто страдают от взаимного равнодушия, а иногда и от взаимного презрения и отвращения. И еще один трагический разрыв: наша так называемая демократическая интеллигенция давно уже возлюбила народ и делала героические попытки с ним соединиться, но она оторвана от корней народной жизни, от стихии народной. Хождение интеллигенции в народ было в значительной степени механическим, оно успокаивало совесть, но оказалось бесплодным в национально-культурном отношении. Таким образом, передовая интеллигенция, мнящая себя солью земли, оторвана и от культурного творчества, духовной жизни страны, и от национальной стихии народа. Интеллигенция несет на себе тяжкий труд элементарного освобождения, и история воздвигнет ей памятник, но некультурность и варварство ее должны поражать человека, который любит

культуру, ценит творческую мысль и красоту.

Разрыв между творчеством культуры и политически настроенной передовой интеллигенцией особенно ярко сказался в 60-е годы, эпоху боевого рационалистического и просветительного нигилизма. Там ясно видны корни этого варварского отношения к культуре. Культурные ценности, самоценные духовные блага были подменены ценностями утилитарно-политическими. Пушкин, первый творец русской культуры, был отвергнут за ненужность. И до сих пор творчество красоты, бескорыстное знание, искание религиозной правды расцениваются по утилитарным критериям. Философские и художественные направления критикуют политически, а не философски и художественно, и глубокая некультурность сказывается в этой неспособности дифференцировать различные сферы жизни и творчества.

В человеческой активности есть арифметика и высшая математика, есть два типа отношения к жизни: один, направленный к распределению старых, уже элементарных идей, другой — к творчеству новых, высших идей, к исканию еще не проторенных путей. На протяжении всего исторического процесса переплетаются эти две формы человеческих действий, уравнивающая, арифметическая и творческая, поднимающая, требующая высшей математики. И древняя существует вражда между открывающими и творящими, стремящимися вверх и вглубь и распределяющими на поверхности, уравнивающими, популяризирующими. Первые — революционеры по духу своему и не могут питаться какими бы то ни было консервами, но вторых принято считать более справедливыми и по роковому недоразумению более прогрессивными, хотя дух консерватизма и косности часто умерщвляет их души и превращает признанных друзей свободы в врагов свободного искания и свободного творчества. Борцы за справедливость, за распределение арифметических истин и элементарных благ с болезненной подозрительностью относятся к праву воплотить в жизни истины высшей математики, творить красоту, всегда поднимающую и открывающую иные миры. Ревнителю низшей школы и среднего образования боятся перехода к образованию высшему, арифметика начинает обвинять высшую математику в недостаточно просветительном характере, почти в реакционности. Люди, усвоившие себе арифметические идеи и положившие свою жизнь на распрощание их по равнине человеческой, фанатически восстают против интегрального и

дифференциального счисления, которого не понимают, так как не перешли еще от средней школы к высшей.

Весь просветительный, демократический рационализм, при всем радикализме своих социально-политических перспектив есть не более как арифметика, как распределение элементарнейших идей, и он не включает в себе творческого восхождения. Этой ограниченной вере нашей эпохи никогда не понять интегрального и дифференциального счисления новых мистических исканий, нового и старого, вечного творчества красоты, творчества культуры, развивающейся в беспредельности.

Русская прогрессивная интеллигенция в арифметическом, распределительном своем фанатизме проглядела великую русскую литературу, не признала своим Достоевского за то, что тот не тверд был в таблице умножения, в сложении и вычитании, и стала в положение вооруженного нейтралитета по отношению к творчеству культуры, к созданию духовной жизни страны. Она смотрела назад, на отрицание «зла», а не вперед, на творчество «добра». Вся наша психология долгое время определялась чисто отрицательно, нашей ненавистью к гнету и мраку, к позору нашему, и пафос наш был главным образом отрицательный. И творческие настроения, заглядывание вдалека казались нам несвоевременными и опасными.

Настоящее творчество, высшую математику, искание и созидание высших ценностей культуры мы видим у Пушкина, Лермонтова, Гоголя и больше всего и прежде всего у Достоевского и Л. Толстого. Было что-то творческое и открывающее у некоторых западников и славянофилов 40-х годов, у Герцена, Хомякова. Было у Вл. Соловьева, есть у В. В. Розанова, у Д. С. Мережковского. У так называемых «декадентов» есть и жажда творчества, и тревожные искания, и любовь к культуре.

Чернышевский, Писарев, Михайловский были талантливые и замечательные люди, и можно открыть у них проблески чего-то большего, чем распределительная арифметика. В них отразилась двойственная природа русской интеллигентной души. Мы не можем не любить этих людей, не быть им вечно благодарными. Но эпигоны их, дети их духа, окончательно свели все к арифметике, окончательно отказались от всякого творчества, отвернулись от ценностей высшей культуры, погрязли в самом безнадежном утилитаризме. В русском марксизме, когда он был молод, что-то трепетало, он был культурнее, усложнял умственные запросы, приучал больше думать и читать и отучал от старых нигилистических хваток, но в дальнейшем своем развитии

он опять впал в наше интеллигентское варварство и некультурность.

Присмотримся ближе, как относилось с 60-х годов русское передовое общество и его учителя к культуре, ко всем творческим попыткам, в каком духе воспитывалась лучшая часть нашей молодежи. С молоком матери мы всасывали презрение к культуре, к литературе, к искусству, философии, религии, к красоте в жизни, к утонченности и сложности переживаний. Те, кто хотели освободить нас от тысячелетнего гнета и рабства, не только не прививали нам любви и уважения к творческой свободе, к полноте жизни, но часто сами угашали дух, требовали умерщвления культурного творчества, воздержания от целого ряда запросов, практиковали своеобразный позитивистический аскетизм. И души слишком многих из нас оказались оскопленными, упрощенными, сведенными к элементарно нужному и полезному. Вот любопытное сопоставление.

Нигилизм 60-х годов был молодым, здоровым протестом, «бурей и натиском» со всеми крайностями и угловатостями подобных эпох. Он был силен и значителен своим отрицанием нашего исторического, властвующего, мракобесного «нигилизма», нашего старого, гнетущего «небытия». Но и сам он, этот положительный, прогрессивный, а не реакционный нигилизм заключал в себе аскетическое отношение к культуре, к творчеству, к полноте жизни и потому нес с собой тоже дух небытия. И наше декаденство было молодым протестом, тоже «бурей и натиском», но оно с болезненным задором боролось за культуру, за свободу творчества, за утонченность переживаний, за полноту бытия. Оно тоже ведь было бунтом против нашего старого, исторического, умерщвляющего жизнь нигилизма, но революционный характер декаденства не разглядели наши прогрессивные нигилисты. В отношении между нигилизмом и декаденством мы видим яркое отражение и как бы символизацию издавна существующего у нас отношения между политикой и культурой. У «нигилистов» и их детей и внуков мы видим дух бытия, утверждения в политике и аскетизме, дух небытия в творчестве культуры; у «декадентов» и родственных им по духу наоборот — аскетизм, дух небытия в политике и утверждение, дух бытия в творчестве культуры. Это знаменательно.

Много можно привести примеров нигилистического и аскетического отношения учителей интеллигенции и интеллигентного общества нашего к культуре, к творчеству ценностей. Прежде всего это сказалось в

традиционном отношении к русской литературе. Самостоятельное значение красоты и творческого слова было беспощадно отвергнуто и был установлен чисто утилитарный взгляд на литературу. Писарев, самый смелый и самый симпатичный из учителей нашей молодости, отверг Пушкина, исключил его из истории русской культуры. Потом более умеренные продолжатели дела Писарева нашли, что это была крайность и увлечение, они милостиво признали за Пушкиным право на существование. И все-таки Пушкин остался отвергнутым, он ненужная роскошь, его не читают, не понимают. То же приблизительно повторялось и со всеми величайшими русскими писателями, судьба их беспримерно печальна. Религиозные муки Гоголя остались под проклятием и оценен он был только как общественный сатирик. Л. Толстой и Достоевский были признаны мировыми гениями и учителями в Западной Европе, а наша передовая критика придиралась к каким-то мелочам, делала им выговоры за недостаточное знание арифметических идей и проглядела все их значение для русской и всемирной культуры, все, что в них было переворачивающего, религиозного и пророческого. Для передовой русской критики, утилитарной и оскопленной, русская литература осталась неведомой страной, каким-то чуждым миром, и тут сказалась эта болезненная оторванность передовой интеллигенции страны от национальных корней культурного творчества. Истинная оценка русской литературы началась уже в совершенно иной полосе мысли, у людей иных настроений, ее можно встретить у Вл. Соловьева, Розанова, Мережковского, Волынского и т. п.

Такое же варварское отношение у нас всегда было к философии. В 40-х годах философскую мысль уважали, но с 60-х годов начинается позитивистическое мракобесие. Аскетическое воздержание от философских исканий, от мысли над конечными проблемами бытия считается чуть ли не признаком общественной порядочности. Право философского творчества было отвергнуто в высшем судилище общественно-утилитаризма. Был у нас выдающийся и оригинальный, совсем свой философ — Владимир Соловьев. Многие ли читали его, знают его, оценили его философию? По пальцам можно пересчитать. Долгое время этот необыкновенный человек не вызывал по отношению к себе ничего, кроме ограниченного зубоскальства, и был безнадежно одинок. Русское передовое общество не может оценить наиболее национальных героев своего культурного творчества, тут что-то странное и безнадежное. Были у нас и другие опыты в сфере философской

мысли, есть, напр., Козлов-Лопатин и еще некоторые, не хуже Рилей, Виндельбандов, Когенов, но кто их читал, кто слышал о них? Много ли у нас читали «Вопросы философии и психологии», оригинальный философский журнал, более живущий духовно, чем большая часть наших толстых журналов, лишенных всякого творчества? В последние годы заинтересовались философией, обратили на себя внимание, хотя и очень не благосклонное, так называемые «идеалисты», но по чисто утилитарным соображениям, потому только, что они были раньше марксистами и теперь пытались связать философию с политикой.

Но ничто у нас так не презирается и не игнорируется, как искусство. В этой области невежество, некультурность и грубость вкусов русской передовой интеллигенции превосходят все. У нас как-то механически ходят в оперу, в драму, на выставку картин, ищут развлечения или пользы, но никто почти не относится серьезно, благоговейно к художественному творчеству, как к ценности абсолютной, освобождающей и спасающей. Много лет существовал у нас первоклассный художественный журнал «Мир Искусства», который сделал бы честь и любой европейской стране, но лучшая часть нашей интеллигенции никогда его не читала, не знала о его существовании, в лучшем случае была индифферентна к такой ненужной роскоши. А «Мир Искусства» был не только превосходный художественный журнал, с большой смелостью воспроизводивший и защищавший лучшие произведения нового искусства, но и самый литературный из всех журналов, которые у нас до сих пор были, первый европейски-культурный журнал. В нем печатались самые крупные и значительные работы Мережковского, Шестова, Минского, самая замечательная, местами гениальная, статья Розанова, стихи самых талантливых наших поэтов, блестящая, свежая статья по художественной критике А. Бенуа и др. В журнале не было ничего бестактного или нечистоплотного в политическом отношении и по духу своему он, конечно, был революционен, но он преследовал творческие, культурные задачи, и этого не простили ему интеллигентские старожеры, носители распределительных арифметических истин. Его нигилистически и аскетически игнорировали. Особенно сказывается скопечский, нигилистически-аскетический дух нашей интеллигенции в том презрении и равнодушии, с каким она относится к творчеству красоты в своей жизни, внешней красоты форм и внутренней красоты настроений. Все попытки украсить жизнь, бороться с уродством и безвкусицей признаются буржуазными, и не замечают отвратительного мещанства той антиэстетики, той

неряшливости и дурного вкуса, которыми наполнена жизнь нашего интеллигентного общества.

Поражает своей некультурностью и легкомыслием отношение, которое у нас существует к новой поэзии, к так называемым «декадентам». Ведь «декаденты» единственные талантливые поэты в современной русской литературе и вместе с тем наиболее литературно-образованные, наиболее культурные люди. Несмотря на свое новаторство, на искание новых форм и новых настроений, только они уважают у нас историю литературы, великих писателей прошлого, русских и всемирных, что уже доказывает их прекрасными переводами многих классических писателей. Пора наконец решительно признать, что у нас есть целый ряд талантливых поэтов, которые произвели переворот в истории русской поэзии, создали совершенно новую форму, выразили совершенно новые идеи и настроения. Таков прежде всего Валерий Брюсов, первоклассный, самобытный, развивающийся талант, который, конечно, должен занять видное место в истории русской литературы, таковы К. Бальмонт, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, В. Иванов. Нужно читать, а не заранее смеяться, и пора оставить эту старую, дурную привычку называть вздором то, чего еще не понимаешь, до чего еще не дорос. Наше интеллигентное общество и многие его литературные представители живут себе надрыают от смеха, когда чего-нибудь не понимают, а не понимают они еще очень многого, не понимают часто самой потребности творить культуру.

Но ничего уже кроме глумления и отвращения не вызывает в лучшей части нашего интеллигентного общества всякий мистицизм, всякий призыв к религиозному творчеству. И это в стране Достоевского, пророка мистического будущего России, в стране, в которой Гоголь пал жертвой своей религиозной жадности, в которой здоровый, земляной, могучий Л. Толстой чуть не сошел с ума от религиозных сомнений, в которой лучшие славянофилы мечтали о религиозном признании своей родины. У нас начинается глубокое религиозное брожение и в некоторой, совсем особой части нашей интеллигенции, и в народе, и в просыпающейся части церкви, но официально-передовая интеллигенция остается глуха и нема, она не хочет и не может видеть и слышать. Был у нас журнал «Новый Путь», который по-новому поставил целый ряд религиозных проблем, в котором печатались очень интересные, политически даже интересные протоколы «религиозно-философских» собраний. Писали там самые, мо-

жет быть, талантливые у нас писатели. Несколько человек заинтересовалось этим течением по существу, остальные же или совсем игнорировали, или пытались разыскать что-нибудь реакционное, чтобы еще раз произнести утилитарный суд над мистицизмом. Много было недостатков и промахов в «Новом Пути», но было в нем что-то истинно революционное, жажда религиозного творчества и новой, преображенной культуры. Мы слишком близко стоим к этому брожению, слишком родственны ему по духу, если не по слову, чтобы говорить о нем со стороны. Во всяком случае настанет час, когда факты и действия заставят наконец обратить внимание нашей радикальной, вернее консервативной, интеллигенции на то новое и вечное, что творится в современном сознании.

Чем же объяснить эту коренную некультурность русской интеллигенции, отдающей жизнь свою в борьбе за свободу, за благо народа, безнадежный консерватизм ея, неспособность к творчеству, неспособность любить, уважать и понимать творческие стремления других, осклопленность какую-то? Читатель, наверное, уже имеет готовое объяснение и не годует на меня, как это я, зная объяснение, решаюсь писать то, что пишу. Я ни на минуту не забывал тяжелых, часто мученических условий, в которых приходилось жить и бороться избранной части русской интеллигенции. Находящийся у власти нигилизм долгое время был организованным заговором против творческого процесса жизни и производил чудовищную опустошения в интеллигентных душах, калечил и губил жизни. Скажут: нам не до жиру было, быть бы живу. Люди эти душу свою спасали, погубив ее, положив ее за брата своего. Вот тут-то мы и подходим к самому корню, к самым глубоким, религиозным уже причинам того странного явления, которое мы сделали темой статьи. Внешняя политическая причина, конечно, играют большую роль и бросаются в глаза, но за ними скрывается что-то несоизмеримо более важное и значительное, какая-то первоначальная метафизика, которую движет-ся история.

Какова же бессознательная метафизика русской интеллигенции? Это метафизика чисто аскетическая, родственная старому, церковно-христианскому духу. В ней живет еще, в глубине ея стихия, ощущение греховности утверждения полноты бытия, греховности плоти, греховности творчества культуры. Но у интеллигенции, атеисти-

ческой и материалистической в поверхностном своем сознании, аскетизм этот выражается обыкновенно так: грех перед народом, грех перед рабочим классом, грех перед прогрессивными задачами времени, грех перед прогрессом, этим конечным идолом. Искусство, литература, философия, красота плоти, любовь, радостный пир жизни, бьющей через край, также мало освящены у русской радикальной и атеистической интеллигенции, как и у исторического христианства. Аскетизм этот есть один из полюсов религиозного сознания, уклон к небытию, буддизму, окончательному нигилизму. Наши аскетические интеллигенты — фанатики человеколюбия и морали, морали бесцельной, висящей в воздухе, безотрадной. Полярно противоположный ему полюс религиозного сознания утверждает полноту бытия, освящает культуру, ведет к новому, преображенному миру, но открытие этого полюса требует религиозного творчества.

Воздерживаясь и отрицая в творчестве культуры, радикальная, действительно лучшая часть нашей интеллигенции, утверждает правду в политике, в этом ея великая миссия. Но в политике этой всегда было больше самоотрицания, чем самоутверждения, и потому мало было жизненного реализма. Больше было любви к равенству, к справедливости, к святому самоограничению, чем к свободе, к правам, к расширению своего бытия. Что касается более умеренных слоев интеллигенции и общества, то о них было сказано: «Знаю твои дела: ты не холоден, не горяч; о если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Они тоже делают полезное, нужное дело, но в них противоположные полюсы религиозного сознания приведены к плоскости. В последнее время появились совсем уже не аскетические, на словах марксистскообразные, которые восхваляют жизнь и намекают на свою склонность к земным оргиям, но мотив их звучит опереточным на фоне той драмы, которая разыгрывается в русской жизни, да и слишком сильна в них отыжка ветхаго нигилизма.

Можно установить два типа «позитивизма»: позитивизм аскетический, практикующий воздержание во имя своей правды, бессознательно религиозной, хотя и на одном только полюсе религиозности, и позитивизм самодовольный и ограниченный, гедонистический, буржуазный в глубоком смысле этого слова, уж совершенно безрелигиозный и плоский. И в последнее время слишком часто самодовольный и плоский позитивизм появляется под кра-

сивой маской человекобожества. Но все виды позитивизма упираются в окончательное небытие, ведут к непобежденной смерти.

Трагический разрыв между политикой и культурой, между распределителями элементарных благ и творцами новых ценностей поддерживается не только нашими тяжелыми общественными условиями, но и аскетическим позитивизмом одной части нашей интеллигенции и самодовольно-ограниченным позитивизмом другой ее части. И потому судьба грядущего русского возрождения будет зависеть не только от освобождения политического и социального, но и от еще более радикального освобождения из-под гнета обеих форм позитивизма.

А пока состояние нашей культуры представляет печальное зрелище. В наших журналах, самых излюбленных, учительствующих, литературы почти нет, ей отводится все меньше и меньше места, и более всего называют у нас литераторами общественных деятелей, пишущих статьи по деловым злободневным вопросам. О творчестве новых идей и не помышляют, да и старыми идеями интересуются все менее и менее. Литература, идеология окончательно слилась и отождествилась с общественной деятельностью, подчас очень мелкой, и потеряла всякое самостоятельное значение. Большая часть наших журналов издается не для взрослых культурных людей, в них можно найти только элементарное преподавание и в большинстве случаев очень рутинное, отравленное духом новой казенщины, боязливое в отношении к новшествам. Журналы эти делают благородное, полезное, нужное дело, но пусть не называют это литературой, пусть прямо скажут, что они не участвуют в творчестве культуры. Ведь ни одного осмысленного слова нельзя встретить в нашей журналистике о новых течениях, о творческих опытах людей иного духа, ни малейшей попытки присмотреться, разобраться, в чем дело, чтобы настоящим образом критиковать. Либералы у нас умеют спорить с консерваторами, марксисты с либералами и народниками, народники с либералами и марксистами, но никто из них не умеет спорить с мистиками, идеалистами, декадентами, с культурными и религиозными революционерами. Тут плоскости совершенно различные, тут языка нет общего, опыт разный, и потому приходится ограничиться или замалчиванием, или подсмеиванием, или столь привычной для наших нравов руганью.

Ведь скоро уже наступит желанная минута, когда элементарная наша зада-

ча будет решена, исторический долг момента выполнен. Что тогда будет? К чему обязывает нас взгляд вперед, а не назад, забота о созидании будущего, а не только разрушении прошлого? Радостная минута освобождения может оказаться для многих роковой, так как обнаружит все их убожество, полное отсутствие творческих идей, варварскую некультурность. До сих пор многое было прикрыто и затушевано тем внешним гнетом, который создавал приподнятое и напряженное политическое настроение. Ценность людей, внутреннее богатство их определялось условными и временными критериями. Радикальная интеллигенция наша подымалась на высоту, и движущий ее дух небытия порождал временами высокие образы бытия. Творческое бессилие и некультурность нашей журнальной литературы имела ту тень оправдания, что делалось самое необходимое и безотлагательное дело времени. Но скоро, верю, что скоро уже будет иначе. Произойдет культурная дифференциация, политика отойдет к практической жизни и газетам, общественную арифметику нельзя уже будет выдавать за литературу, за творчество культуры. Что тогда станется с нашими журналами? Какими приподымающими настроениями будет жить наша передовая интеллигенция, если внешний, почти механический гнет не будет уже их поставлять? Откроется поле для торжества самодовольного, ограниченного буржуазного позитивизма, о, буржуазного и в социализме, там уже безнадежно буржуазного, поскольку социализм делается религией, высшей инстанцией.

Но есть еще надежда, что бессознательная пока религиозность лучшей части русской интеллигенции и, неведомая нам, стихийно огромная религиозность русского народа не допустит этого превращения в царство мещанства, середины, в плоскость, на которой будет до бесконечности устраиваться и увеличивать свое благоденствие человеческий муравейник. Для этого нужно прежде всего уважать творчество культуры, знать и почитать своих национальных гениев и творцов, как это делали все культурные страны мира, открыть свою историческую плоть и кровь, понять свое предназначение. Тогда только русская культура не только будет, но и получит универсальный смысл и значение. Иначе нам грозит страшное банкротство, так как мы все равно не сумеем быть хорошей буржуазной, позитивной, американской страной, не из такого материала сделаны. Быть может, еще не поздно обратить внимание на пророческое значение Достоевского и сдела-

ться страной, достойной величайшего своего гения. Мы говорим не об арифметических ошибках, которые он часто делал в «Дневнике писателя», а об его высшей математике, которой не знает еще и Европа.

Но вот над чем следовало бы нам глубоко задуматься. Россия переживает эпоху исторического перелома, всколыхнулись дремавшие силы великой страны, открывается, быть может, совершенно новая эра, а мы лишены всякого пафоса, всякого горения. И умеренная и радикальная интеллигенция уныло исполняет свой исторический долг и не сознает, по-видимому, безмерного, прямо метафизического значения этих минут. Пафоса чисто либерального, освободительного пафоса 89-го года или 48-х годов у нас быть уже не может, мы слишком запоздали, слишком далеко ушли в сознании, дело это представляется слишком элементарным, да и опыт европейского либерализма давит нас, как кошмар. Но не может уже быть у нас и классического социалистического пафоса. Социализм не есть у нас реальная историческая задача времени, а как идеалистическое настроение, как религия, он слишком примитивен, он не может уже удовлетворять современное усложненное, обогащенное роковыми сомнениями сознание*. Иллюзии революционной романтики давно уже рухнули в Западной Европе, и в России она только искусственно поддерживаются гнетом и бесправием. Известные стихи Гейне о рае на земле, который должен быть создан вместо рая небесного, когда-то религиозно вдохновляла, но сейчас уже звучат фальшиво, кажутся плоскими, пошло гедонистическими. Не буржуазная, умеренная, срединная критика разрушила романтику революционного социализма, легенду о социалистическом золотом веке, а гораздо более могучие факторы, перед которыми бессильны и беспомощны все благородные, чистые сердцем, но слишком простоватые староверы. Ведь в Европе был Ницше, в России — Достоевский, ведь мы пережили глубокий декаданс, который всегда бывает предтечей ренессанса. Не о политическом только ренессансе идет речь, а о культурном, о новой культуре, построен-

ной на мистических, религиозных началах.

И мы ждем великого культурного ренессанса для России, хотели бы поработать для него. Нам все говорят: после, не сегодня, завтра, несвоевременно еще. Но вечное дело не имеет социального времени, откладывать нельзя, если сознание явилось. Много уже завтрашних дней прошло в Европе и ничего не явилось, она все идет по пути небытия в самом глубоком и истинном смысле этого слова, если тенденция американской цивилизации возьмет верх. Мы любим культурную и освобождающуюся Европу, мы патриоты Западной Европы, как верно говорил Достоевский, мы западники, а не восточники, но все же мы должны задуматься над двумя путями, которые открываются перед освобожденной Россией.

Обычно думают, что Россия или погибнет, умрет, если возьмет верх наш исторический, мракобесно-реакционный нигилизм, если он надолго еще задержит ход жизни, или победят освобождающие силы и начнется жизнь новая, светлая, бодрая, и много, много хороших будет вещей. Конечно, перспективы будущего различны у умеренных либералов, у радикалов-демократов или социал-демократов, но для всех остается указанная дилемма: смерть или жизнь. В действительности же время наше гораздо сложнее, гораздо ответственнее и страшнее. Нам, несомненно, грозит смерть, если старый нигилизм будет продолжать влствовать и угашать дух, его царству должен быть положен предел, должна быть наконец провозглашена свобода и достоинство человеческого лица. Это, когда мы смотрим в прошлое, но при взгляде на будущее является новая дилемма, и мы не хотим и не имеем права отказаться от попыток ее разрешить. Пойдет ли Россия по проторенному пути позитивистической, мещанской, безрелигиозной культуры, без всякого конечного утверждения бытия, с непобежденной смертью? Мы не хотим этого пути, нам он представляется новой формой небытия и не в имя его мы разрушаем кошмарный призрак старого нашего небытия. Наша надежда связана с новой религиозной, трагической и радостной культурой, с окончательной победой над смертью и окончательным утверждением полноты бытия. Мы этого пути хотим, мы остро сознаем, что настал час поворота, не только поворота внешней, общественной организации жизни, но и внутренней, метафизического поворота.

Великая страна не может жить без пафоса, без творческого вдохновения, но

* Прошу помнить пристрастного и предубежденного читателя, что это не есть с моей стороны аргумент против социализма, качества которого, как мыслимого для нашей эпохи предела социально-экономической организации, для меня несомненны.

пафоса чисто политического, пафоса земного человеческого довольства уже не может быть для людей нового сознания, и уповать мы можем только на пафос религиозный. Осуществление нашей столетней политической мечты должно быть связано с великим культурным и религиозным ренессансом России. Тогда только мы будем знать, во имя чего действовать и творить. Мы ставим своей целью не только элементарное освобождение, но и ренессанс культурный, создание культуры на почве обновленного религиозного сознания. Тогда только не отвлеченное, а конкретное, облеченное в плоть и кровь историческое бытие наше будет иметь универсальное значение, связанное со смыслом всемирной истории.

«Вопросы жизни», апрель-май 1905 г.

Публикацию подготовил Ю. Сенокосов

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ

Отвечая на вопрос, что такое просвещение, Иммануил Кант в свое время писал (1784): «Леность и трусость — вот причины того, что люди, которых природа давно освободила от чужого руководства, все же охотно остаются всю жизнь несовершеннолетними. И по этим же причинам так легко другие присваивают себе право быть их опекунами. Ведь так удобно, — замечал он с иронией, — быть несовершеннолетним. Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня есть «пастырь», совесть которого может заменить мою, или врач, предписывающий мне такой-то образ жизни, то стоит ли мне утруждать себя!»

Просвещение, по словам Канта, это «выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине». Но для этого требуется «свобода, и притом самая безобидная, а именно свобода во всех случаях публично пользоваться собственным разумом»¹.

Примерно 170 лет спустя, в книге «Самопознание», Николай Александрович Бердяев (1874—1948), рассказывая об истоках своего творчества, замечает: «Я всегда был и оставался человеком духовно рожденным после века просвещения... не в смысле французских течений XVIII века, а в смысле Канта, который сформулировал вечную правду «просвещения» и с ней связывал свое учение об автономии. Я изначально был «автономен», анти-авторитарен...»²

¹ И. Кант. Соч. в шести томах, т. 6.— М., 1966, с. 27, 29.

² Н. Бердяев. Самопознание (опыт философской автобиографии).— Париж, 1949, с. 118—119.

Сегодня мы уже знаем, что автор этих строк является одним из самых известных и оригинальных наших философов и религиозных мыслителей.

Он родился в Киеве, в дворянской семье. Начальное воспитание получил в военной гимназии и в 1894 г. поступил сначала на естественный, а затем на юридический факультет Киевского университета. Однако кончить университет не пришлось. После ареста в 1898 г. (за связь с социал-демократической партией и «марксистские убеждения») Бердяев исключен из университета и сослан на три года в Вологду, где в это время отбывали ссылку А. М. Ремизов, П. Е. Щеголев, Б. В. Санников, Б. А. Кистяковский, А. А. Богданов, А. В. Луначарский и другие. Здесь, в ссылке, происходит его разрыв с революционным движением и начинается поворот от «марксизма» к «эстетическому идеализму» и затем к христианству, что нашло отчасти свое выражение уже в первой его книге «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском» (СПб., 1901).

Уже в эти годы, не желая, по его признанию, оставаться отвлеченным мыслителем, Бердяев активно участвует в разного рода общественных начинаниях, сотрудничает в журналах, много пишет. Все написанное им в этот период (включая и публикуемые выше статьи) будет переиздано затем в его сборнике «Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные» (СПб., 1907). Тогда же он участвует в основании петербургского «Религиозно-философского общества», а после переезда в Москву (1908) — в создании религиозно-философского книгоиздательства «Путь». В начале десятых годов он впервые формулирует и излагает основы своей философии свободы и философии творчества.

С 1919 г. Бердяев — профессор Московского университета и одновременно один из инициаторов создания Вольной академии духовной культуры, где читает лекции по философии, истории, религии, литературе. В 1922 г. вместе с большой группой писателей и ученых Бердяев высылается из России и вначале — первые два года — живет в Берлине, где возрождает и открывает Религиозно-философскую академию, а затем — после переезда в Париж, где он жил до своей кончины, — становится основателем и редактором журнала «Путь» (1925—1940), принимая одновременно активное участие в Русском студенческом христианском движении.

Годы жизни в Париже — время особенно напряженного и плодотворного творчества Бердяева. Помимо многочисленных

журнальных статей в этот период им были написаны следующие книги: «Философия свободного духа» — 2 тома (эта книга получила премию Французской академии), «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики», «Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения», «Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности», «Истоки и смысл русского коммунизма», «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии». Все эти книги были переведены на многие европейские языки и принесли Бердяеву мировую известность. В 1947 г. Кэмбриджский университет присудил ему почетную степень доктора богословия.

Умер Н. А. Бердяев 24 марта 1948 г. за рабочим столом в своем доме в Клямаге под Парижем.

По своим убеждениям (как это видно уже по названиям его работ) Бердяев, несомненно, был христианским гуманистом, не только ценившим свою личную свободу и независимость, но и глубоко понимавшим, насколько труднодостижима такая свобода, ибо она всегда предполагает независимость от внешних ограничений и главное — отказ человека от существующих, сложившихся стереотипов и мыслительных привычек при восприятии мира. Подобно Канту, он считал, что можно добиться скорее устранения деспотизма власти, чем изменения образа мыслей. Именно в этом контексте следует, на мой взгляд, воспринимать его рассуждение о судьбах консерватизма в русской истории и постановку в этой связи самого вопроса о соотношении власти и свободы. Все оформленное, готовое, объективированное в бытии и общественной жизни рассматривалось им как некая неизбежная aberrация, мираж, которые должны постоянно преодолеваться во имя достижения человеком своего совершеннолетия. Проблема личности и объективации, то есть «ниспадения» свободы в необходимость, — центральная в учении Бердяева о человеке. И в этом качестве она продолжает сохранять свою актуальность и сегодня.

Юрий Сенокосов

Теория

Михаил Ямпольский

ВЛАСТЬ КАК ЗРЕЛИЩЕ ВЛАСТИ

Когда-то я читал один рассказ, действие которого происходило в будущем, в те счастливые времена, когда народы отменили правительства. Они избавились от них не по причине их неэффективности или вредности. Просто правительства надоели народам, и при этом по совершенно невинной причине — из-за своей необузданной шумливости и нескромности. Автор убедительно описывал невыносимость правительств: они ездили по улицам с эскортами, включая автомобильные сирены, они заполнили своими изображениями все газеты, забили своими голосами радио, непрерывно мелькали на экранах телевизоров. Стоило какому-нибудь лидеру публично пожать руку другому лидеру, как тысячи журналистов тиражировали это рукопожатие в астрономическом количестве копий. Короче, они надоели своим назойливым и бессмысленным присутствием, и их отменили.

Рассказ забавный, но затрагивает один из существенных аспектов функционирования власти — патологическое стремление к самоэкспонированию, выставлению себя напоказ, к превращению себя в перманентное зрелище. Присутствие власти в средствах массовой коммуникации столь обильно, что невольно возникает вопрос, чем оно обусловлено? Трудно избавиться от ощущения, что получение власти автоматически предполагает право на самодемонстрацию, что движение к власти есть способ достижения максимального присутствия в каналах общественной коммуникации. Зрелищность существования власти сравнима только с существованием кинозвезд, то есть людей, превративших самоэкспонирование в профессию.

Самым простым объяснением этого феномена можно было бы считать врожденную нескромность вождей. Это объяснение верно, однако, лишь в незначительной степени. Во-первых, среди руководителей государств, особенно в периоды после революций, можно безусловно найти немало людей, не обладающих извращенным тщеславием. Во-вторых, в системе власти есть целый значительный эшелон, который ориентирован на совершенно иной, проти-

воположный этикет. Среди реальных держателей власти есть немало таких, кто стремится сохранить свою анонимность и всячески избегает всевозможных шоу. Это, например, финансовые воротилы, руководители военных ведомств и госбезопасности, это, наконец, крупные мафиози. Что касается последних, то их скромность не вызывает вопросов. Их власть незаконна. Что касается банкиров или тайной полиции, их никак нельзя отнести к преступным узурпаторам, и все же они предпочитают существовать в тени. Разделение власть предержащих на демонстрируемых и скрываемых отнюдь не случайно, оно отражает чрезвычайно существенные различия в характере институтов власти.

Власть «скрываемых» от глаз публики опирается на весьма материальные механизмы: деньги или силу штыков и тюрем. Власть «экспонируемых» имеет принципиально иной характер: она как бы делегирована им, передана какой-то символической силой, представителями которой они являются. В монархии — это делегирование власти монарху от Бога, избравшего его в качестве своего представителя на земле и вручившего ему народ. В демократии — это власть, делегированная президенту и его правительству нацией. Президент является представителем нации, вручившей ему полномочия. Эта власть в значительной степени имеет символический характер и опирается на гораздо менее материальные и более загадочные механизмы.

Нетрудно объяснить, почему гражданин подчиняется финансовому магнату или вооруженному карателю. Здесь действует либо материальный интерес, либо грубое физическое принуждение. Гораздо труднее понять, почему массы людей подчиняются президенту и назначенным им чиновникам, почему некий гражданский персонаж вдруг торжественно вводится во дворец и позволяет себе командовать людьми, а те его слушаются. То, что власть вручена ему через символический механизм представительства, придает ей совершенно особый, почти мистический характер. В контексте моих размышлений эту власть лучше всего обозначить как с е м и о т и ч е с к у ю , з н а к о в у ю . Президент является президентом потому, что он есть представитель нации, символ нации, ее знак, потому что он репрезентирует народ.

То, что репрезентативная власть носит во многом семиотический характер, показать нетрудно. Дело в том, что ее структура тесно связана с языком. Президент или монарх являются о з н а ч а ю щ и м , отсылающим к абстрактному означаемому — понятию нации. Без этого

языкового понятия символическая, репрезентативная власть невозможна. Не будем вдаваться в политические дискуссии о понятии нации, отметим, однако, что это понятие относится к области языка. Если каждому гражданину задать вопрос — представляет ли его лично президент, едва ли последует ясный ответ — да, представляет. Президент символически связан не с каждым отдельным гражданином, а с абстрактной совокупностью абстрактных граждан — то есть языковым понятием нации. Репрезентативная власть в значительной мере формируется одновременно с формированием понятия нации как политической и языковой абстракции.

Поскольку понятие нации лежит в основе символического механизма представительской власти, становление последней повсюду связано с ростом национализма. Национализм является той эмоциональной почвой, которая наполняет понятие нации смутным, но существенным содержанием и, в итоге, легитимизирует власть. Представительской власти в государственном масштабе не может быть без национализма как ее побочного продукта. Правда, уникальный случай формирования иной абстрактной общности — класса — как основы власти — мы обнаруживаем в России после Октября. То, что национализм или классовое чувство характерны для наиболее законопослушных граждан подтверждается и нашей собственной историей. Рост культа Сталина неслучайно сопровождается сдвигом от классовой риторики к националистической, несмотря на все претензии генералиссимуса оставаться вождем мирового пролетариата. Столь же закономерно, что общества с гипертрофией единовластия, как, например, фашистские государства, обычно охвачены самым дремучим шовинизмом.

Человек, внутренне не относящий себя к нации или классу, ощущающий себя прежде всего как индивид, часто воспринимает власть как незаконную фикцию, узурпацию. Космополит всегда подозрителен. Представительская власть, как бы она не боролась с национализмом в обществе, неизбежно поддерживает его как основу, на которой она существует. Власть, расширяющаяся на несколько наций, всегда стремится доказать, что эти нации слились в новую нацию или новое сверхнациональное единство.

После этого небольшого отступления вернемся к главной теме наших размышлений. Поскольку репрезентативная власть основывается на идее представительства, на знаковых символических отношениях, она постоянно разворачивает зрелище своей репрезентативности, она поддержи-

вает себя через постоянное воспроизведение символических процедур. Вот почему представительская власть не может существовать без зрелища, по существу она черпает в нем свою силу, воспроизводит себя через спектакль.

Такая власть вынуждена подтверждать свою репрезентативность ежедневно, ежесекундно. Она связана с театральностью некой питающей ее пуповиной. Стоит этой пуповине порваться, как власть начинает ссыхаться, нарушается механизм обновления ее символического статуса. Именно этим определяется и степень присутствия в средствах массовой информации различных носителей власти. Те, кто обладают деньгами или репрессивным кулаком, совершенно не нуждаются в символических механизмах своей легитимации, они спокойно существуют вдали от глаз. Эксгибиционизм — это болезнь представительства, «знаковых» властителей.

Власть имущие, безусловно, ощущают зависимость своего могущества от перманентности собственного экспонирования. В каком-то смысле общество приговаривает своих членов постоянно смотреть на властителя, и покада это зрелище неотвратно, подданный остается подданным, а властитель — господином. В такой системе, чтобы избавиться от власти, достаточно закрыть глаза, выкинуть из дома телевизор и перестать читать газеты. Показательно, что уже в Древнем Риме уединение считалось актом гражданского неповиновения. «Филострат, перечисляя сидевших вместе с Аполлоном Тианским в тюрьме узников, называет человека, купившего дом на уединенном острове, что было воспринято Домицианом как знак неодобрения по отношению к нему»¹. Сегодня распространение телевидения является одним из фундаментальных средств утверждения знаковой силы власти. В каком-то смысле человек, сознательно не допускающий телевизора в свой дом, проявляет черты опасного диссидентства: он не хочет видеть спектакля власти и занимать позицию зрителя (= подданного) по отношению к ней.

Что же являет собой зрелище власти, что оно демонстрирует? Только одно: оно демонстрирует свою собственную символическую репрезентативность.

Информативное содержание этих представлений близко к нулю. Это связано не только с крайним убожеством предлагаемого зрелища, но и с его структурой. Французский исследователь Луи Марен, анализируя портрет Людовика XIV кисти Риго (1701 г.), пришел к выводу о необычном характере «сообщения», передаваемого этим живописным текстом. Король не может быть изображен на парад-

ном портрете как простой индивид. Он изображается как знак власти, его тело — это символ, отсылающий к чему-то иному, оно является не физическим объектом, а как бы портретом сакрализующей его трансценденции. Марен формулирует свой вывод: «Портрет короля всегда будет портретом портрета»² — и уточняет: «Король в своем величии не царствует, не управляет: это доказывают жезл и корона, положенные на табурет, скипетр, перьевые уты таким образом, чтобы служить танцевальной тростью. Чтобы царствовать и управлять, ему достаточно представлять себя в качестве репрезентации»³.

То, что портрет изображает лишь портрет, делает спектакль власти эгоцентрически обращенным на самого себя, зеркальным умножением идеи знаковости, репрезентации. Такое сообщение естественно не может быть информативным, оно становится чисто риторическим. Ни одно зрелище, даже реклама, сегодня не может конкурировать по риторичности со зрелищем власти. Спектакль могущества необычайно строго регламентирован. Возникает ощущение, будто правитель одним своим присутствием иссушает зрелище до узкого набора риторических топосов, которые говорят только о его могуществе. Власть деформирует пространство зрелища, накладывая на него вериги иерархичности и риторической помпезности. На фоне разнообразия сегодняшней зрелищной сферы репрезентация власти выступает как предельно этикетная и архаическая и, в силу этого, как идеальный объект семиотического исследования.

То, что правительства надоели народам в упомянутом мной рассказе, объясняется также крайним однообразием и бессмысленностью культивируемого ими зрелища. Нетрудно перечислить классические топосы изображения власти: президент с супругой спускаются с трапа самолета и обходят строй почетного караула, они следуют по улицам в сопровождении эскорта, вожди встречаются в раззолоченной зале дворца, они сидят в полуофициальных позах в креслах или на роскошном диване, вождь пожимает руку восторженному представителю толпы, вождь выступает с трибуны с очередной декларацией и т. д. Список этот можно продолжить, но не до бесконечности. Набор ситуаций скуден и крайне неинформативен. Все эти изображения не сообщают ничего, помимо «шумовой» информации о здоровье вожды и покрое платья его супруги. Массы, поглощающие подобные зрелища в огромных количествах, не узнают из них абсолютно ничего, но, глядя на экраны телевизоров, бессознательно утверждают власть в ее

символическом могуществе. Эти шоу — постоянно возобновляемые моменты утверждения «актера» в его господстве, а зрителя — в его подчиненности.

Риторичность зрелища власти определяет один из законов сегодняшней массовой коммуникации: власть, постоянно экспонируя себя, ничего не сообщает о своем реальном функционировании. В сфере, где зрелище доведено до тошнотворного переизбытка, тайна становится законом существования.

Ги Деборд, специально исследовавший эту сторону средств массовой коммуникации, приходит к выводу: «Всеобщая тайна прячется за зрелищем, как основополагающее дополнение к тому, что оно показывает, и, если присмотреться к сути вещей, как важнейшая его операция»⁴. Наличие тайны придает зрелищу характер открытого камуфляжа, фальшивого фасада, скрывающего истинные социальные механизмы. Не случайно, конечно, повсеместное развитие средств массовой коммуникации в XX веке сопровождается беспрецедентным для истории развитием секретных организаций, закрытых архивов, неслыханным по своим масштабам засекречиванием технологий, экономических показателей, чудовищным разрастанием закрытой от гласности военной сферы. Этот бум секретного трудно объяснить с точки зрения здравого рассудка. Речь идет о фундаментальном сокрытии материальных механизмов власти, сопровождаемом все более массивным экспонированием ее символической стороны.

Возникает вопрос: чем обусловлено разрастание маскировки подлинного функционирования власти по мере роста демонстрации ее репрезентативности? Одна из причин этого явления кроется в наблюдении Л. Марена над портретом Людовика XIV. Чистая репрезентативность портрета короля парализует любую реальную форму его политической активности: корона и скипетр отложены в сторону. Действует только одна символическая репрезентативность. Дело в том, что реальное функционирование власти всегда связано с определенным уровнем некомпетентности (я полагаю, что вообще немислим стопроцентно компетентный руководитель целой державы), с ошибками, нарушением нравственных норм, грубостью, ложью и т. д. Все эти качества характеризуют властителя как человека, как индивида, а всякое проявление человеческого в вожде умалает в нем статус знака, символа, иконы. Поэтому вождь в репрезентации не может физически руководить государством, тем самым проявляя

себя как индивид, он должен быть только «портретом портрета», являть свою репрезентативность. Отсюда неизбежное сокрытие всего, что связано с действительным механизмом руководства.

Тот же Марен отмечал, что на портрете монарха не может двигаться, он вынужден сохранять абсолютную статуарность. Движение — это действие — переход от одного состояния к другому, нечто не согласующееся с абсолютной репрезентативностью. Показательно, например, как меняются изображения Наполеона по мере его превращения из революционного генерала в императора. Ранние портреты динамичны, изображают порыв, императорские портреты — статичны, движение в них вытесняется репрезентативностью. Чем более абсолютен статус вождя, тем более покойна его поза на портрете. Любопытно, что сталинская шинель, становящаяся постепенно все более непременным атрибутом статуй и портретов, в какой-то момент достигает земли таким образом, чтобы ноги исчезли из поля зрения и сделали фигуру абсолютно неподвижной и как бы приросшей к земле.

После этих предварительных замечаний, даже в малой степени не исчерпывающих общих проблем репрезентации власти, я хотел бы перейти к некоторым частностям. Я указывал на то, что представление власти имеет строго риторические формы. Риторика как нормативная модель конструирования дискурса предполагает наличие развитой системы клише, стереотипов, топосов. Топосы чрезвычайно консервативны по своей природе и коренятся в древней культурной традиции. Именно это во многом определяет архаичность форм репрезентации власти. Известный немецкий филолог Эрнст Роберт Курциус в своем энциклопедическом труде «Европейская литература и латинские Средние века» показал, что репертуар топосов, претерпевая некоторые изменения, сохраняется в европейской культуре на протяжении тысячелетий. Мне представляется важным рассмотреть некоторые частные топосы изображения власти и показать, каким образом сквозь них может прочитываться характер власти, ее претензии, формы легитимации, на которые она опирается.

Начну с одной классической дихотомии в изображении вождя, которая имеет универсальный характер. Речь идет об оппозиции качеств, прилагаемых к властелину: неистовство, воинственность — мудрость. Курциус выявляет эту оппозицию как риторический топос во всей истории культуры и вслед за Жоржем Дюмези-

лем обнаруживает в ней индоевропейские корни⁵. Дюмезиль заметил, что в индоевропейском пантеоне богов существует неразлучная пара, Митра и Варуна, которые обладают противоположными, но взаимодополняющими свойствами: «Митра предстает благосклонным, дружелюбным, доброжелательным, тогда как Варуна имеет репутацию карающего, грозного, опасного»⁶. Дюмезиль показал, что эти оппозиционные, но парные свойства затем переносятся на властителей. Архетипической парой вождей, наследующих Митре и Варуне, исследователь считал Ромула и Нуму. Ромул — властолюбивый, грозный и жестокий завоеватель, Нума — мудрец, философ. Каждый царь воплощает одну из сторон политики — войну или мир. В легендарной традиции мудрец и воитель чередуются. Единственность существования Митры и Варуны в теологии, в истории превращается в чередование этих типов вождей.

Развитие политической репрезентации приводит к постепенному утверждению в образе двух взаимодополняющих сторон, как бы объединенных в единой фигуре. Марс и Минерва начинают одновременно осенять правителя. Отсюда чрезвычайно распространенное в аллегорике соединение казалось бы совершенно противоположных атрибутов: мечей и книг, символов воинского достоинства и философского знания. Между тем, этот баланс Митры и Варуны в образе властителя был нарушен в момент становления буржуазных демократий, которые вновь привели к расщеплению ипостаси мудреца и воителя надвое, к передаче этих функций разным фигурам — военачальнику и законодателю.

Приведу небольшой пример. После падения Римской империи власть в Европе перешла к феодалам, являвшимся прямыми наследниками готских вождей. По мнению известного историка Анри Фосийона, эти новые вожди сохранили многие «доисторические» черты «образа жизни племенных вождей, сохраняющих кочевые привычки, переезжающих из одного деревянного дворца в другой, проводящих время между войной и охотой. Эти привычки были так глубоко укоренены во Французской монархии, что даже Людовик XIV, любитель больших лесов парижского района, как и его предки, влюбленный в охоту, передвигался из Версаля в Фонтенбло, из Фонтенбло в Марли, и в этом смысле он все еще может пониматься как один из меровингских князей...»⁷

Страсть европейских монархов к охоте, бесконечные королевские и княжеские охотничьи домики, разбросанные по всей Европе — не просто память о готском

прошлом. Это знак Варуны — воителя, охотника — в системе царской репрезентации. Царская охота — не только архаическая страсть, это постоянный мотив официальной живописи.

В политической репрезентации буржуазных демократий положение резко меняется. Охота продолжает оставаться родовым признаком феодальной знати, аристократии, совершенно исчезая из обихода политика нового типа, который прежде всего выступает как представитель народа и законодатель. В новом типе вождя гораздо больше акцентируется ипостась Митры, ипостась Варуны остается по преимуществу за абсолютным монархом.

Как же изображается законодатель в новой, складывающейся на рубеже XVIII и XIX веков системе репрезентации? Руссо, чья мысль имела огромное значение для становления новых политических институций, так описывает ситуацию функционирования власти: «Суверен, не имеющий никакой иной силы, кроме законодательной, действует исключительно с помощью законов; поскольку законы являются лишь подлинными актами всеобщей воли, суверен может действовать лишь в присутствии собравшегося народа»⁸. Итак, суверен вырабатывает законы и вырабатывает их в присутствии всего народа или представляющей его народной ассамблеи. Органом реализации власти становится слово, отражающее, с одной стороны, общественное мнение, «консенсус», согласие граждан, а с другой стороны — некие общие принципы мироздания: социальные законы являются общественными аналогами природных законов. Отсюда вытекают две важнейшие черты в образе демократического законодателя — его ораторские качества (владение словом) и его абсолютная объективность, способность встать над человеческими слабостями на уровень закона как высшего принципа.

Рассмотрим типичный портрет республиканского законодателя, картину Жана-Луи Ланевилля «Барер, требующий у Конвента смертной казни Людовику XVI».

Перед нами мужчина средних лет. Правой рукой он опирается на трибуну, на краю которой лежат листки с написанной им речью. Взгляд его устремлен на зрителя. Левая рука упирается в бедро. За фигурой чистый, нейтральный фон. Некоторые черты этого портрета сохраняют странную связь с портретом Людовика кисти Риго. Монарх также левой рукой упирался в бедро и смотрел прямо в глаза зрителю — своему подданному. Но разница между двумя портретами огромна. Рядом с Барером существуют лишь два атрибута вла-

сти — трибуна как место реализации слова и листы бумаги — знак Закона. Республика не нуждается в другой эмблематике, ведь, согласно Руссо, «суверен не имеет никакой иной власти, кроме законодательной». Исследовавший этот портрет Ж. Даваллон показывает, каким образом сочетание трибуны и бумаги позволяет осуществить символическую смычку между словом и Законом: «Слово обосновало письмо»⁹ — замечает он.

Трибуна становится знаком демократического вождя и со времен Великой Французской революции тиражируется до бесконечности, иногда в весьма неподходящих случаях. Когда скульптору Кербелю понадобилось создать статую Маркса, он поставил основателя научного коммунизма за трибуну. Маркс не был оратором, не участвовал в парламентах и его логичнее было бы изобразить за письменным столом. Какую трибуну имел в виду Кербель? Символическую трибуну вождя, которая в данном случае приспособлена к фигуре Маркса без всякого учета жизненных реалий, чисто символически.

Ленин постоянно изображается за трибуной. Один из вариантов символической трибуны Ленина придумал Эль Лисицкий. Это огромных размеров конструкция, на которой фигура Ленина вознесена так высоко, что сама трибуна теряет всякое функциональное значение. Обращаться с такой трибуны к людям — все равно, что говорить, взобравшись на башенный кран. В данном случае — это чистый топос, но топос уже подвергшийся удивительным трансформациям. Барер на картине Ланевилля находится на уровне наших глаз, он является символическим гражданином, равным всем прочим гражданам, его власть сосредоточена в его слове. Но если фигура поднимается так высоко над собранием граждан, как в конструкции Лисицкого, то она меняет весь смысл ситуации. Это уже не равный прочим представитель народа, но мистический вождь, взмывший в небеса, а слово его, недоступное с такой высоты, теряет связь с Законом и ассамблеей. Трансформация топоса указывает на совершенно иную знаковую ситуацию в самом механизме легитимации власти. Сохраняя знаковую связь с демократической идеологией, репрезентация вывleяет некую иную сущность. Перед нами знак демократического вождя, получающего свою власть не через доминанту Закона и слова, но через свою вознесенность над толпой.

Если рассмотреть символы политической репрезентации в послеоктябрьский период, то мы постоянно встречаемся с такого рода весьма значимыми трансформациями

топосов или их странной гибридизацией. Я уже касался топоса охоты в системе репрезентации власти, как чисто феодального символа. Самым неожиданным образом мы оказываемся свидетелями возрождения этой топики в советское время. Известно, что многие руководители партии, в том числе Хрущев и Брежнев, увлекались охотой, которая в каком-то смысле стала признаком принадлежности к правящему эшелону. Охотничьи домики французских королей возродились в нашем социалистическом государстве. Можно предположить, что это возрождение интереса к охоте у руководителей нашего государства указывает на феодальные корни принятого ими этикета, на стремление к восстановлению ипостаси Варуны в их образе. Интересно, что сразу же после смерти Ленина, в 20-е годы распространение в литературе получает удивительная тема: «Ленин на охоте», ей посвятили свои страницы Н. Крыленко, А. Поликашин, М. Пришвин и другие. Сомневаюсь, чтобы охота занимала в жизни Ленина большое место. Речь, по-видимому, шла о символической передаче Ленину черт вождя, при этом передаче совершенно архаического, риторического свойства. Мне, например, трудно представить европейский текст под названием «Жорес на охоте» или «Маркс на охоте». Риторическая ситуация развитой демократии не могла стимулировать такого рода писания. На Ленина проецируются черты той системы репрезентации власти, которая еще совсем недавно господствовала в России, — самодержавной.

Показателен в этом контексте пришвинский цикл «Ленин на охоте» (1926), где Ильич посреди охоты впадает в задумчивость и «не гонит» вальшнепов, а в одном месте даже характеризуется как «не охотник». Знаковая ситуация, в которую Пришвин ставит вождя, самим им ощущается как неестественная. Чрезвычайно наивно звучит данная Пришвиным мотивировка ленинской любви к охоте: «Выполняя свое дело, каждый охотник большой индивидуалист, каждому хочется выучить лучше свою собаку и обстрелять своего товарища. Но основа души настоящего охотника, получившего прививку этой страсти в детстве, хранит стихийный коммунизм. Только этим и объясняется, что на охоте сходятся, как друзья, люди самых разнообразных жизненных положений»¹⁰. Странные риторические оксюмороны (сочетания несочетаемого) возникают в послеоктябрьское время как отражение противоречивого статуса нового государства — с одной стороны, диктатуры (пролетариата), с другой стороны — страны свободы и демократии. Именно в силу этого

эмблематика нового правления так причудлива.

Вернемся еще раз к метаморфозам трибуны. Одна из самых удивительных трансформаций этого топоса — образ Ленина на броневике, запечатленный в известной ленинградской статуе. То, что трибуна превращается в броневик, говорит о многом. Место реализации слова и утверждения закона трансформируется в знак военной силы, прямо противоположный идее национального согласия и царства высшего разума. Демократия буквально въезжает в систему репрезентации на орудии диктатуры. Конечно, образ гражданского человека, произносящего речь с крыши броневика, является прямым сочетанием ипостасей Варуны и Митры, но сочетание гораздо более странным, чем все, что мог представить репертуар самодержавной аллегории. Между тем, подобное риторическое сочетание оказывается не таким уникальным, как можно было бы предположить. В иной политической системе, также ориентированной на совмещение диктатуры и демократии, в фашистской Италии, мы находим точные его реплики. Муссолини произнес одну из своих речей, взобравшись на танк. Росселлини вспоминает, что в деревушке, где он жил, — Ладисполи — прибывший из Рима делегат попытался сымитировать танковую речь Муссолини. «За неимением танка, оратор взобрался на трактор, что отнюдь не повредило силе его слов»¹¹. В такого рода гротескных ситуациях слово получает силу закона почти исключительно из качества трибуны.

То, что танк на худой конец может быть заменен трактором — не просто забавный провинциальный анекдот. В Италии в двадцатые годы особенно сильно было упоение машиной как символом скорости и силы. Это упоение особенно культивировалось итальянским футуризмом. Поэтому всякое прикосновение представителя власти к машине приобретало символический характер. Трактор мог выступить символом мощи почти в той же мере, что и танк.

Юрий Анненков вспоминал, что Троцкий, заказавший ему свой парадный портрет, был очень озабочен поиском революционной одежды. В конце концов, перебрав множество вариантов, он остановился на костюме, удивившем художника своей нелепостью. Троцкий выбрал общепринятый костюм шофера — кожаную куртку и кожаные брюки. Для нас, привыкших к революционной моде на кожу, решение вождя вырядиться в шоферский костюм кажется уже не таким странным. Речь, по-видимому, шла о символическом приобщении к стихии машины как воплощения мощи и скорости.

Не имея возможности постоянно использовать автомобиль в качестве своего эмблематического атрибута, Троцкий принимает радикальное по смелости решение — переодеться в шофера. Запечатлевая себя на портрете в коже, Троцкий в подтексте вводит в свое изображение автомобиль в качестве невидимой, но подразумеваемой трибуны.

В этом контексте получает все свое значение и принятый Сталиным псевдоним, отсылающий к образу металла и машины. Сама конструкция этого псевдонима чрезвычайно показательна с точки зрения политической репрезентации. Вождь отказывается от своей фамилии. Этот отказ от фамилии характерен для монархов и священников и связан с их символическим преображением в момент сакрализованной трансформации их положения из индивида в знак. Монарх оставляет только имя, к которому прибавляется числительное, а, в идеальном случае, прилагательное, делающее монарха уникальной, единственной, символической личностью: Петр Великий, Иван Грозный и т. д. В этом ряду Иосиф Сталин легко вписывается в монархическую традицию власти.

Сталин в принципе все больше отходил от знаковости демократической власти. Трибуна оратора не входит в его арсенал, говорит он мало, неохотно. Зато характерный для него оксюморон — это собственное изображение в военной форме за письменным столом. Сталин предпочитает демонстрировать себя в виде военизированного мудреца. Воинские доблести входили в обязательный набор качеств законного монарха еще в Средние века. В написанном Кассиодором (VI в.) послании готского короля Витигиса говорится: «Хотя всякое повышение нужно отнести к дарам божественной милости и ничто, как известно, не может считаться благом, если достается не от бога, однако следует понять, что в еще большей мере зависит от расположения всевышнего получение королевского достоинства, ибо только он сам мог установить, кому должны повиноваться созданные им народы. Поэтому мы, принося нижайшую благодарность создателю, объявляем, что наши соплеменники готы, по обычаю наших предков, среди воинских мечей, подняв на щит, принесли нам знаки королевского достоинства по божьему соизволению, чтобы оружие даровало почет тому, кто стяжал себе славу на поле брани.

И не в тесноте покоев, но в широком поле, следует вам знать, я был избран...»¹² Этот текст интересен потому, что он показывает, каким образом идея избрания проецируется на бранные подвиги. Монарх

не завоевывает свою власть оружием, но демонстрирует силу своего оружия богу, который выбирает его на поле битвы, а «не в тесноте покоев», в кабинете вождя. Военная униформа у Сталина оказывается как бы знаком такого избранничества в прошлом (участие в революционных боях — форма легитимации для многих советских лидеров «героического» периода), но этого избрания на поле битвы уже явно недостаточно. Демократическое представительство на поле брани невозможно. Сталин включает в свою репрезентацию кабинет, с одной стороны, как топос, связанный с образом Ленина, а с другой стороны, как риторическое место раздумий. Сталин постоянно культивировал гротескную идею о том, что он думал за всю страну, что он являлся символическим носителем всеобщей мысли, репрезентируя народ не в слове, а на неком сверхчувственном, телепатическом уровне, в молчаливом улавливании мыслей миллионов. В этом странном повороте идеи репрезентации от слова к мысли коренится множество последствий — от фантастической идеи единомыслия всего народа до запрета на свободу слова. Народ молчаливо передает вождю свои думы, слово входит в этот процесс раздражающим диссонансом.

Чисто воинская репрезентация вождя, слишком очевидно связанная с риторикой самодержавия, находилась под своеобразным запретом. Вождь может стоять у окопа, но не держать в руке оружие. Любопытным подтверждением этого служит история с парадным портретом маршала Жукова, выполненным в 1945 году художником В. Н. Яковлевым. Яковлев изобразил Жукова в духе ранних романтических портретов Наполеона, на вздыбившемся боевом коне, попирающем на фоне Бранденбургских ворот фашистскую аллегорическую фигуру. Этот нелепый портрет, нелепый хотя бы своей безудержной аллегорической патетикой, вызвал раздражение Сталина и послужил основанием для упреков Жукову в нескромности. Портрет был спрятан и вновь извлечен на свет Хрущевым в момент «избиения» Жукова. Осенью 1957 года Хрущев приказал доставить портрет в Кремль, чтобы скомпрометировать им маршала¹³. Конь и сабля запрещены на портрете даже боевому генералу.

Андре Базен, рассматривая сталинские фильмы о войне, заметил, что в период самых кровопролитных битв вождь пребывает в «располагающей к научным штудиям» тишине кабинета, в которой царит «атмосфера погруженности в думы и полутшельничества»¹⁴. Перед нами воитель-Ромул, ведущий себя по этикету мудреца Нумы. Базен отмечает своеобразие крем-

левской штабной обстановки: «Сталин в одиночестве размышляет над картой и после долгого, но напряженного раздумья и нескольких затяжек трубкой в одиночестве решает судьбу военной операции»¹⁵. Сталинская трубка — это подобие символического кляпа, затрудняющего речь, делающего слово ненужным. Молчание, тишина и одиночество указывают на своеобразии сталинской позиции по отношению к режиму политической демократии. Сталин получает власть не от народных представителей, а от предшествующего ему сакрального вождя. Символический акт получения неограниченной власти фиксируется у Сталина в клятве перед гробом Ленина, акте, которому политическая репрезентация придает особое значение и постоянно тиражирует его в живописи, кино, литературных текстах.

Клятва — чрезвычайно архаический акт легитимации суверена. Особое значение она приобретает в революционные эпохи и, по наблюдению Жана Старобинского, она осуществляется в символической оппозиции к церемониалу коронования монарха: «Революционная клятва создает суверенитет, в то время как монарх получает его от неба»¹⁶. Дело в том, что клятва — это наиболее театрализованная форма договора. Классическая клятва революции — это ритуал, разворачивающийся перед лицом Закона. В 1789 году Джордж Вашингтон дает клятву американской конституции, в том же году представители третьего сословия во Франции, собравшись в зале для игры в мяч, дают знаменитую гражданскую клятву, знаменующую образование Национальной Ассамблеи.

Клятва Сталина — и это очень типично для отечественной ситуации — как бы воспроизводит эти революционные образцы, но трансформируя их. Новый вождь клянется не перед лицом собрания сограждан или перед лицом Закона, но перед телом покойного вождя, которому он наследует. Мы опять видим, что в акт легитимации власти, в демократическую риторику вторгаются монархистские топосы. Клятва Сталина сакрализует его как преемника власти, «наследника», не более. Весьма существенно, что клятва производится у тела мертвого героя.

Курциус отмечает, что со времен Гесиода культ мертвых героев приобретает мистический оттенок: «Старая религиозная идея заключается в том, что герой продолжает действовать за гробом; его могущество связано с его останками, что объясняет их перенос в иные места, подобно тому как это делалось в Средние века с останками святых мучеников»¹⁷.

Клятва Сталина самим своим актом пред-

полагает культ останков Ленина, поскольку именно от этих останков он получает весь объем своей власти и ее законность. Мавзолеем поэтому выступает не только как сакральное место Ленина, но и как сакральное место его преемников, прежде всего Сталина.

Отсюда — еще одна трансформация топоса трибуны, возникновение трибуны на мавзолее Ленина. Если Ленин получает власть на трибуне-броневике, то Сталин на трибуне-гробнице Ленина. Трибуна Мавзолея — главная символическая трибуна страны, по существу, почти полностью отчуждается от идеи слова. Это место чистой репрезентации власти, очень скупое используемое для обращения к массам. Это трибуна молчания и театрального экспонирования, вознесенная над останками основателя государства, и потому, и только потому, трибуна — символ власти. Огромное количество изображений вождей связано с этим местом представления власти. Эта трибуна не предполагает ни наличия слова, ни наличия письменного текста. Текст разворачивается перед трибуной, в него превращаются народные массы, либо расположенные в виде писем и изображений, либо несущие тексты в виде транспарантов. Ситуация речи, обращенной к согражданам народным трибуном, преобразуется в какой-то космический текст, в котором сами сограждане превращаются в буквы перед глазами молчащего трибуна.

Эти наблюдения, на мой взгляд, показывают, что политическая риторика может быть подвергнута семиотическому анализу, который способен сквозь систему топосов исследовать принятые в обществе формы передачи и закрепления власти. Риторика обладает удивительным свойством — будучи насквозь лживой, актерской, театральной, она очень много сообщает о реальном политическом сознании общества. Тот факт, например, что в государстве элементы демократической риторики постоянно гибридизируются с противоположными им по характеру, гораздо больше говорит о существовании власти в этом обществе, чем любые официальные декларации.

Что делает столь правдивым эти риторические сгустки лжи? Несколько причин. Там, где тайна становится повседневною, сама система секретности превращается в текст, который можно анализировать. Мне кажется, что объектом продуктивного научного анализа может, например, стать сам реестр скрываемого. Сокрытое обычно камуфлируется большим репертуаром фальшивого экспонирования, своего рода се-

миотическим шифром, который, как ни странно, очень многое сообщает о том, чего не хотят предъявлять глазам граждан. Но, может быть, более существенна вторая причина. Риторический репертуар топосов столь клиширован и архаичен, что функционирует на уровне обобщенного социального бессознательного. Выбор того или иного топоса в этом смысле может быть приравнен к фрейдистскому «симптому», весьма красноречиво повествуящему о реальности, вытесненной в подсознание. Мне представляется, что семиотический анализ репрезентации власти должен быть обязательно включен в общественные исследования на правах демистифицирующей критики. Результаты, полученные в этой области зарубежными исследователями, во всяком случае обнадеживают. Сошлюсь хотя бы на интереснейшее исследование политической риторики, выполненное Юргеном Хабермасом, — «Общественное пространство». Хабермас показал, как усложняется театр власти по мере усложнения институтов демократического представительства.

Сегодня в нашей стране мы переживаем период резкого изменения характера политической репрезентации. Конечно, привычные топосы сохраняются и будут функционировать еще достаточно долго даже при коренной смене механизма власти (если ее удастся достичь). Такова сила инерции символов. Но нельзя не заметить и явных новинок в репрезентативном репертуаре.

Новые формы зрелища власти в основном связаны с прошедшими выборами и съездом. Об этом последнем событии следует сказать несколько слов. В большинстве комментариев по поводу прошедшего съезда присутствовала неудовлетворенность формой складывающегося у нас парламентаризма. Речь шла о том, что мы не овладели демократическими процедурами, а поведение депутатов сравнялось чуть ли не с поведением участников колхозного собрания. Стремление иметь сразу же «цивилизованный» парламент понятно, потому что он в либеральном сознании сегодня является главным знаком демократии. Между тем, следует сказать, что строго регламентированный парламентский этикет демократических стран является результатом «остывания» тех народных собраний, которые складывались в послереволюционные эпохи. Ни Национальная Ассамблея, ни Конвент во Франции времен Великой Французской революции ни в коей мере не являлись высокоорганизованным зрелищем, которым стал парламент в наши времена. Сегодняшний этикет — это результат риторического ока-

менения некогда живого представительского организма. Нынешний парламент в развитых европейских странах, тесно связанный с формально-юридическими процедурами,— это охлажденное зрелище демократии, всегда предьявляемое народу, но не особенно привлекающее публику.

Та «дикая» форма, которую принял съезд, стихийно сложилась как максимальное зрелищная. Отсутствие этикета, возможность взрывов, скандалов, непредвиденного, конечно, придала съезду тот неслыханный для парламентов коэффициент театральности, который захватил огромные массы зрителей. Обычный парламент формально функционирует как представительский институт, но в действительности стихия подлинного представительства в нем подменена складывающейся на выборах пропорцией представительства различных партий. Так что результаты голосования обычно предreshены, каждый отдельный депутат не претендует на собственное мнение и охотно уступает трибуну представителю своей партии. Символически будучи органом, репрезентирующим всю страну, западный парламент в действительности является местом борьбы партийных интересов, иными словами, местом осуществления политики. Наш съезд, при отсутствии различных партий, парламентских блоков, был гораздо ближе «первобытной» идее народного собрания. Показательно, что депутаты систематически ссылались на сотни тысяч избравших их граждан и очень редко использовали риторику присоединения к внутрисъездовским группам. Съезд демонстрировал еще живой дух народного представительства, сильно выветрившийся в странах классической демократии. Отсюда и необыкновенное стремление каждого депутата высказаться, каждый оратор все еще осознает себя человеком, которому непосредственно делегирована законодательная власть. То, что такой съезд не мог принять вразумительных решений — не удивительно, ведь он являл собой еще не сложившийся механизм реализации политики, но лишь зрелище действительности. Там, где реализуется знаковость представительности, не может в полной мере осуществляться функционирование реальной политической власти. Корона и скипетр тут отложены в сторону.

Я думаю, что сегодня ни один парламент в мире не обладает такой зрелищной эффективностью, как наш съезд, что подтверждается, например, невероятным интересом к нему иностранцев. Иностранцы по существу открывали для себя в Москве то, что забыто в их странах,—

хаос демократической репрезентативности в формах революционного Конвента.

Беспрецедентная многоголосица мнений на съезде имела чрезвычайно важное значение. Маркс замечал: «Национальное собрание связано с нацией метафизически, выборный же президент связан с ней лично. Национальное собрание, правда, отражает в лице своих отдельных представителей многообразные стороны национального духа, зато в президенте национальный дух является во плоти. По сравнению с национальным собранием президент является носителем своего рода божественного права: он — правитель народной милостью»¹⁸. Говоря об особом положении президента, Маркс имел в виду то, что он непосредственно избирается всем народом. У нас такого положения нет. Но в остальном ситуация описана точно. Национальное собрание имеет силу именно благодаря разноголосице мнений, каждый здесь является символическим представителем какой-то социальной группы. Чем больше разноголосица депутатов, тем сильнее семиотически выражается идея представительства всего народа. Президент в этой ситуации, символически представляя всю нацию, должен занимать сложную позицию всеобщего представительства, соединять в себе все позиции, не присоединяясь ни к одной. Нельзя не признать, что Горбачев в лучшие свои моменты на съезде четко придерживался этой роли. Но это ролевое распределение есть одновременно и символическое распределение власти как целого. «Частный» депутат имеет как бы небольшой ее фрагмент, «всеобъемлющий» президент получает ее целиком.

Оппозиция «собрание — президент» регулирует это знаковое распределение объема власти. При этом, чем более разнолико собрание, тем через его фрагментарность сильнее власть объединителя, президента.

То, что в президенте «национальный дух является во плоти», предопределяет «имидж» лидера любой демократии. Претендуя на выражение духа всей нации, он вынужден строить свой образ в качестве образцового среднего гражданина, воплощения добропорядочной заурядности. Очень часто в своих выступлениях он имеет право на набор банальностей, устраивающих каждого. В ситуации «ассамблея — президент» члены ассамблеи имеют право на остроту, парадоксальность, актерские антре, президенту отведена роль носителя более или менее вялого здравомыслия. Одним из основных парадоксов демократической репрезентации является как раз то, что лидер не

может позволить себе быть по-настоящему незаурядным.

С этой идеей всеобщей репрезентативности лидера как среднего человека связана риторика представления его быта. Если лидер демонстрирует свой быт, то последний в принципе должен соответствовать тому стандарту, который принят в данной стране. В одном из первых советских репортажей о жизни партийного руководителя — большом интервью с первым секретарем ЦК Компартии Литвы Альгирдасом Бразаускасом — эта риторика выдержана почти демонстративно. О своих детях Бразаускас говорит: «Они все занимают весьма низкие, то есть рядовые, должности и получают как и большинство молодых интеллигентов в стране 130—150 рублей. (...) А в Вильнюсе у них небольшие квартиры»¹⁹. Журнал помещает две бытовые фотографии Бразаускаса. На одной он покупает продукты в овощном киоске. Эта фотография скадрирована так, чтобы показать за спиной первого секретаря «джинсовых» подростков и «простых» граждан. Тем самым демонстрируется отсутствие охраны, заурядность эпизода. На второй фотографии Бразаускас, сидя на диване, беседует с внуком, в то время как второй внук тут же играет с собакой.

Набор тем показателен и отражает две стороны повседневного быта — магазин и семейный, интимный уют. Лидеры склонны до приторности акцентировать благополучие и простоту своего семейного очага. Прочная семья — конечно, самый ходовой признак усредненности, соответствия норме. Отсюда страсть изображать себя с детьми и женами. Но право на это экспонирование уютной интимности, право на публичное предъявление жен и детей имеют, как правило, лишь лидеры самого высокого ранга, те, кто призван воплощать совокупный дух нации. Чиновники более низкого ранга не имеют права на обнародование своего быта — это «частичные», не всеобъемлющие люди.

Функция жен в системе демократической репрезентации представляет особый интерес. Жена выступает как знак нормы. В этом смысле она должна строго следовать определенному стандарту. В системе репрезентации ей отводится роль во внеполитической сфере. Президентские жены всегда ориентированы на личную сферу жизни. Они занимаются женскими делами, посещают детские дома, им может быть отведена и сфера культуры — как сфера личная, внеполитическая (там, где искусство носит по преимуществу официальный характер, выставки и музеи посещает сам президент).

Но в семиотике власти жене отводится и иная роль. При всей своей заурядности жена вознесена на вершину бытия не в силу своих индивидуальных достоинств, не в результате выборов, а как бы силой везения. В ее возвышении всегда есть элемент авантюрной несправедливости, который часто вызывает к ней двойственные чувства у публики. Возвышение жены связано с игрой выпавшей ей фортуны. И свет этой фортуны отражается от жены на самого президента. Президент, выбранный нацией, получает от своей жены освящение фортуной, что существенно для его статуса.

Мне хочется отметить одну, казалось бы, незначительную деталь. Ассимиляция форм демократической репрезентации в наших средствах массовой коммуникации идет параллельно эпидемическому распространению конкурсов красоты. Это бессмысленное шоу предлагает свой символический вариант демократической репрезентации для женщин. Выбирается группа девиц, многие из которых имеют низкий социальный статус (что обязательно декларируется): парикмахер, воспитательница детского сада и т. д. Эта группа подвергается пародийной процедуре поэтапных выборов, в результате которых выбирается королева, венчаемая короной и получающая кучу очень дорогих подарков. Во всей этой процедуре (у нас компенсирующей голод на эротику и шоу) пародия на выборы связана с идеей фантастической фортуны, мгновенно превращающей провинциальную медсестру во «всемирно известную» королеву, объект фотографирования и интервьюирования.

Это шоу предлагает обнаженный в своей зрелищности вариант «демократии для женщин», демократии, превращенной в игру фортуны. В пародийной форме этот спектакль отражает некоторые стороны репрезентации власти в обществе. Из условной массы выбирается образец, чьи антропометрические данные соответствуют идеальной усредненной модели. Но это соответствие есть результат удачи. Проецируясь в сферу политики, это зрелище открывает нам символическую сторону власти: президент оказывается выбранным потому, что он идеально воплощает в себе все совокупные черты национального идеала. Но это соответствие модели — в конечном счете — также результат некой природной удачи. Природа создает в президенте идеально среднего человека.

После этого большого отступления вернемся к съезду. «Первобытные» его черты, с точки зрения репрезентации власти, были его сильными чертами. Ни один «цивилизованный» парламент не мог бы иметь такого символического значения. А речь, по су-

ществу, шла о зрелищном утверждении передачи власти в стране в руки Советов. Съезд, не принявший ни одного закона, проявивший консервативную реакционность большинства, тем не менее свою знаковую роль сыграл. У населения действительно сложилось ощущение, что отныне центр политической активности сместился к Советам. Реальный механизм власти безусловно остался в руках тех, кто пребывал в тени (об этом явлении я говорил выше), но знаковый слом произошел. Этот знаковый слом в основном связан также и с неслыханным объемом телевизионной и радиотрансляции. Превратившись в двухнедельный зрелищный марафон, съезд получил власть по преимуществу за счет огромного для нашей страны масштаба зрелища репрезентации власти. Передача власти осуществлялась как зрелище. Власть в полной мере проявила свою знаковую форму. Власть окончательно утвердила себя как зрелище власти.

Сегодня невозможно в полном объеме оценить ту новую политическую систему, к которой мы движемся (если, конечно, это движение будет продолжено). Пройдет несколько лет и сформируется новая риторика репрезентации, которая даст исследователям обильную почву для размышлений и вновь будет свидетельствовать о противоречиях политического сознания и о тех символических формах легитимации, которую избирает власть.

Примечания

1. Е. М. Штаерман. От гражданина к подданному. В кн.: Культура Древнего Рима.— М., 1985, т. 1, с. 75.
2. L. Marin. Du sublime en politique: le portrait du monarque.— Procès, n° 11—12, 1983, p. 93.
3. Ibid., p. 91.
4. G. Debord. Commentaires sur la société du spectacle.— P., 1988, p. 22.
5. E. R. Curtius. La littérature européenne et le moyen-âge latin, t. I.— P., 1986, p. 275—299.
6. Ж. Дюмезиль. Верховные боги индоевропейцев.— М., 1986, с. 44.
7. Н. Focillon. L'an mil.— P., 1984, p. 19.
8. J.-J. Rousseau. Du contrat social.— P., s. d., p. 98.
9. J. Davallon. Représenter le législateur: portrait de citoyen ou effigie du héros.— Procès, n° 11—12, 1983, p. 126.
10. М. Пришвин. Избранное.— М., 1971, с. 155.
11. R. Rossellini. Fragments d'une autobiographie.— P., 1987, p. 69.

12. Цит. по: В. И. Уколова. Античное наследие и культура раннего средневековья.— М., 1989, с. 105—106.

13. М. Семенов. Судьба картины.— Советская культура, 23 июня 1988.

14. А. Базен. Миф Сталина в советском кино.— Киноведческие записки, вып. 1.— М., 1988, с. 159.

15. Там же, с. 160.

16. J. Starobinski. 1789. Les Emblèmes de la raison.— P., 1979, p. 66.

17. E. R. Curtius. Op. cit., p. 280.

18. К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения в трех томах, т. 3.— М., 1970, с. 436.

19. Огонек, № 24, 10—17 июня 1989, с. 5.

Проблемы

Марк Волоцкий

НАЙТИ В ДУШЕ МЕСТО...

«Необходимо покончить с халатностью и вандализмом, в результате которых с тех пор, как родилось кино, погибли тысячи кинофильмов»,— таким призывом, набранным крупным шрифтом, сентябрьский номер «Курьера Юнеско» за 1974 год предвзял статью известного индийского режиссера и историка кино Бхагван Д. Гарга «Утраченные шедевры кино».

Ровно через 10 лет, в сентябрьском номере «Курьера» за 1984 год, в обращении от Главной редакции — снова то же беспокойство по вопросу сохранности старых лент: «Неумолимый парадокс кино заключается в том, что самое популярное искусство XX в. подвержено наибольшей опасности. Ни одна другая форма искусства не является столь уязвимой к преднамеренным или случайным разрушениям, которые вели и ведут к поистине огромным потерям». В том же номере «Курьера» в статье «Хрупкое искусство кино» французский кинокритик Реймон Борд пишет: «...И по сей день над ним [киноискусством] висит угроза дальнейших утрат в результате необдуманного уничтожения негативов». Среди потерь мирового киноискусства скорбный список и наших отечественных утрат — многие произведения русской и советской кинематографии, осо-

бенно 10—20-х годов, не сохранились, многие фильмы тех лет нуждаются в восстановлении — утрачены титры многих немых картин, не все еще переведены на негорючую основу. Возможности их показа продолжают быть ограниченными также из-за малого количества копий.

Конечно, хорошо, что создано Общество друзей кино, что существуют кинотеатры «Иллюзион» в ряде городов страны, что появились условия для пропаганды киноклассики при Киноцентре, недавно открывшемся в Москве, но в масштабах страны, до того, чтобы, скажем, для учащихся и студентов кино заняло такое же место, как, говоря словами А. В. Луначарского, традиционная школьная доска — еще далеко.

Один из патриархов советской кинематографии С. И. Юткевич как-то заметил, что ни по одному фильму за всю историю отечественной кинематографии не сохранен процесс его создания в целостном виде — от рукописи сценария до материалов советской и зарубежной прессы, дающих оценку фильма. Уничтожают, как правило, кинопробы, эпизоды, в конечный монтаж фильма не вошедшие, с годами бесследно исчезает аппаратура, как съемочная, так и звукозаписывающая, эскизы художников, макеты, бутафорские изделия. Да и подлинная техника — не бутафорская, так необходимая кинематографу — исчезает, раздобывать ее все труднее и труднее — самолеты былых времен, машины старых марок, бронепоезда, старые паровозы, вагоны. Как правило, никто не фиксирует процесс репетиций ни на магнитофонную, ни на кино- и видеопленку. И даже по тем немногим картинам, по которым ведутся съемки рабочих моментов, интервью с их создателями — исходные материалы не сохраняются.

При той уникальной возможности фиксации реалий жизни, которыми обладают студии (фильмы, киносъемки, живописные работы), мы сейчас не можем представить облик многих кинематографистов. Так на студии и в архиве М. Горького нет ни фотографии, ни рисованного портрета человека, в 1915 году основавшего эту студию. А основал эту студию, которая тогда называлась художественный коллектив «Русь», костромской купец М. Трофимов, один из истинных рыцарей отечественной кинематографии. Не сохранился на студии и портрет первого советского звукооператора Е. Нестерова, одного из создателей бессмертной «Путевки в жизнь».

«Да как же так?» — спросит зритель, рыцарски любящий кинематограф, собирающий материалы о людях кино, состоящий в переписке с кинематографистами,

готовый искренне, от души помочь им в трудной ситуации. Я видел эти письма — зрителей своим любимым актерам. Они приходят на киностудии, в редакцию «Кинопанорамы» Центрального телевидения, в журналы и газеты. В одном из писем на Центральное телевидение уже старый человек из Ярославля, помнящий еще по годам юности дореволюционный кинематограф, сообщил, что, будучи в эмиграции, он спас могилу его любимого актера Ивана Мозжухина. Кладбище в Париже, где был похоронен знаменитый актер русской дореволюционной кинематографии, ее легенда, частично сносилось, и соотечественнику Мозжухина потребовалось немало усилий, чтобы перезахоронить своего любимого актера на русском кладбище в Париже. А вот могилу Веры Холодной, тоже легенды русской дореволюционной кинематографии, одесситы не сохранили.

И возникает вопрос — кому же как не работникам кинематографических музеев заняться этой благороднейшей работой по спасению нашей кинематографической культуры? Но Центра, Всесоюзного музея, музеев московской и ленинградской кинематографий, республиканских киномузеев — пока нет. Странно — не правда ли? Существуют литературные музеи, музеи всех видов искусств, а вот музеев «важнейшего из искусств» — нет, хотя советская кинематография в этом году отметила свое семидесятилетие.

Мне могут возразить, ссылаясь на практику открывшегося недавно при Киноцентре музея кино. Знаю. Был там несколько месяцев назад на юбилейном вечере, посвященном 80-летию отечественного кинопроизводства. И замечательная программа документальных сюжетов и художественных картин, и глубокие по мысли выступления киноведов, и с любовью изданный текстовый проспект с эмблемами первых в России киноколлективов — все это произвело незабываемое впечатление. Был и на ряде просмотров выдающихся советских и зарубежных фильмов, сопровождавшихся интересными сообщениями. Великолепные просмотровые залы с удобными сиденьями, кондиционерами, современной проекционной аппаратурой — впечатление от посещения музея в этом плане самое благоприятное. Но музей кино это не только прекрасно оборудованные кинозалы, но и экспозиционные площади. Их-то в музее при Киноцентре практически нет. Есть возможность разворачивать только сменные экспозиции.

И как раньше мы сокрушались, что нет условий для сохранности и экспонирования старой съемочной, проекционной и

звукозаписывающей аппаратуры, макетов, бутафорских изделий, костюмов — так продолжается и сегодня. Кошунственно уничтожать труд и средства.

В музее кино при Киноцентре посетители не увидят ни личных вещей классиков советской кинематографии, ни призов, которых были удостоены их фильмы. Г. Н. Чухрай рассказывал, как однажды на рабочем столе у одного из прежних руководителей нашего кино он увидел замечательную пепельницу. Оказалось, что это один из международных призов, которым был удостоен его фильм «Баллада о солдате».

В архивах хранятся записанные на пленку голоса многих кинематографистов — выступления Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко, Герасимова, Юткевича, Донского, голос Шукшина, его призыв «в наше такое машинизированное время» не забывать о душе и быть добрее.

Но где сегодня зрители услышат голоса классиков? Где мы можем услышать записанные на пленку устные рассказы выдающегося актера Михаила Кузнецова?

Условий для всего этого при всем великолепии просмотровых залов, холлов и кабинетов Киноцентра — нет. И места, по праву благодарной памяти принадлежащие классикам советской кинематографии, занятые в Киноцентре помещениями ресторана. Как сообщалось в прессе, ресторан этот необычный — с итальянской кухней, и работать будет круглосуточно. Я не знаю, есть ли ресторан при французской синематеке, но зал советского кино там есть. Я не знаю, есть ли ресторан при лондонском киномузее, но советский кинопоезд 20-х годов там представлен, и в нем показывают регулярно советскую киноклассику.

Десять лет назад С. И. Юткевич говорил мне, что, когда он ознакомился с проектом будущего музея кино при Киноцентре, отверг его из-за отсутствия в проекте экспозиционных площадей. Юткевич видел киномузеи в разных странах мира, и очень хотел, чтобы у советской кинематографии был музей, достойный ее великой истории. Но на критический отзыв С. Юткевича Союз кинематографистов тогда не отреагировал. В тогдашнем разговоре Сергей Иосифович с большим скепсисом отозвался о позиции секретарей Союза по вопросам нашего музейного кинематографического дела. Сегодня Союзом кинематографистов руководят другие товарищи. И время, как известно, сегодня иное. Какова же сегодня позиция нового руководства Союза по строительству кинематографических музеев и другим аспектам сохранения, точнее, спасения нашей кинематографической культуры?..

Десять лет назад в Москве, в самом большом тогда павильоне ВДНХ «Монреальском», открылась выставка, посвященная 60-летию советской кинематографии. Это был настоящий праздник зрителей и кинематографистов, о чем свидетельствуют восторженные записи, оставленные в книге отзывов посетителями из многих стран мира. Приведем три из них: «Это лучшее произведение, посвященное только кинематографии, которое я видел за всю свою жизнь» (Ксавьер-Даниэль Гомес и Вилья, Барселонское радио, Испания). «Я прожил 60 лет за два часа. Это действительно чудо — кино. Желаю здоровья и долгих лет жизни!» (Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский писатель). «Я немного знал советское кино раньше, но теперь мои знания заметно пополнились новыми фактами. Мои лучшие пожелания всем тем, кто принимал участие в создании этой прекрасной выставки. Я надеюсь, что вы сохраните ее для того, чтобы еще многие смогли получить удовольствие от посещения вашей выставки и узнать много нового о советском кино» (Френсис Форд Coppola, кинорежиссер, США).

Выставка после четырех месяцев работы была закрыта. (К сведению сомневающимся в рентабельности киномузеев — за столь короткий срок выставку посетило более 1,5 миллиона человек). Вместо того, чтобы добиться решения оставить эту уникальную выставку в стенах павильона навсегда или перенести ее в аналогичный, специально построенный павильон (ведь по сути дела это и был, в значительной мере, музей советской кинематографии!), выставку, в создание которой было вложено много труда, любви, средств, — разобрали. Часть экспонатов вернули на студии, часть — уничтожили. А сохранили ее — какой бы воспитательный и экономический эффект она дала бы за истекшие десять лет!

К сожалению, сегодня в Москве и музеев-квартир оложников советской кинематографии заключение составляет только квартал, где жила П. Аташева, вдова С. М. Эйзенштейна. Снесли дом, где последние годы жил С. М. Эйзенштейн. В квартирах В. И. Пудовкина, М. С. Донского, Р. Л. Кармена живут сегодня другие люди.

В период нашей работы с Г. Чухраем и Ю. Швыревым над фильмом о М. С. Донском, к его 80-летию, Мастера не стало. Это был 1981 год. И мы стали невольными свидетелями угасающей памяти об одном из крупнейших мастеров советской кинематографии. К несчастью, вслед за Донским ушла из жизни его жена, друг и по-

мощник И. Б. Донская. И квартира, хранящая почти полувековую память о неистовом творчестве призванного во всем мире режиссера, перестала существовать. После ухода Мастера из жизни на доме появилась мемориальная доска — безликая до предела! А сотоварищи Донского по искусству — один из основоположников советской кинематографии Лев Кулешов, легенда отечественного кино Борис Барнет, один из тех, кого называли певцом рабочего класса в советском кино, Леонид Луков — мемориальных досок до сих пор не удостоены. Как будто они и не жили в Москве, где создали фильмы, вошедшие в классику советской кинематографии.

Нет мемориальных досок и на целом ряде зданий, несущих память о важных страницах отечественной кинематографии. Да и здания эти исчезают с лица земли одно за другим. Сносятся старые театры, несущие память о премьерах классических фильмов «великого немого», в Ялте вскоре снесут один из первых в России кинопапильонов.

Драматично сложилась жизнь режиссера Н. Экка, любимого ученика Вс. Мейерхольда. (Страшная судьба самого Мейерхольда сегодня хорошо известна.) Эрк, в начале войны изгнанный из кинематографа за перерасход пленки, долгие годы находился в бедственном положении, продолжительное время голодал и вернулся в кинематограф надломленным и больным только после XX съезда партии. Его коллега по студии «Межрабпомфильм» актер и режиссер Константин Эггерт в конце 30-х годов был репрессирован и долгие годы провел в заключении. Актриса и режиссер Маргарита Барская, поставившая на студии Межрабпома первый детский звуковой художественный фильм «Рваные башмаки», после второй картины «Отец и сын» с Л. Свердлиным в главной роли была уволена со студии (фильм этот еще ждет своего выхода на экран). Не выдержав травли и унижений, лишенная работы, Маргарита Барская в возрасте 39 лет покончила жизнь самоубийством.

В период триумфа «Башмаков», поддерживаемая А. М. Горьким и Р. Ролланом, давшими оценку фильму, она писала в своем дневнике: «Когда-нибудь я буду старая и ко мне придет молодой режиссер и скажет — спасибо вам за то, что вы голодали и за то, что страдали и оставляли кусок вашей кожи на зубах подлецов.

Или нет. Он не это скажет, он просто придет и скажет: —А знаете, я велел купить пуд конфет для моих ребят, чтоб их угостить, а им не понравился этот сорт и пришлось заказать другой. И я буду знать, что моя сегодняшняя борьба за кон-

фетку дала теперь ему эту возможность.

А если даже никто не вспомнит и никто не поблагодарит, и то ничего. И даже это еще важнее и правильнее. Ведь те, кто сидел в тюрьмах и умирал на каторгах, и похоронены в безымянных могилах, чтоб я сегодня могла быть режиссером, ведь я не знаю их имен, ведь я не могу сказать им в лицо: спасибо вам за ваши муки, за вашу выдержку, за вашу смерть. Спасибо за то, что я сегодня не проститутка, не человек из черты оседлости, не процентная норма, а режиссер. Спасибо за мое сегодняшнее чувство независимости и гордости. А они уже, может быть, сгнили в земле, умерли в безнадежности и совсем не рассчитывали на благодарность».

В нашей памяти, в стенах Дома кинематографистов никто из погибших в то страшное время забытыми быть не могут. Долг наш — рядом с доской Памяти кинематографистов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, — открыть доску Памяти кинематографистов, погибших в годы культа личности.

В издательстве «Искусство» готовится к выпуску последний труд, труд многих десятилетий, фронтового кинооператора и историка документального кино А. А. Лебедева — книга, где по крупицам собраны сведения о фронтовых операторах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Наш долг — подготовить книгу и о кинематографистах, безвинно погибших в годы культа личности.

Могины их неизвестны, и пусть такая книга, как и повторный выпуск созданных ими фильмов, будут венком их светлой памяти.

Хотелось бы сказать и об ушедших кинематографистах, чьи могилы нам известны. Кто-то заметил, что по тому, как содержатся кладбища, можно судить о культуре нации. Талант — общественное достоинство, и кинематографисты, наш Союз, вне зависимости от того, остались ли родственники или нет у того или иного ушедшего деятеля отечественной кинематографии, должны по долгу сердца, прежде всего, заботиться об установках памятников на их могилах, возлагать цветы, хотя бы в дни памятных дат. Должны...

В 1978 году, завершая работу над 20-серийной «Великой Отечественной» ушел из жизни Р. Л. Кармен. На его могиле памятника нет.

Буквально на глазах на Останкинском кладбище исчезает могила одного из первых русских операторов, «русского француза», Луи Форестье. А ведь он принимал участие в съемках первого русского полнометражного фильма «Оборона

Севастополя». Снял первый фильм, посвященный ленинской теме — «Его призыв», знаменитую «Саламандру». По иронии судьбы совсем рядом с могилой находится крупнейший в Европе телецентр, который время от времени показывает его ленты.

Несколько лет назад ситуация, аналогичная ситуации с могилой Веры Холодной, сложилась в Ялте с захоронением А. Ханжонкова, первого русского кинопредпринимателя, сделавшего бесконечно много для русской дореволюционной и советской кинематографии. Кладбище в Ялте, где он был похоронен, сносили, и только благодаря заботам бывшего начальника планового отдела Ялтинской киностудии, ветерана войны и труда С. Ф. Сафронова и тех, кто ему помогал, могила Ханжонкова была спасена, и он был перезахоронен на Ялтинском мемориальном кладбище. И могилу его венчает мраморный памятник.

Но речь здесь не только об ушедших. Вспомним французскую поговорку: «В стране, где не чтят павших, не думают о живых» — и посмотрим, как мы сегодня нередко относимся к тем, кто отдал жизнь кинематографу и находится на заслуженном отдыхе.

Юлия Ипполитовна Солнцева, «Аэли-та» — легенда советской кинематографии, актриса, жена, друг, единомышленник А. П. Довженко, поставившая фильмы по его сценариям, подготовившая более 30 книг о его жизни и творчестве. Она часто болеет и ей, по ее собственным словам, очень одиноко. Недавно, снимая с М. Голдовской на видео ее воспоминания, мы стали свидетелями, как, прерывая воспоминания о Довженко, Маяковском, Мейерхольде, она с грустью говорила, что обращаются к ней сегодня чаще всего только по деловым вопросам. А сколько ветеранов, известных только в своем коллективе, нуждаются в нашем участливом к ним отношении.

Многое в своей памяти и своих архивах хранят наши кинематографисты — ветераны. Их архивы, их память — это те золотые россыпи, которые засверкают во всем блеске в наших будущих музеях кино, где их рукописям, их документам и фотографиям будет предоставлено достойное место. Вот написал слово — рукопись, и не могу не вспомнить здесь о рукописях наших замечательных кинематографистов — одного из основателей Художественного коллектива «Русь» М. Н. Алейникова, так много сделавшего для студии, которая сегодня носит имя Горького, а в годы расцвета его выдающегося организаторского таланта студия эта называлась «Межрабпом—

Русь» («Межрабпомфильм»). Его рукопись «Записки кинематографиста» — явление, на мой взгляд, выдающееся в нашей мемуарной кинолитературе. То же могу сказать и о рукописи одного из первых русских кинооператоров И. С. Фролова «Полвека с кинокамерой», хранящейся там же, в ЦГАЛИ.

Почти не опубликован и архив замечательного советского кинематографиста Юрия Андреевича Желябужского — истинного рыцаря отечественной кинематографии. И очень хочется надеяться, что увидит свет первый и последующие тома по истории киностудии имени М. Горького.

Выдающийся украинский режиссер Лесь Курбас, создатель Центрального республиканского театра «Березиль», сподвижник С. Михоэлса по постановке его знаменитого спектакля «Король Лир», утверждал, что искусство театра может плодотворно развиваться, когда существует триединство — театральная труппа, театральный музей, театральная вуз. Без такого триединства не может нормально развиваться и кинематограф. Не потому ли еще в первые годы советской власти, когда кино входило в состав Наркомпроса, во главе которого стоял А. В. Луначарский, — было принято решение о создании киномузея. Не потому ли первый состав секретариата Союза кинематографистов, который возглавлял И. А. Пырьев, в список самых неотложных строек Союза внес и строительство киномузея...

«Дело жизни, — завещал нам Толстой, — не в том, чтобы быть великим, богатым, славным, а в том, чтобы соблюсти душу».

Если нам известно, чем жива душа человека, а нам известно — в институте ведь «проходили» и Гоголя, и Достоевского, и Толстого, всем нам памятен и страстный призыв Шукшина: «Нам бы про душу не забыть», его вера в исцеляющую силу искусства, когда художник обязан к душе человека относиться, как врач к больному, все делая для его спасения!.. Если все так — с кем же мы, кинематографисты, — с теми, кто душу спасает или с теми, кто ее губит?

На пепелище памяти, как известно, рождаются только суррогаты искусства. И только в благодарной нашей памяти, в сохранении и развитии великих традиций советской кинематографии высокий смысл того МУЗЕЯ кино, который нам еще предстоит построить.

НАШИ АВТОРЫ

БЕРДЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1874—1948 гг.). Выдающийся русский религиозный философ и писатель. Его библиография насчитывает свыше 500 названий, в том числе 40 книг.

БРАГИН АБРАМ ГРИГОРЬЕВИЧ (1893—?) Известный общественный деятель и публицист первого пореволюционного десятилетия. Инициатор и один из организаторов Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки (1923 г.), член руководства ряда общественных организаций — Общества землеустройства евреев-трудящихся (ОЗЕТ), Автодора и др. Автор статей по вопросам культурного строительства, опубликованных в центральной печати.

ВОЛОЦКИЙ МАРК ИОХОНОВИЧ (см. журнал «Киносценарии», № 3, 1989 г.).

ГАБРИЛОВИЧ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ (род. в 1898 г.). Выдающийся советский кинодраматург, герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР. Профессор ВГИКа.

ЗАРИЧНАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. Закончила факультет журналистики Ленинградского Государственного университета в 1979 г., сценарный факультет ВГИКа в 1986 г. (мастерская А. Бязяка). Сценарий «Футбол: когда шансы равны» — дипломная работа.

МО ЯНЬ (род. в 1956 г.). Настоящее имя — Гуань Мое. Китайский писатель, сценарист. Офицер Народно-освободительной армии Китая. Слушатель литературного факультета Академии искусств НОА.

МЕТАЛЬНИКОВ БУДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1925 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1954 г. Автор сценариев фильмов «Крутые горки» (1956 г., реж. Н. Розанцев), «Отчий дом» (1959 г., реж. Л. Кулиджанов), «Простая история» (1960 г., реж. Ю. Егоров), «Алешкина любовь» (1961 г., реж. Г. Шукин и С. Туманов), «Женщины» (1961 г., реж. П. Любимов), «Завтрашние заботы» (1963 г., авт. сцен. и сореж., реж. Г. Аронов), «Дом и хозяин» (1969 г., автор. сцен. и реж.), «Чайковский» (1970 г., в соавт. с Ю. Нагибиным и реж. И. Таланкиным), «Молчание доктора Ивенса» (1974 г., авт. сцен. и реж.), «О тех, кого помню и люблю» (1974 г., реж. Н. Троценко, А. Вехотко), «Трижды о любви» (1982 г., реж. В. Трегубович), «Расскажи мне о себе» (1972 г., реж. С. Микаэлян), «Надежда и опора» (1981 г., реж. В. Кольцов), «Берега в тумане» (1984 г., реж. Ю. Карасик), «Полевая гвардия Мозжухина» (1985 г., реж. В. Лонской).

ОСТЕР ГРИГОРИЙ БЕНЦИОНОВИЧ (род. в 1947 г.). Закончил Литературный институт им. М. Горького в 1978 г. Автор сценариев

пятидесяти мультипликационных фильмов, в том числе сериалов: «38 попугаев» (реж. И. Уфимцев), «Котенок по имени Гав» (реж. Л. Атаманов). Фильм по сценарию «До первой крови» снял режиссер Владимир Фокин на киностудии им. М. Горького.

ПОПОГРЕБСКИЙ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1937 г.). Закончил Московский энергетический институт в 1961 г., Высшие курсы сценаристов и режиссеров в 1972 г. (мастерская Л. Аграновича). Автор сценариев фильмов «День приема по личным вопросам» (1974 г., реж. С. Шустер), «За пять секунд до катастрофы» (1978 г., реж. А. Иванов), «Комиссия по расследованию» (1979 г., реж. В. Бортко), «Особое важное задание» (1981 г., в соавт. с Б. Добродеевым, реж. Е. Матвеев), «Ночь на 4-м круге» (1982 г., реж. И. Усов).

СЕНОКОСОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ (см. журнал «Киносценарии», № 3, 1989 г.).

ФАЙНБЕРГ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ (род. в 1930 г.). Закончил Литературный институт им. М. Горького в 1954 г., Высшие курсы сценаристов и режиссеров в 1972 г. (мастерская Л. Аграновича). Автор сценария художественного фильма «Валера» (1964 г., реж. Б. Рыцарев).

ЧАЯНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1888—1939 гг.) Ученый-экономист, общественный деятель, писатель. Профессор (с 1918 г.) Петровской сельскохозяйственной академии (ныне Сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева). Преподаватель экономических и специальных дисциплин в ряде высших учебных заведений Москвы. Основатель и руководитель Научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономики и политики (1919—1928). Один из руководителей советского кооперативного движения, ведущий сотрудник центральных советских планово-экономических органов, Член Всероссийского союза писателей. Автор многих экономических работ, а также литературных произведений: сборника стихов «Лелина книжка» (1912 г.), пьесы «Обманщики» (1921 г.), социально-фантастической повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920 г.) и др.

ЯМПОЛЬСКИЙ МИХАИЛ БЕНЕАМИНОВИЧ (см. журнал «Киносценарии», № 3, 1989 г.).

ЯНГИРОВ РАШИТ МАРВАНОВИЧ (род. в 1954 г.). Закончил исторический факультет Московского Государственного университета в 1977 г. Научный сотрудник Музея кино при Союзе кинематографистов СССР. Автор статей по истории кинематографии народов РСФСР.

1р.20к.
70434

5

КИНОСЦЕНАРИИ

1989